А.И. Куприянов

Городская культура русской провинции

Конец XVIII – первая половина XIX века

Новый хронограф

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

АЛЕКСАНДР КУПРИЯНОВ

ГОРОДСКАЯ КУЛЬТУРА РУССКОЙ ПРОВИНЦИИ

КОНЕЦ XVIII – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА

МОСКВА
НОВЫЙ ХРОНОГРАФ
2007

УДК 008(470-22)"17/18"
ББК 63.3(2)51-7+63.3(2)52-7+71.4(2)
К92

Федеральная целевая программа «Культура России»
(подпрограмма «Поддержка полиграфии и книгоиздания России»)

А.И. Куприянов. Городская культура русской провинции. Конец XVIII – первая половина XIX века. М.: Новый хронограф, 2007. – 480 с.: ил. – (Серия «Российское общество. Современные исследования»).

ISBN 978-5-94881-018-8

В книге исследуются механизмы коммуникации между столичной и провинциальной культурой в процессе формирования русской национальной культуры. Важную роль в трансляции форм и ценностей формирующейся национальной культуры играли различные институты новой светской культуры (школы, ведомственные и публичные библиотеки, театры и благородные собрания) в конце XVIII – первой половине XIX века. Именно эти институты в первую очередь и создавали социокультурный потенциал общества.

В центре книги – не история появления и развития учреждений культуры и даже не культура города, но культура горожан, их социокультурные представления о «себе» и «других», о государственной власти и самоуправлении, о городском социуме и сословном строе, о труде и богатстве, о счастье и других жизненных ценностях. Важная роль отводится также изучению практик самоидентификации и формированию новой городской идентичности, проявляющихся как в письменных текстах, адресованных власти или предназначавшихся для самого автора, так и утверждавшихся в городском костюме и во всем внешнем облике горожан. Эти представления и поиски собственной идентичности рассматриваются в связи с практиками участия в управлении делами города.

Агентство CIP РГБ

ББК 63.3(2)51-7+63.3(2)52-7+71.4(2)

ISBN 978-5-94881-018-8

ВВЕДЕНИЕ

Конец XVIII – первая половина XIX в. – особое время для русской культуры. На рубеже XVIII – XIX вв. сформировался современный литературный русский язык, тот язык, на котором мы говорим и пишем сегодня. Отечественная война 1812 г. стала мощным стимулом к росту национального самосознания и дала серьезный импульс к осмыслению обществом насущных социальных проблем России. Первая половина XIX в. вошла в историю как время расцвета русской классической культуры (литературы, театра, музыки, архитектуры, живописи), создателем которой и ее основным потребителем был узкий слой дворянства. Все это давно признано в науке и хорошо известно каждому читателю, интересующемуся русской культурой и российской историей. Фундаментально исследовано творчество выдающихся деятелей русской культуры, а также культурная среда Петербурга и Москвы, в которой они, как правило, и действовали. Значительно меньше мы знаем о роли провинции в формировании национальной культуры. И уж совсем минимальны наши знания о культуре рядовых горожан того времени – купцов, мещан, мелких чиновников и разночинцев. Для того, чтобы новая светская культура, зародившаяся при дворе и укоренившаяся в столицах и отдельных богатых помещичьих усадьбах, стала национальной, необходимо было ее освоение в провинциальной России. Успех или неудача трансляции культурных достижений и культурных стандартов, выработанных в столицах и предлагаемых элитой обществу, зависел от их рецепции в провинции: в городе и дворянской усадьбе. Городской аспект этой проблемы сложен вдвойне: современная культура была

не только содержательно и направленно не традиционной, новой (модернизированной) для большинства горожан, но и «чужой» – дворянской и европеизированной.

Эта книга посвящена исследованию социокультурных практик горожан провинции в процессе формирования русской национальной культуры. Полагаю, что прилагательное «национальная» больше отражает суть этого этапа, чем «общенациональная», поскольку в первой половине XIX в. крестьянство, составлявшее подавляющее большинство населения Российской империи, в этом процессе почти не участвовало. Одним из возможных подходов к данной проблеме является исследование каналов проникновения явлений новой светской культуры из столиц Российской империи в русский провинциальный город и механизмов ее рецепции и адаптации. Важную роль в трансляции форм и ценностей формирующейся национальной культуры в конце XVIII – первой половине XIX в. играли различные институты новой светской культуры (школы, ведомственные и публичные библиотеки, театры и благородные собрания). Именно эти институты в первую очередь и создавали социокультурный потенциал общества.

Внедрение новой светской урбанистической культуры в провинции происходило не на пустом месте. Здесь существовали свои локальные культурные среды, местные элиты и рядовые горожане, обладавшие собственным мировидением, отличающимся от столичного. Примут ли провинциалы новые культурные формы и образцы, транслируемые имперским центром, или окажут им стойкое сопротивление? Трансляция и рецепции новой культуры протекали в сложных условиях: культурная среда провинциальных городов не была единой и одномерной. В провинции одновременно бытовали различные синхронные и диахронные пласты традиционной и модернизированной культуры. Культура чиновников и дворян существенно отличалась от культуры купцов и мещан, которая, в свою очередь, не имела почти ничего общего с крестьянской культурой. Духовенство, являвшееся во многом закрытым сословием, обладало особым мировидением и специфическим бытовым укладом. В городах

ситуация осложнялась наличием среди русского населения двух конфессий: прихожан официальной церкви и старообрядцев, расколотых, в свою очередь, на несколько толков и согласий. Наконец, в некоторых регионах русские горожане испытывали культурное влияние других народов России, а в Сибири сказывалось также влияние иностранцев, ссыльных или приехавших сюда на службу по доброй воле.

В центре книги – не история появления и развития учреждений культуры в провинции и даже не культура русского города, но культура горожан, их социокультурные представления: о «себе» и «других», о государственной власти и самоуправлении, о городском социуме и сословном строе, о труде и богатстве, о счастье и других жизненных ценностях. Важная роль отводится также изучению практик самоидентификации и формированию новой городской идентичности, проявлявшихся как в письменных текстах, адресованных власти или предназначавшихся близким людям, а иногда и самому автору, так и посредством невербальных средств: городской костюм и весь внешний облик горожан. Эти социокультурные представления горожан и поиски ими собственной идентичности рассматриваются в связи с практиками участия в управлении делами города.

Последние 15 лет российской историографии характеризуются новыми подходами и методами исследования. Не осталось в стороне от этих веяний и изучение истории русской культуры. В новой культурной истории центральное место занимает не изучение институтов и учреждений культур прошлого. Современный историк ориентирован на людей, повседневно творящих культуру и живущих в ней.

Вместе с тем, по-прежнему главным изъяном в изучении истории русской культуры является то обстоятельство, что анализ историко-культурных процессов, за редким исключением, проводится на материалах Москвы и Петербурга, а результаты экстраполируются на всю Россию. Для иллюстрации же тенденций развития культуры используются отдельные факты из жизни провинции. Тот факт, что именно в Москве и Петербурге происходила кристаллизация всех явлений культурной жизни, не является основанием для игнорирования социокультурных

процессов в провинции. Наряду с таким подходом, который я назвал бы «иллюстративной генерализацией», с начала 1990-х годов в отечественной историографии ощутимо возрос интерес к истории российской провинции. Он затронул и исследования по истории культуры. В частности, наметился поворот от изучения «новых, прогрессивных, светских» тенденций к анализу всей совокупности историко-культурных процессов. При этом обнаружилось смещение фокуса исследований с истории социальных институтов культуры на социокультурные процессы, протекавшие в разных социальных средах и в отдельных регионах.[1] Однако изучение провинциальной культуры сталкивается с одной серьезной проблемой: по своему характеру оно имеет локальный характер. Материалы, использованные в региональных исследованиях, как правило, относятся к одной, в лучшем случае – двум губерниям, а часто и к одному городу. Полученные в результате таких исследований данные не служат надежной базой для синтеза локальных исследований в национальном масштабе, как это имело место в 1980-е гг. в Англии.[2] Таким образом, в историографии существуют две «ветви» историко-культурных исследований: «столичная», когда изучаются социокультурные процессы в Москве и Петербурге, а полученные данные обобщаются как явления, характерные для России в целом, и «провинциальная», описывающая «глубинку» и претендующая на то, чтобы осмыслить «провинциальное измерение» русской культуры в противовес «столичному».

Учитывая колоссальные размеры России, огромное разнообразие социальных и культурных особенностей ее регионов, а также недостаточную изученность исторического прошлого большинства из них, всю пестроту и неоднородность, а следовательно, и несопоставимость накопленных данных по отдельным городам, на современном этапе развития исторической науки не представляется возможной плодотворная

---

1 Провинциальная культура: миф или реальность? // Alma Mater. 1994. № 2. С. 3 – 7; Российская провинция XVIII – XX вв: Реалии культурной жизни. Пенза, 1995; и др.

2 *Phythiam-Adams Ch.* Re-thinking English Local History. Leicester. 1987; *Репина Л.П.* «Новая историческая наука» и социальная история. М., 1998. С. 64 – 72.

генерализация имеющихся разрозненных данных, касающихся городской культуры.

Думается, что сегодня одним из возможных и эффективных путей преодоления имеющихся трудностей может стать межрегиональный подход. Суть этого подхода состоит в изучении культурных процессов в нескольких регионах России, отличающихся по природно-климатическим, социально-экономическим и социокультурным характеристикам.

В данной книге межрегиональный подход при исследовании культуры провинциального города реализуется на материалах двух регионов страны: Нечерноземного центра, далее – Центра (Московская и Тверская губернии) и Западной Сибири (Тобольская и Томская губернии). Чем интересно рассмотрение социокультурных процессов в указанных регионах? Каждый из них имел свое природно-климатическое «лицо», свои особенности исторического освоения и хозяйственного уклада, национального, конфессионального и социального состава населения. Если на территории Подмосковья и Верхневолжья многие города ведут свою родословную с XII – XIII вв., то города Западной Сибири возникли на территории, осваиваемой русскими лишь с конца XVI в. Более того, в Сибири становление городов («острогов» и крепостей) предшествовало формированию сельских поселений русского населения. В Западной Сибири вокруг первых городов проживало аборигенное население, имевшее собственные культуры. Начиная с XVII в. территория региона использовалась как место ссылки, в том числе и военнопленных, а с конца следующего столетия сюда в массовом порядке высылали поляков, литовцев и отдельных представителей других этносов, боровшихся за национальные интересы. Таким образом, в отдельных городах Западной Сибири в первой половине XIX в. сложились довольно заметные колонии иностранцев и нерусских подданных Российской империи. Это обстоятельство привело и к определенной конфессиональной неоднородности городского населения. Впрочем, главная напряженность на конфессиональной почве была связана не с наличием католиков, протестантов, иудеев и мусульман, а с русскими старообрядцами. Последнее обстоятельство,

разумеется, не было характерно именно для Сибири. В отдельных городах Центра (Ржев, Торжок) также существовали значительные общины старообрядцев разных согласий.

Существенной особенностью западносибирского региона было отсутствие помещичьего землевладения и незначительное число крепостных крестьян. Эти обстоятельства не могли не сказываться на ментальности населения Западной Сибири. В Центре, напротив, существовали многочисленные помещичьи «гнезда», в которых развивалась усадебная культура, составлявшая определенную конкуренцию городской культуре.

Отмеченные особенности исторического развития Центра и Западной Сибири делают названные регионы интересными для сравнения, которое позволит, во-первых, сопоставить внутрирегиональные социокультурные процессы в границах соседних губерний; во-вторых, сравнить данные обоих регионов.

Поэтому выборка вышеуказанных регионов представляется достаточно представительной для характеристики состояния городской провинциальной культуры. Разумеется, такой подход не претендует на то, чтобы достигнутые в ходе исследования результаты были экстраполированы на всю Россию. Однако полученные данные (с некоторыми оговорками) отражают основные социокультурные тенденции в регионах, где русские составляли большинство населения.

Сопоставление социокультурных процессов в городах двух соседних губерний – Московской и Тверской – представляет особый интерес для оценки влияния фактора близости столицы на культуру разных страт городского населения. Для понимания синхронности или асинхронности протекания социокультурных процессов важно сравнение городов этих губерний с западносибирскими городами, расположенными, как считали современники, на одной из окраин Российской империи. Не менее существенен для анализа и тот факт, что генезис исследуемых городов оказался чрезвычайно различен хронологически. Наряду с древнерусскими городами и городами, возникшими на рубеже XVI – XVII вв., в регионах были и населенные пункты, получившие город-

кой статус лишь в конце XVIII – начале XIX в. Данное обстоятельство позволяет проследить не только процесс формирования городского самосознания, но стадиальные отличия (если таковые имеются) мировосприятия жителей старых и новых городов.

Несомненным достоинством межрегионального подхода следует считать то обстоятельство, что он позволяет сочетать методы, характерные для макро- и микроистории. Микроистория в этом случае служит инструментом исследования отдельных объектов на локальном городском уровне: общественная библиотека, любительский театр, благородное собрание и т.д. Полученные результаты изучения этих малых объектов служат своеобразными индикаторами для проверки эффективности объяснений, предложенных историками, изучавшими проблемы культуры в общероссийском масштабе. При таком подходе, как представляется, действительно реализуется кредо микроистории: «изучение истории не в мелочах, но в подробностях».

Компаративная часть исследования позволит установить доминирующие факторы, которые влияли на темпы социокультурных процессов, выявить соотношение локальных, региональных и общероссийских факторов, уточнить роль власти и общества, а также разных социальных групп в культурной жизни. В этой связи межрегиональный подход к социокультурному изучению культуры русской провинции представляется весьма действенным инструментом познания прошлого.

Хронологические рамки исследования: вторая половина 1780-х гг. – начало 1860-х. При всей условности хронологического деления истории нельзя не отметить, что в последние годы исследователи обратили внимание, что традиционное деление истории по векам далеко не всегда соответствует даже относительному единству протекавшего исторического процесса. Как отмечал Юрген Хабермас, «круглые цифры, появляющиеся по правилам календарной «пунктуации», не совпадают с теми временными узлами, когда завязываются сами исторические события. Такие круглые даты, как 1900 или 2000 год, не имеют никакого значения по сравнению

с действительными историческими датами – 1914 годом, 1945 годом или 1989 годом».[1] Действительно, британский историк Эрик Хобсбаум успешно популяризировал концепцию «короткого XX в.» (1914 – 1991), сформулированную бывшим президентом Венгерской Академии наук И. Берендом. [2] Среди историков, как утверждает Ю. Хабермас, существует консенсус, что «короткому» («краткому») XX в. предшествовал «долгий XVIII в.» (1789 – 1914).[3] Представляется, однако, что едва ли среди историков существует такой консенсус. Вероятно, что период 1789 – 1914 гг. более уместно именовать «долгим XIX в.». Если среди историков и существует консенсус по проблемам хронологии, то он связан с пониманием того, что периодизация мировой истории и истории отдельных стран могут значительно отличаться друг от друга.

В свете современных методологических подходов к хронологии представляется уместным поставить вопрос о существовании в истории России «долгого XVIII в.», продолжавшегося до начала 1860-х гг. Начатая Петром I модернизация и европеизация России, в основном, была завершена лишь в начале 1860-х гг. Вместе с тем, внутри этого периода в качестве самостоятельного этапа выделяется последняя четверть XVIII – первая половина XIX в. (1775 – 1861 гг.). Для этого этапа можно предложить название «затянувшегося конца XVIII в.». Такое определение этого времени лучше, чем, например, «большая первая половина XIX в.» отражает суть происходивших событий. Рассматривая ход исторических процессов с позиций антропологически ориентированной истории, то есть истории, в центре которой находится человек, нельзя не отметить, что в России затянулось решение главного социального вопроса – об отмене крепостного права, как и в США решение проблемы рабства. Отечественная война 1812 г. была, несомненно, важнейшим событием того времени, повлиявшим на весь ход европейской истории. Однако ни она, ни

[1] *Хабермас Ю.* Учиться на опыте катастроф? Диагностический взгляд на «краткий» XX век // *Хабермас Ю.* Политические работы. М.: Праксис, 2005. С. 209.

[2] *Хобсбаум Э.* Эпоха крайностей: Короткий двадцатый век (1914 – 1991). М. : Издательство Независимая газета, 2004.

[3] *Хабермас Ю.* Указ. Соч. С. 215.

восстание декабристов 1825 г. не помогли решению актуальных социальных вопросов России, главным из которых было существование крепостничества. Предлагаемая трактовка хронологии отечественной истории не является бесспорной, однако она позволяет, на мой взгляд, более точно определить место в истории России периода со второй половины 1770-х гг. до начала 1860-х. Содержание этого исторического отрезка прежде всего характеризуется стремлением власти предотвратить возможность революции и крестьянской войны в России и сохранить существующий социальный строй путем отказа от радикального решения социальных проблем за счет незначительных реформ, направленных на смягчение наиболее острых вопросов. Одновременно это был весьма важный период и для культуры России, связанный как с развитием всех сфер профессиональной культуры, так и с распространением на провинцию институтов и достижений культуры нового времени.

Таким образом, в книге исследуется городская культура между двумя эпохами крупных реформ на протяжении примерно 75 лет. Нижняя грань изучения берет свой отсчет с момента реализации Городового положения 1785 г. и начала осуществления школьной реформы, призванной создать единую систему общеобразовательной школы. Верхняя грань – начало эпохи Великих реформ, к числу которых, наряду с освобождением крестьян, судебной реформой и военной реформой, относится и городская реформа 1870 г., которая в ряде городов (в том числе в Тобольске и Томске) стала осуществляться раньше. В это же время происходило и реформирование системы школьного образования, сопровождавшееся расширением сети мужских и женских учебных заведений.

Можно ли говорить, что эти три четверти века были относительно цельным периодом в истории России, или же их отличает только то, что они расположены между периодами двух крупных реформ? Думается, что эти 75 лет были достаточно единым и важным периодом в истории России. Им предшествовала ликвидация последствий крестьянской войны 1773 – 1775 гг., выработка мер, направленных на предотвращение возможности возникновения новой крестьянской

войны. В этом контексте осуществлялись и административно-полицейские реформы, и меры по желательному для властей просвещению народа. Правительство Екатерины II не забывало и об интересах торгово-промышленного населения, о нуждах городов и горожан, о развитии городской культуры.

Городская культура нашла свое отражение в многочисленных и разнообразных исторических источниках. Разумеется, степень информативности различных источников неодинакова. Поэтому при изучении культуры особое значение приобретает задача выявления наиболее содержательного типа источников. Вместе с тем, наряду с выявлением наиболее релевантных и содержательных источников, я стремился привлечь нетрадиционные для исследований по истории культуры источники, которые позволили бы высветить новые грани проблем истории культуры.

В работе использована делопроизводственная документация органов государственной власти (центральных и местных учреждений) и городского самоуправления, представленная перепиской вышестоящих инстанций с низовыми учреждениями управления, отчетами, журналами заседаний городских дум, магистратов, губернских правлений, а также рапортами, указами, запросами, ответами на запросы, прошениями и другими материалами.

Заметное место в книге занимают судебно-следственные материалы, позволяющие исследовать многие стороны культуры горожан, особенно их представления о чести, престиже, власти, социальном статусе и сословном устройстве общества. Наряду с этим отдельные судебно-следственные дела содержат данные, благодаря которым история некоторых учреждений культуры обрастает новыми, неизвестными ранее и весьма важными в социальном и культурном плане подробностями.

По своему происхождению к этим источникам близки использованные материалы из фондов III Отделения. Но типологически это иные документы: донесения о настроениях населения, об откликах горожан на важные события государственной жизни, а с 1840-х гг. характеристики чиновников высшего и среднего звена аппарата местного управления, а также наиболее влиятельных частных лиц.

Для изучения многих явлений городской культуры исключительно важны нарративные источники, в первую очередь этнографические материалы, а также различные статистические, историко-статистические, историко-географические и военно-топографические описания. По степени насыщенности информацией о городской культуре среди них выделяются этнографические описания. Значительный массив их относится к концу 1840-х – середине 1850-х гг. и является ответом на программу Императорского русского географического общества.[1] Несомненное достоинство этнографических материалов, присланных в Общество, в том, что они представляют относительно однородный массив источников, созданных на основе непосредственных наблюдений над бытом горожан и крестьян в различных регионах России в одно и то же время. Их авторы не были профессиональными исследователями и имели разный уровень образования, но всех их сближает одно обстоятельство: все они за редчайшими исключениями хорошо знали предмет, о котором писали.

Вместе с тем, ориентация анкеты Географического общества на выявление этнической специфики и первоочередное внимание к сохранившимся остаткам старины привели к перекосу во многих этнографических описаниях в сторону фиксации именно этих элементов городской культуры в ущерб культурным новациям. Весьма типичной в этом отношении является рукопись 1849 г. штатного смотрителя торопецких училищ Ивана Глуховского «Некоторые черты из жизни Торопецких граждан». Автор вначале детально описывает старинный женский городской костюм, в результате описания создается впечатление полной культурной архаики, а затем он делает примечательную оговорку: «впрочем, в настоящее время обыкновение белиться и румяниться исчезает, равно как оставляются и деревенские костюмы: уже половина торопецких женщин ходит в немецком платье».[2] К сожалению, на подобные уточнения оказались способны далеко не все этнографы-любители. Поэтому сведения,

---

1 См. подробнее: *Громыко М.М.* Трудовые традиции русских крестьян Сибири (XVIII – первая половина XIX века). Новосибирск, 1975. С. 14 – 18.

2 *Зеленин Д.К.* Описание рукописей Ученого архива императорского русского географического общества. Вып.3. Пг., 1916. С. 1140.

сообщенные в этнографических описаниях, касающиеся распространенности тех или других культурных явлений, бытовых традиций, часто требуют проверки другими источниками. При некоторых недостатках этнографических описаний середины XIX в., ориентированных на анкету Географического общества, они, несомненно, дают богатую информацию для исследователей. Более ранний массив нарративных источников – историко-статистические, топографические, камеральные описания губерний последней четверти XVIII в. – несопоставим с этнографическими описаниями середины XIX в. В источниках последней четверти XVIII в. не обращалось никакого внимания на особенности быта городского населения. Пункты инструкции, на которые надлежало ответить составителям описаний, адресовали такие вопросы лишь к крестьянскому быту.

Анализ ментальности, чувств, эмоций и представлений горожан связан прежде всего с использованием источников личного происхождения: дневников, писем, мемуаров, автобиографий.

Для середины XIX в. заметную роль играют материалы периодики, особенно после появления в губернских городах местных газет. При этом информативность «губернских ведомостей» в разных городах была далеко не одинаковой. Наиболее ценными для исследования являются «губернские ведомости», издававшиеся в Томске и Тобольске. Содержательная бедность периодики в Тверской губернии отчасти компенсируется корреспонденциями, посвященными городской культуре, в петербургских или московских газетах. Еще хуже в периодике того времени отражена культура уездных городов Московской губернии.

В работе использовались литературные произведения: очерки, рассказы, повести, романы, стихотворения и поэмы, созданные писателями-современниками. Особое внимание уделялось писателям «второго ряда» (Булгарин, Левитов, Помяловский и др.), произведения которых содержат часто очень важные подробности различных сторон городской повседневности. Писатели, выведенные литературными критиками в классики, уделяли главное внимание душевным переживаниям своих персонажей и осмыслению ими проблем

бытия, поэтому в их произведениях важные для историка детали нередко отсутствуют. И напротив, таких подробностей немало у писателей «второго эшелона», не случайно некоторые из них вошли в литературу как «бытописатели». Эти беллетристы, происходившие из непривилегированных слоев городского населения, хорошо знали жизнь и мировосприятие своих героев. В своих сочинениях они использовали, нередко выделяя курсивом, пословицы, поговорки и характерные выражения, употреблявшиеся в купеческо-мещанской среде.

Для понимания многих сторон культуры горожан немаловажное значение имеют также визуальные источники: материалы изобразительного искусства (фотографии, картины, рисунки, литографии и др.). До недавнего времени эти источники, как и беллетристика, для исследования истории культуры нового времени использовались крайне редко, поскольку среди профессиональных историков господствовал взгляд, «что в любом художественном произведении содержится некая доэстетическая данность из области политики, экономики, социальной жизни, но считалось, что под воздействием художественных приемов она настолько деформируется, что перестает быть источником для научно-исторических исследований».[1] Однако в связи с тенденциями последних лет в мировой историографии (историко-антропологическим подходом, «лингвистическим поворотом») происходит переоценка значения литературы и искусства для исторического знания. Не осталась в стороне от этих тенденций и российская историография.[2]

Всего в работе использованы неопубликованные источники из 15 архивохранилищ Москвы, С.-Петербурга, Барнаула, Омска, Твери, Тобольска и Томска.

Изучение такого сложного явления, как культура доиндустриального города (ранняя урбанистическая культура), требует применения различных подходов и способов исследования.

---

1 *Соколов А.К.* Социальная история, литература, искусство: взаимодействие в познании реалий XX века // История России XIX – XX веков: Новые источники понимания. М.: Московский общественный научный фонд, 2001, С. 65.

2 История России XIX – XX веков: Новые источники понимания. М.: Московский общественный научный фонд, 2001. В последнее время источниковедческие проблемы использования произведений искусства активно обсуждаются на страницах журнала, редактируемого С.С. Секиринским «Историк и художник».

Исследование культурных практик горожан без выяснения истории возникновения и развития институтов культуры рискует превратиться в процесс конструирования и интерпретации смыслов кодов социального поведения и норм их прочтения, что является все же более специфическим предметом исследования интерпретативной антропологии или семиотики, чем истории. Равно как и традиционное институциональное изучение культуры страдает серьезным пороком, оставляя вне поля исследовательского внимания подавляющее большинство городского населения. А между тем, именно позиция этого «молчаливого большинства», его восприятие традиционных и новых институций, реализуемое в повседневной практике, и определяют судьбу социокультурных процессов. Мой подход базируется на сочетании методов и приемов, используемых в историко-культурных и историко-антропологических исследованиях.

Считаю своим долгом выразить искреннюю благодарность коллегам из Института российской истории РАН, проявившим интерес к моей работе. Особая признательность участникам семинара по истории частной жизни, работавшего в Институте всеобщей истории РАН. Посещение этого семинара, руководимого Ю.Л. Бессмертным, позволило мне по-новому взглянуть на некоторые проблемы исторического исследования. Я благодарен профессорам Дитриху Байрау, Бьянке Пиетров-Эннкер и Штефану Плаггенборгу за предоставленную возможность обсудить некоторые вопросы моего исследования на коллоквиумах в университетах Тюбингена, Констанца и Марбурга. Мои коллеги – Ингрид Ширле и Ян Пламппер из университета Тюбингена читали в рукописи отдельные главы этой книги и высказали несколько ценных замечаний, которые я учел в своей работе.

Хочу выразить свою признательность Российскому гуманитарному научному фонду, Московскому общественному научному фонду, фонду Института «Открытое общество», германской службе академических обменов (ДААД), оказавшим финансовую поддержку на разных этапах моего исследования. Особая благодарность фонду «Cerda Henkel Stiftung», благодаря финансированию которого и была завершена работа над этой книгой.

Глава I.

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА РУССКОГО ГОРОДА

Горожане и образование

Что представляли собой города рассматриваемых регионов, сколько их было, какова была численность городского населения? Без ответов на эти вопросы трудно понять город как культурную среду.

В 1811 г. в 28 городах Московской (без Москвы) и Тверской губерний проживало 105 667 человек. В группе самых малонаселенных городов (до 1 тыс. чел.) было 4 города с населением 3,2 % от общего числа городских жителей двух губерний. В 9 городах с населением от 1 до 2 тыс. человек проживало 12,5 % горожан. В 8 городах, имевших от 2 до 5 тыс. населения, жил каждый четвертый (24,3 %) городской обитатель. Серпухов, Вышний Волочок, Осташков, Коломна и Ржев – каждый насчитывал от 5 до 10 тыс. жителей – всего 33,5 %. Границу в 10 тыс. человек превысили лишь два города – Торжок и Тверь, где было сконцентрировано 26,4% всех горожан Центра.

В 1858 г. городское население Центра увеличилось почти вдвое, достигнув 205 152 человек. «Карликовые» города перешли в следующие группы: Богородск составил компанию Звенигороду и Красному Холму (население от 1 до 2 тыс.); Корчева, Подольск, Воскресенск, к которым добавилось и новое городское поселение – Павловский Посад, поднялись на ступень выше, попав в ранг городов с численностью от 2 до 5 тыс. чел. Эта группа городов оказалась самой распространенной – 13 поселений, но не самой людной – 21,2 % всех горожан. Количество

городов, насчитывавших от 5 до 10 тыс. человек, изменилось незначительно – с 5 до 6, но все города, входившие в эту группу в 1811 г., за исключением Осташкова, переместились в следующую группу из 6 городов (население больше 10 тыс. чел.), в которую вошел также Сергиев Посад. Вместе с Тверью, которая попала в 1858 г. в разряд крупных поселений (больше 25 тыс. чел.), в этих городах проживало 55,5% всего городского населения. Среднестатистический город вырос по сравнению с 1811 г. в 1,9 раза и составил 7074 человек.

В 15 городах Западной Сибири (без учета жителей Барнаула, которых было более 5 тыс.) в 1811 г. проживало 61 910 человек. Средний размер западносибирского города оказался выше, чем центрально-нечерноземного: 4127 против 3736.

В группе «карликов» (меньше 1 тыс. жителей) находились 3 города (Каинск, Березов и Курган) с населением 3,9% (от общего числа жителей). Малонаселенных городов (1 – 2 тыс. чел.) было также 3 – 7,1%. В 5 малых городах (2 – 5 тыс. чел.) проживало 36,3% жителей региона. Следующая группа (5 – 10 тыс. чел.) включала 3 города (Петропавловск, Тюмень и губернский Томск) – 37,6%. И лишь в губернском Тобольске насчитывалось около 17 тыс. человек – 28,4% всех горожан Западной Сибири.

К 1858 г. в Западной Сибири самые мелкие городские поселения (Тюкалинск и Березов) перебрались в следующую категорию – малолюдных, в которую опустился и Кузнецк. В этих 3 городах проживали 3,9 % всех горожан региона. Население северного Нарыма, напротив, сократилось почти на 200 человек и составило 891 чел. (0,8 %). Группа малых городов (2 – 5 тыс. чел.) оказалась самой типичной для того времени и насчитывала 9 поселений – 25,4 % общей численности городских жителей. 8,6 % горожан жили в Петропавловске, который оказался единственным из городов с численностью от 5 до 10 тыс. чел. В то время как в 1811 г. доля таких городов составляла 36,3 %. Лишь в 5 городах (Омске, Тобольске, Томске, Барнауле и Тюмени) насчитывалось более 10 тыс. человек, но именно в них было сконцентрировано около 2/3 (61,3 %) всего городского населения Западной Сибири. Средний размер западносибирского города за прошедшие с 1811 г. 45 лет вырос до 6044 человек, или на 68,3 %.

Таблица 1.

Население городов Центра и Западной Сибири** в 1811 и 1858 гг.*

Величина города (человек)	1811 г.						1858 г.					
	Центр			Западная Сибирь			Центр			Западная Сибирь		
	города	население		города	население		города	население		города	население	
	колич.	чел	%	колич.	чел.	%	колич.	чел.	%	колич.	чел.	%
До 1000	4	3337	3,2	3	2424	3,9	-	-	-	1	891	0,8
1000 – 1999	8	11783	11,2	3	4374	7,1	3	4859	2,4	3	4446	3,9
2000 – 4999	9	27850	26,4	5	15709	25,4	13	43933	21,2	9	29208	25,4
5000 – 9999	5	35054	33.2	3	22469	36,3	6	42944	20.9	1	9926	8,6
10000 – 24999	2	27643	26,2	1	16934	27,4	6	86238	42	5	70367	61,3
Свыше 25000	-	-	-	-	-	-	1	27718	13.5	-	-	-
ИТОГО	28	105667	100	15	61910	100	29	19		19	114838	100
Средняя численность городского населения (чел.)	3736			4127			7074			6044		

* Тверь, Торжок, Ржев, Коломна, Осташков, Вышний Волочок, Серпухов, Калязин, Дмитров, Верея, Кашин, Бежецк, Старица, Сергиев Посад, Весьегонск, Можайск, Руза, Зубцов, Красный Холм, Волоколамск, Бронницы, Клин, Погорелое городище, Звенигород, Корчева, Подольск, Богородск, Воскресенск, Павловский Посад (только в 1858 г.).

** Тобольск, Тюмень, Томск, Петропавловск, Омск, Барнаул (нет данных за 1811 г., в 1825 г. численность населения 8749 чел.), Тара, Туринск, Кузнецк, Бийск, Ялуторовск, Ишим, Нарым, Каинск, Березов, Курган, Колывань (только в 1858 г.), Мариинск (только в 1858 г.), Тюкалинск (только в 1858 г.).

Источники: *Герман К.* Статистические исследования относительно Российской империи. Ч.1. СПб., 1819; Городское население Российской империи. Т.4., СПб., 1864, Т.5. СПб., 1865.

Демографический рост среднего размера городского поселения в Центре опередил Западную Сибирь: 189 % против 168 %. Сегодня мы бы отнесли все эти города к категории малых городов. Однако у современников были свои критерии оценки размеров численности городских поселений. Большими считались города с населением более 25 тыс. человек, средними – от 5 до 25 тыс., малыми – менее 5 тыс. человек.[1]

Впрочем, численность населения или официальный статус поселения (губернский, уездный, заштатный город) не являются единственными факторами, влияющими на культурную среду города, которая создается горожанами и которая, в свою очередь, формирует горожан. Исключительную роль в освоении культуры играет система народного образования и культурно-просветительских институтов. Именно она и создает тот культурный потенциал общества, благодаря которому культура усваивается в различных социальных слоях и обладает способностью к дальнейшему развитию при благоприятных социально-экономических и политических условиях.[2] Культура общества испытывает своеобразный тест на прочность во времена острых социальных кризисов. Один из таких кризисов – Крестьянская война 1773 – 1775 гг. – и выявил несоответствие культурного потенциала российского общества, включая господствующий класс, задачам государственного управления и сохранения незыблемости социального строя Российской империи. Еще раньше просвещенному меньшинству общества было заметно и другое несоответствие – культурного потенциала общества запросам социально-экономического развития страны (внедрению новых технологий в промышленности и в сельском хозяйстве). Стало очевидно, что система профессионального обучения не в состоянии ответить на вызов времени, поэтому необходимо охватить новой системой образования все сословия. Серьезным шагом для решения этих задач стала реформа 1786 г., которая впервые в истории России создала систему народного образо-

---

1 Статистические таблицы Российской империи за 1856 год. Вып.1. СПб., 1858. С. 298.

2 Очерки русской культуры XIX в. Т.3. Культурный потенциал общества. М.: Из-во Моск. Ун-та, 2001. С. 1 – 9.

вания.[1] В губернских городах планировалось учредить главные народные училища, а в уездных – малые народные училища. По замыслу Екатерины II создаваемая школа должна была воспитывать просвещенных верноподданных. Поэтому программы учебных заведений были проникнуты духом просвещения, гуманности и характеризуются энциклопедичностью. О масштабах преобразований свидетельствуют данные о числе учебных заведений. Так, в 1785 г. в стране было всего 12 общеобразовательных школ, а в 1786 г. уже 165. Непрерывный рост народных училищ продолжался до 1793 года включительно, затем наступила стабилизация сети учебных заведений.[2]

Однако эти данные, отражающие количественную сторону проведенной работы, еще не позволяют ответить на вопрос, как отнеслись горожане к создаваемой правительством общеобразовательной школе. Этот вопрос интересовал и Комиссию о народных училищах, учрежденную в 1782 г. В 1788 г. Комиссия поручила О.П.Козодавлеву провести ревизию школьного дела в 10 наместничествах Европейской России. В своем отчете он писал, что во всех главных народных училищах число учеников в 3 и 4 классах очень мало – по причине того, что родители учащихся «не видят цели учения, в высших классах преподаваемого. Они почитают, что детям их нужны токмо предметы двух нижних классов, да и то по причине чтения и чистописания, а прочие науки почитают они бесполезными... Всякий знает, что для снискания места в гражданской службе нужно одно токмо чистописание...»[3] Такова была общая ситуация с формированием системы общеобразовательной школы и отношением родителей к школьному обучению в конце XVIII в. Во всяком случае, так виделись проблемы школы чиновникам ведомства народного просвещения. Логическим выходом из создавшейся в сфере народного образования ситуации в начале XIX в. стало преобразование в 1804 г. главных училищ в гимназии, а малых – в уездные училища. В ходе реформы была выстроена единая система народного образования: элементарное (приходские учили-

---

1 Очерки русской культуры XVIII века. Ч.2. М.,1987. С. 273.

2 Сборник материалов для истории просвещения в России. Т.1. СПб., 1893. С. 339 – 340.

3 *Сухомлинов М.И.* История Российской Академии. СПб., 1876. Вып.6. С. 46.

ща), начальное (уездные училища), среднее (гимназии) и высшее (университеты).

Как протекало становление системы государственной школы в отдельных регионах и какой была реакция местных городских обществ на эти процессы? Историк М.Т. Белявский писал, что в 1780-е гг. в городах Московской губернии была создана сеть народных училищ. До конца века в уездных городах было открыто 9 двухклассных народных училищ, в которых обучалось 339 учеников. В Москве функционировали главное народное училище и 17 малых народных училищ, где было 1497 учащихся.[1] Для ответа на интересующие нас вопросы этих обобщенных данных недостаточно. Обратимся к архивным документам, раскрывающим динамику процесса и позволяющим уточнить детали становления школьной системы. В Московской губернии первые малые народные училища в уездных городах были открыты 8 марта 1787 г. в Серпухове, Подольске и Клину. В июне того же года училище появилось в Дмитрове. А 1 ноября 1787 г. «возобновлено открытием народное училище» в Можайске. В следующем году открылись народные училища в Коломне, Сергиевом Посаде, Верее, Воскресенске, Рузе, Звенигороде и Бронницах. В 1790 г. начало работать училище в Волоколамске, а в 1793 г. – в Никитске.[2] Таким образом, сеть народных училищ в уездных городах Московской губернии была создана менее чем за два года и охватывала не 9, а 12 городов. А в 1790 – 1793 гг. она распространилась еще на два города Московской губернии.

В соседней, Тверской, губернии сеть общеобразовательных училищ в городах была создана еще до реформы 1786 г. Здесь важную роль сыграли учреждение Тверского наместничества и активность его первого главы. Проводником просветительской политики в деле создания сети общеобразовательных школ стал приказ общественного призрения, ведавший народным образованием. В 1776 г. в Твери было открыто училище для детей горожан. В 1777 г. учреждены школы в окружных городах наместничества: Бежецке, Весьегонске, Вышнем Волочке, Зубцове, Калязине, Кашине, Осташкове, Ржеве, Старице и, вероятно,

[1] *Белявский М.Т.* Школа и система образования в России в конце XVIII в. // Вестник Московского университета. 1959. № 2. С. 110.

[2] РО РГБ. Ф.178. № 7638. Л.4 об., 7, 8 об., 11, 11об., 12 об., 17, 25.

в Торжке. В 1781 и 1782 гг. училища были организованы в двух оставшихся городах: Красном Холме и Корчеве.[1]

Первые итоги реализации плана формирования системы общего образования в рассматриваемых регионах были далеко не одинаковы. В Московской и Тверской губерниях был достигнут несомненный успех. В 1787 – 1793 гг. во всех городах Московской губернии и в 1776 – 1782 гг. во всех городах Тверской губернии были созданы народные училища. Впрочем, история народного просвещения в рассматриваемое время не выглядит как однолинейный процесс распространения просвещения «вширь» и «вглубь». С 1797 г. сеть общеобразовательных школ в Центре стала не столь плотной. Административная реформа Павла I сократила число уездных городов, что привело и к ликвидации училищ в Бронницах, Подольске, Никитске и Сергиевом Посаде. И все же в 9-ти из 12 уездных городов Московской губернии и в 10 из 11 городов Тверской губернии к началу XIX в. действовали большие и малые народные училища. В Западной Сибири достижения оказались значительно скромнее: лишь в 7 городах появились школы, а в 9 других их не удалось учредить.[2]

Первые годы правления Александра I характеризуются либеральными преобразованиями, к числу которых относится и реформа народного просвещения 1804 г. Впервые в истории страны Устав 1804 г. создавал стройную систему в сфере образования. Приходские, уездные училища, гимназии и университеты имели преемственность обучения и должны были готовить учеников к переходу в учебное заведение высшей ступени. Вместе с тем, каждая из этих ступеней имела определенную завершенность и давала уровень образования, необходимый, по мнению ее инициаторов, для каждого сословия.

Однако реализация Устава 1804 г. растянулась на многие годы. Историки народного просвещения справедливо называют в качестве причин медленной реализации рефор-

---

1 Генеральное соображение по Тверской губернии, извлеченное из подробного топографического и камерального по городам и уездам описания 1783 – 1784 гг. Тверь, 1873. С. 34, 45, 54, 64, 72, 81, 91, 103, 116, 126, 138, 153.

2 *Рождественский С.В.* Очерки по истории систем народного просвещения в России в XVIII – XIX вв. Т.1. СПб., 1912. С. 606.

мы масштабность преобразований, отсутствие необходимого числа педагогов, предубеждения общества против общеобразовательной общесословной школы, неготовность городских обществ поддержать своими средствами новые училища, слабое финансирование школы со стороны государства. Исследовательница Е.К. Сысоева даже пишет, что отчисления из бюджета на нужды народного образования «были мизерными и имели тенденцию к сокращению: в 1804 г. – 2,3%, в 1809 г. – 1,3%, в 1812 г. – 0,8%, в 1815 г. – 0,9% ».[1] Если с первой частью этого утверждения нельзя не согласиться, то вторая нуждается в уточнении. Сокращение затрат на народное просвещение происходило относительно других статей государственных расходов, в абсолютном выражении они сохранились на прежнем уровне.[2] Несомненно, такое финансирование в условиях инфляции не способствовало появлению новых общеобразовательных учебных заведений. В полной мере это сказалось на уездных городах Западной Сибири.

Правительство действительно стремилось переложить бремя расходов на содержание приходских и уездных училищ на плечи подданных. Но это стремление было не единственной причиной сокращения доли бюджетных расходов государства на школу. Вероятно, в большей степени в этом была повинна амбициозная внешняя политика Александра I. В условиях непрекращающегося военного противостояния с Францией и других вооруженных конфликтов правительство вынуждено было пойти на увеличение военных расходов. Другим негативным фактором, препятствовавшим расширению сети общеобразовательных школ, стали административные преобразования.

На этом обстоятельстве следует остановиться подробно. Существовала ли зависимость между статусом города и наличием в нем учебного заведения? Н.А. Четырина, подводя итоги становления школьного дела в Сергиевом Посаде в 1785 – 1797 гг., приходит к заключению, что «развитие такого

1 *Сысоева К.К.* Народная школа // Очерки русской культуры XIX века. Т. 3. С.16.

2 *Блиох И.С.* Финансы России в XIX столетии. История статистики. Т.1. СПб., 1882. С.152.

специфического элемента городской жизни, как школа, не всегда зависело от статуса городского поселения, – то есть от того, был ли это уездный город или посад».[1] Такой вывод исследовательница делает из того факта, что училище было учреждено не в уездном Богородске, а в Сергиевом Посаде, не являвшемся административным центром. Однако, выходя за рамки одного уезда, хотя бы на губернский уровень, следует констатировать, что подобная ситуация являлась исключением, действовавшим лишь в 1780-х – 1790-х гг. Потеря уездного статуса вела к тому, что города, выведенные «за штат», как правило, лишались и народного училища. Более того, возвращение в 1802 г. в ранг уездного центра Бронниц, Богородска и Подольска не способствовало восстановлению в них училищ Министерства народного просвещения. Изменение статуса городов, наряду со стремлением государства перенести центр тяжести финансирования школьного образования на плечи горожан, привело к тому, что в благополучной Московской губернии из 14 народных училищ в 1793 г. в уездных городах к 1808 г. они сохранились лишь в 9 городах.[2]

Реформа общеобразовательной школы 1804 г. в рассматриваемых регионах наиболее оперативно осуществлялась в Московской губернии. Там с 22 мая по 1 июня 1805 г. в Коломне, Серпухове и Верее малые народные училища были преобразованы в уездные училища.[3] В ноябре 1805 г. в Дмитрове, а в декабре 1806 г. в Волоколамске, Звенигороде, Рузе и Можайске открылись уездные училища. При проведении реформы первоочередное внимание обращалось на учреждение уездных, а не приходских училищ. В Московской губернии открытие уездных училищ было обставлено весьма торжественно, с участием министра просвещения, попечителя Московского учебного округа и директора училищ Московской губернии, а также местных чиновников, военных, духовенства и горожан. Иногда торжества сопровождались довольно крупными пожертвованиями. Так, в Коломне командир кирасирского полка, генерал-

---

1 *Четырина Н.А.* Сергиевский посад в конце XVIII – начале XIX вв. М., 2006. С. 266.

2 РО РГБ. Ф.178. № 7638. Л. 85 – 85 об.

3 Там же. Л. 64 об.

майор Павел Васильевич Потулов внес 100 руб., городничий, коллежский асессор А.Н. Рубецкой – 50 руб., именитый гражданин и коммерции советник Иван Ильич Ложешников пожертвовал 100 руб. на заведение библиотеки, члены магистрата «на такое же употребление» 100 рублей и 2-ой гильдии купец Иван Резцов «обще с купцом 3-ей гильдии Афонасьем Лахотиным двадцать пять рублей».[1]

Следующим шагом реформы стала организация приходских училищ. Одновременно оба типа учебных заведения были созданы лишь в Коломне и Серпухове. Приходские училища открылись также в 1809 г. в Верее и в 1812 г. в Дмитрове. В апреле 1812 г. городское общество Можайска «положило производить ежегодно из городских доходов по 150 руб. на содержание учреждаемого в городе Можайске приходского училища».[2] Это время характеризуется гибкой позицией властей, которые не настаивали на непременном строительстве школьных зданий, но, учитывая местные реалии, разрешали открывать школы в нанимаемых домах. В Верее приходское училище разместилось в собственном доме дьякона Ивана Прохорова, определенного учителем. В Клину малое народное училище 29 ноября 1810 г. возобновило деятельность в доме священника Ивана Петрова, определенного учителем с жалованьем 100 руб. в год «за содержание и учение».[3]

В Западной Сибири процесс реформирования школьной системы растянулся на многие годы. Если в Тобольске главное народное училище довольно быстро, в 1810 г.,[4] преобразовали в гимназию, то в другом губернском городе, Томске, гимназия появилась лишь в 1838 г.[5], хотя народное училище существовало в городе с 1789 г. В Западной Сибири преобразование малых народных училищ в уездные существенно

1 Там же. Л. 65 – 65 об.

2 Там же. Л. 66 – 67, 89 об., 116, 116 об.

3 Там же. Л. 104.

4 *Замахаев С.Н., Цветаев Г.А.* Тобольская губернская гимназия. Историческая записка о состоянии Тобольской гимназии за 100 лет ее существования. 1789 – 1889. Тобольск, 1889. С. 48.

5 Торжественный акт в Томской губернской гимназии // Томские губернские ведомости. 1859. № 5.

задержалось по сравнению с ходом реформы в центре страны. Массовое открытие уездных училищ произошло лишь осенью 1817 г., когда они появились в Таре, Ишиме, Кургане, Ялуторовске, Тюмени и Туринске, а в следующем году – в Нарыме. Значение этого события для общественной и культурной жизни города не следует недооценивать. Произошла не простая смена вывесок на фасаде учебных заведений, но именно учреждение новых училищ. Об этом свидетельствует и отношение горожан разных сословий к этому событию. В Тюмени при преобразовании училища 19 купцов, 10 чиновников, 2 духовных лица пожертвовали на нужды просвещения 361 руб. В Кургане чиновники, бургомистр, трое мещан и саратовский купец Егор Курсиков передали училищу 377 руб. и пособия на сумму 100 руб. В Ишиме жители собрали для училища 610 руб., а также подарили книг и вещей на сумму 156 руб. В Ялуторовске на приходское училище, учреждаемое при уездном, 9 чиновников и московский мещанин Егор Белоусов пожертвовали 105 руб. Кроме этого, купец 2-й гильдии Яманаков «пожертвовал собственный дом на один год под училище, угощал завтраком духовенство, чиновников и почетных граждан». В Таре пошли еще дальше: купеческое и мещанское общества передали безвозмездно 450 руб. и дом, купленный для «народного училища». Наиболее активную роль играли городской голова Василий Филимонов и бургомистр Зубов, как доносил начальству смотритель тарского уездного училища Матвей Неводчиков. Не остались в стороне от этого начинания и чиновники: 14 человек выделили от 2 р. 50 коп. до 15 руб. на поддержку школы, а купец Федор Чудин пожертвовал 50 руб.[1]

Для Кургана, где до 1817 г. не существовало никаких общеобразовательных школ, открытие уездного училища имело особое значение.[2] Инициатором его устройства выступил в 1814 г. директор училищ Тобольской губернии А.И. Арнгольдт, который предлагал открыть и приходское училище.

---

1 ГАОО. Ф.2. Оп.1. Д. 325. Л. 2 – 10 об.

2 История курганской школы подробно изложена в работе *Михащенко А.Л.* Становление и развитие образования в российской провинции в 1719 – 1917 годах. Курган: Из-во Курганского государственного университета, 2004. С. 67 – 94.

Занятия в училище начались 11 сентября 1817 г., а торжественное открытие состоялось 7 ноября 1817 г. в присутствии директора Тобольской гимназии И.А. Набережного. В первый класс было зачислено 26 мальчиков, во второй – 8, из числа ранее обучавшихся у частного учителя – ссыльного дворянина И.О. Ольшевского. Историк народного просвещения А.Л. Михащенко в одном случае именует его малороссийским шляхтичем, а в другом – поляком. Учитывая, что при открытии училища его семилетняя дочь читала стихи на польском языке, последнее, видимо, точнее. В Курган Игнатий Ольшевский попал в 1814 г. транзитом через соседний Ялуторовск, где он также обучал детей. В конце 1810-х – начале 1820-х гг. Ольшевский был не единственным частным учителем, составлявшим конкуренцию школе, поэтому смотритель училища Е.М. Кочурин просил городничего запретить преподавание частным учителям, исключая тех, которые имеют узаконенные свидетельства. Такое свидетельство смог представить лишь Ольшевский, других учителей из числа поселенцев городничий просто выслал из Кургана. С 1818 г. Ольшевский стал работать в приготовительном классе уездного училища.[1]

Открытие уездных училищ превращалось в общегородское событие, в котором участвовали чиновники, наиболее уважаемые и влиятельные лица, духовенство, родители, учащиеся. В этот день служили молебны, а иногда устраивали и крестные ходы, освящали заведения, говорили по случаю речи о необходимости просвещения, организовывали завтраки или обеды для гостей. Наиболее масштабные торжества в связи с открытием училища имели место в Ялуторовске. 21 октября 1817 г. 26 учеников уездного училища в сопровождении учителя и директора училищ Тобольской губернии Набережного отправились в собор, где после литургии слушали наставления священника по случаю открытия в городе школы. Из собора в училище возвращались крестным ходом, «при пении градскими певчими приличных сему случаю стихов, при сопровождении всех чиновников города Ялуто-

1 Там же. С. 85.

ровска и многочисленного стечения народа, ученики тем же порядком шли за святыми иконами в училищный дом...» Там торжества с обязательным молебном, пением многолетия царю и всей августейшей фамилии продолжились. Последнее действо сопровождалось 11-ю пушечными выстрелами. Затем читались соответствующие речи, и «следовал кант в честь купца Быкова, построившего под уездное училище каменный дом», а также исполнялись и некоторые концертные произведения. По окончании торжественной части Быков угощал собравшихся завтраком в собственном доме. А вечером им же дом училища был иллюминован, «и пред окнами на площади выставлены были прозрачные щиты, сделанные из разноцветных шлифованных стекол с вензелями их императорских величеств: Александра Павловича, Елисаветы Алексеевны и Марии Федоровны».[1]

Алексей Данилович Быков, подаривший училищу дом, оцененный в 3226 руб. 20 коп., был социально активным гражданином. Он выстроил в городе две церкви, «с употреблением собственного капитала украсил и отделал оные церкви приличным таковым зданиям образом». Не чурался Быков и общественных служб: был городовым старостой, «депутатом по разным городовым делам», заседателем тобольского приказа общественного призрения. При этом сам Быков не принадлежал к числу сибирских толстосумов. В ходатайстве сибирского генерал-губернатора Пестеля о награждении его медалью от 12 октября 1817 г. он назван ялуторовским мещанином, а его состояние определено как «весьма посредственное».[2]

Из обычного хода открытия уездных училищ неожиданно выбился небольшой уездный город Томской губернии Каинск, значительную часть населения которого составляли ссыльные евреи и цыгане. Но инициатива учреждения в городе уездного училища принадлежала не им, а учителю Денису Ивановичу Чудинову. На свои деньги (1580 руб.) он купил дом для училища, а в августе 1818 г. начал обучение 12 мальчиков, не дожидаясь официального открытия училища,

1 Там же. Л. 7 – 7 об.

2 РГИА. Ф.733. Оп. 39. Д. 224. Л. 1 – 1 об., 5 – 6 об.

которое произошло 12 марта 1822 г.[1] Для учителя из чиновников, разночинцев или духовных лиц такая щедрость была невозможна, но Чудинов, принадлежавший к купечеству, обладал средствами, достаточными для совершения такого неординарного поступка.

Одной из главных проблем при организации школ была нехватка удобных зданий, принадлежавших городу, которые можно было бы использовать для размещения учебных заведений. Государство стремилось переложить ее решение на плечи горожан. Поисками благотворителей занимались на местах чиновники ведомства просвещения, городничие и лица, служащие при губернаторах. При этом часто проще было найти одного благотворителя, который пожертвовал бы свой дом или деньги на строительство, чем договориться с гражданами о «добровольном» взносе средств для строительства школы. Мотивы, которыми руководствовались благотворители, были различны: одни стремились получить за свои пожертвования правительственные награды, другие действовали из искреннего сочувствия делу просвещения, третьи хотели выторговать какие-либо местные льготы. На этом поприще особенно усердствовал тюменский купец 2-й гильдии Михаил Прасолов. Осенью 1790 г. он передал один из принадлежащих ему домов в ведение училища с 1-го января 1791 г. Согласно описи: «Дом деревянной постройки давнышней, под тесовой крышей, ветхой, в нем покоев теплых четыре...» Дом, по оценке дарителя, стоил 250 рублей. Прасолов соглашался передать дом училищу при условии, если его освободят от несения постойной повинности, но вскоре передумал и просил уволить его вообще «от всех личных городовых тягостей». Дума, естественно, ему в этом новом требовании отказала. Купец был недоволен, но переменить свое решение Прасолов уже не смог. Однако на этом предприимчивый купец не успокоился. Через три года, 20 февраля 1794 г., он подал в думу прошение, в котором предлагал перевести училище в другой принадлежавший ему дом, а просителю

[1] *Ноздрин Г.А.* Культурная жизнь города Каинска в XIX – начале XX в. // Города Сибири XVII – начала XX в. Вып. 2. Барнаул: Изд-во Алтайского университета. Барнаул, 2004. С.160.

вернуть старое здание, дарованное школе, так как на этом месте он надумал выстроить для себя каменный дом.[1]

При проведении реформы 1804 г. потребности государства, общества и объективные интересы горожан имели общий вектор. Однако даже дворяне и чиновники не в полной мере разделяли взгляды правительства по вопросам предметного наполнения школьной программы. Не устраивало школьное образование во многом и «городское гражданство». В первую очередь купцам и мещанам не нравился «отвлеченный характер» преподавания, слабая связь общеобразовательных предметов с жизнью.

Сравнение хода реализации школьной реформы в Центральной России и Западной Сибири обнаруживает определенное временное отставание имперской окраины. Вместе с тем, и в Московской губернии реформа была проведена не везде одновременно. Так, в ведомостях об училищах за 1825 г. во всех городах показаны уездные и/или приходские училища, а в Клину – «малое училище».[2] Таким образом, в этом городе преобразование малого народного училища в уездное отстало даже от западносибирских городов на десятилетие!

Об отношении в различных социальных слоях общества к идее бессословной общеобразовательной школы можно судить и по пожертвованиям на нужды образования. В конце XVIII в. дворянство лидировало в этой сфере с большим преимуществом. Особенно активно в деле поддержки школьного дела оказалось дворянство Тверской губернии. Не отставало в этом вопросе и купечество Твери. Оно не только оказалось готово к переходу школьного образования на светские рельсы, но даже обратилось в 1767 г. в «Комиссию об уложении» с наказом, в котором излагалась программа училища для купеческих детей.[3] Образование Тверского наместничества ускорило создание в Твери одной из первых в России провинциальных школ для

---

1 Памятники тюменской деловой письменности 1762 – 1796 гг. Из фондов Государственного архива Тюменской области. Составитель *О.В. Трофимова.* Кн.II. Тюмень: Издат. Тюменского государственного ун-та. 2002. С. 96 – 97, 234, 360 – 362, 393.

2 ЦИАМ. Ф. 156. Оп. 1. Д. 530. Л. 2.

3 *Вершинский А.* Народное образование в Тверской губернии в XVIII в. // Материалы Общества изучения Тверского края. Тверь, 1928. Вып. 6. С. 50 – 52.

купеческих и мещанских детей. Открытие училища состоялось 23 мая 1776 г. Школа находилась в ведении Приказа общественного призрения, предоставившего ей каменный дом. Наместник М. Кречетников выделил необходимую мебель и учебные пособия. Содержалась школа в основном за счет платы за обучение, а недостающие средства дотировались из городского бюджета. Г.М. Дмитриева пишет, что работой школы руководил городской голова, в помощь которому были назначены два смотрителя: один от духовной семинарии, второй – от городового магистрата.[1] Вероятно, городской голова был все же не «руководителем», а попечителем школы. Такая практика существовала в некоторых городах Московской и Тверской губерний. В других городах смотрителей училищ в то время назначали из числа купцов и мещан.

По штату учебному заведению полагалось 6 учителей, но заполнить удалось лишь 3 вакансии. Первыми учителями стали протоиерей Владимирской церкви Василий Андреянов, семинарист Иван Галахов и купец Лев Тюльпин. Для наблюдения за порядком назначался офицер Тверского гарнизона. Учреждение школы встретило несомненное одобрение со стороны родителей. Так, из 234 купеческих и мещанских детей мужского пола в возрасте от 7 до 12 лет в школу было принято 80 мальчиков. Иначе говоря, каждый третий мальчик из купечества и мещанства оказался в этой школе. Этому, несомненно, способствовало и запрещение церковнослужителям обучать детей горожан на дому. Учебная программа регламентировалась предписаниями наместнического правления и была рассчитана на 2 года обучения. Программа включала чтение, письмо, начала русской грамматики и арифметики, рисование и Закон Божий. Первоначально обучение тем или иным предметам определялось желанием родителей. Плата за обучение была дифференцированной и зависела от сословного статуса родителей. Так, за обучение письму и чтению с детей купцов брали по 2 рубля в год, за изучение арифметики и рисования – 3 руб., а с детей мещан брали половинную плату. «Закону Божьему учили бесплатно. Сироты обеспечивались в школе питанием, одеждой, обувью и не платили за учение», –

[1] *Дмитриева Г.М.* Первая школа для горожан в Твери // Города Европейской России конца XVI – первой половины XIX века. Ч. 2. С. 365 – 366.

пишет Г.М. Дмитриева. Она же сообщает об оригинальной мере борьбы с плохой посещаемостью школьников в виде взимания штрафа с родителей за пропуски учениками занятий. Размер штрафных денег был не особенно велик – всего 5 копеек.[1]

В Твери развитие просвещения пошло двумя «параллельными» путями. Обучение детей граждан и дворян было раздельным. В 1779 г., через три года после учреждения училища для детей купцов и мещан, открылось дворянское училище.[2] С 1780-х гг. в Твери действовал дворянский пансион, что позволяло учиться в городе и детям уездных дворян. А с 1806 г. (в отчете тверского губернатора за 1808 г. указана иная дата учреждения заведения – 1807 г.) началось обучение юных дворянок в Институте благородных девиц, рассчитанном на 20 девочек.[3] Но если общегородские учебные заведения развивались и функционировали непрерывно и устойчиво, то с дворянским училищем все было не так благополучно. В 1822 г. оно было закрыто, а обучавшихся в нем дворянских недорослей направили в Московский благородный пансион. Такое положение не радовало родителей. Поэтому с 1837 г. дворянский пансион в Твери возобновил свою работу. Для обучения пансионеров нанимали помещение в уездном училище. К 1845 г. число учащихся в пансионе возросло с 24 до 50 человек, но к 1856 г. сократилось до 36, как пишет исследовавшая этот вопрос В.В. Чижова. Главную причину неудач при строительстве собственного училищного дома исследовательница видит «в бедности» тверского дворянства. Думается, такое объяснение страдает очевидной неполнотой – из-за некритического отношения к источникам, отразившим взгляд местного дворянства на причины училищного долгостроя. Тем более что с 1844 г. по 1856 г. на строительство здания пансиона было израсходовано 195 072 руб. Эти огромные по тому времени средства были собраны по подписке, а частью одолжены в Приказе общественного призрения. С 1817 г.

1 Там же. С. 366 – 367.

2 Генеральное соображение по Тверской губернии, извлеченное из подробного топографического и камерального по городам и уездам описания 1783 – 1784 гг. Тверь, 1873. С. 20.

3 РГИА. Ф. 1281. Оп. 11. Д. 145. Л. 114 об., 200 об.

помещики губернии платили с каждой принадлежавшей им ревизской души по 10 коп, затем этот сбор неоднократно повышался, достигнув 25 коп.[1]

Вообще-то тверское дворянство сочувственно относилось к образовательным проектам и в 1800 – 1801 гг. пожертвовало на школьное дело более 77 тыс. рублей, опередив даже Петербург и Москву. Однако история тверского дворянского пансиона лишь подтверждает банальную истину, что денег много не бывает. А недобросовестных подрядчиков и некомпетентных заказчиков хватает во все времена. Хотя средств было собрано немало, но распорядиться ими рационально в Твери так и не сумели.

В Тобольской губернии, где помещики отсутствовали как класс, пожертвования купцов и чиновников на нужды просвещения в эти же годы были значительно скромнее – 4480 руб.[2] Как следует расценить эти данные? Отставание от Твери, разумеется, впечатляет, однако в это время Тверская губерния лидировала в деле материальной поддержки народных училищ. Тобольская губерния по этому показателю оказалась на 11 месте в империи, всего лишь в 3,5 раза уступив Московской губернии, многократно превосходившей ее по численности населения. Учреждение главного народного училища в Тобольске в 1789 г. вызвало волну энтузиазма у чиновников и граждан. Городская дума, находя, что «учреждение главного народного училища в Тобольске есть великое благо для города, дающее путь к просвещению», выразила согласие взять на себя его содержание. Горожане единовременно пожертвовали 2727 руб. – по тем временам немалые деньги. Граждане также решили выделять на содержание училища ежегодно 1609 руб., остальные недостающие средства (820 руб.) должен был вносить местный Приказ общественного призрения. Однако уже с 1795 г. бремя расходов на училище граждане переложили на плечи государства.[3] Оче-

1 *Чижова В.В.* Тверская дворянская корпорация и проблемы развития образования в губернии в первой половине XIX в. // Города Европейской России конца XVI – XIX века. Ч. 2. С. 402 – 410.

2 *Рождественский С.В.* Указ. Соч. С. 603.

3 *Замахаев С.Н., Цветаев Г.А.* Историческая записка о Тобольской гимназии. Тобольск, 1889. С. 4, 5, 14.

видно, к этому времени первый всплеск энтузиазма, вызванного указом императрицы и, возможно, в какой-то мере инспирированного местной бюрократией, иссяк. А вековые традиции отношений между государством и гражданами приучили последних настороженно относиться к любым «благодетельным мерам» властей. Не менее важно и то, что субъективно граждане оказались не готовы к тому, чтобы нести финансовые затраты ради получения их сыновьями школьного образования.

Подобные настроения в еще большей степени были характерны для жителей уездных городов. Так, в 1790 г. в Кузнецке было открыто малое народное училище, но в 1798 г. дума отказалась его содержать, мотивируя свое решение тем, что для жителей города достаточно обучения и в частных школах.[1] И граждан можно понять. Действительно, где в мещанском и купеческом быту требовались знания, полученные в результате полного курса школьного обучения? Прагматизм сознания вкупе с низким уровнем благосостояния большинства горожан, включая и чиновничество нижних рангов, заставляли родителей ограничивать обучение детей лишь элементарным образованием. Однако для того, чтобы научиться читать, писать, знать четыре действия арифметики, совсем не обязательно было посещать учебное заведение. Этому издавна обучали частные учителя, которые составляли сильную конкуренцию педагогам, трудившимся на ниве казенного просвещения. В 1824 г. учитель переведенного из Нарыма в Кузнецк уездного училища Ананьев доносил начальству, что у него занимаются всего 14 учеников, в то время как несколько десятков мальчиков и девочек учатся у частных учителей, среди которых были комендантский писарь, унтер-офицерская вдова и канцеляристы присутственных мест.[2]

Требуя закрытия частных школ, педагоги не только отстаивали ведомственные интересы – они понимали ущербность домашнего образования в том виде, в каком оно могло осуществляться в провинциальном городе. В борьбе с конкурентами чиновники министерства пытались добиться

---

1 *Юрцовский Н.С.* Очерки по истории просвещения в Сибири. Новониколаевск, 1923. С. 49.

2 Там же. С. 114.

административного запрета деятельности частных учителей. В 1809 г. Эйбен, назначенный директором Тобольской гимназии, просил губернатора запретить лицам, не имеющим аттестата и дозволения от учебных заведений, обучать детей. Такую же просьбу в 1820 г. подал и другой директор этой гимназии Протопопов.[1] Эти факты подтверждают низкую эффективность действий административных запретов и одновременно привлекательность в глазах многих родителей частного обучения детей.

В сибирских городах домашними учителями нередко были ссыльные, некоторые из которых, как писал директор Тобольской гимназии начальству, являлись к нему за аттестатами, дабы получить официальное разрешение на педагогическую практику. Правительство, стремясь установить жесткий идеологический контроль над деятельностью учителей и умами учащихся, в 1813 г. запретило выдавать им соответствующие разрешения, ибо, по мнению министра народного просвещения, сосланным в Сибирь за порочность «не должно вверять обучение детей».[2]

Однако центральной власти не удалось прекратить учительскую деятельность ссыльных. Причины, по которым сибиряки охотно вверяли обучение своих детей образованным ссыльным, нельзя свести лишь к нехватке учителей и учебных заведений. Разумеется, этот фактор был весьма существенным. Показательно, что когда в 1855 г. дворянская девица Миллер под впечатлением от пребывания в Тобольской губернии заявила о «вредном влиянии» политических преступников на обучаемых ими детей сибиряков, ее донесение вызвало резкую отповедь даже со стороны начальника VIII округа корпуса жандармов Казимирского. Он не только назвал донос «химерическою» и «злобною» фантазией, но и подвел обоснование под желательность продолжения в сибирских условиях обучения детей политическими ссыльными: «При возникшем ныне стремлении родителей к образованию и обучению детей своих и совершенном отсутствии... почти во всех уездных городах Сибири, не исключая даже города Омска, других к тому средств,

1 *Замахаев С.Н., Цветаев Г.А.* Историческая записка... С. 70.

2 *Рождественский С.В.* Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. 1802 –1902. СПб., 1902. С. 77.

запрещение обучать детей политическими преступниками произвело бы два важных лишения: первое – для бедных чиновников-родителей... и второе – оно лишило бы куска хлеба неимущего обучателя...»[1]

Такой подход отражал точку зрения на данную проблему сибирских горожан всех сословий. Существенное значение для формирования такого подхода сыграла и особенность мировосприятия сибиряков, причем не только коренных жителей, но и людей, проживших в Сибири несколько лет и усвоивших тамошнюю шкалу ценностей, связанную с постоянным пополнением населения региона ссыльными. Современники не раз отмечали у сибиряков не только отсутствие презрения к ссыльным, но и сочувствие к ним. Не случайно их обычно называли «несчастными». Разумеется, в основе отношения к ссыльным лежали такие свойства характера, как милосердие, добросердечие, умение прощать обиды, которые покоились на христианской этике. В Сибири эти свойства национального характера были усилены. Как писал декабрист Н.В. Басаргин, от ссыльного «требовалось только, чтобы на новом месте он вел себя хорошо, чтобы трудился прилежно... В таком случае по прошествии нескольких лет ожидало его... уважение людей, с которыми ему приходилось жить и иметь дело».[2]

Попытки педагогов Министерства народного просвещения ликвидировать конкуренцию со стороны частных учителей не могли, разумеется, найти понимание и поддержку у граждан, которые доверяли домашнему обучению больше, чем казенной школе, по крайней мере в первые годы деятельности учебных заведений в городах. Вероятно, наибольшее разочарование в характере обучения в общеобразовательных учебных заведениях испытало купечество. Там, где купечество было многочисленным и более развитым в культурном отношении, оно пыталось преодолеть недостатки школьного образования за счет введения в программу предметов, необходимых для занятий коммерцией. В Москве пошли дальше, учредив в начале XIX в. два профессиональных учебных заведения: в 1804 г. Москов-

1 ГАРФ. Ф.109.1 экспед. 1855 г. Д. 348. Л. 23 об. – 24

2 *Басаргин Н.В.* Воспоминания, рассказы, статьи. Иркутск, 1988. С. 118.

ское коммерческое училище и в 1806 г. Московскую практическую коммерческую академию. Это были не первые специализированные учебные заведения финансово-экономического и торгово-экономического профиля. Впервые коммерческое училище было основано еще в 1772 г. И.И. Бецким на средства П.А. Демидова. Однако тогда оно так и не смогло обрести популярность и доверие среди московских купцов, в первую очередь из-за изолированности учащихся от их семей и той среды, в которой им предстояло действовать в будущем.[1] Это училище в конце XVIII в. даже перевели в Петербург. В новых же московских специализированных профессиональных учебных заведениях коммерческого профиля до Отечественной войны 1812 г. постоянно увеличивалось количество обучаемых детей из купеческих семей. Эти заведения составили сильную конкуренцию общеобразовательной школе. Особенно впечатляет рост их популярности накануне войны 1812 г., когда доля Московского коммерческого училища и Московской практической коммерческой академии в общей численности учащихся из купеческих семей за 4 года выросла с 18,3 % в 1808 г. до 52,4 % в 1812 г.[2] В провинциальных городах Центра и Сибири подобные заведения, разумеется, не могли появиться в то время из-за малочисленности купечества.

На распространении школьного образования в среде граждан негативно сказывалось и социально-психологическое наследие прошлого. Ю.А. Лотман и Б.А. Успенский отметили, что в XVIII в. «всякий интеллигентный труд престижно оценивался по самой низкой категории».[3] В результате отчуждение педагогов от общества, унаследованное от предшествующего периода, когда все носители новой, европеизированной культуры рассматривались народом как «чужие»,

---

1 *Козлова Н.В.* Организация коммерческого образования в России в XVIII в. // Исторические записки. 1989. С. 309.

2 См. подробнее: *Пилова О.Е.* Отношение к образованию в среде московского купечества конца XVIII – первой четверти XIX в. // Мировосприятие и самосознание русского общества (XI – XX вв.). М., 1994. С. 115 – 121.

3 *Лотман Ю.М., Успенский Б.А.* «Изгой» и «изгойничество» как социально-психологическая позиция в русской культуре преимущественно допетровского периода («свое» и «чужое» в истории русской культуры) // Уч. зап. Тартусского гос. ун-та. Вып. 576. Тарту, 1982. С. 121.

так и не было преодолено во многих провинциальных городах до середины XIX в. Общим местом исторических записок о губернских гимназиях и уездных училищах была констатация малоприятного факта: первоначально учебные заведения не встретили должной поддержки у горожан, которые не хотели отдавать в них детей и выделять для них средства из городского или семейного бюджета.[1]

Современники и историки народного просвещения называли разные причины прохладного отношения горожан к школьному образованию: трудность учебных программ, оторванность обучения от жизненных реалий, недоверие к казенной школе, бедность жителей. Не забывали и о социальном портрете и профессиональной подготовке самих педагогов, отмечая неудачный подбор педагогических кадров и нехватку учителей. Действительно, в отдельных городах педагоги немало сделали, чтобы вызвать у горожан отторжение. Например, в Кургане первый смотритель уездного училища К.С. Сосунов в 1820 г. проиграл казенные деньги и утопился в колодце. Учителя Воронов, Рихтер и Андреев постоянно ссорились, писали доносы, первые двое даже хотели разрешить свой конфликт на дуэли. Андреев же был уволен из училища за рукоприкладство.[2] Подобное поведение учителей не могло не оттолкнуть от школы многих родителей, которые стали забирать детей из училища и нанимать частных учителей. По настоянию директора тобольской гимназии смотритель курганских училищ Кочурин 8 февраля 1824 г. обратился к городничему с предложением о запрещении заниматься обучением детей Ольшевскому, который ушел из училища и успешно возобновил частную практику. Но городничий ответил, что распоряжение с его стороны о запрещении Ольшевскому и другим сделано, «но некоторые члены благородного сословия отказываются отдавать своих детей в училище».[3]

---

1 *Мещерин О.* Историческая записка о состоянии народных учебных заведений Томской губернии // Томские губ. вед. 1859. N. 7; *Замахаев С.Н., Цветаев Г.А.* Историческая записка... С. 74.

2 *Михащенко А.Л.* Общеобразовательная школа Южного Зауралья. Курган, 1993. С. 67 – 69.

3 *Немирова О.Г., Новикова Е.В., Уткина А.В.* Курганская школа в XIX – начале XX века. Курган, 1993. С. 27.

В региональных исследованиях по истории культуры в Сибири в первой половине XIX в. иногда делается вывод, что уровень обучения в сибирских учебных заведениях был ниже, чем в центре страны.[1] Если сравнивать с училищами Москвы и Петербурга, то с такой оценкой можно согласиться. Но был ли уровень обучения в провинциальных городах Центральной России выше, чем в Сибири? Автор юбилейного издания о Тверской гимназии Д.Крылов констатировал, что до 60-х гг. XIX в. «особого стремления к образованию не замечалось в обществе, поскольку гимназии не давали знаний, пригодных в практической жизни». Он отмечал и нехватку квалифицированных учителей, особенно в первые годы существования гимназии.[2] А ведь Тверь была не просто губернским городом, но одним из старинных русских политических и культурных центров! Ее отличало и выгодное географическое положение – между двумя столицами Российской империи. Но здесь были те же проблемы развития народного просвещения и такое же отношение к нему со стороны горожан, как и в городах Западной Сибири. Аналогичная ситуация наблюдалась, например, и в Нижнем Новгороде – другом центре региона традиционного проживания русских.[3]

Если ценность гимназического образования в глазах многих горожан была весьма сомнительна в течение всего рассматриваемого периода, то необходимость получения элементарного образования была усвоена достаточно быстро. Хотя и этот процесс протекал не всегда и не везде гладко. Например, в Калязине Тверской губернии первое учебное заведение было открыто в 1777 г., закрыто в 1794 г. и возобновило свою работу два года спустя. Однако в начале XIX в., как писал священник И.С. Беллюстин, «предубеждение против училищ еще было слишком сильно, как и против самой грамотности. Те немногие родители, которые уже осознали пользу ея, предпочитали вместо училища отдавать детей

---

1 *Маркова И.Б.* Досуг сибирских чиновников в первой половине XIX в. // Культурно-бытовые процессы у русских Сибири. XVIII – начало XX в. Новосибирск, 1985. С. 42.

2 *Крылов Д.* Столетие Тверской мужской гимназии. Тверь, 1904. С. 34.

3 ОПИ ГИМ. Ф.170. Д. 42. Л.12; РО РНБ. F.IV. № 861. Л. 108.

своих причетникам и дьяконам».[1] Просвещенный священник честно признавался, что он испытывает затруднение для объяснения этих предубеждений. Беллюстин предположил, что это могло быть связано с требованием властей о строительстве зданий для училищ.[2] Мне кажется, что такое объяснение справедливо лишь отчасти, так как правительство ставило такую задачу не перед родителями школьников, но перед городскими обществами, следовательно, если горожане не отдавали детей в школу, им все равно приходилось нести тяготы по устройству и содержанию училищ. Главная причина безразличия горожан к школьному образованию детей коренилась в ментальности купцов и мещан – носителей традиционной культуры. Для них школа была проявлением чуждой европеизированной дворянской культуры. Отсюда и предпочтение, отдаваемое частному обучению. Даже в конце 1850-х гг. педагоги жаловались на низкий престиж своей профессии в глазах жителей уездных городов. В 1859 г. в «Журнале для воспитания» были опубликованы две статьи на одну и ту же тему: положение учителей в уездных городах. Автор одной из статей В. Флорикс с горечью отмечал, что от городских сословий трудно ожидать любви к просвещению: «Каждый мещанин скорее согласится отдать сына своего в самую трудную работу, нежели в школу, отговариваясь тем, что его дед и отец не учились, так и внукам не к чему забивать голову безтолковщиною».[3] С его оценками солидарен и Р. Крылов, отмечавший, что общество в провинции заранее предубеждено против учителя и «ставит ему в насмешку и то, что он учоный». Показательно, что Р. Крылов говорит о предвзятом отношении к учителю в уездных городах и в дворянской среде. Он приводит характерную зарисовку с натуры – посещение учителем дома одного из местных «сановников». Родители его ученика просят обратить внимание на изучение их сыном французского языка, не обременяя другими предметами.

---

1 *Беллюстин И.С.* Из материалов для истории народного образования // Журнал Министерства народного просвещения. 1862. Апрель. С. 2 – 3.

2 Там же. С. 3.

3 *Флорикс В.* Несколько слов о приходских училищах и учителях // Журнал для воспитания. 1859. Т. 5. С. 191.

Учитель замечает, что наука еще никому не помешала. «Эх, батинька, прерывает его папенька, добродушно улыбаясь, да что ж ваше образование-то? Много ли оно вам даст хлеба? Вот мой брат полковником, а из второго класса».[1]

При таком взгляде большинства современников на образование власти вынуждены были побуждать горожан к открытию новых учебных заведений. Граждане этим убеждениям внимали, училища учреждали и, например, в Калязине в 1805 г. было уже два приходских и одно уездное училище. С точки зрения отчетности все выглядело бы в лучшем свете, если бы эти учебные заведения не оставались полупустыми. Пытаясь переломить ситуацию, директор училищ Тверской губернии Гениг 28 января 1808 г. предписывал калязинскому смотрителю училищ подать властям прошение «о строжайшем запрещении домашних, в Калязине находящихся училищ, яко противных воле государя императора и успеху народного просвещения».[2] Борьба чиновников увенчалась успехом. После введения запретительных мер против частных школ родители вынуждены были переориентироваться и стали отдавать сыновей в заведения ведомства народного просвещения.

Борьба за учеников между государственными заведениями и частными была характерна и для Московской губернии. Весной 1829 г. по просьбе директора училищ Московской губернии гражданский губернатор распорядился запретить преподавание всем лицам, которые не имеют на то законного права.[3] Эти меры не достигли своей цели, и 27 февраля 1830 г. директор училищ вновь поднял перед губернатором Н.Н. Небольсиным вопрос о запрещении частной преподавательской деятельности: «Многие из смотрителей уездных училищ Московской губернии доносят мне, что в тех уездных городах церковные служители обучают у себя в домах обывательских детей и делают чрез то вред училищам, для образования юношества заведенным, как тем, что, не имея достаточных сведе-

---

1 *Крылов Р.* Об отношении учителей к уездному обществу // Журнал для воспитания. 1859. Т. 5. С. 40 – 41.

2 *Беллюстин И.С.* Из материалов для истории народного образования. С. 3.

3 ЦИАМ. Ф.54. Оп.12. Д.1552. Л.1 – 1 об.

ний для преподавания, обучают не правильно, так и тем, что удаляют жителей от отдачи детей своих в казенные заведения».[1] Губернатор поддержал просьбу училищного начальства и предложил городничим прекратить деятельность незаконных школ и частных учителей. На практике городничим не так просто было выполнить предписания начальства. Как доносил дмитровский городничий 28 апреля 1830 г. губернатору Н.Н. Небольсину, из местного духовного правления его уведомили, что церковнослужители по синодскому указу 10 июля 1814 г. имеют право обучать детей прихожан своих «российской грамоте читать, писать и молитвам господним», что обучение детей приходскому духовенству свойственно, «ибо соответствует оно одной из главнейших его обязанностей».[2] Аналогичные рапорты прислали верейский и рузский городничие, а последний еще просил разъяснения, имеет ли право преподавать один из выпускников коммерческой академии, который обучал разным наукам и языкам детей дворян и чиновников. Священник Гавриил Дмитриев и дьякон Петр Иванов клинской церкви Воскресения Христова в своем объяснении написали, что на них данное запрещение не распространяется, так как директор училищ писал лишь о церковных служителях, «из чего явствует, что они находятся способными к сему предмету».[3]

Власти, потерпев неудачу в попытках наложить запрет на практику преподавания духовными лицами, сосредоточили свои усилия на борьбе против частных светских учителей. Правда, попытки запретить функционирование частных заведений в сфере образования не всегда были успешны. Так, в марте 1845 г. штатный смотритель рузского уездного училища Василий Брехов доносил о существовании школы у бывшего учителя, титулярного советника П.В. Кондрашева и просил запретить его деятельность как вредную для распространения просвещения.[4] Как сообщал попечитель Московского учебного округа директору училищ Московской губернии, в этой шко-

1 ЦИАМ. Ф.17. Оп. 2. Д. 971.Л. 1.

2 Там же. Л. 6 – 6 об.

3 Там же. Л. 9 – 9 об., 11 – 11 об., 16.

4 ЦИАМ. Ф. 156. Оп. 1. Д. 1629. Л. 1 – 2.

ле ежегодно обучалось от 14 до 20 учеников, а ежегодная плата составляла 15 руб. асс. Кондрашев и Брехов выстроили свою полемику вокруг главного пункта: отношения между этой частной школой и уездным училищем. Кондрашев утверждал, что цель его заведения – подготовить учащихся к поступлению в уездное училище, ибо в городе нет приходского училища. Брехов, напротив, утверждал, что из выпускников заведения Кондрашева никто не продолжает обучение в уездном училище. Однако министр просвещения 31 октября 1845 г. официально разрешил Кондрашеву открыть частную школу, но при условии, что преподавать в ней он будет лично.[1] Возникает вопрос, почему же министр не выступил в защиту интересов своего ведомства? Объяснение этому, видимо, лежит в сфере законов, регулирующих частное преподавание: как человек, обладавший большим опытом преподавания в школе и имевший аттестат от университета, Кондрашев имел право заниматься частной педагогической практикой. Более того, и с точки зрения интересов государственной школы его позиция формально была неуязвима: в городе отсутствовало приходское училище, следовательно, подготовка к поступлению в уездное училище возлагалась на самих родителей или частных учителей.

Частные школы всегда рассматривались штатными педагогами как конкуренты казенным заведениям. На этих незаконных конкурентов можно было списать и собственную некомпетентность, и неудовлетворенность родителей характером преподавания. Так, учитель Василий Сонин в отчете о работе приходского училища Павловского Посада за 1854/55 учебный год причину сокращения на 9 человек (27 %) числа учащихся видел в существовании в посаде частных учебных заведений, «кои время от времени усиливаются, что служит поводом более и более уклоняться жителям посада, по внедренной, закоренелой и слепой приверженности к старым и древним обычаям, от исполнения во всей точности всех постановлений училища и образовать свое юношество в помянутых, незаконно основанных заведениях по желанию своему, и от того самого не может училище достигнуть полного своего совершенства и принести

[1] Там же. Л.12, 13 – 13 об.

надлежащей пользы, а также иметь надлежащего, по народонаселению в посаде, числа учащихся».[1]

Чиновники Министерства просвещения, добиваясь запрета деятельности частных училищ, порой подводили под свои действия идеологический фундамент. В своих обращениях к власти они посылали ключевые сигналы, на которые, по их мнению, правительство должно было оперативно отреагировать. С помощью таких сигналов в первую очередь чиновники надеялись устранить с педагогического поля идейно чуждые для империи элементы: в Сибири – ссыльных, в Центральной России – старообрядцев. По одному из таких обращений в 1828 г. последовало запрещение мещанам и «крестьянским девкам, состоящим в закоренелом старообрядчестве», обучать детей в г. Верее Московской губернии.[2]

Вопрос о женском образовании был оставлен на усмотрение самих горожан, поэтому, например, в Калязине училище для девиц в рассматриваемое время так и не появилось. Отсутствие государственной школы еще не означало, что поголовно все женское население города было неграмотно. Девочки обучались у частных учителей. Плата за «выучку», то есть за умение бегло читать «церковную, и, иногда, гражданскую печать и кое-как писать», поясняет И.С. Беллюстин, составляет 4 – 6 руб. и не зависит от срока обучения.[3] Программа элементарного женского образования выглядит архаичной для середины XIX в. Однако, учитывая, что по свидетельству того же автора, учителями были преимущественно причетники и их жены, этому удивляться не приходится. И, очевидно, в Калязине такое содержание преподавания устраивало большинство родителей. В пользу такого предположения свидетельствует тот факт, что когда штатный смотритель училищ Беллюстин возбудил вопрос об организации женской школы в городе, то оказалось, что общество, «по личному объявлению одного из членов градской думы, не желает иметь училище для девиц и назначило такое ничтожное средство с тою целию, чтобы было отказано в уст-

---

1 ЦИАМ. Ф.156. Оп. 1. Д. 1941. Л. 5.

2 ЦИАМ. Ф.156. Оп. 1. Д. 774. Л. 1 – 1 об.

3 *Беллюстин И.С.* Из материалов для истории народного образования. // Журнал Министерства народного просвещения. 1862. Апрель. С. 15.

ройстве его». Сам смотритель разделял эту точку зрения, мотивируя ее тем, что тамошние купцы и мещане согласились ежегодно выделять на ее содержание по 250 руб. серебром с целью сорвать учреждение школы.[1] Возможно, что смотритель и один из членов думы правильно поняли тактику местных купцов и мещан по отношению к женской школе, но есть определенные факты, которые их интерпретация не учитывает. Во-первых, калязинцы решили выделять на училище такую же сумму, что и на приходское училище. Очевидно, они в большинстве своем полагали, что девочкам, как и мальчикам, достаточно объема знаний из курса приходских училищ, а раз так, то почему следует выделять на эти цели больше денег из городского бюджета? Сам смотритель, как показывает практика школьного дела в провинциальных городах, использовал завышенную оценку расходов на содержание женской школы, которые он определил в 1320 руб. серебром. Более того, упомянутый общественный приговор не исключал возможность введения платы за обучение школьниц. Наконец, если бы граждане действительно не хотели учреждения женской школы, они прямо могли отказаться, ссылаясь на свою бедность и ненужность школьного образования для девочек. Как порой и поступали в подобных случаях. Конечно, после заявления государя императора о желательности учреждения женских школ не только в каждом городе, но и в больших селах, последний аргумент выглядел как-то нелояльно, но бедность-то подданных, пусть даже мнимую, признать незаконной никто не мог.

Священник Иовлев в рукописи 1849 г., присланной в Географическое общество, фиксирует три «института» обучения в городе Торжке: «гражданское училище», «мастериц», а для раскольничьих детей – «безпоповых девиц».[2] По форме обучение у «мастериц» и у старообрядок, не приемлющих священников, было едино: образование было внешкольным, частным, учителями были женщины. По содержанию образования оба эти «института» были сходны – они давали лишь самое элементарное образование. Однако между ними были

1 ГАТвО. Ф. 20. Оп. 1. Д. 7857. Л. 61 – 63.

2 АРГО. Р. 41. Оп. 1. Д. 30. Л. 4 об.

и различия: мастерицы учили читать по книгам гражданской и церковной печати, а у старообрядцев, как правило, по церковным книгам старой печати.

В той же губернии, в другом уездном городе – Осташкове, школьное обучение девочек началось значительно раньше. В 1816 г.в народных училищах города училось 26 девочек, в 1837 г. –уже 75. Тогда и решено было учредить отдельную женскую школу. Вообще-то сами горожане ничего вредного для нравственности в совместном обучении обоих полов, как правило, не видели. Но министерские чиновники решили иначе. Строго говоря, в их риторике прорывается и более приземленный мотив, чем забота о нравственности школьников, – возросшее число девочек, обучающихся в государственной школе, поглощало часть и без того скудных ресурсов училищ. Поэтому заботу об обучении девочек, по их мнению, следовало переложить на плечи самих родителей. Осуществляя эту линию министерства, директор училищ Тверской губернии Коншин выступил с инициативой учреждения в Осташкове отдельной женской школы. Городская дума и граждане отнеслись сочувственно к этому предложению, составив смету расходов и выделив необходимые средства на его устройство. Городское училище для девочек по объему преподаваемых предметов было равно уездному училищу, но при преподавании учебных предметов главное внимание было обращено на «практическую сторону науки, на приложение ее к потребностям жизни». 10 августа 1839 г. при открытии училища в нем числилось 54 ученицы. Через 4 года в нем обучалось вдвое больше – 101 девочка.[1] В это время обучением было охвачено большинство девочек школьного возраста. Поэтому уже в 1849 г. современники с удивлением отмечали, что в городе почти нет безграмотных женщин.[2] Школьная подготовка, правда, была непродолжительной: детей женского пола обучали только до 14 лет. И все же в 1850-е гг. происходит дальнейшее вовлечение девочек в школьное образование. В 1861 г. в двух учебных женских заведениях Осташкова обучалось около 200 школьниц.[3]

1 *Токмаков И.Ф.* Город Осташков Тверской губернии и его уезд. М., 1906. С. 138 – 140.

2 Записки о России // Библиотека для чтения. 1849. № 4. С. 168.

3 *Л.З-н.* Ржев и Осташков // Современная летопись. 1861. № 47. С. 27.

В Твери успехи женского образования были значительно скромнее. Первые административные лица и богатые тверские помещики предпочитали частное образование и воспитание дочерей в институтах и пансионатах Петербурга и Москвы. В Твери «высшее» женское училище было открыто в 1858 г. с необычайной для провинциального города торжественностью – в присутствии императора и императрицы. Средства для открытия училища были предоставлены местным купечеством. Решающий вклад внес городской голова А.Ф. Головинский, пожертвовавший на устройство Мариинского женского училища, преобразованного в 1862 г. в гимназию, 11 тыс. руб.[1] Отметим, что такая щедрость и внимание к женскому образованию были не в традициях тверского купечества. Потомственный почетный гражданин и купец 1-й гильдии Головинский – человек в Твери пришлый, проживавший в городе с 1841 г., более того, до 1840 г. по социальному статусу был он крепостным крестьянином. Коренные же тверские купцы в подавляющем большинстве своем предпочитали жертвовать деньги на церкви и монастыри. Характерно, что вторым после Головинского благотворителем женского училища стал не купец, а титулярный советник Панов, передавший 3000 р. при открытии гимназии. Хотя с индивидуальной благотворительностью на нужды женского образования у тверского купечества дело обстояло неважно, но в начале 1860-х гг. на содержание женской гимназии городское общество (т.е. купцы и мещане) ежегодно выделяло до 4000 руб.[2]

В 1858/59 – 1861/62 гг., т.е. до преобразования Мариинской женской школы в гимназию, в ней обучалось 347 девочек. В социальном составе учащихся наблюдалось небольшое преобладание дочерей дворян и чиновников (50,4%) над ученицами из «городского сословия» (44,1%). Такое соотношение не было стабильным. Динамика социального состава школьниц за эти четыре года состояла в уменьшении доли лиц городского со-

---

1 Очерк деятельности городского головы г. Твери потомственного почетного гражданина и 1-й гильдии купца Алексея Федоровича Головинского. СПб., 1865. С. 21.

2 О состоянии Тверской Мариинской женской гимназии // Памятная книжка Тверской губернии на 1865 год. Тверь, С. 102.

словия с 55,3 % в 1858/59 учебном году до 31,9% в 1861/62 г. Соответственно, доля девочек из семей дворян и чиновников повысилась с 42,1 % до 61,7 %.[1] Сократилась и абсолютная численность школьниц из семей купцов и мещан – с 47 до 30. Вероятно, купцы и мещане не вполне были удовлетворены характером обучения в училище, что привело к оттоку учащихся из этой среды, но вскоре отношение к гимназии стало более благоприятным. К 1865 г. девочки из городского сословия догнали по численности школьниц из дворянских и чиновнических семей.

В Ржеве инициатива организации учебного заведения для девочек принадлежала двум представителям местной буржуазии – коммерции советнику Образцову и городскому голове почетному гражданину Берсеневу. Однако попытка учреждения женской школы в 1847 г., несмотря на «высочайшее соизволение», вызвала сопротивление значительной части горожан. В указе (1858 г.) из Тверского губернского правления ржевской городской думе об этом завуалировано говорилось: «но по особенно встретившемуся, ныне же не существующему препятствию, открыть училище не удалось». Впрочем, это обстоятельство ни для кого не было секретом: «важнейшим препятствием служит старообрядчество, в руках коего наибольшие капиталы».[2] В конце 50-х гг. XIX в. новая попытка устройства училища оказалась более успешной. По проекту 1847 г. источниками финансирования школы были средства, ежегодно выделяемые из городской казны – 300 руб. и 260 руб., которые намерен был тратить на школу городской голова Е.В. Берсенев.[3] В 1858 г. сумму, необходимую для женского училища, увеличили по смете до 840 руб. К ранее предполагавшимся источникам финансирования, по приговору городского общества от 5 ноября 1858 г., добавили еще 260 руб., которые планировали получать в течение пяти лет за счет ежегодных пожертвований при объявлении капитала. С купцов 1-й гильдии – 10 руб., 2-ой – 6 руб., 3-ей – 1 руб. серебром.[4]

---

1 Рассчитано по: О состоянии Тверской Мариинской женской гимназии. С. 102.

2 ГАТвО. Ф. 1091. Оп. 1. Д. 3572. Л. 11, 12.

3 Там же. Л. 11 об.

4 Там же. Л. 77 – 77 об.

Каковы же были грамотность и охват различными формами обучения юных горожан Тверской губернии в середине XIX в.? Точных данных по этому вопросу нет, но квалифицированные эксперты – корреспонденты Географического общества – в своих этнографических описаниях нередко дают в общих чертах ответ на этот вопрос. Так, штатный смотритель вышневолоцких училищ А.Мирец-Имшенецкий полагал, что в городе больше грамотных, чем неграмотных. Женщины «низшего звания», напротив, неграмотны.[1] «Со времени открытия приходских училищ все почти граждане охотно отдают в училище детей своих, – писал о жителях г. Кашина священник П.Колтыпин, – как мальчиков, так и девочек, исключая беднейших и малосемейных мещан...»[2] Анонимный автор «Сведений этнографических о городе Корчеве, Тверской губернии» в 1849 г. писал об образовании горожан: «Мужчины почти все грамотные, а из женского пола из пожилых очень немногие. Молодые же женщины и девицы почти все обучены или обучаются. Обучаются большею частию в училищах, а некоторые у церковнослужителей».[3]

Процесс изменения представлений горожан о ценности школьного образования шел неодинаковыми темпами в регионах – даже в городах равного административного уровня. Так, в Томске еще в 1852 г. обращали внимание на «несочувствие к образованию и неподвижность городского населения»,[4] в то время как в Тобольске уже более четверти века подобное не имело места. Факторы, которые обусловили столь различное отношение горожан к учебным заведениям и образованию, имели, прежде всего, исторический и институциональный характер. Тобольск значительно раньше Томска сформировался как административный, культурный и духовный центр. И, как результат этого, здесь намного ранее появилась гимназия. Неудачный подбор учебного персонала в первые годы существования гимназии в Томске, в свою очередь, был в какой-то степени связан с этим же обстоя-

1 АРГО. Р. 41. Оп. 1. Д. 2. Л. 7.

2 АРГО. Р. 41. Оп. 1. Д. 15. Л. 5.

3 АРГО. Р. 41. Оп. 1. Д. 19. Л. 4.

4 РГИА. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 15. Л. 65.

тельством. И все же утверждение о «несочувствии» томичей просвещению в 1850-е гг., которое иногда распространяли местные педагоги, нельзя признать справедливым. Оно опровергается суждениями других современников, в том числе и Г.С.Батенькова. Детство декабриста прошло в Томске, поэтому ему было что сравнивать. Наконец, в городе действовали два частных пансиона, первый открылся в 1844 г., второй – в ноябре 1849 г. В них обучались, в основном, девочки.[1]

Ценность образования осознавалась в те годы даже жителями малых уездных городов. Ишимский городничий К.Кувичинский, который в данном случае является весьма квалифицированным экспертом (он учительствовал после окончания гимназии), писал, что «постигая уже не потребность, а самую необходимость, так сказать, знать грамоте, – каждый семьянин ищет и охотно пользуется случаем обучить наукам сына и даже дочь. И ныне... редкость увидеть в числе жителей города неграмотного человека».[2] Такая же ситуация наблюдалась и в северном Березове. «Стремление к образованию, подражанию новому замечается между всеми сословиями и обоим полом. Оно обнаруживается в общенародной грамотности...», – писал священник В.Тверетин в Географическое общество в 1854 г.[3]

В 1850-х гг. в городских сословиях не только крепла убежденность в необходимости всеобщей грамотности, но и постепенно менялось представление о том, с какими знаниями должно вступать в жизнь новое поколение. «Образование жителей города в сравнении с прошедшим более совершенствуется, что замечается не только в умножении числа учащихся, но и в том, что многие из учащихся оканчивают положенный курс учения, сознавая всю пользу оного», – говорилось в «сведениях по всеподданнейшему отчету» за 1854 г. по г. Рузе Московской губернии.[4]

Осознание ценности системного образования шло разными путями. Правительство было вынуждено, заботясь о подготов-

1 Там же.

2 ГАРФ. Ф. 815. Оп. 1. Д. 36. Л. 1 об. – 2.

3 АРГО. Р. 61. Д. 28. Л. 9.

4 ЦИАМ. Ф. 199. Оп. 2. Д. 10. Л. 178 – 178 об.

ке квалифицированных чиновников, 6 августа 1809 г. издать указ, написанный на основе доклада Сперанского Александру I. Этот указ давал преимущества при продвижении по служебной лестнице лицам с университетским образованием. Как писал историк народного просвещения И.Алешинцев, после данного указа «пассивная забастовка общества по отношению к гимназиям кончилась, будущие чиновники стали учиться».[1] Указ был отменен в 1856 г., выполнив свою роль. За время его действия образовательный уровень чиновников значительно вырос.[2] Как показал проведенный американским исследователем В.М.Пинтнером анализ социальной мобильности российской бюрократии, в первой половине XIX в. карьера чиновника на 31% зависела от образования, на 18% – от социального происхождения, на 12% – от числа крепостных душ и на 39% – от всех других факторов.[3]

Эти данные опровергают встречающиеся в литературе суждения о безуспешности попыток правительства «приохотить» дворянство и чиновничество к образованию, о недейственности указа 6 августа 1809 г. Куда более взвешенным представляется вывод Б.Н.Миронова, что «образование не гарантировало успешной карьеры, а лишь являлось необходимым ее условием», которое в сочетании с другими факторами (социальное происхождение, богатство, национальность, родственные и личные связи, способности и др.) становилось более действенным фактором социальных перемещений.[4]

В западносибирском городе в силу особенностей социального состава населения этот указ не мог сыграть большой роли. Вместе с тем для детей мещан, разночинцев, чиновников низших рангов образование открывало возможность сменить свой социальный статус, подняться вверх по сословной лестнице. Но сами представления о карьере в этой среде, разумеется, отли-

1 *Алешинцев И.* История гимназического образования в России (XVIII и XIX века). СПб., 1912. С. 55.

2 *Зайончковский П.А.* Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в. М., 1978. С. 30 – 38.

3 *Pintner W.M.* Civil officialdom and the nobility in the 1850-s // Russian officialdom. Chapel Hill. 1980. P. 237.

4 *Миронов Б.Н.* Русский город в 1740 – 1860-е годы: демографическое, социальное и экономическое развитие. Л., 1990. С. 141.

чались от представлений чиновнической верхушки и дворян-землевладельцев. И все же эти представления были связаны с необходимостью получения хотя бы элементарного образования. В «Отчете об управлении Западной Сибири за 1823 год» отмечалось, что полный курс в Тобольской и Иркутской гимназиях оканчивают не более 5 человек в год, ибо дети чиновников, «обучившись чтению, письму и началам арифметики, немедленно определяются бедными своими родителями в приказное состояние для получения жалованья».[1] Такое положение не могло радовать сибирскую администрацию, заинтересованную в подготовке квалифицированных кадров для аппарата управления в губернских гимназиях. Вместе с тем, такая же ситуация была и во многих гимназиях Центральной России. В том же 1823 г. Тверскую и Владимирскую гимназию окончили по 1 – 2 выпускника.[2]

Заметное влияние на формирование у горожан мнения в пользу бессословной общеобразовательной школы оказали политические ссыльные, особенно декабристы.[3] Их усилия, как и меры, принимаемые местной бюрократией, вопреки различным исходным посылкам (одни действовали, руководствуясь интересами абсолютистской монархии, другие – отстаивая ценности гражданского общества, немыслимого без просвещения всего народа), имели общую результирующую – распространение народного образования. Наконец, когда первые плоды достаточно широкого для того времени распространения школьного обучения стали сказываться, начали меняться и представления о ценности образования. Хотя по-прежнему на них лежала отчетливая печать прагматизма. «Стремление к обучению детей объяснялось материальными мотивами. Овладение грамотой было связано для казака с получением выгодных должностей... Только грамотный человек мог рассчитывать на повышение в чине... Именно поэтому тяга к знаниям была наиболее сильна в служилых

1 РГИА. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 21. Л. 16.

2 *Алешинцев И.А.* История гимназического образования в России (XVIII и XIX вв.). СПб., 1912. С. 90.

3 *Копылов А.Н., Малышева М.П.* Декабристы и просвещение в Сибири в первой половине XIX в. // Декабристы и Сибирь. Новосибирск, 1977. С. 89 – 108.

кругах, именно поэтому, грамотность, по мнению северян, совершенно не нужна была женщинам», – пишет о жителях Березова и Сургута историк Н.А.Миненко.[1] Аналогично один из современников в конце 1850-х гг. оценивал мотивы, которыми руководствовались жители великороссийских городов, отдавая в школу сыновей: «...потому что неграмотному мальчику никаких порядочных занятий в жизни отыскать нельзя».[2]

Неотъемлемой составляющей ментальности купечества и мещанства первой половины XIX в. был утилитаризм. Польза была главным мотивом всех деяний и поступков. Если же практическая выгода не была очевидна, интерес к знаниям вызывал у значительной части горожан по меньшей мере недоумение. Арзамасский художник А.В. Ступин, отправляясь в 1800 г. для обучения живописи в Петербург, вынужден был скрывать цель своего отъезда, «ибо по тогдашнему времени все почли бы меня ветреным и предприятие пустой затейливостью, особливо потому, что имел жену, подряды и учеников», – писал он в своих мемуарах.[3] «Федор! ты все ребячишься! на что тебе это нужно знать и какая тебе от этого польза?», – часто слышал от окружающих другой любознательный молодой человек, родившийся в купеческой семье, Федор Семенов.[4] Спустя полвека этот же вопрос, заданный хозяином – уважаемым тюменским купцом, – не раз услышит и Н.М.Чукмалдин.[5] Арзамас, Курск, Тюмень... География менялась, шло время, но увлечение наукой, тяга к знанию, которое не способно принести осязаемой пользы, вызывает удивление не только в купеческой среде провинциальных русских городов. Такое же отношение к наукам наблюдалось и среди московского купечества. Так, Н.П. Вишняков, рассказывая о негативном отношении большинства московских купцов середины XIX в. к науке и высшему образованию, приводит характерный эпизод.

1 *Миненко Н.А.* Северо-Западная Сибирь в XVIII – первой половине XIX в. Новосибирск, 1975. С. 124.

2 *Флорикс В.* Несколько слов о приходских училищах и учителях. // Журнал для воспитания. 1859. Т. 5. С. 192.

3 Собственноручные записки о жизни академика А.В. Ступина // Щукинский сборник. Вып. 3. М., 1904. С. 382.

4 *Семенов Ф.А.* Автобиография. Пг., 1920. С. 1.

5 *Чукмалдин Н.М.* Записки о моей жизни. М., 1902. С. 93

Один из старых купцов, «человек, бесспорно, умный и с большой инициативой», узнав, что он слушает лекции по астрономии, иронически спросил: «И на что это тебе нужно?» [1]

Со временем в пользу школьного образования заработал и фактор семейной традиции. Когда у горожан, обучавшихся в учебных заведениях, дети достигали школьного возраста, у них не было предубеждений против школ. Они охотно отдавали сыновей в училища, а некоторые – и в гимназии. Те из образованных горожан, которым позволяли средства, жертвовали деньги на развитие просвещения. Так, в 1851 г. в тобольской гимназии 3 пансионера обучались на средства трех благотворителей,[2] один из которых, уволенный от службы действительный статский советник Г.А. Жилин, 26 апреля 1846 г., объясняя мотивы своего пожертвования 3000 р. серебром для содержания пансионера при тобольской гимназии, писал в прошении на высочайшее имя: «В это училище при самом его открытии в 1788 году помещен я был для обучения наукам. Ныне почти чрез 60 лет, сохраняя неизменно в памяти благодарность мою к сему заведению и желая ее увековечить...»[3] Для Жилина, сибиряка, жившего в то время в Петербурге, в собственном доме, человека семейного, это решение было глубоко и в деталях продуманным. Он выдвинул четкие требования, предъявляемые к кандидату на получении стипендии его имени, очертил круг должностных лиц (директор гимназии, губернский прокурор, губернский почтмейстер, градской глава, уездный судья), которые должны были избирать кандидата, оставил за собой право его утверждения, а после смерти жертвователя этим правом наделялись члены избирательного совета. Предусмотрел он и возможность выбора стипендиата из нескольких кандидатов – путем жребия с последующим утверждением департаментом народного просвещения, «без участия в том губернского начальства».[4]

Особое значение благотворительность горожан на нужды просвещения имела для учреждения и функционирова-

1 *Вишняков Н.П.* Сведения о купеческом роде Вишняковых. Ч. 2. М., 1913. С. 94.

2 РГИА. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 15. Л. 60.

3 РГИА. Ф. 733. Оп. 83. Д. 323. Л. 1.

4 Там же. Л. 1 – 1 об.

ния женских учебных заведений, а также при организации приходских училищ, которые не имели поддержки государства. Особенно сложной была ситуация в малых – безуездных и заштатных – городах. В рапорте воскресенской городской думы гражданскому губернатору Московской губернии (1856 г.) она была обрисована следующим образом: «до 1848 года в заштатном городе Воскресенске не существовало никакого училища для обучения детей жителей оного, и никаких средств к тому не предвиделось. Дети жителей были лишены этого для них благодеяния, отцы скорбели душой». Положение изменилось благодаря тому, что в 1848 г. 3-й гильдии московский купец И.Д. Чикин на свои средства устроил приходское училище на 70 человек для детей обоего пола. Он купил «приличный для сего дом», содержал учителя, законоучителя, прислугу, снабжал учеников одеждой и учебными пособиями. Его расходы на училище с 1848 по 1858 г. составили 11 тыс. руб. серебром.[1]

Престиж школьного образования рос не только среди состоятельной части жителей, но и в среде небогатых горожан. Например, дневник осташковского мещанина И.А. Нечкина (1850 г.) позволяет судить о спектре проблем, волновавших его в связи с обучением сына. Отметим, что отец относился к обучению сына весьма ответственно и не забывал поздравить с именинами школьных учителей и смотрителя городских училищ. Его поздравления сопровождались денежными подарками: учителям по 1 руб. серебром, а смотрителю – 3 руб. серебром[2] Эти поздравления были не только данью этикету. Они обязательно сопровождались обстоятельными беседами об успеваемости Нечкина-младшего. О том, какое значение придавал Нечкин школьному образованию, свидетельствует в частности тот факт, что он договорился со смотрителем училища, чтобы последний занимался с его ребенком и в каникулярное время. При этом следует отметить, что мальчик и без того хорошо усваивал школьную программу. Отец действительно близко к сердцу принимал школьные проблемы сына, а нехватку учебных пособий Иван Андреевич Нечкин од-

1 ЦИАМ. Ф. 17. Оп. 97. Д. 205. Л. 2 – 2 об., 11 об., 13.

2 ГАТвО. Ф. 103. Оп. 1. Д. 2628. Л. 33, 49, 49 об.

нажды ощутил на себе, переписывая ночью для сына условия математических задач. За «шалости» в школе отец иногда порол 11-летнего мальчика. Но в целом он был доволен его школьными успехами и гордился ими: по итогам учебного года сын Иван был переведен в старший класс вторым по успеваемости. Успеваемостью мальчика интересовался и хозяин фирмы, где Нечкин трудился приказчиком.

Под влиянием вышеперечисленных факторов (от политики правительства до семейных традиций) в сознании горожан постепенно происходил перелом: ценность образования становилась уже очевидной истиной. Но это вовсе не означает, что у горожан сформировалось такое же представление о ценности образования, которое характерно для современного общества. «Сын купца или мещанина, отданный в училище, если успел изучить первые четыре действия арифметики, то отец отнюдь более уже не оставляет его в училище, говоря так: «С нас и этого довольно», – писал современник в 1849 г. об отношении к образованию жителей Торжка.[1]

Горожанин первой половины XIX в. жил в доиндустриальном обществе, в котором еще только формировалась социальная потребность во всеобщем начальном образовании. Это необходимое условие успешного развития страны встречало активное противодействие крепостников, стремившихся законсервировать сложившуюся сословную структуру общества. Ближе к концу царствования Александра I наметился отход от принципов бесплатного и бессословного образования, заложенных школьной реформой 1804 г. В 1819 г. была введена плата за обучение в гимназиях. В сентябре 1824 г. новый министр народного просвещения А.С. Шишков в программной речи зарекомендовал себя как ярый противник Просвещения, да, пожалуй, и образования. Он, в частности, заявил, что «науки полезны только тогда, когда как соль, употребляются и преподаются в меру, смотря по состоянию людей... Обучать грамоте весь народ, или несоразмерное числу оного количество людей, принесло бы более вреда, нежели пользы».[2]

---

1 АРГО. Р. 41. Оп. 1. Д. 30. Л. 4 об.

2 Записки, издаваемые от Департамента народного просвещения. Кн. 1. СПб., 1825. С. 49.

Тенденции последних лет правления Александра I в области народного образования были подхвачены в царствование Николая I. При этом наведение «порядка» в ведомстве Министерства народного просвещения началось с введения новой формы в гимназиях. 6 сентября 1826 г. император утвердил два образца формы: одну – для гимназистов из дворян, а другую – для прочих.[1] В дальнейшем принимались более серьезные меры для организации народного образования по сословному принципу. Наиболее важную роль в этом сыграла реформа 1828 г., которая, разрушив единство системы народного просвещения, предназначила приходские училища для детей «низших сословий», уездные – для детей чиновников и купцов, гимназии – для детей «благородного сословия». Однако на практике соблюсти в чистоте сословность школы было невозможно. Поэтому в 1840 г. другой «просветитель», С.С. Уваров, выразил свою обеспокоенность возрастающим повсюду стремлением к образованию, что могло «поколебать некоторым образом порядок гражданских сословий». Спустя пять лет, уже по инициативе самого императора, был затруднен доступ в гимназии «разночинцам»: повышена плата за обучение, и запрещено принимать в гимназии детей купцов и мещан без увольнительных свидетельств. Однако для Сибири было сделано исключение.[2] Правительство учло малочисленность дворянства в регионе и, дабы не создавать препятствий в наполнении учебных заведений, оставило свободным для детей граждан доступ в гимназии. В противном случае власти столкнулись бы с проблемой пополнения присутственных мест молодыми чиновниками, а проблема эта была в регионе довольно острой.

Разумеется, не все люди, трудившиеся на ниве народного просвещения, разделяли взгляды Шишкова и Уварова. Однако их возможности были весьма и весьма ограничены. Показательная в этом отношении история происходила вокруг создания уездного училища в Весьегонске Тверской губернии в начале 1840-х гг. 12 апреля 1841 г. директор училищ

---

1 *Алешинцев И.* История гимназического образования... С. 145.

2 *Алешинцев И.* Указ. Соч. С. 143 – 144.

Тверской губернии обратился к весьегонскому градскому обществу с вопросом: может ли оно выстроить здание уездного училища по установленному плану? Общество оперативно, 25 апреля, рассмотрело этот вопрос и сообщило, что дом для училища выстроить не может, так как после пожара 1839 г. перед городом стоит задача восстановления гостиного и мытного дворов. Вместе с тем, оно выразило готовность пожертвовать из городских доходов тысячу рублей серебром на «первоначальное обзаведение» училища, «а как обществу градскому весьма желательно, чтоб в городе Весьегонске было открыто в скором времени уездное училище, то до выстройки от казны дома общество желает нанять удобный дом из сумм градского дохода».[1] Этот приговор подписали 7 купцов и 23 мещанина, а за 10 неграмотных мещан подписался мещанин Никита Балдин.

Законное желание родителей позаботиться о получении их детьми приличного образования встретило сопротивление бюрократии. Так, губернатор иронично поинтересовался у директора училищ, следует ли, по его мнению, тратить эти деньги и на что именно? Уязвленный таким тоном, директор народных училищ ответил А.П. Бакунину, что инициатива учреждения в городе уездного училища принадлежит не ему, а самим горожанам, которые обратились с такой просьбой непосредственно к попечителю Московского уездного округа, по поручению которого он и направил в думу соответствующий запрос. Тогда губернатор уведомил горожан, что может поддержать их ходатайство об открытии училища при условии, что они выстроят дом для училища или согласятся выделять сумму, достаточную для найма приличного помещения. 21 сентября 1841 г. граждане Весьегонска, выслушав условия губернатора, приняли новое постановление. В нем отмечалось, что город их учрежден в 1776 г. из села и жители города до сих пор занимаются преимущественно хлебопашеством и черной работой на судах. По мнению граждан, причина этого в том, что нет уездного училища: «от сего сдешнее юношество, не получая надлежащего просвещения, не имеют и спосо-

1 ГАТвО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 11307. Л. 3 – 4.

бов приготовить себя к лучшим и выгоднейшим занятиям, к прохождению как общественных, так и частных должностей с большею пользою, а престарелые начальники семейств не имеют того утешения и той пользы, кои бы могли произойти для них от достаточного обучения детей их...» Поэтому, «сильно желая, чтобы всеобщее государственное просвещение обратилось и на наше юношество», они просили градскую думу подать ходатайство начальнику губернии «об учреждении уездного училища в городе Весьегонске на счет казны»[1].

Просвещенные современники нередко упрекали купцов и мещан за непонимание значения образования и за нежелание тратить свои средства на школьное дело. Едва ли подобные упреки вполне справедливы. Граждане, вкладывая средства в образование детей, имели реальный выбор между частным обучением и казенной школой. Хотя они напрямую почти никогда не заявляли о своих претензиях к государству, но, отказываясь от строительства домов для уездных училищ и предлагая государству самому нести бремя расходов на образование горожан, они фактически протестовали против несправедливой социальной политики царской власти. Действительно, почему купцы и мещане, платя налоги, должны тратить свои средства еще и на строительство уездных училищ, в то время как дети дворян и чиновников могут обучаться в гимназиях и кадетских корпусах, построенных за редким исключением за счет казны? Понимание значения просвещения у провинциальных купцов и мещан, несомненно, было, но имело место и серьезное недовольство политикой государства в сфере народного образования. Характерный факт: даже неграмотные мещане г. Весьегонска дозрели к концу 1830-х гг. до осознания того, что приходское училище с его элементарной программой не дает достаточных знаний, необходимых для профессиональной адаптации молодежи и успешного развития торгово-промышленной жизни города.

Городские власти Весьегонска подыскали для училища подходящий дом, владелица которого готова была продать его в рассрочку. Но губернатор вновь отказал думе. Горожане не сдавались и получили поддержку от попечителя Московского

---

[1] Там же. Л. 12 об. – 13.

учебного округа, который в апреле 1843 г. вновь обратился к Бакунину с предложением разрешить открыть училище и вновь получил отказ.

Главная проблема, которая мешала учреждению училища – это вопрос о том, из каких источников будет финансироваться строительство училищного дома. Граждане не были готовы собрать для этой цели деньги по подписке, а хотели купить дом за счет средств из доходов города. Городских доходов было вполне достаточно, но чиновники из Тверского губернского правления ссылались на статью из Устава о городском и сельском хозяйстве, по которой можно было отпускать на содержание училищ только те суммы, «какие производимы были на сей предмет при непосредственном содержании городами училищ до 1804 г.».[1] Мало того, что дума была крайне стеснена в выборе целей, на которые она могла тратить городские деньги, но ситуация применительно к конкретным обстоятельствам была еще и абсурдна, так как в Весьегонске первое училище – приходское – появилось только в 1810 г. В этом контексте бюрократическая ссылка на данный закон выглядит прямым издевательством и над здравым смыслом, и над гражданами.

Священник Беллюстин, характеризуя отношение к образованию в уездных городах, писал в начале 1860-х, что жители уездных городов в отличие от крестьян без внешних побуждений не строят школ.[2] К этому выводу он приходит, анализируя историю развития народного просвещения в Калязине Тверской губернии. Во многом это утверждение справедливо в целом для русского города первой четверти – первой трети XIX в. Но уже в 1840-х гг. отношение к школьному обучению купцов и мещан начинает меняться, о чем свидетельствует и борьба жителей другого уездного города Тверской губернии – Весьегонска – за открытие в нем уездного училища. Не оставалась неизменной и государственная политика в школьном вопросе. Если раньше действительно власти выступали двигателем школьного дела, то в царствование Николая I они,

---

1 Там же. Л. 23 – 23 об.

2 *Беллюстин И.С.* Из материалов для истории народного образования. С. 2.

напротив, становятся тормозом распространения просвещения в провинции.

В Западной Сибири, всю генерал-губернаторскую и губернскую администрацию которой по традиции обычно основательно критикуют в исторической литературе, препон в деле распространения просвещения, подобных тверским, власти горожанам не чинили. Однако и здесь местные власти не всегда поддерживали образовательные учреждения, иногда они решали за их счет проблемы, не имеющие никакого отношения к народному просвещению. Вопиющий случай имел место в Ишиме в 1839 г., когда дом уездного училища отдали под арестантов. Вероятно, на такой произвол чиновники не решились бы, если бы в 1838 г. купец Н. Черняковский не устроил на свой счет приходское училище, купив для него дом.[1] Вот тогда-то местным бюрократам и пришла в голову мысль разместить оба училища в одном здании, а освободившееся помещение уездного училища превратить в тюрьму. Органы городского самоуправления нередко по много месяцев не передавали средства на содержание учебных заведений. Отдельные местные чиновники проявляли крайнее самодурство по отношению к школе и учителям. Так, каинский городничий Степанов, вошедший в историю благодаря радушному приему, оказанному им следовавшим на каторгу декабристам, оскорблял учителя Рудакова, обещал посадить его на гауптвахту и даже разломал частокол при уездном училище.[2]

Количественные характеристики развития в Западной Сибири сети общеобразовательных школ выглядят таким образом: в 1801 г. в 1 главном и 6 малых народных училищах обучалось 186 школьников, а в 1851 г. в ведении Министерства народного просвещения в городах региона было уже 23 учебных заведения (2 гимназии, 11 уездных и 10 приходских училищ), в которых насчитывалось 1926 человек.[3]

Заметно выросла за эти годы и сеть учебных заведений духовного ведомства: в 1801 г. в единственной в Западной Си-

1 АРГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 6. Л. 20 – 20 об.

2 ГАТО. Ф. 3. Оп. 10. Д. 288. Л. 2 – 3.

3 Очерки русской культуры XVIII в. Ч. 2. С. 276; РГИА.Ф. 1265. Оп. 13. Д. 16. Л. 102.

бири семинарии обучалось 170 учеников, а в 1851 г. в Тобольской семинарии и в духовных училищах получали подготовку уже 854 бурсака.[1]

Свой вклад в распространение образования среди сибирского населения вносили и школы горного ведомства. В конце XVIII в. в 6 горнозаводских школах Алтая обучалось около 800 человек, в 1845 г. в 14 школах было уже 1804 учащихся. Затем казна из финансовых соображений сократила количество обучаемых до 1375 в 1849 г. Но в дальнейшем численность учащихся несколько выросла, и в 1859 г. в 16 алтайских горных учебных заведениях обучалось 1560 учеников.[2]

Напротив, вклад военно-учебных заведений в народное образование по сравнению с XVIII в.[3] в первой половине XVIII в. заметно сократился. Хотя в первой четверти XIX в. он был весьма ощутим. В 1798 г. все гарнизонные школы были преобразованы в военно-сиротские отделения. В 1820 г. в Западной Сибири образование и военную подготовку в них получали 5969 человек. В 1827 г. все военно-сиротские отделения в Сибири были преобразованы в батальоны, полубатальоны и роты военных кантонистов, а их штатная численность в регионе была сокращена до 2750 человек.[4] Эта тенденция действовала и в дальнейшем, хотя в 1835 г. в различных западносибирских учебных заведениях военного министерства обучалось 3238 будущих воинов, но весь прирост был достигнут за счет полковых и эскадронных школ Сибирского линейного казачьего войска,[5] которые почти все дислоцировались вне городов. Таким образом, без учета казачьих

---

1 РГИА. Ф. 796. Оп. 82. 1801 г. Д. 912. Л. 29; Ф. 1265. Оп. 13. Д. 16. Л. 102 – 102 об.

2 Алтай: Историко-статистический сборник. Томск, 1890. С. 279 – 280; *Карпенко З.Г.* Горная и металлургическая промышленность в Западной Сибири в 1700 – 1860 гг. Новосибирск, 1963. С. 90.

3 О вкладе военного ведомства в распространение просвещения в XVIII в. см.: *Копылов А.Н.* Очерки культурной жизни Сибири. Новосибирск, 1974. Столетие военного министерства. 1802 – 1902. СПб., 1902. Т. 4. Ч. 1. Кн. 1. Отд. 2. С. 70 – 72; Т. 4. Ч. 2. Кн. 1. Отд. 2. С. 246 – 247.

4 Столетие военного министерства. 1802 – 1902. СПб., 1902. Т. 4. Ч. 1. Кн. 1. Отд. 2. С. 70 – 72; Т. 4. Ч. 2. Кн. 1. Отд. 2. С. 246 – 247.

5 Таблицы учебных заведений всех ведомств Российской империи. СПб., 1838. С. 44 – 45.

школ, наблюдалась иная ситуация: в 1851 г. в 3 кантонистских заведениях и кадетском корпусе в Омске насчитывалось лишь 1734 воспитанника.[1]

В середине XIX в. число учеников по отношению к общей численности мужского населения в городах Западной Сибири выглядит следующим образом: Березов и Курган 1:9, Омск 1:10, Томск 1:13, Ялуторовск 1:14, Туринск 1:15, Тюмень 1:17, Барнаул 1:20, Тобольск и Кузнецк 1:21, Ишим 1:23, Тара и Каинск 1:26.[2] Подобные данные, впрочем, говорят не только об успехах школьного дела в конкретном городе, но и о значении того или иного города в распространении грамотности среди населения уезда, а иногда и целого края. Среди учащихся было немало иногородних, крестьян, казаков. Омск, например, оказался среди лидеров в сфере образования благодаря кадетскому корпусу, в котором большинство воспитанников составляли дети представителей казацкой верхушки, офицеров и чиновников со всей Западной Сибири. Вместе с тем, в Омске был и огромный военный гарнизон. Таким образом, без учета числа воспитанников кадетского корпуса, готовившего кадры для армии, отношение количества учащихся к общему числу горожан мужского пола было бы существенно искажено. При расчете исключены из числа учащихся данные об обучаемых в учебных заведениях духовного ведомства – из-за того, что большинство учащихся духовного училища и тобольской семинарии были иногородними. Окончив обучение, они разъезжались по всей Западной Сибири. Приведенные данные о соотношении учащихся и всего мужского населения довольно слабо отражают общую картину грамотности мужского населения. Проиллюстрирую это утверждение путем сопоставления двух однотипных приговоров «градских обществ» одного из «лидеров» в школьном образовании – Кургана (уездное училище открыто в 1817 г., приходское – в 1844 г.) и явного «аутсайдера» в этой сфере – Бийска (до конца 1850-х гг. учебных заведений нет вообще) об открытии школ. Если су-

---

1 РГИА. Ф.1265. Оп.13. Д.16. Л.102.

2 Рассчитано по: Статистические таблицы о состоянии городов Российской империи. СПб., 1840. С. 48 –51. Данные по Березову на январь 1838 г. почерпнуты у Н.А.Абрамова (РО РГБ. Ф.1000. Оп. 2. Д. 2. Л. 20).

дить по общественным приговорам 1859 г., грамотных оказалось: в Кургане среди купцов 70,5% и мещан 60,7%, в Бийске, соответственно, 54,5% и 51,6%.[1] Этот разрыв между Курганом и Бийском оказался меньше, чем можно было ожидать, исходя из истории развития школьного дела в этих городах.

Разумеется, автограф под общественным приговором дает мало сведений об уровне грамотности человека. Но все же наличие собственноручных подписей под деловыми документами позволяет говорить хотя бы о самой элементарной грамотности. Поэтому можно констатировать, что домашнее обучение во многих уездных городах в течение всего рассматриваемого периода продолжало играть важную роль в получении горожанами элементарных навыков грамотности. Даже в самом крупном и наиболее экономически развитом уездном городе – Тюмени – на рубеже 40 – 50-х гг. XIX в. соотношение «малолеток», обучавшихся в школе и частным образом, было примерно 3:4, то есть около 300 человек обучалось в училищах и приблизительно 400 (по оценке тюменского мещанина Ф.В.Бузолина) у частных учителей.[2] Сложившуюся в Тюмени ситуацию в школьном деле есть соблазн объяснить наличием среди горожан многочисленных старообрядцев. Однако если сравнить официальные данные о численности старообрядцев (хотя бы и заниженные духовными и светскими властями) с количеством обучаемых вне школ, то такую интерпретацию можно принять только с учетом влияния старообрядцев на прихожан официальной церкви в культурной сфере.

Даже в губернских городах внешкольное обучение было заметным явлением на протяжении всего дореформенного периода. Так, в 1858 г. в Томске смотритель училищ обнаружил 12 частных школ, в каждой из которых училось от 7 до 35 мальчиков – всего 172 человека. Учителя (1 отставной учитель, 4 чиновника, 2 унтер-офицера и 5 поселенцев) обучали чтению и письму, а некоторые – арифметике и началам грамматики. Оплата труда учителей («мастеров») осуществлялась по соглашению последних с родителями детей. Например, отставной учитель

---

1 ГАТО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 42. Л. 3 – 4; Д. 46. Л. 24 – 25.

2 АРГО. Р. 61. Д. 33. Л. 5.

кантонистов Харламов, который проводил занятия в публичной библиотеке, будучи ее сторожем, брал с учеников съестными припасами и не менее одного рубля в месяц деньгами.[1]

Штатный смотритель томских училищ объяснял широкое распространение частных школ в городе двумя главными причинами: отдаленностью приходских училищ от густонаселенных районов города и ... бесплатным обучением в них. Данное обстоятельство вызывало настороженное отношение к официальной школе в силу убеждения, что дешевое – значит негодное.[2] Можно назвать еще одну причину популярности в Томске частных школ – поддержка местных властей. Когда в 1834 г. директор училищ Томской губернии попытался закрыть частные учебные заведения, ссылаясь на указ Сената от 28.XI.1833 г., то встретил решительный отпор со стороны губернатора, который, руководствуясь местными обстоятельствами, обязал его способствовать открытию частных школ, особенно женских.[3]

Исследовательница истории женского образования Л.Б. Хорошилова, вероятно, имея в виду упомянутый указ Сената, пишет, что с 1833 г. частные пансионы более не открывались.[4] Возможно, в столицах этого запрета какое-то время и придерживались, но в провинции даже губернаторы, как показывает отзыв томского губернатора, не только могли игнорировать этот указ, но и требовать от училищного начальства содействия в открытии частных пансионов. Чиновники Министерства народного просвещения не проявляли рвения, чтобы выполнить это указание начальства, но они не смогли и административными методами уничтожить своих конкурентов, на стороне которых в городе была многолетняя традиция.

В Тобольске практика внешкольного обучения не была столь распространенной, как в Томске, из-за наличия в городе нескольких учебных заведений разных ведомств еще в последней четверти XVIII в. Благодаря складывавшейся тра-

---

1 Памятная книжка Томской губернии на 1885 год. Томск, 1885. С. 84 – 85.

2 Там же. С. 84 – 85.

3 Памятная книжка Томской губернии на 1884 год. Томск, 1884. С. 135.

4 *Хорошилова Л.Б.* Женское образование и воспитание // Очерки русской культуры XIX века. Т. 3. С. 335.

диции образования в государственных заведениях, а также с помощью административных запретов казенным педагогам удалось решительно потеснить частных учителей. В Тобольске внешкольное обучение мальчиков не играло такой роли, как в Томске, оно не столько конкурировало с государственной школой, сколько дополняло ее. В частности, заметное распространение получило репетиторство, которое преследовало цель «подтянуть» учащихся по трудным предметам или подготовить их к поступлению в учебные заведения более высокой ступени.

Неизмеримо большее значение, чем для мальчиков, имело домашнее обучение для девочек. Его роль в обучении грамотности девиц в западносибирских городах в первой половине XIX в. была такой же, как и в селах: оно было вне конкуренции, ему не было почти никакой альтернативы. Так, во второй четверти XIX в. (в первой четверти дело обстояло еще хуже) в сибирских учебных заведениях насчитывалось не более 150 учениц.[1]

Аналогичная ситуация с женским образованием была и в провинциальных городах Европейской России.[2] А как обстояло дело с женским образованием непосредственно в Московской и Тверской губерниях? До 1837 г. в Московской губернии обучение девочек оставалось предметом заботы лишь их отцов и матерей. В 1837 г. был поднят вопрос о заведении в губернии училищ для девиц. Оперативно эту проблему решили в Коломне. Штатный смотритель Коломенских училищ Олсуфьев 14 августа 1837 г. рапортовал директору училищ Московской губернии М.А. Окулову, что 7 августа открыто училище для девиц, «которых на первый раз собралось 9, за учение коих родители сих девиц... внесли впредь за три месяца по 10 рублей ассигнациями и по 5 руб. ас. единовременно на учебные пособия». Он же сообщал, что почетный смотритель г. Титов, «для споспешествования к скорейшему умножению учениц в сем заведении и для возбуждения соревнования к сему в прочих родителях, изъявил желание 9-го сего августа

1 *Копылов А.Н., Малышева М.П.* Декабристы и просвещение... С. 96.

2 *Эймонтова Р.Г.* Просвещение в России первой половины XIX века // Вопросы истории. 1986. С. 90.

в ознаменование радостного дня прибытия государыни императрицы в город Коломну, вносить в уплату гг. учителям за уроки по 40 руб. ассигнациями в год во весь трехмесячный курс за каждую из 8-ми учениц: 4-х имеющих поступить из обер-офицерских и канцелярских служителей, не имеющих возможности платить положенной суммы, и 4-х из мещанского сословия, перешедших в сие из купеческого по каким-либо несчастным случаям».[1]

1 ноября 1839 г. была торжественно открыта женская школа при серпуховском уездном училище. В нее поступило 16 девочек. Социальный состав школьниц был достаточно элитарен для уездного города: купеческих девочек 9, обер-офицерских 4, дворянских 2, духовных 1. В пользу нового учебного заведения 8 купцов и 4 чиновника пожертвовали 460 руб. ассигнациями.[2] «Плата за обучение девиц взимается различна, смотря по состоянию родителей их и добровольному, по убеждению моему, сих последних обязательству, собственно на тот предмет, чтоб и недостаточным родителям дать способ на щет других обучать детей своих, ... а вместе и для поддержания самого заведения, не имеющего на содержание свое ни откуда постоянных доходов», – доносил 31 декабря 1839 г. директору училищ Московской губернии штатный смотритель Туровин.[3] Из имеющейся в деле ведомости видно, что, действительно, размер платы, вносимой родителями, существенно различался. Безденежно обучалась лишь одна обер-офицерская дочь. Другие отцы обер-офицеры вносили по 40–60 руб., за дочь духовного лица Е. Лебедеву 40 р., за купчих и дворянок платили по 60 или 120 рублей.

Подобным образом, когда девичья школа устраивалась в помещении уездного училища, было организовано обучение девочек в Верее. Там женское училище было открыто в январе 1841 г.[4] Учреждение училища стало возможным благодаря решению помещицы Екатерины Петровны Толстой, которая соглашалась ежегодно жертвовать 300 р. серебром на женскую

[1] ЦИАМ. Ф. 156. Оп. 1. Д. 1376. Л. 1 – 1 об.

[2] ЦИАМ. Ф. 156. Оп. 1. Д. 1470. Л. 8 – 8 об., 12, 16.

[3] Там же. Л. 15.

[4] ЦИАМ. Ф. 156. Оп. 1. Д. 1611. Л. 17.

школу. Ее пожертвование трудно переоценить, так как из 24 учениц 19 обучались на ее средства. [1]

28 января 1841 г. открылось женское училище и в Можайске. Решающую роль в учреждении училища сыграл местный штатный смотритель Евграф Жарков. Не добившись поддержки от думы и граждан, он обратился за содействием к действительной статской советнице Анне Васильевне Камыниной, «которая на этот предмет приносит в дар училищу ежегодную квартиру для помещения его; также всю мебель для класса и другие принадлежности, необходимые для рукодельных занятий». Приняв на себя обязанности «главной попечительницы», она пригласила и других помещиков принять участие в судьбе женского образования.[2] По проекту устава училища, разработанному Жарковым, плата за обучение была невысокой – 2 руб. серебром в год, а бедные ученицы должны были обучаться бесплатно. Хотя финансовые условия учебы были необременительны, но желающих первоначально набралось всего 12 человек.[3]

Во всех учрежденных в 1837 – 1841 гг. женских школах в Коломне, Серпухове, Верее и Можайске количество учениц первоначально было крайне незначительно. В тех женских училищах, социальный состав которых удалось выяснить, преобладали дочери купцов, чиновников и дворян. Малое число мещанок в эти годы объясняется не только высокой платой за обучение, что было характерно для Серпухова, но и тем, что идея женского школьного образования с трудом пробивала себе дорогу в сознании граждан. Сказывался, несомненно, и материальный фактор. Открытие женских школ было сопряжено для горожан с существенными затратами на их обустройство. Чтобы стимулировать процесс создания женских училищ в тех городах, где был опыт обучения девочек в заведениях Министерства просвещения, чиновники прибегали и к мерам принуждения. Так, в 1841 г. последовало запрещение обучать в Клинском уездном училище девиц

1 ЦИАМ. Ф. 156. Оп. 1. Д. 1492. Л. 2, 12.

2 ЦИАМ. Ф. 156. Оп. 1. Д. 1494. Л. 3, 5 об., 9.

3 Там же. Л. 9.

вместе с мальчиками.[1] Это была не только ведомственная бюрократическая мера, призванная способствовать разгрузке мужских училищ, она преследовала и другую – гендерную цель: создать систему раздельного обучения подрастающего поколения. Поэтому организация женских школ при мужских училищах в глазах педагогов и родителей выглядела несомненным паллиативом, с которым приходилось мириться. В дальнейшем родители будут решительно выступать против подобного устройства женских училищ. В той же Коломне, как писал в сентябре 1844 г. попечитель Московского учебного округа директору училищ Московской губернии, общество не желает дальнейшего пребывания женской школы в одном здании с уездным училищем. При личной встрече городской голова заявил ему о готовности горожан к пожертвованиям на устройство отдельного помещения и желании нанять дом для женского училища.[2]

В конце 1830-х гг. возникает традиция, ставшая в дальнейшем характерной для многих уездных городов. Местные педагоги берутся преподавать в создаваемых женских школах на первых порах безвозмездно. Обычно оплачивался лишь труд надзирательницы, прислуги и законоучителя. Но в Коломне священник Порфирий Некрасов, законоучитель коломенского уездного училища, отказался от части полагающегося ему жалования и 8 октября 1837 г. «изъявил согласие определить на свой счет двух бедных девиц во вновь открытый... женский класс, предоставя вычитать по 40 руб. асс. в год за каждую, в продолжение 3-х летнего курса, и единовременно по 5 руб., из получаемого им от училища жалованья...»[3]

Увы, подобное самопожертвование не способно было решить финансовые проблемы женских школ. Уже в 1843 – 1844 гг. эти заведения сталкиваются с серьезными проблемами. Причина – нехватка средств из-за отсутствия государственной или городской поддержки. В феврале 1843 г. смотритель можайских училищ доносил начальству, что попечительница женской школы от этого звания отказалась и перестала поддерживать

[1] ЦИАМ. Ф. 156. Оп. 1. Д. 1531.

[2] ЦИАМ. Ф. 156. Оп. 1. Д. 1611. Л. 1 – 3.

[3] ЦИАМ. Ф. 156. Оп. 1. Д. 1376. Л. 3.

школу. Его попытки найти с помощью уездного предводителя дворянства новую попечительницу остались безуспешны, и в декабре 1844 г. он сообщал, что училище задолжало за два года деньги надзирательнице и из-за отсутствия средств должно быть закрыто. К этому моменту в школе осталось всего 6 учениц.[1] Аналогичные проблемы были и в Верее: из-за невзноса средств в 1844 – 1845 гг. попечительницею, подполковницею Е.П. Толстой, училище должно быть закрыто, – уведомлял начальство тамошний смотритель училищ.[2]

Чиновники Министерства просвещения пытались переломить ситуацию: подвигнуть через местную губернскую власть городские общества к пожертвованиям на нужды женского образования, а также ввести обязательную плату за обучение. И оба эти направления в целом потерпели неудачу. Частичный успех был достигнут только в Коломне и Серпухове, граждане которых в 1845 г. согласились ежегодно отпускать на женские учебные заведения соответственно 600 и 400 рублей серебром ежегодно.[3] Однако гражданский губернатор посчитал устройство отдельного женского училища в Серпухове менее актуальной задачей, чем строительство новой городской больницы, и запретил всякие расходы городской думы на женское образование. А Министерство внутренних дел летом 1846 г. наложило запрет на решение коломенской думы о ежегодном выделении средств на содержание женского училища.[4]

При такой «поддержке» властей успехи женских школ были весьма скромны. Так, в Московской губернии в 1854 г. в уездных городах девочек обучали лишь в Коломне (70 человек), в Клину (12 человек), в Звенигороде (17 человек), в Рузе и Воскресенском посаде.[5] В последних в 1854/1855 учебном году учились 27 и 21 школьниц соответственно.[6] Еще меньше

---

1 ЦИАМ. Ф. 156. Оп. 1. Д. 1611. Л. 7 – 7 об.

2 Там же. Л. 17.

3 Там же. Л. 25 – 26.

4 Там же. Л. 30 об. – 31, 49 – 49 об.

5 ЦИАМ. Ф. 199. Оп. 2. Д. 10. Л. 76 об., 148 об., 178, 235 об.; Ф. 17.Оп. 97. Д. 205. Л. 2.

6 ЦИАМ. Ф. 156. Оп. 1. Д. 1941. Л. 1, 26.

учениц в том же году посещало женское училище г. Серпухова – 15 девочек в возрасте от 7 до 13 лет. Хотя численность населения Серпухова значительно превышала количество горожан в Рузе или Воскресенском посаде, но из-за довольно высокой платы многим родителям оно было не по карману. Поэтому в социальном отношении все ученицы серпуховской женской школы принадлежали к местной, преимущественно купеческой, элите: 9 девочек купеческого звания, 4 почетные гражданки, 1 дворянка, 1 обер-офицерская дочь. Причем дворянка обучалась «безденежно по бедности», а с остальных в зависимости от достатка родителей брали в год за учебу по 17 р. 14 коп. или по 34 р. 28 $^{1}/_{2}$ коп.[1] В Клину в это время плата за обучение девочек в частной школе дочери чиновника 14-го класса Вассы Алексеевны Пряхиной была меньше: от 25 до 30 коп. серебром ежемесячно. Однако учащихся было немного – 14 человек, распределившихся почти поровну на 3 социальные группы (дочери купцов, мещан и ямщиков).[2] Расхождение в цифрах о числе учащихся в заведении Пряхиной, видимо, объясняется текучестью учениц.

Прирост числа учащихся девочек происходил крайне медленными темпами, а в Серпухове его не было вообще. Там в 1855 г. было на 1 ученицу меньше, чем в 1839 г. при открытии школы. В Звенигороде в первой половине пятидесятых годов XIX в. произошло даже сокращение числа учащихся девочек. Так, в 1850 учебном году было 25 школьниц,[3] а через 4 года всего 17. К 1859 г., когда власти предпринимали новую попытку создать сеть женских учебных заведений в Московской губернии, эти школы устойчиво функционировали всего в двух уездных городах – Коломне и Волоколамске, а остальные испытывали серьезные, порой почти неразрешимые проблемы. Однако идея учреждения женских школ, мягко говоря, не встретила особого энтузиазма у горожан. Впрочем, это было характерно не только для жителей уездных городов Московской губернии, но и столичного города. Московские купцы и мещане не изъявили желания учредить женские училища.

1 ЦИАМ. Ф. 156. Оп. 1.Д. 1919. Л. 4.

2 ЦИАМ. Ф. 156. Оп. 1. Д. 1904. Л. 5 об. – 6.

3 ЦИАМ. Ф. 17. Оп. 97. Д. 148. Л. 8 об.

Как говорилось в указе Московского губернского правления серпуховской городской думе, «главным образом потому, что московские купцы и мещане *предпочитают домашнее образование школьному*, а частию потому, что в Москве есть достаточное количество частных пансионов, мещанское училище и школы благотворительного общества» (курсив мой – *А.К.*).[1] Разумеется, из-за высокой стоимости обучения в пансионах и особенно в связи с тем, что родители из уездных городов не хотели отдавать дочерей в московские пансионы, чтобы не отрывать их от семей, частные пансионы в Москве не играли фактически никакой роли в деле образования женщин уездных городов Московской губернии.

Отзываясь на предложение начальства об учреждении женских школ, примеру столицы последовали граждане Дмитрова, Бронниц, Звенигорода, Вереи и Павловского Посада, сославшись на «недостаточное состояние жителей». Можайское и Рузское общества в своих приговорах высказались против принятия на себя расходов по созданию женских школ, ходатайствуя об отнесении расходов на счет городских доходов. И только в Серпухове, Клину, Богородске и Сергиевом Посаде купцы и мещане «изъявили желание на учреждение женских школ» на счет добровольных «складок».[2] Реально механизм финансирования женских школ имел более сложный характер. В частности, в Серпухове в 1860 г. купцы и мещане выразили готовность ежегодно отпускать на нужды училища для девиц 1335 руб. серебром. Почетный гражданин купец 2-ой гильдии Иван Коншин согласился быть попечителем и жертвовать на школу ежегодно по 400 р. серебром. А вскоре другой благотворитель – почетный гражданин, 2-ой гильдии купец Иван Александров Сериков, изъявил желание ежегодно вносить в училищную кассу по 300 руб. серебром.[3]

Рассмотрев вопрос об источниках финансирования, совещание уездного предводителя дворянства Беклемишева, городского головы Чернова и уездного смотрителя училищ Волынского 2 сентября 1860 г. приняло решение освободить

1 ЦИАМ. Ф. 1036. Оп. 1. Д. 1469. Л. 1.

2 Там же. Л. 1 об.

3 ЦИАМ. Ф. 156. Оп. 1. Д. 1919. Л. 6 – 7 об.

девиц «сословия граждан г. Серпухова» от платы за обучение обязательным предметам. С остальных горожан и иногородних граждан плата за обязательные предметы была установлена в размере 3 руб. серебром. в год. «За преподавание же учения предметам необязательным определить плату с каждой девицы по пятнадцати руб. в год». Благодаря более прочному, чем раньше, финансовому положению училища размер платы за обучение был существенно снижен, что потенциально делало его более доступным для девочек из мещанских и разночинских семей. И, действительно, желающих обучаться набралось 130 человек, из них, как сообщалось в корреспонденции «Московских ведомостей», более 90 учениц, «которые вовсе не знали грамоты и главнейших молитв, не только твердо, но даже как-нибудь».[1]

В Западной Сибири неблагоприятную ситуацию с женским образованием не смогло переломить появление первых частных пансионов для девочек. Эти пансионы не внесли сколько-нибудь ощутимого вклада в распространение образования среди женщин из-за высокой стоимости обучения. Так, в пансионе Н.Яковлевой в Томске, куда принимали и мальчиков, в 1844/45 учебном году плата за обучение составляла 120 руб. асс. В заведении, открытом в 1849 г. Позоровским, пребывание в пансионе обходилось родителям девочки в 300 руб. асс., а полупансион стоил 150 руб. Отдельно взималась плата за обучение музыке – 60 руб.[2] Таким образом, обучение в пансионе было непозволительной роскошью для средних слоев городского населения. Такие деньги за обучение девочек были в состоянии уплатить лишь лица из губернской верхушки да малочисленные купцы первых двух гильдий. В этой связи возникновение первых пансионов для девиц в Томске представляется вполне закономерным. Именно здесь возникли подходящие условия: с одной стороны, в нем как губернском городе было довольно многочисленное образованное общество, а с другой стороны – имелись нувориши, нажившиеся на «золотой лихорадке» и стремившиеся дать своим дочерям приличное «светское» образование.

1 Русский вестник. 1861. № 2. С. 27 – 28.

2 Памятная книжка Томской губернии на 1885 год. С. 29 – 30.

Такие пансионы рассматривались некоторыми родителями в качестве средства подготовки мальчиков для поступления в гимназию. Так поступил отец Н.М. Ядринцева – томский откупщик. «Пансион этот, несмотря на претензии и дорогую плату, представлял заведение не столько педагогическое, сколько маленькую инквизицию», – писал в своих воспоминаниях видный деятель сибирского областничества. Он же утверждал, что содержатель пансиона «мучил детей и изобретал самые утонченные пытки для них и наказания. Бил линейкой по рукам, розгами сек, таскал за волосы, ... детей держал по 12 часов на коленях».[1] Вероятно, в последнем утверждении присутствует преувеличение, но общая атмосфера этого заведения и направленность обучения – все внимание французскому языку – глубоко запали в память мемуариста.

Общедоступные школы для девочек со второй половины 1840-х гг. начинают играть все большую роль в распространении женского образования в Западной Сибири. 1 июля 1846 г. в Ялуторовске стараниями декабриста И.Д.Якушкина открылась женская школа. За 10 лет ее окончили 192 ученицы.[2] Возможно, еще раньше, в 1844 г., по инициативе жены городничего Бучинской, появилась женская школа в Кургане. Этой даты придерживается автор книги о школьном деле в Зауралье А.Л. Михащенко.[3] По другим сведениям, школа в Кургане открылась в 1847 г. и просуществовала до 1854 г. В 1858 г. она возобновила свою работу при содействии директора училищ Тобольской губернии – поэта П.П. Ершова.[4] При этом в самом губернском центре – Тобольске – долгое время отсутствовала школа для девочек. Ни родителей, ни губернские власти эта проблема особенно не волновала. Лишь после пожелания председателя совета женских учебных заведений принца П.Е. Ольденбургского тобольское городское обще-

---

1 *Ядринцев Н.М.* Детство. // Литературное наследство Сибири. Т. 4. Новосибирск, 1979. С. 259.

2 Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. XVIII – первая половина XIX в. М., 1973. С. 331 – 332.

3 *Михащенко А.Л.* Указ. Соч. С. 10.

4 АРГО. Р. 61. Д. 25. Л. 9 – 9 об.; *Ярославцев А.К.* Петр Павлович Ершов. СПб., 1872. С. 161.

ство в 1851 г. пожертвовало 7500 руб. серебром на устройство женского училища. В 1852 г. в Тобольске открылось низшее отделение училища (для мещанских девиц), а в 1854 г. и высшее отделение, предназначенное для дочерей дворян, чиновников и купцов. Открытие второго отделения стало возможным благодаря крупным дарениям тюменских купцов. Не остались в стороне от обустройства школы и отдельные тобольские купцы. Так, член совета школы, потомственный почетный гражданин И.Н. Пиленков, пожертвовал дом для училища и вызвался купить соседний дом для помещения иногородних учениц. Жена губернатора, Анна Михайловна Арцимович, при организации школы также играла активную роль. В январе 1858 г. в школе обучалось более 100 учениц.[1] Хуже с устройством общедоступной школы обстояло дело в Томске. В какой-то мере в 1856 – 1858 гг. ее заменяло училище для девиц, которое содержала дочь надворного советника девица Рекс.[2]

В 1852 – 1861 гг. сеть женских учебных заведений охватила большинство городов Западной Сибири: Тобольск, Омск, Тару, Ишим, Березов, Тюмень, Каинск, Бийск и Барнаул. В 1860 г. в 8 женских школах западносибирских городов обучалось до 600 девочек.[3]

Домохозяйка, «украшение общества», деловая женщина?

В историографии существует обоснованное мнение, что создание сети женских учебных заведений стало важным социокультурным явлением городской жизни. Действительно, оно явилось зримым символом изменений в ментальности граждан, разночинцев и мелких государственных служащих. Посколь-

1 Несколько слов о Тобольской Мариинской женской школе // Томские губ. вед. 1858. № 26. С. 207 – 208.

2 *Мещерин О.* Историческая записка о состоянии народных учебных заведений Томской губернии, читанная на торжественном акте в Томской губернской гимназии 10 декабря 1858 года // Томские губернские ведомости. 1859. № 8.

3 Несколько слов о Тобольской Мариинской женской школе. С. 206 – 211; *Бабков И.Ф.* Воспоминания о моей службе в Западной Сибири. СПб., 1912. С. 57; АРГО. Р. 62. Д. 1д. Л. 45; ГАТО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 23. Л. 6 об. – 7; Д. 43. Л. 27, 53; Д. 78. Л. 41; Д. 85. Л. 4; Д. 91. Л. 1 об.; Ф. 99. Оп. 1. Д. 257. Л. 70; Д. 260. Л. 16.

ку жизненный путь женщины не был связан со службой или общественной деятельностью и, вообще, протекал за редким исключением на семейном поприще, которое непосредственно не требовало от нее получения школьного образования, то представление о необходимости обучения девочек означало во многом отход от прагматического видения мира. Известные педагоги того времени, государственные мужи и рядовые «властители дум» – приходские священники и учителя – в своих речах о необходимости женского образования исходили из прямой гендерной роли женщины в патриархальном обществе: рожать и воспитывать детей. Логика этих рассуждений была проста и разумна: неграмотная мать не может дать хорошее воспитание, стержнем которого является привитие ребенку основ православия. Этими же соображениями руководствовался и Александр II, заявляя о необходимости организации школ для девочек не только в городах, но и в больших казенных селах.

Разделяли эту точку зрения и педагоги. Вот что говорил, например, в своем обращении к посетителям, присутствовавшим при открытии верейского женского училища 19 января 1841 г., учитель русского языка, коллежский секретарь Гавриил Гурский: «Женщины предназначены природой для семейной жизни... Круг их – семья; поприще действия – собственный дом и сердца приближенных.., часто в роковых плодах раздоров и несогласий народных чернеет зерно тайных наветов женских; короче сказать, благоденствие общества и целых государств много зависит от образа мыслей и чувств женщин, от большей или меньшей чистоты их нравственности».[1] В полном соответствии с духом николаевской России он призывал к сословному содержанию образования: «дайте приличное воспитание женскому полу, то есть воспитание, сообразно званию каждой, и положению ее в свете, и вообще будущим ее гражданским отношениям. Учить простолюдинку тому, чему учат знатных, было бы бесполезно для ней и убийственно».[2] Не забыл он сказать и об обязанностях матерей. Оратор мимоходом упомянул, что и женщины могут

[1] ЦИАМ. Ф. 156. Оп. 1. Д. 1492. Л. 17 – 17 об.

[2] Там же. Л. 17 об.

«сиять невечерними звездами» на поприще наук и изящного. Но с особым одушевлением учитель Гурский написал пассаж о значении религиозного воспитания женщины, которое считал основой счастливого супружества: «...необразованная женщина будет видеть в справедливых требованиях своего мужа – одну грубость и тиранию, следовательно, и предлог к сопротивлению... Не понимая святости уз супружества, она будет считать их производным гражданским установлением, связью родов, капиталов и видов. Чуждая здравых соображений и отчетливости, она неуместными безрассудными действиями своими разрушит весь порядок и стройность в домоправлении... Священная храмина супружества, оставленная без призора, не согреваемая любовью, начнет мало помалу разрушаться; наконец совершенно распадется и в развалинах своих приютит пресмыкающейся соблазн и отвратительный разврат». Вся речь учителя русского языка о необходимости образования женского пола была рассчитана на родителей, но слушателями ее были не только взрослые, но и юные ученицы. О последних он вспомнил только в конце выступления: «А вы, милые дети, учитесь прилежно и тщательно!»[1]

А что же думали об этом сами купцы и мещане, в чьих семьях росли девочки? Приняли ли они эти установки, рожденные в другой социальной среде, в головах людей, которые имели другой социальный опыт и которые мыслили во многом иначе, чем большинство купцов и мещан? Или же у них были свои, отличные мотивы? Возможно взгляды «образованного общества» и повлияли в какой-то мере на отношение отцов к обучению дочерей, но была и другая причина, побуждавшая их заботиться о получении знаний девочками. И эта причина была абсолютно прагматична и отвечала потребностям торгово-предпринимательского быта. В купеческом и нередко мещанском быту женщины не только воспитывали детей, занимались хозяйством, но и активно участвовали в семейном бизнесе. В провинции девочек с подросткового возраста, особенно если у них не было братьев или те были слишком малы, приучали к торговле. В дальнейшем они, выйдя замуж, часто

1 Там же. Л. 21 – 24.

помогали мужу в его производственных занятиях: отпуская товар, направляя деятельность служащих, проверяя счета, а иногда и занимаясь бухгалтерией. Деловая активность особенно была характерна для вдов с малолетними детьми и для взрослых незамужних женщин, которым приходилось не только торговать в лавке, но и самим заниматься покупкой, принятием товаров на комиссию, получением кредитов и прочими финансовыми и торговыми операциями. Еще более сложные задачи стояли перед женщинами, которые, в силу каких-либо обстоятельств, оказывались во главе фабрик. Как это произошло с матерью химика Д.И. Менделеева, руководившей много лет стекольной фабрикой брата. Ее согласие руководить фабрикой диктовалось тяжелым материальным положением семьи. Муж, став инвалидом по зрению, лишился возможности заниматься педагогической практикой и получал пенсию 1000 руб. в год, которой многодетной семье было явно недостаточно. Совмещение обязанностей матери и управляющей фабрикой давалось ей непросто. Поэтому, оставив бизнес, в частном письме в августе 1839 г. она с облегчением писала: «Теперь я счастливее, чем была на фабрике. Я в кругу моего семейства, я мать детей моих, а не работница. Я исполняю мои священнейшие обязанности и жалею, что не имела твердости ранее оставить фабрику».[1]

Торговля и предпринимательская деятельность требовали все более разносторонних знаний от женщин, которые ими занимались. Поэтому дальновидные родители, которых было не особенно много, стремились подготовить дочерей к возможности самостоятельного ведения дела в случае, если их жизнь пойдет не по благоприятному сценарию. Для успешного ведения торгово-промышленной деятельности в середине XIX в. было уже недостаточно одних практических навыков или традиционного домашнего образования с его упором на чтение книг церковной печати. Поворот от домашнего воспитания девочек к школьному обучению диктовался и экономическими соображениями: обучение в школе позволяло сэкономить по сравнению с наймом частных учителей, но не менее важным был и жи-

1 Семейная хроника в письмах матери, отца, брата, сестер, дяди Д.И. Менделеева. СПб., 1908. С. 39.

тейский опыт. Родители видели, что систематическое школьное образование предпочтительнее домашнего, осуществляемого педагогами-дилетантами. Со временем они приходили к мысли, что не только мальчиков, но и девочек лучше обучать в школе, нежели у каких-нибудь «мастеров» и «мастериц».

Прагматические цели женского школьного обучения, ожидаемые родителями, прежде всего отцами, проникают и в педагогическую среду. Отметим, что в провинции такой взгляд утверждается чуть раньше, чем в Москве. Например, в проекте Устава учреждаемого в г. Коломне отдельного женского училища (октябрь 1847 г.) говорилось: «Особенная цель учреждаемого отдельного училища состоит в распространении способов к начальному образованию детей женского пола всех состояний, *и доставлении им возможности снискивать себе впоследствии трудами своими пропитание*, соответствующее состоянию их» (курсив мой – *А.К.*).[1]

И все же, идеи женской эмансипации еще не проникли в сознание большинства горожан. Ментальность горожан (особенно купцов, мещан, разночинцев) оставалась патриархальной. В этой связи и объем знаний, которые считали нужным дать девочкам в процессе обучения, был меньше. Среди горожан были и прямые противники женского образования. Логика таких представлений была предельно заземлена. «Родители вообще думают, что девушку не для чего учить грамоте. Она не относит никаких должностей. Ее дело – знать хозяйство», – приводит распространенное среди жителей Березова, да, замечу, и не только среди них, мнение священник В.Тверетин.[2]

В среде верхних слоев чиновничества и богатого купечества, той его части, которая интенсивно усваивала нормы культурного обихода, принятые в дворянской среде, в женщине видели жену и мать семейства и одновременно «украшение общества». Отсюда и требования, предъявляемые к обучению девочек: уметь танцевать, играть на рояле или другом музыкальном инструменте и, высший шик, говорить по-французски. Такое «светское» образование девиц вызы-

[1] ЦИАМ. Ф. 156. Оп. 1. Д. 1611. Л. 56.

[2] АРГО. Р. 61. Д. 28. Л. 9.

вало неприятие в мещанско-разночинской среде, где воспитание было, по необходимости, трудовым. В середине XIX в. мы находим критику поверхностного образования женщин («французщины и фиглярства») и в заметках о женских школах, опубликованных в местной печати, и в рукописи тюменского мещанина.[1]

Небольшой объем знаний, которым до становления школьного образования ограничивалось обучение девочек, вел к тому, что их обучение общеобразовательным предметам прекращалось удивительно рано. Гувернантка дочерей алтайского горного начальника Е.С. Пояркова в декабре 1839 г. с горечью писала родным из Барнаула: «воспитание же здешних девиц продолжается только до десяти лет... и так как девицы начальника от старшей и до младшей, которой более 11 лет, то щитают себя уже взрослыми и стыдятся чему-нибудь учиться, потому и занятия мои с ними уже кончились...».[2] Свидетельство Поярковой, тещи известного в будущем сибирского краеведа С.И. Гуляева, не следует недооценивать. Во-первых, она педагог, домашняя учительница, во-вторых, в Барнаул приехала из Петербурга, поэтому могла сравнивать отношение к обучению в столице и в «уголке Петербурга», как любили именовать этот алтайский город русские и иностранные путешественники по Сибири, многие из которых восторгались образованностью тамошних дам и девиц. В целом же, уровень образованности большинства горожанок из высших и средних страт был невысоким. И достигнуть его при наличии определенного стимула было не так сложно, как свидетельствует история, рассказанная лидером сибирских областников Н.М. Ядринцевым. Его мать, жена томского откупщика, выкупила из крепостных свою племянницу, которую начали интенсивно учить читать, писать и танцевать. «Через год она фигурировала на наших балах в изящном бальном платье, и первые кавалеры в городе считали за осо-

---

1 АРГО. Р. 61. Д. 39. Л. 2 об.; Н.В. О женской школе в Томске // Томские губ. вед. 1858. № 45. С. 365; *Козаченко В.* Воспоминания о публичном акте в Мариинской женской школе, бывшем 22 июля 1858 г. // Тобольские губ. вед. 1859. № 8. С. 74.

2 ГААК. Ф. 163. Оп. 1. Д. 18. Л. 102 – 102 об.

бое удовольствие танцевать с ней кадриль». Девушка вышла замуж за учителя, ставшего впоследствии священником.[1]

В организации женских школ наиболее активную роль играли жены и взрослые дочери чиновников, что объясняется их более высоким общекультурным уровнем. Однако в ряде городов: Тюмени, Ишиме, Березове, Таре – не менее деятельны были и женщины из купечества, мещанства и духовенства. Подтверждением этого служат и факты избрания попечительницами школ в Ишиме и Таре жен купцов, а в Березове – супруги священника.[2] Активное участие части женщин из купеческой, мещанской и церковно-православной среды в создании и становлении женских школ свидетельствует об осознании ими ценности образования, о росте культурного уровня горожанок.

Следует отметить и некоторые позитивные моменты совместного обучения детей разных сословий, способствовавшие сближению культурных предпочтений горожан. В частности, дети из состоятельных семей получали непосредственные впечатления об условиях быта своих школьных товарищей из мещанско-разночинской среды. «Демократическая среда гимназии воспитывала равенство. Дети тузов и богачей не пользовались никакими преимуществами... Мы научились уважать в этой среде только собственные достоинства и нравственные качества», – вспоминал позже Н.М. Ядринцев.[3] Был и другой позитивный аспект, на который любили указывать тогдашние педагоги: дети из мещанско-разночинской среды усваивали некоторые культурно-бытовые нормы от своих «благородных» товарищей, могли воспользоваться библиотеками их родителей и т.д. Это влияние, как писал Н.Г. Потанин, ощущалось даже в Омском кадетском корпусе, начальство которого стремилось оградить воспитанников из дворянско-чиновничьей среды от детей

---

1 *Ядринцев Н. М.* Детство // Литературное наследство Сибири. Т. 4. С. 258 – 259.

2 ГАТО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 43. Л. 17; Д. 91. Л. 1; *Губарев К.* От Тобольска до Березова // Современник. 1863. № 1 – 2. С. 381.

3 *Ядринцев Н.М.* Воспоминания о Томской гимназии // Литературное наследство Сибири. Т. 4. Новосибирск, 1979. С. 270.

казаков.[1] В известной мере в общесословных учебных заведениях происходило взаимовлияние ценностных установок и личностных образцов поведения, носителями которых были учащиеся разных сословий и социальных групп, или, говоря словами польской исследовательницы М. Оссовской, «интерференция» дворянского и буржуазного «этосов».[2]

Наконец, овладение знаниями, хотя бы в пределах программы уездного училища (или путем самообразования тех, кто получил лишь элементарные навыки грамотности), несомненно, расширяло интеллектуальный кругозор человека. У грамотного горожанина, который время от времени читал газеты и журналы, интересовался художественной, научно-популярной или специальной справочной литературой, менялись когнитивные основы ментальности. Он получал информацию не только устным путем, но и через текст, что потенциально открывало богатые возможности для расширения «картины мира» горожанина, которая, таким образом, претерпевала качественные перемены. Изучение правовых представлений и отношения горожан к местному самоуправлению убеждает,[3] что позитивные перемены в их ментальности были тесно связаны с развитием просвещения в провинциальных городах.

Ведомственные и публичные библиотеки

Ведомственные библиотеки и их роль

Учреждения системы народного образования были той базовой основой, на которой преимущественно и происходило становление других институтов культуры. Часто такое становление осуществлялось непосредственно в стенах самих учебных заведений, где возникали театральные кружки и

---

1 *Потанин Г.Н.* Воспоминания // Литературное наследство Сибири. Т. 6. Новосибирск, 1983. С. 42, 49 – 50.

2 *Оссовская М.* Рыцарь и буржуа. М., 1987. С. 427 – 459.

3 См.: *Куприянов А.И.* Правовая культура горожан Сибири первой половины XIX в. // Общественно-политическая мысль и культура сибиряков в XVIII – первой половине XIX в. Новосибирск, 1990. С. 81 –101.

библиотеки. Последние, как правило, независимо от ведомственного статуса (семинарские, гимназические, кадетские) были недоступны до конца 1850-х годов для «сторонней публики». Допуск учащихся к библиотечному фонду учебных заведений был неодинаков даже в различных заведениях одного и того же ведомства в одной губернии. Так, согласно «Ведомости о казенных библиотеках при учебных заведениях духовного ведомства», в Тверской губернии в 1854 г. число читателей этих библиотек составляло от 70 до 427 человек в Осташкове, Вышнем Волочке, Твери и в Ржеве, а в Старице, Краснохолмске, Торжке, Кашине колебалось от 5 до 8 человек. Такой огромный перепад численности читателей объясняется тем, что во второй группе библиотеками семинарий и духовных училищ могли пользоваться лишь учителя, но не учащиеся. О чем недвусмысленно свидетельствует отметка о библиотеке в Бежецке: «Читателей посторонних и кроме учителей не было».[1]

Численность читателей казенных библиотек Министерства народного просвещения в Тверской губернии была на порядок ниже, чем в библиотеках учебных заведений духовного ведомства, и колебалась от 9 (Торжок, В. Волочок) до 26 человек (Бежецк).[2] Схожая ситуация наблюдалась и в Западной Сибири. По данным, собранным в 1856 г. Тобольским губернским статистическим комитетом, в уездных и приходских училищах Министерства народного просвещения, «...книгами пользуются преимущественно училищные чиновники. О числе учащихся не ведется записки». Число читателей в тобольской семинарии и духовном уездном училище, соответственно 286 и 200,[3] несомненно, свидетельствует о включении в это число и учеников.

Фиксация в служебных отчетах среди посетителей библиотек при учебных заведениях учащихся еще не означала, что последние могли удовлетворять там свои читательские запросы. Как правило, в первой половине XIX в. библиотеки учебных заведений делились на две части: фундаментальную

1 ГАТвО. Ф. 131. Оп. 1. Л. 930. Л. 5 об. – 12.

2 Там же. Л. 13 – 14.

3 ГАОО. Ф. 3 Оп. 3. Д. 3570. Л. 221 – 221 об.

Таблица 2

Социальный состав читателей Томской публичной библиотеки в 1835 – 1846 гг.

	1835	1836	1837	1838	1839	1840	1841	1842	1843	1844	1845	1846
Чины 4-8 кл.	5	11	11	2	5	1	2			3	1	4
Чины 9-14 кл.	7	14	16	4	6	3		1	4			
Канцеляристы	8	15	7	1	2						1	
Купцы	3	3	8	1	3	1	8	3	1	4	5	1
Мещане	6	8	7	3	4	4		1	5			
Разночинцы									2			
Крестьяне	1								1		1	1
Всего	30	51	49	11	20	9	10	5	12*	7	8	6

* Так в документе.

Таблица составлена по: РГИА. Ф. 733. Оп. 7. Д. 56, Оп. 8. Д. 111, 290, Оп. 9. Д. 288.

и учебную, которая состояла почти исключительно из учебной литературы. К фондам фундаментальных библиотек ученики, за редчайшим исключением, доступа не имели. Протоиерей Сергей Сергеевич Модестов в своих воспоминаниях о Вифанской семинарии (в которой он обучался в 1846 – 1852 гг.) писал, что ученическая библиотека начала создаваться лишь во время его обучения в старшем классе. Модестов отметил, что в фундаментальную библиотеку, «наполненную большею частью латинскими фолиантами и другими весьма серьезными книгами, никому из нас, учеников, доступа не было, да и охоты к серьезным занятиям у нас не было никем возбуждаемо, пробавлялись большею частью проповедями Филарета, Иннокентия. Были, как помнится, в употреблении сочинения Карамзина, Муравьева, жизнеописания святых, описания монастырей и т.п. *Книг по общеобразовательным предметам совсем не было*, так же *с сочинениями светских писателей мы были знакомы только по хрестоматиям* и, правда, усердно заучивали помещенные в них отрывки Ломоносова, Державина, Жуковского, Пушкина, Гоголя, Кольцова и др. *Светские журналы и газеты прямо не допускались* и ни с какими *романами и повестями мы были совершенно не знакомы...* » (курсив мой – *А.К.*)[1].

Почти в то же самое время, в 1854 г., ректор Тобольской духовной семинарии Паисий предложил ученикам пожертвовать деньги на выписку новых книг, которые и послужили первой лептой на формирование ученической библиотеки. В дальнейшем эта библиотека пополнялась за счет пожертвований книг купцами (Н.С. и А.С. Пиленковыми) и выпускником семинарии, чиновником Н.С. Знаменским, пожертвовавшим «Деяния Петра» в 22 томах. К началу марта 1858 г. библиотека семинаристов насчитывала всего 322 тома. Разумеется, книг было совсем немного, но в отличие, например, от Вифанской семинарии ученики Тобольской семинарии могли при отсутствии книг в ученической библиотеке воспользоваться изданиями из фондов фундаментальной библиотеки.[2] Однако такой

1 РГБ ОР. Ф. 524. К. 3. № 14. Л. 54.

2 *Сулоцкий А.И.* Краткий очерк ученической библиотеки, состоящей при Тобольской семинарии // Тобольские губернские ведомости. 1858. № 28. С. 476 – 477.

либерализм отличал далеко не все учебные заведения в Западной Сибири, и вряд ли его справедливо причислить к региональным особенностям. В светских учебных заведениях, как правило, отношение к допуску учащихся к книгам из фундаментальных библиотек было иным. Впрочем, строго говоря, в Западной Сибири лишь книжное собрание при кадетском корпусе в Омске могло претендовать на основательность, которая необходима библиотеке, именуемой «фундаментальной».

Эта библиотека была основана еще в 1814 г. В то время в ней преобладали книги «религиозно-нравственного и исторического содержания».[1] Краевед А.И. Сулоцкий, служивший священником и законоучителем в корпусе, считал, что в конце 1850-х гг. библиотека при Сибирском кадетском корпусе была самой большой и лучшей в Тобольской губернии. В фундаментальной библиотеке насчитывалось более 3450 тт., кроме этого, еще 450 томов имелись в ротной и эскадронной библиотеках, «составленных из книг наиболее соответствовавших возрасту воспитанников и их назначению...»[2] Аналогичного мнения придерживалось и армейское начальство. Так, инспектировавший корпус в августе 1856 г. генерал-лейтенант Ореус писал: «Библиотека, как корпусная, так и классическая удовлетворяют требованиям программ и учебных заведений».[3] С ним был солидарен и проверявший корпус два года спустя генерал от инфантерии Миркович. [4]

В какой мере кадеты могли воспользоваться фондами корпусной библиотеки? Как относилось училищное начальство к увлечению воспитанников чтением? Н.Г. Потанин вспоминал, что командир эскадрона Кучковский не любил выдавать книги и всяческие отговорки употреблял для того, чтобы отказать в просьбе.[5] Разумеется, о книгах из фунда-

---

1 *Путинцев Н.Г.* Хронологический перечень важнейших событий из истории Сибирского казачьего войска: Со времени водворения западно-сибирских казаков на занимаемой ныне территории. Омск, 1891. С. 12.

2 *Сулоцкий А.И.* Библиотека Сибирского кадетского корпуса // Тобольские губернские ведомости. 1858. № 23. С. 418.

3 ГАОО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 73а. Л. 15 об.

4 ГАОО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 92. Л. 13.

5 *Потанин Н.Г.* Биографические сведения о Чокане Валиханове // Валиханов Ч.Ч. Собр.Соч. Т. 4. Алма-Ата, 1968. С. 313.

ментальной библиотеки при таком отношении начальства кадетам и мечтать не приходилось. (Положение изменится в 1860-е гг., когда начальство введет «полуобязательное» посещение кадетами старших классов фундаментальной библиотеки.)[1] Правда, бывали исключения и раньше, например, «фундаментальные» книги иногда выдавались Чокану Валиханову, вероятно, благодаря его особому положению, как наиболее выдающемуся и знатному кадету из «туземцев». Подбор литературы, доступной кадетам, по мнению проверяющих из Петербурга или законоучителя, был оптимален. Но так ли думали сами учащиеся, во всяком случае наиболее интеллектуально развитая их часть? В своих воспоминаниях о Валиханове Потанин разъяснил и ту абстрактную характеристику, данную в печати Сулоцким этим книжным собраниям: «Чтение мы имели бедное. Ученическая библиотека была составлена почти исключительно из биографий русских генералов и описаний разных войн».[2] Неудивительно, что книголюбы из числа кадет не были удовлетворены книжным репертуаром этих библиотек.

Разумеется, сегодня стремление военных педагогов ограничить круг чтения будущих офицеров «правильной» литературой вызывает сочувствие к кадетам. Однако директор корпуса и педагоги, служившие в корпусе, стремились воспитать офицеров, хорошо профессионально подготовленных, дисциплинированных, преданных царю и Отечеству. С этой точки зрения при подготовке преданных защитников отечества и жития святых не самый благонадежный источник. Так, двое кадетов, вдохновленных чтением религиозно-нравственной литературы, предпочли блеску офицерских мундиров скромные рясы священников, хотя для этого им пришлось преодолеть серьезные препятствия. Отсюда стремление корпусного начальства ограничить круг чтения учащихся, что не помешало Н.Потанину и Ф.Усову стать видными фигурами сибирского областничества.

Тяга к чтению светской литературы в провинциальной Рос-

1 ГАОО. Ф. 366. Оп. 1. Д. 358. Л. 29.

2 *Потанин Н.Г.* Биографические сведения о Чокане Валиханове. С. 312 – 313.

сии проникает в массы лишь в последней четверти XVIII в., а ранее «изобретение Гутенберга коснулось лишь наиболее образованных читателей из богатой помещичьей среды».[1] В начале XIX в. и в крупных городах Западной Сибири усилился интерес к светской книге, которая завоевывала все больше читателей во всех социальных средах. Подтверждением возросшего интереса демократического читателя к книге служит и политика администрации по вопросу о доступе в ведомственные библиотеки лиц, не служивших в данном ведомстве. Если в конце XVIII в. доступ к книжным фондам ведомственных библиотек в западносибирских городах был относительно свободен, то в первые годы следующего столетия в связи с возросшим числом читателей администрация стремится закрыть их двери перед горожанами. Так, 6 марта 1802 г. было решено производить выдачу книг из библиотеки Тобольской семинарии посторонним лицам лишь с разрешения ректора или префекта.[2] Еще более категоричное решение приняло начальство Колывано-Воскресенских заводов по предложению П.К. Фролова в мае 1809 г. Среди дополнений к правилам пользования библиотекой был утвержден пункт, запрещавший выдачу книг тем, кто не принадлежал к заводскому штату.[3] В результате таких мер роль библиотеки Колывано-Воскресенских заводов в культурной жизни Барнаула изменилась: если в XVIII и в начале XIX в. она была общедоступной, то с 1810-х гг. ей могли пользоваться лишь семьи горных служащих.[4]

Непросто было воспользоваться и книжными фондами учреждений православной церкви. Поэтому ученый и востоковед, действительный статский советник П.Л. Шиллинг, отправляясь в Сибирь, предварительно заручился разрешением обер-прокурора Синода на право заниматься в епархиальных библиотеках по сибирскому тракту.[5] Такая ситуация сохранилась и в начале 1860-х гг., когда Н.М. Ядринцев с го-

---

1 *Блюм А.В.* Массовое чтение в русской провинции конца XVIII – первой четверти XIX в. // История русского читателя. Вып. 1. Л,. 1973. С. 38.

2 ГАТ. Ф.144. Оп.1. Д. 60. Л. 28.

3 *Савельев Н.Я.* Петр Козьмич Фролов. Новосибирск, 1951. С. 44.

4 *Савельев Н.Я.* Указ. Соч. С. 123.

5 РГИА. Ф. 796. Оп. 111. Д. 224

речью писал, что богатые библиотеки при Тобольской семинарии и военной гимназии в Омске (бывшем кадетском корпусе) «недоступны для публики».[1]

И все же возможности горожан пользоваться книгами церковных библиотек зависели от позиции местного духовенства, которое порой было благосклонно к книголюбам[2]. Поэтому двери древних церковных книжных собраний не были закрыты для горожан всех сословий, связанных духовно и интеллектуально с приходским клиром. Благоприятствовало читателям и то обстоятельство, что среди духовенства встречались подлинные книголюбы, заботившиеся о распространении книжного знания.

Куда сложнее было стороннему читателю заполучить литературу из других ведомственных библиотек. Сведения, собранные в 1856 г. Тобольским губернским статистическим комитетом,[3] позволяют утверждать, что библиотеки всех видов учебных заведений обслуживали лишь преподавателей и отчасти учащихся. Особенно трудно было получить книгу из ведомственных библиотек небогатым купцам, мещанам, разночинцам, то есть большинству городских жителей. В периодике того времени встречаются сведения о категорическом отказе выдать книгу для чтения даже под залог[4]. Следует отметить, что А.И. Сулоцкий в полемике утверждал обратное, но аргументировал свою позицию почему-то ссылкой на «Каталог для военно-учебных заведений», а не на практику, добавив, что учебное начальство не откажет известным лицам.[5] Однако эти аргументы, напротив, подтверждают правоту его оппонентов: ведь для того, чтобы воспользоваться изданиями из той же библиотеки кадетского корпуса, требовалось быть хорошо знакомым с ее начальником – генералом! Мно-

1 *Ядринцев Н.М.* Сибирь как колония. СПб., 1882. С. 394 – 395.

2 *Сулоцкий А.И.* Церковные библиотеки Тобольской епархии // Православное обозрение. 1867. № 11. С. 174;
Путинцев М. Протоиерей Александр Иванович Сулоцкий // Душеполезное чтение. 1885. Ч. 2. № 5. С. 7; РО РГБ. Ф. 319. П. 2. Д. 14. Л. 8.

3 ГАОО. Ф. 3. Оп. 3. Д. 3570. Л. 221 – 221 об.

4 *Чукмалдин Н.* Из Тюмени // Тобольские губ. вед. 1863. № 32. С. 256.

5 *Сулоцкий А.И.* Библиотеки. № 23. С. 419.

гие ли горожане могли этим похвастать? Возможность читателей пользоваться ведомственными библиотеками определялась не только библиотечной политикой администрации учреждений, но и социальным статусом горожан. Поэтому демократический читатель мог твердо рассчитывать только на собственную библиотеку и книжные собрания знакомых. Удовлетворить запросы основной массы читателей было возможно в основном путем создания публичных библиотек.

Первые публичные библиотеки

Когда же появились в русской провинции первые публичные библиотеки? М.Г. Рабинович в книге «Очерки этнографии русского феодального города» писал об открытии городской библиотеки в Кургане в 1824 г. Это же неопределенное сочетание «городская библиотека» он использовал и в другой работе, где речь шла о том же факте.[1] В результате складывается впечатление, учитывая контекст его изложения, что типичным явлением для общественного быта уездного русского города было появление публичной библиотеки вслед за обретением им официального административного статуса. Однако в источнике, на который ссылается исследователь, речь идет о библиотеке при уездном училище, которую никак нельзя признать ни общедоступной, ни городской (публичной).

Лишь в 1830 г. по предложению президента Вольного экономического общества Н.С. Мордвинова в России создается сеть публичных библиотек. Планировалось учредить библиотеки в губернских городах за счет добровольных пожертвований. Реализация этого проекта была возложена на Министерство внутренних дел, которое циркуляром от 5 июля того же года за подписью министра генерал-адъютанта А.А. Закревского предписало губернаторам принять меры для организации библиотек. На местах власть повела себя по-разному. Например, тобольский губернатор, едва успев получить циркуляр МВД, уже 25 сентября 1830 г. отклонил предложение об устройстве в Тобольске библиоте-

---

1 *Рабинович М.Г.* Очерки этнографии русского феодального города. М., 1978. С. 110; *Он же.* Город и городской образ жизни // Очерки русской культуры XVIII века. Ч. 4. М.,1990. С. 264.

ки «по неимению там дворянства и весьма ограниченному числу купечества, для коего не настало еще время учредить библиотеку».[1] Какова была реакция жителей Тобольска на эту инициативу правительства, мы не имеем возможности узнать, ибо губернатор даже не счел нужным обратиться с официальным запросом в городскую думу. В Томске, где сословный состав горожан был аналогичным, предложение создать публичную библиотеку встретило поддержку думы и нескольких книголюбов. В 1831 г. городская дума уступила под библиотеку часть занимаемого ею дома. Купеческое и мещанское общество приняло решение ежегодно выделять на ее содержание 200 руб. из городского бюджета и отпустило на ремонт помещения 526 руб. Хотя денежные пожертвования частных лиц были незначительны, но материальная поддержка граждан и книжные дарения отдельных книголюбов позволили открыть библиотеку в конце августа 1833 г.[2]

В Твери, которая по общей численности жителей и наличию среди населения заметной дворянско-чиновничьей прослойки представляла вроде бы вполне благоприятную социальную и культурную среду, публичную библиотеку организовать не удалось, хотя к 1836 г. на эти цели было пожертвовано 440 руб. и несколько книг. Удар по престижу губернского города был нанесен в Осташкове – одном из уездных городов Тверской губернии. Там в 1832 г. появилась городская библиотека. Она была создана усилиями и пожертвованиями купцов и мещан, именуемых в отчетах библиотеки «гражданами». Какими целями они руководствовались? Вот что писали об этом учредители в прошении от 30 июня 1832 г.: «Движимые добрым намерением Общество любителей словесности и литературы положило составить собственную общую библиотеку для чтения, в коей бы каждый член оной мог находить верное и неотяготительное средство пользоваться лучшими произведениями авторов, снискавших известность и *в особенности русских*, могущих познакомить нас *с национальною*

1 РГИА. Ф. 733. Оп. 7. Д. 54. Л. 1.

2 См.: *Куприянов А.И.* Русский город в первой половине XIX века. Общественный быт и культура горожан Западной Сибири. М., 1995. С. 81 – 82.

литературою нашею...»[1] В этом прошении обращает на себя внимание, что оно подано не через учебное учреждение или от имени инициативной группы подписчиков, но от лица организованных в добровольное общество любителей словесности и литературы. Но еще важнее отчетливая идеологическая ориентация круга чтения осташковских книголюбов, презентирующих свою национальную идентичность через декларацию своего интереса к отечественной литературе.

Библиотека в Осташкове не имела читального зала и в 1835 г. работала только в понедельник и четверг с 7 и 8 часов вечера для выдачи и приема книг. С 1836 г. обслуживание читателей производилось по тем же дням с 6 до 9 часов вечера. Несмотря на некоторые неудобства, горожане активно пользовались книгами и журналами из библиотеки. Так, в 1835 г. на одного читателя пришлось в среднем 18 прочитанных томов, в 1837 – 25, в 1838 – 30, в 1839 и 1840 – 27, в 1841 – 26 и в 1842 – 24 книги.[2]

Губернское начальство к осташковской библиотеке явно благоволило. Ее существование можно было смело поставить себе в заслугу. Поэтому посетивший в августе 1835 г. библиотеку начальник губернии похвалил учредителей и предложил местному городскому обществу освободить от постойной повинности дом библиотекаря, мещанина Серебренникова, в котором библиотека занимала две комнаты. Что и было исполнено приговором Осташковского градского общества от 17 октября 1835 г.[3]

Какова была судьба этой уездной библиотеки? Л.А. Абрамова пишет, что в 1833 г. ею пользовались 22 члена-основателя и 24 подписчика, большинство которых были офицерами. В 1843 г. число подписчиков выросло до 55, но в конце 40-х гг. упало до 12: «Это следствие перевода войск из Осташкова, а главное, как отмечали современники, из-за наступившей

[1] *Абрамова Л.А.* «Движимые добрым намерением»: история создания общественной публичной библиотеки в городе Осташкове // Из истории тверских библиотек. Тверь, 1995. С. 27.

[2] РГИА. Ф. 733. Оп. 7. Д. 42. Л. 31, 85 – 85 об., 97 об., 106 об., 113 об; Оп. 8. Д. 107. Л. 3 об., 10 об.

[3] Там же. Л. 32.

реакции после 1848 г., когда стали внимательно следить, кто и какие книги читает, много ли чиновников состоит подписчиками».[1] Попробуем разобраться в причинах падения роли публичных библиотек в удовлетворении читательских потребностей. Все причины можно разделить на две группы: общероссийские (реакционная внутренняя политика царизма) и местные (сокращение читателей из-за перевода войск из города). Рассмотрим главную местную причину сокращения числа читателей – перевод войск. Чтобы понять, как этот фактор мог повлиять на судьбу городской библиотеки, необходимо уточнить, каким был социальный состав читателей осташковской библиотеки в первые годы ее деятельности. Л.А. Абрамова, к сожалению, точных цифр не приводит, не указывая ни время вывода войсковой части из города, ни доли офицеров среди читателей библиотеки.

Я же располагаю лишь отчетами осташковской библиотеки за 1835 – 1844 гг. По этим источникам, в Осташкове среди всех читателей публичной библиотеки граждане, то есть купцы и мещане, составили 66,2 %, в то время как чиновники и неслужащие дворяне 22 % (в том числе гражданские и военные чиновники – 13,9 %). Опираясь на эти данные, можно констатировать, что в первые годы своего существования осташковская библиотека привлекла к себе внимание именно граждан, но не малочисленного чиновничества. Квартирование военных в городе оказало определенное воздействие на бытовую и культурную жизнь города, но на проблемы публичной библиотеки оно практически не оказало никакого влияния. Так, в 1841 г. среди 55 читателей было всего 6 чиновников, один из них – военный. В следующем году из 55 читателей было 12 чиновников, среди которых военные вообще не отмечены.[2] Не слишком убедителен на поверку оказывается и довод о возросшем контроле за чтением после 1848 г., что также якобы привело к сокращению читателей. На деле ситуация была иной. После резкого сокращения читателей в конце 1840-х гг. последовал новый подъем. Однако он был значительно скромнее, и в первой половине 1850-х гг. число чи-

1 *Абрамова Л.А.* Указ. Соч. С. 28.

2 РГИА. Ф. 733. Оп. 8. Д. 107. Л. 3 об., 10 об.

тателей осташковской публичной библиотеки хотя и выросло по сравнению с концом 1840-х гг. в два раза, но достигло лишь 25 человек.[1]

Насколько преобладание «граждан» среди читателей Осташкова можно признать типичным? В Томске в те же годы сложился иной социальный состав читателей, в котором преобладали государственные служащие: чиновники – 45,4% и канцеляристы – 15,6% от общего числа читателей. На долю почетных граждан, купцов и мещан пришлось 36,2%.[2] Зеркальность социального состава читателей публичных библиотек в Томске и в Осташкове объясняется не региональными различиями, но статусом городов (губернский – уездный), а также некоторым опережением скорости протекания социокультурных процессов (в том числе демократизация читателей) в Осташкове по сравнению с другими уездными и многими губернскими городами, которые не входили в группу многолюдных городов.

Абонентская плата за пользование книгами была невысока – 3 руб. серебром. Однако рост числа читателей библиотеки сдерживался как нехваткой средств на выписку новых журналов, так и отсутствием читального зала. Эти проблемы затрудняли возможность оперативного получения книжных и особенно журнальных новинок. На сложности с получением свежих журналов в Осташкове указывалось в начале 1860-х гг. в двух корреспонденциях из города, в одной из которых сообщалось: «Говорят, что в последнее время число читателей уменьшается, и приписывают это тому, что в общественное дело вмешались разные протекции, по которым новенькие журналы выдаются неправильно и, следовательно, с обидой для публики».[3]

Что же касается причин сокращения числа читателей, то для ответа на этот вопрос полезно ознакомиться с «рапортом» министру народного просвещения попечителя библио-

1 ГАТвО. Ф. 131. Оп. 1. Д. 930. Л. 2.

2 РГИА. Ф. 733. Оп. 7. Д. 42, 56; Оп. 8. Д. 111, 290; Оп. 9. Д. 288.

3 *А.З-н.* Ржев и Осташков. Современная летопись. 1861. № 47. С. 27; *Слепцов В.* Письма об Осташкове: образец городского устройства в России // Современник. 1863. № 5. С. 76.

теки почетного гражданина Стефана Савина, товарища попечителя купца Ивана Бочкарева и библиотекаря мещанина А.Серебреникова. 31 июля 1839 г. они просили «о исходатайствовании причисления должностей по комитету Осташковской *гражданской* публичной библиотеки *к прочим классным должностям*, с предоставлением лицам, избираемым в члены оного, прав на преимущества и награды, на основании законов о службе гражданской другим должностям усвоенные». Они предупреждали, что если этого не произойдет, то «библиотека неминуемо должна лишиться участия таких лиц, которых познание и усердие к сему учреждению необходимы...» (курсив мой – *А.К.*). [1] Распорядители библиотеки подчеркивали ее уникальность: это не просто одна из редких уездных библиотек, но библиотека исключительная – «гражданская», то есть созданная городским гражданством (купцами и мещанами). Причем свою библиотечную деятельность они оценивают как весьма важную для общества. Поэтому местные книголюбы и предлагали уравнять выборные должности по публичной библиотеке с другими городскими службами по выборам. Очевидно, добиваясь введения библиотечных должностей в общегородскую выборную номенклатуру, отцы-основатели библиотеки хотели избавиться от общественных служб с куда более хлопотными обязанностями. Разумеется, это требование не было удовлетворено. Вполне возможно, что огорченные члены комитета и привели свою завуалированную угрозу в жизнь. Однако число подписчиков сократилось не сразу и даже продолжало некоторое время расти.

Здесь необходимо отойти от проблем, связанных с сокращением числа читателей публичных библиотек, и остановиться на понимании купцами и мещанами значения публичных библиотек в жизни общества. Мое объяснение мотивов, которыми руководствовались осташковские граждане, настойчиво предлагая властям приравнять библиотечные должности к службе по выборам, является все же односторонним. Оно, хотя и не без существенных оснований, исходит из того, что они писали одно, а думали другое. Но возможна и иная ин-

1 РГИА. Ф. 733. Оп. 7. Д. 42. Л. 101 – 102.

терпретация их ходатайства: Савин и его товарищи, действительно, отводили публичной библиотеке важную роль в жизни всего общества. В пользу такой трактовки их обращения к власти есть весомые основания: они (граждане), а не чиновники и дворяне были инициаторами учреждения в их городе публичной библиотеки. Для этой цели они собирали книги, жертвовали деньги, искали возможности размещения библиотеки, систематизировали библиотеку. В этом контексте их презентация социального значения осташковской публичной библиотеки, учитывая ее исключительность для уездного города, особенно при отсутствии публичной библиотеки в губернском городе, одобрение со стороны губернского начальства и отдельных «просвещенных путешественников» уже не представляется попыткой хитрых провинциалов заполучить нехлопотную общественную должность. Заявление учредителей библиотеки и их ходатайство о введении должностей по библиотеке в номенклатуру выборных общественных служб скорее свидетельствует о том, что они, выражаясь современным языком, видели в публичной библиотеке институт не только городской культуры, но и гражданского общества.

Возвращаясь к причинам сокращения числа читателей, назовем еще одну, связанную с политическим режимом правительства Николая I. Общим местом работ по истории библиотечного дела и истории культуры является утверждение о том, что реакционная внутренняя политика Николая I привела к упадку публичных библиотек после 1848 г., когда правительство усилило надзор за литературой и стало пристально интересоваться, кто и что читает. Отметим для начала некоторую нелогичность подобных утверждений, которые бросаются в глаза даже без анализа истории конкретных публичных библиотек: во-первых, именно правительство Николая I принимает меры к созданию по всей Российской империи публичных библиотек в губернских городах; во-вторых, и до революции 1848 г. в Европе и обнаружения кружка Петрашевского Николай I не питал никаких иллюзий насчет «пагубного влияния» Запада на русские умы; в-третьих, все публичные библиотеки пополнялись книгами, прошедшими цензуру, поэтому их содержание не могло вызывать особого

беспокойства у правительства; в-четвертых, интерес правительства к социальному составу читателей публичных библиотек далеко выходил за рамки охранительного консерватизма, а данные о социальном составе читателей были важны для мониторинга центральной властью социокультурных процессов, протекавших в обществе; в пятых, при явном патернализме правительства его все же беспокоил круг чтения не столько взрослых читателей публичных библиотек, сколько подрастающего поколения. В этом отношении показательна реакция министра просвещения С.С. Уварова, который, узнав из донесения об открытии томской публичной библиотеки о наличии среди ее читателей учащихся уездного училища, 21 июля 1834 г. писал томскому гражданскому губернатору: «Я обязываюсь просить покорнейше Ваше превосходительство обращать при сем случае особенное внимание на выбор дозволенных для чтения молодым людям книг, равно как и на то, чтобы они, не увлекаясь заманчивостью чтения, изощряющего иногда одно бесплодие, если не вредное по последствиям любопытство, не пренебрегали настоящими своими занятиями».[1] Вероятно, после этого письма министра народного просвещения губернатор, выполнявший по долгу службы обязанности попечителя библиотеки, отдал распоряжение о запрещении учащимся посещать библиотеку. Во всяком случае, в отчетах библиотеки за последующие годы они уже не указаны среди читателей.

Чтобы понять, каковы же в действительности были причины упадка первых публичных библиотек в России, какую роль в этом сыграли общероссийские, а какую локальные факторы, обратимся к истории Томской публичной библиотеки. Выбор этой библиотеки определяется наличием разнообразных источников, в которых отразились история библиотеки и различные аспекты ее функционирования как учреждения культуры. В литературе было названо несколько дат ее появления. Н.Ф. Емельянов считает датой открытия библиотеки 1830 г.[2] И.Б. Маркова относит появление библиотеки

[1] РГИА. Ф. 733. Оп. 7. Д. 56. Л. 2.

[2] *Емельянов Н.Ф.* Город Томск в феодальную эпоху. Томск, 1984. С. 37.

к 1831 г.[1] И та и другая точка зрения имеют под собой основания. Однако по своему назначению библиотека является таким институтом культуры, который предназначен для обслуживания читателей. Поэтому ни циркулярное предписание министра, ни появление первых книжных пожертвований на устройство библиотеки, ни даже выделение для ее размещения специального помещения еще не могут быть признаны достаточными основаниями для установления даты появления библиотеки. Первая публичная библиотека в Сибири была открыта для читателей лишь в 1833 г. А ранее только предпринимались меры по ее устройству, но как учреждение культуры, выполняющее свою главную функцию – обслуживание читателей, – она еще не существовала.

В отчете о деятельности томской публичной библиотеки за первую половину 1863 г., подготовленном Д. Кузнецовым, указано, что первая в городе публичная библиотека была открыта 26 августа 1834 г.[2] Однако имеются все основания полагать, что это событие состоялось ровно на год раньше. В пользу этой даты говорят многие факты. В частности, министр внутренних дел, ознакомившись с результатами подготовительной работы по созданию в Томске публичной библиотеки, 18 июля 1833 г. предписал открыть ее, что и было вскоре исполнено. 25 сентября 1833 г. губернатор доносил, что библиотека открыта и посещается не только чиновниками, но и учащимися уездного училища. Аналогичная информация содержалась в письме, отправленном тремя днями ранее в Московское общество сельского хозяйства.[3] Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что в отчете о деятельности библиотеки за 1863 г. точно названы число и месяц, а год основания указан ошибочно из-за описки или типографской ошибки.

---

1 *Маркова И.Б.* Круг чтения сибирских чиновников в первой половине XIX в. // Русская книга в дореволюционной Сибири. Новосибирск, 1984. С. 64;
Она же. Досуг сибирских чиновников в первой половине XIX в. // Культурно-бытовые процессы у русских Сибири. XVIII – начало XX в. Новосибирск, 1985. С. 48.

2 Томские губернские ведомости. 1863. № 39. С. 253.

3 РГИА. Ф. 733. Оп. 7. Д. 56. Л. 1 – 1 об.; ЦИАМ. Ф. 419. Оп. 1. Д. 152. Л. 29.

Как отнеслись жители Томска к идее организации библиотеки? Томичи, по призыву губернского начальства, довольно энергично взялись за ее устройство. В 1831 г. городская дума уступила под библиотеку часть занимаемого дома. Томские купцы и мещане постановили ежегодно выделять ей из городского бюджета 200 руб., а в первый год – 311 руб. Кроме этих средств городское общество отпустило 526 руб. для ремонта помещения, предоставленного библиотеке. К 27 мая 1832 г. жители города пожертвовали учреждаемому заведению культуры 103 руб. и 367 томов книг, большую часть которых (320 экземпляров) подарил советник казенной палаты титулярный советник В. Беляев.[1]

Кто же были читатели библиотеки по своей сословной принадлежности? Их социальный состав четко фиксируется за 1835 – 1840 гг. В более поздних отчетах социальные группы читателей нередко объединены. Так, в отчете за 1841 г. купцы, купеческие дети и мещане собраны вместе, а в отчете за 1844 г. вместо чиновников (штаб и обер-офицеров) появляются «дворяне», которые ни до, ни после этого года в отчетах не фигурировали. Среди читателей библиотеки в 1835 – 1840 гг. преобладали чиновники – 47 % общей численности, в том числе чины XIV – IX классов – 31,3 %, VIII – V классов – 14,4 %, IV класса – 1,3 %, а также канцелярские служащие – 20,6 %. На долю мещан пришлось 20 %, почетных граждан и лиц купеческого сословия – 11,8 %, крестьян – 0,6 %. Динамика численности читателей показывает, что доля государственных служащих неуклонно снижалась, начиная с 1836 г. (когда их было 78,4 %): 1837 г. – 69,3 %, 1838 г. – 63,6 %, 1839 г. – 65 %, 1840 г. – 44,4 %.[2] Разумеется, эти цифры не следует абсолютизировать, особенно с конца 1830-х гг., когда из-за малого числа читателей они подвержены значительным колебаниям. Так, в 1841 г. чиновников среди 10 пользователей библиотеки было всего 20 %, столько же и в 1842 г. (1 из 5 читателей), в 1843 г. – 33 % (4 из 12), в 1844 г. – 42,8 % (3 из 7), а в 1846 г. – 66,7 % (4 человека из 6).[3]

1 РГИА. Ф. 733. Оп. 7. Д. 56. Л. 1; ГАОО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1018. Л. 7.

2 Рассчитано по: РГИА. Ф. 733. Оп. 7. Д. 56.

3 РГИА. Ф. 733. Оп. 8. Д. 111. Л. 3 об.; Д. 290. Л. 5 об., 26, 47 об., 55 об.

Эти данные позволяют констатировать очевидные факты. Во-первых, среди читателей преобладали лица, занятые на государственной службе – 61 %, а в период подъема и расцвета библиотеки в 1835 – 1837 гг. даже 72,3 %. Во-вторых, большинство читателей принадлежало к демократическим слоям населения. Мелкие чиновники, канцелярские служащие, мещане, разночинцы и крестьяне составляли 67% всех читателей. В-третьих, число читателей, достигнув пика в 1836 и 1837 гг. (51 и 49 человек, соответственно), резко падает в 1838 г. – 11 человек; увеличившись в следующем году до 20, сократилось вдвое в 1840 г. – 9 человек. На этом же уровне – 10 человек – оно замерло в 1841 г.,[1] то есть библиотека в конце 1830-х гг. потеряла почти всех своих читателей.

Причины падения роли публичной библиотеки в общественном быту города имеют сложный характер. Историк библиотечного дела К.И. Абрамов утверждал, что в России в конце 1840-х – начале 1850-х гг. в результате усилившегося надзора за чтением и из-за недостатка средств на покупку новых книг многие библиотеки пришли в упадок и закрылись.[2] Анализируя историю осташковской библиотеки, я уже отметил недостаточность и в известном смысле идеологическую заданность подобных утверждений. В какой мере эти факторы, о которых писал Абрамов и его коллеги, справедливы для Томска? Обращает на себя внимание то обстоятельство, что здесь десятилетием ранее, чем в Европейской России, горожане утратили интерес к библиотеке. Серьезную роль в этом сыграл какой-то внутренний конфликт среди библиотечного актива, который произошел во второй половине 1837 г. или начале 1838 г. Причины конфликта не вполне понятны, но в результате из добровольного актива библиотеки ушли люди, которые много сделали для ее становления. Начиная с 1838 г. в библиотечном активе остались лишь учителя и чиновники, служившие по Министерству народного просвещения.[3] В то время как в прежние годы в библиотечном активе были служащие разных ведомств и учреждений: общего губернского управления, гу-

1 Там же. Л. 25 – 94 об.; Оп. 8. Д. 111. Л. 3 об.

2 *Абрамов К.И.* История библиотечного дела в СССР. М., 1980. С. 82.

3 РГИА. Ф. 733. Оп. 7. Д. 56. Л. 78, 85; Оп. 8. Д. 111. Л. 2.

бернского правления, казенной палаты, строительной комиссии, жандармского штаба, гимназии, уездного училища. Это свидетельствует о том, что в 1833 – 1838 гг. библиотека была интеллектуальным городским центром, в котором, вероятно, происходило не только обсуждение прочитанных книг, но и обмен новостями жизни города, региона, страны и мира.

Однако нельзя игнорировать и обстоятельства сугубо материального характера. Томская публичная библиотека была платной, а подавляющее большинство ее читателей принадлежали к демократической среде. Именно на мелких чиновниках, которые часто не имели в городе собственного жилья, наиболее ощутимо сказались последствия роста цен на товары народного потребления и цен за аренду квартир в результате золотопромышленного бума. Золотая лихорадка захлестнула Томск именно с конца 1830-х гг. Не случайно с 1837 г. начинается необратимый процесс сокращения среди читателей наименее обеспеченных горожан – канцеляристов – мелких служащих, не выслуживших первый классный чин. В 1836 г. канцеляристы составляли среди всех читателей весьма заметную часть – 29,4 %, в 1837 г. их доля сократилась до 14,3 %, в 1838 г. до 9,1 %, а в 1840 и 1841 гг. – их уже нет среди читателей библиотеки.[1]

Наряду с неблагоприятными социально-экономическими последствиями развития золотодобычи в томской тайге свою роль в сокращении читателей сыграли и некоторые негативные факторы в деятельности самой библиотеки. Энтузиасты-книголюбы, занявшиеся библиотечным делом, не обладали навыками работы с читателями, имели весьма смутное представление о правилах обработки, учета и хранения литературы. В результате их неопытности или халатности книги терялись. Так, инвентаризация 1841 г. установила, что «убыль» литературы составила 45 книг и 13 журналов (11 % общей стоимости или 9 % всего библиотечного фонда).[2] Инвентаризация книжного фонда библиотеки проводилась редко. Об этом писал в своем прошении в департамент народ-

1 Рассчитано по: РГИА. Ф. 733. Оп. 7. Д. 56; Оп. 8. Д. 111.

2 РГИА. Ф. 733. Оп. 8. Д. 111. Л. 3.

ного просвещения бывший помощник библиотекаря учитель уездного училища Н. Ихорев, отметивший, что за время его деятельности с 1838 г. первая инвентаризация литературы была проведена в 1841 г.[1]

Наряду с небрежным хранением литературы имело место и прямое хищение книг и журналов. Н. Ихорев в своем прошении утверждал, что сторож библиотеки Афанасьев был замечен в самовольной раздаче книг читателям, а поселенец Власов торговал на базаре библиотечными книгами, которые ему передавал сторож библиотеки. Однако на очной ставке Власов отказался от своих показаний.[2]

В связи с сокращением числа читателей, а следовательно, и денежных поступлений, Томская публичная библиотека с конца 1830-х годов прекратила приобретение книжных новинок. Это обстоятельство не могло не способствовать сокращению ее посетителей.

Таким образом, в результате неблагоприятного сплетения всех этих региональных, локальных, и внутриучрежденческих причин публичная библиотека в Томске все более и более теряла и свое общественное значение, и популярность среди книголюбов. Причем, если в первой половине 1840-х гг. вывеска библиотеки бросалась в глаза, приятно удивляя путешественников,[3] то в конце 1850-х большинство жителей даже не знали о ее существовании, в том числе, как утверждал краевед Д. Кузнецов, и лица, служившие один – два года по учебному ведомству.[4] У нас нет оснований ставить под сомнение свидетельство Д. Кузнецова, который сам был учителем.

Анализируя причины снижения популярности первых провинциальных публичных библиотек вскоре после их учреждения, следует отметить один общероссийский фактор, которому обычно не уделяется должного внимания. В 1834 г.

---

1 Там же. Л. 13 об.

2 Там же. Л. 13 об., 14 об.

3 *Небольсин П.* Заметки на пути из Петербурга в Барнаул. СПб., 1850. С. 79.

4 *Кузнецов Д.* Отчет публичной библиотеки при Томской губернской гимназии за первую половину 1863 года // Томские губернские ведомости. 1863. № 39. С. 253.

публичные библиотеки из-под контроля Министерства внутренних дел были переданы в ведение Министерства народного просвещения. В советской историографии внутренний цензор не позволял историкам культуры рассматривать этот факт как неблагоприятно повлиявший на судьбы первых публичных библиотек. На деле же его значение нельзя игнорировать, так как именно он привел к падению престижности библиотечного дела в глазах провинциального чиновничества. Шкала жизненных ценностей и ментальность российских чиновников заставляли губернаторов реагировать на этот шаг правительства как на знак снижения или даже потери интереса имперской власти к публичным библиотекам. Логика лиц, возглавлявших местное государственное управление, прослеживается со всей очевидностью: министр внутренних дел – это их прямой начальник , поэтому успехи библиотечного дела, отраженные в ежегодных отчетах о положении дел в губернии, были одним из показателей заботы губернаторов о процветании губернии. Министр же просвещения для губернаторов – фигура далеко не из первого ряда, на карьеру губернаторов влиять практически не способная, следовательно, и забота о вверенных ведомству просвещения библиотеках становилась для каждого губернатора делом его индивидуального выбора, а не служебного долга.

В этих условиях, когда губернатор утрачивал интерес к библиотеке, ее выживание становилось уделом отдельных энтузиастов. Оно во многом зависело от активности педагогов и чиновников ведомства народного просвещения, их авторитета в обществе и связей среди власть имущих и торгово-промышленной верхушки. Как обстояло дело с положением педагогов в Томске? 14 декабря 1858 г. на торжественном акте в честь двадцатилетия Томской гимназии директор училищ Томской губернии О. Мещерин прочел подготовленную им историческую записку о состоянии народных училищ в губернии с 1789-го по 1856 г. В своей записке он констатировал, что до открытия гимназии учителя приезжали «с поверхностным образованием и с непохвальными чувствами и привычками. Зато и сочувствие публики к учебным заведениям соответствовало достоинствам преподавателей». Он же

признавал, что ситуация не изменилась и в первые 7 лет существования гимназии.[1] Можно поставить под сомнение это утверждение статского советника Мещерина, который был заинтересован в том, чтобы показать достигнутые при нем результаты в самом лучшем виде. Поэтому сопоставим его оценки с отзывами других лиц. В октябре 1840 г. генерал-губернатор Западной Сибири князь П.Д. Горчаков в отношении к министру просвещения С.С. Уварову писал, что в 1839 г. он нашел томскую гимназию в неудовлетворительном состоянии, а ныне оно еще хуже.[2] Поэтому не приходится удивляться, что ни гимназия, ни ее учителя не пользовались авторитетом среди горожан. В отчете о состоянии учебных заведений в Западной Сибири за 1852 г. отмечалось «... несочувствие к образованию и неподвижность городского населения, большею частию временно пребывающего в Томске...» [3] Об отсутствии и у гимназистов, и у их родителей в 1850-е гг. уважения к преподавателям гимназии свидетельствуют и мемуары ее выпускников, среди которых был и видный общественный деятель Н.М. Ядринцев.[4] В свете этих данных конец первой публичной библиотеки в Западной Сибири видится вполне логичным. Она превратилась из очага культуры, к которому тянулись интеллигентные люди из разных городских слоев, в затухающий костер, на пепелище которого пытались удовлетворить свои духовные и интеллектуальные интересы малочисленные чиновники учебного ведомства.

Среди педагогов, вероятно, не нашлось подлинных книголюбов, настоящих пропагандистов книги, способных привлечь томичей к судьбам первой публичной библиотеки. Если в первые годы своего существования она была заметным явлением общественной жизни города, то с конца 1830-х гг. ее роль падает. Индикатором отношения жителей города к нуждам библиотеки являются материальные пожертвования. Горо-

---

1 Торжественный акт в Томской губернской гимназии // Томские губернские ведомости. 1859. № 7.

2 РГИА. Ф. 733. Оп. 83. Д. 200. Л. 1 – 1 об.

3 РГИА. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 15. Л. 65.

4 *Ядринцев Н.М.* Воспоминания о Томской гимназии // Сибирский сборник. 1888. Вып. 1. С. 1 – 32.

жане же в конце 1830-х гг. перестали поддерживать библиотеку денежными и книжными дарами. Это обстоятельство существенно сократило ее скромный бюджет, не позволявший приобретать новые книги. Отсутствие книжных новинок, безусловно, отталкивало от нее немногочисленных книголюбов. Все это привело к тому, что, когда 1 февраля 1859 г. в здании общественного дома, где размещалась библиотека, произошел пожар, городская дума поспешила избавиться от нее, передав книги гимназии.[1] Это и стало концом первой публичной библиотеки в Западной Сибири. В отчете губернатора за 1860 г. о ней было сказано: «Публичная библиотека города Томска в плохом состоянии, и никто ею не пользуется».[2]

Печальный финал библиотеки послужил толчком к осознанию местной общественностью необходимости начать борьбу за создание новой, действительно публичной общегородской библиотеки. В Томске эта деятельность была одним из проявлений подъема общественного движения в России конца 1850-х – начала 1860-х гг. Местная интеллигенция в лице преподавателей гимназии и духовной семинарии, объединившись, выписала 12 журналов. Не бездействовал и томский губернатор. В официальном отчете по Томской губернии за 1860 г. о его усилиях было сказано буквально следующее: «Начальник губернии в видах устройства в Томске по примеру других городов публичной библиотеки усугубил все меры в изыскании приличных средств для осуществления столь полезной цели». Эти меры привели к тому, что одним частным лицом было пожертвовано на устройство библиотеки 1000 руб. и заемный документ в 1000 руб. Из периодики известны и имена представителей купечества, пожелавших поддержать своими средствами библиотеку, – Мехеева и Шитикова. Организационные усилия местной общественности и губернских властей долгое время, главным образом из-за отсутствия подходящего помещения для библиотеки, не приносили плодов. Библиотека открылась для публики лишь с 1 января 1863 г.[3] Она учреждалась в условиях подъема обще-

1 ГАТО. Ф. 99. Оп. 1. Д. 262. Л. 140 – 140 об.

2 АРГО. Р. 62. Д. 1д. Л. 44.

3 Там же. Л. 44; Томские губернские ведомости. 1863. № 39. С. 256.

ственного движения в стране и возросшей роли периодики в культурной жизни русской провинции. Поэтому число ее подписчиков резко выросло по сравнению с лучшими годами первой публичной библиотеки и составило 189 человек.[1]

В те же годы вопрос о создании публичной библиотеки выходит на повестку дня и в Твери, где с 1856 г. функционировала частная библиотека купца 3-й гильдии А.Ф. Черенина, закрывшаяся в октябре 1859 г. Библиотека Черенина была платной, плата за чтение ее книг и журналов составляла 15 руб. в год, за месяц – 2 рубля.[2] После ее закрытия и был поднят вопрос об устройстве публичной библиотеки на базе книжного собрания губернского статистического комитета. При подготовке к открытию инициаторы изучили опыт работы некоторых провинциальных публичных библиотек, в частности рязанской и Карамзинской публичной общественной библиотеки в Симбирске.[3] Опыт существовавшей в губернии публичной библиотеки в Осташкове по каким-то причинам не привлек их внимания или же не показался заслуживающим его внедрения. Возможно здесь сказался снобизм жителей губернского города, которым казалось унизительным использовать опыт культурного учреждения уездного города. Но возможно и другое объяснение: организаторы тверской библиотеки, зная о неблестящем состоянии осташковской, опасались повторить ее судьбу.

В Твери главным двигателем учреждения общественной библиотеки, как отмечалось в периодике, был губернатор, а «ревностными исполнителями» Н.И. Рубцов и Д.П. Тыртов. Библиотека открылась в мае 1860 г. При открытии в ней насчитывалось русских книг 751 (в 2035 тт.) и французских – 788 (в 1158 тт.).[4] Архивные документы подтверждают важную роль губернатора П.Т. Баранова при учреждении библиотеки. По уставу библиотекой заведовал попечительный комитет, состоящий из губернатора и 4-х лиц, назначаемых по его усмотрению. На устройство библиотеки пожертвовали деньги – 4055 руб. – всего четверо, среди них губернский предводитель

[1] Город Томск. Томск, 1912. С. 70 – 75.

[2] РГИА. Ф. 733. Оп. 11. Д. 10. Л. 5 об.

[3] ГАТвО. Ф. 131. Оп. 1. Д. 1186. Л. 7 об., 13, 15.

[4] Б. Общественные библиотеки // Русский вестник, 1861, июнь, С. 1.

дворянства Клокочов и генерал-майор свиты е.и.в. Мусин-Пушкин. Основные же средства внесли ржевский купец Образцов (1000 руб.) и тверской купец Головинский (3000 руб.). Последний стал почетным попечителем библиотеки. [1]

В 1859 г. публичная библиотека, содержавшаяся частным лицом, появилась и в Тобольске. Годовая плата за пользование ею составляла 11 руб. и 2 руб. взимались в качестве залога за книги. По сравнению с аналогичными библиотеками Петербурга, Москвы или Иркутска, пользование которыми обходилось читателю в 20 руб. в год, [2] тобольская была доступнее. И все же эта плата была выше, чем в публичных библиотеках других городов региона, где она колебалась от 3 руб. 60 коп. до 7 руб.[3] Во многом из-за высокой цены пользователей этой библиотеки оказалось мало. Такая же судьба постигла и другую частную публичную библиотеку, открытую в Барнауле в 1862 г. купцом А.С. Гуляевым.[4]

По инициативе городской общественности в 1860-м и 1861 гг. публичные библиотеки учреждаются еще в 4-х городах Западной Сибири (Омске, Ишиме, Каинске и Кузнецке). В это время ни в Московской, ни в Тверской губерниях сколько-нибудь заметного расширения числа библиотек не произошло. А сеть публичных библиотек еще не сформировалась. Возможно, такое культурное отставание центральных губерний от западносибирских было предопределено тем, что в большинстве городов России культурная инициатива по-прежнему находилась в руках дворянства. В европейской части страны оно было занято куда более актуальным для себя обсуждением крестьянского вопроса, проходившего в атмосфере балов и застолий. Наконец, в дворянской среде все культурные начинания исходили от средних и крупных душевладельцев, которые для удовлетворения своих чита-

1 ГАТвО. Ф. 131. Оп. 1. Д. 1186. Л. 26 об., 69; Очерк деятельности городского головы г. Твери потомственного почетного гражданина и 1-й гильдии купца Алексея Федоровича Головинского. СПб., 1865. С. 24.

2 В.И. Местные известия // Тобольские губернские ведомости.1858. № 51. С. 734; *Романов Н.С.* Иркутская летопись. Иркутск, 1914. С. 37.

3 ГАОО. Ф. 45. Оп. 1. Д. 7. Л. 10 об.; ГАТО. Ф. 99. Оп. 1. Д. 304. Л. 26 об.

4 Местные известия // Тобольские губернские ведомости. 1859. № 23. С. 308; Алтай: Историко-статистический сборник. Томск, 1890. С. 289.

тельских запросов не испытывали особой нужды в публичных библиотеках.

Иная ситуация наблюдалась в Западной Сибири, где неслужащее дворянство отсутствовало как сколько-нибудь заметная социальная группа, поэтому чиновничество и доминировало в культурной жизни. Интеллектуальные и общественно-политические интересы чиновной интеллигенции и привели к возникновению на рубеже 50-х – 60-х гг. XIX в. в западносибирских городах новых публичных библиотек. Появление в 50-х – 60-х гг. XIX в. публичных библиотек стало результатом пробуждения социальной активности горожан. В свою очередь, деятельность публичных библиотек стала заметным явлением общественной жизни. На собраниях читателей демократическим путем решались все вопросы правил пользования литературой, ее хранения, подписки на периодические издания и новые книги. В Каинске, как и при организации школы для девочек, проблемы устройства будущей библиотеки обсуждались на открытых педсоветах. В Кузнецке, на заседании педсовета уездного училища 20 ноября 1860 г., также обсуждались вопросы подписки на газеты и журналы для публичной библиотеки «в присутствии публики».[1] По требованию читателей вносились изменения и в правила пользования библиотеками. Так, в Омске в проект правил, предложенных смотрителем училищ Аристовым, были внесены существенные изменения: появился пункт о выдаче литературы на дом, что повышало удобство пользования ею; был также пересмотрен один из наиболее важных пунктов – о внесении залога за чтение. В первоначальном варианте он выглядел так: «Обеспечение берется только с лиц неслужащих и не имеющих в городе недвижимой собственности». В окончательном – «Обеспечение берется, не менее 5 руб., с лиц неслужащих и библиотеке неизвестных».[2] Эта формулировка показывает, что ее читателями были главным образом чиновники, которые сочли необходимым позаботиться об отставных слу-

1 ГАТО. Ф. 99. Оп. 1. Д. 304. Л. 24 – 24 об., 26 об., 33 об.

2 ГАТО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 118. Л. 2; ГАОО. Ф. 45. Оп. 1. Д. 7. Л. 10 об.

жащих, которые не обладали недвижимостью. Объективно изменения в этом пункте были и в пользу книголюбов из учащейся молодежи, но затрудняли возможность доступа в библиотеку небогатым мещанам, отставным казакам и солдатам, другим разночинцам, то есть социальным слоям, составлявшим большинство населения Омска.

Вместе с тем, любители чтения из городских низов с февраля 1861 г. могли пользоваться книжными и журнальными фондами «даровой библиотеки», открытой при омской воскресной школе. Ее состав не отличался богатством и разнообразием: вместе с учебной литературой она насчитывала около 280 книг. Данные о подписке на 1861 г. подтверждают, что ее устроители позаботились в первую очередь об интересах читателей из городских низов, нижних воинских чинов и учащейся молодежи. Всего было выписано 7 журналов, в том числе «Народное чтение» в 5-ти экземплярах, «Солдатская беседа» в 4-х экземплярах, «Чтение для солдат» (2 экземпляра), а также «Подснежник», «Вокруг света», «Рассвет», «Учитель». Однако организаторы библиотеки не в полной мере угадали запросы читателей, т.к. иначе представляли себе социальный портрет пользователей библиотеки. Наибольшей популярностью пользовался «Подснежник», которым интересовались в первую очередь ученики уездного училища, вторым по читательскому спросу было «Народное чтение».[1]

Пробуждение общественной инициативы в разных сферах жизни в конце 1850-х гг., в том числе в библиотечном деле, затронуло не только общественность, но и некоторых просвещенных администраторов. Конкретная направленность деятельности начальников была вариативна. Так, в Твери и в Томске губернаторы обращали внимание на создание городских публичных библиотек. В это же время, в 1859 г., армейское корпусное командование в Западной Сибири пошло по ведомственному пути, создав в гарнизонах библиотеки для офицерского состава.[2]

---

1 Устав Омского общества бесплатного обучения // Тобольские губернские ведомости. 1861. № 50. С. 407.

2 *Бабков И.Ф.* Воспоминания о моей службе в Западной Сибири. СПб., 1912. С. 567.

В какой мере общегородские публичные библиотеки соответствовали потребностям любителей чтения, принадлежавших к различным субкультурам? Все эти публичные библиотеки в рассматриваемое время были ориентированы на читателя из среды образованного общества: чиновников и дворян, а также на ту немногочисленную часть купцов, которые ориентировались на дворянские и современные западноевропейские буржуазные культурные запросы. Один из современников в 1861 г. отметил интересные особенности круга чтения читателей тверской публичной библиотеки. Читали, в основном, газеты – благо их чтение в помещении библиотеки было бесплатным. Вместе с тем, «книги серьезные почти не требовались». Из беллетристики наибольшим спросом пользовались произведения Дюма, Поль де Кока и Зотова (вероятно, речь идет о Рафаиле Зотове, а не о его сыне – Владимире). Автор статьи о тверской библиотеке с осуждением пишет о подобном выборе книг: «...романы этого разряда самое любимое и едва ли не единственное чтение прекрасной половины рода человеческого, восторгающейся до пошлости и «Мушкетерами» и всею этою сволочью».[1] Последний пассаж выдает в нем несомненного сторонника так называемого революционно-демократического лагеря, отвергающего с классовых позиций романтическую литературу. Однако для нас важна не его оценка круга читательских интересов тверяков, а то, в какой мере фонды библиотеки учитывали сиюминутные потребности своих подписчиков и позволяли ли они быть в курсе всех последних событий общественно-политической и литературной жизни России. Оказывается, по данным того же автора, библиотека выписывала все газеты и все светские журналы, а также «Творения святых отцов» и «Православное обозрение». Более того, наиболее популярные журналы были выписаны в нескольких экземплярах: «Русский вестник» в 5-ти, «Отечественные записки» и «Современник» в 4-х.[2]

1 Б. Общественные библиотеки // Русский вестник. 1861. № 22. С. 1 – 2.

2 Там же. С. 1.

Основатели тверской библиотеки правильно определили ожидаемый спрос на периодику и безошибочно назвали три самых популярных журнала. Так, по итогам первых восьми месяцев работы библиотеки на «Русский вестник» требования читателей подавались 633 раза, на «Современник» – 520, на «Отечественные записки» – 423, на «Библиотеку для чтения» – 262, на «Русское слово» – 275.[1]

Сам факт подписки на наиболее популярные журналы в нескольких экземплярах свидетельствует, что библиотека создавалась в расчете на первостепенное удовлетворение читательского интереса к периодическим изданиям. Наличие в библиотеке нескольких экземпляров наиболее популярных журналов как будто открывало возможность быстрого знакомства желающих с их содержанием. Однако все было не так просто и однозначно. Все подписчики делились на три разряда, в зависимости от размера внесенной платы за право чтения на дому. Привилегию в первоочередном получении книг имели те, кто заплатил за год 10 рублей. Второй разряд читателей платил за абонемент вдвое меньше, но и получал доступ к новинкам лишь через три месяца после их поступления в библиотеку. Третья группа читателей вносила минимальную сумму – 30 копеек, но обладала теми же правами, что и вторая. Круг лиц, которые могли пользоваться книгами и журналами по льготным ценам, был достаточно широк: «Для учеников духовной семинарии, а также бедных канцелярских чиновников и служителей и помощников столоначальников, в видах распространения любви к чтению, допускается абонемент за умеренную плату – 30 к. сер. в месяц, без залога, но с ручательством непосредственного начальства в исправном возвращении книг».[2] Такая небольшая сумма фактически превращала тверскую библиотеку в общедоступную и открывала потенциальную возможность удовлетворить свои читательские запросы даже горожанам с низкими доходами. Правда, пользоваться этим льготным тарифом читатели могли лишь при благосклонности своего начальства.

---

1 Там же. С. 2.

2 ГАТвО. Ф. 131. Оп. 1. Д. 1186. Л. 25.

Но все ли любители чтения в Твери устремились в библиотеку? В 1860 – начале 1861 г. в библиотеке среди подписчиков было много учащихся: 71 семинарист, 29 гимназистов и 6 учеников уездного духовного училища. Все они могли не только ознакомиться с периодикой, получить занимательный роман, но и воспользоваться учебной литературой, которой их не всегда своевременно снабжали библиотеки учебных заведений.

Не пользовалась библиотека лишь вниманием мещан. Почему это происходило? Этот вопрос интересовал и современников. Упомянутый автор статьи привел объяснение этого феномена из уст своего попутчика – тверского мещанина, с которым ехал в одном вагоне в Петербург: «Много нашлось бы охотников читать... А как зайдет и рассядется читать *в этом кафтане*? Не под стать светлым пуговицам, да *модным сюртукам*. Так и пройдет мимо. Иное дело, кабы допускали утром пораньше, *пока господ нет*, много бы нашлось охотников... А что дадут читать? Спросишь Четь-Минею, говорят – нет; спросишь Шестоднев – тоже; историю там какую-нибудь, говорят семинаристам отдано; по хозяйству что-нибудь попроще – все же нет; поучительное для жизни что-нибудь, и все и все нет. И пойдешь с пустыми руками. Что говорить, журналов со всей охотой дают, сколько хочешь. Ну, да сами рассудите, *идут ли нам журналы*? Хитро и мудрено пишут там, все не про нас. Да и толкуют о том, что не прикладно для нас. Русской Псалтыри, Иисуса Сирахова русского, говорят, не добьешься; так уж что тут подписываться? Одно слово *не про нас библиотека*» (курсив мой – *А.К.*).[1]

Я позволил себе привести столь пространную цитату по той причине, что она как нельзя лучше отражает представления мещан о том, какая им нужна литература и почему они не ходят в библиотеку. В рассуждениях разговорчивого пассажира выделяются два аспекта проблемы: социальный и культурный. Он – несомненный представитель мещанской культуры, приверженной традиционному кругу чтения – древнерусской книжности, ориентированной на духовную

[1] Б. Общественные библиотеки. // Русский вестник, 1861, июнь. С. 3.

культуру. В то время как тверская библиотека комплектовалась прежде всего в расчете на читателей, являющихся носителями светской, рациональной культуры. Разумеется, время брало свое: сфера читательских интересов мещан включала в себя и литературу «по хозяйству», и по истории. Однако современная публицистика, беллетристика, сам круг вопросов, поднимаемых в журналах, стиль изложения, терминология – все это было довольно далеко от запросов читателя, принадлежащего к традиционной народной культуре. Наряду с этими культурными факторами между читателем из городских низов и библиотекой был еще и социальный барьер, в это время из сословного он превратился в ментальный. Человек среднего возраста из городских низов все еще продолжает смотреть на чиновников и дворян как на господ. Он ощущает свою социальную приниженность и по привычке избегает общения с «господами». Социальные и культурные факторы тесно переплелись в его восприятии проблемы. Мещанин чувствует всю несовместимость пребывания носителей разных культур в одном социокультурном пространстве. Уже в самой одежде, которую носят «господа» и мещане: модный сюртук (даже не фрак!) и кафтан, – для него видится вся невозможность их сосуществования в интеллектуальном и духовном пространстве читального зала библиотеки.

Как отразилось на работе публичной библиотеки подобное отношение к ней со стороны городских низов? Среди подписчиков библиотеки за 1860 – 1861 гг. было всего 18 тверских мещан, еще несколько иногородних мещан указаны в общей графе с иногородними купцами. Всего же купцы и мещане составили около четверти всех читателей. Дворяне вместе с военными чуть больше – 27,6 %, а наиболее высокой была доля учащихся семинарии, уездного духовного училища и гимназии – 42,4 % всех читателей (в том числе семинаристы – 28,4 %).[1] Приведенные данные о социальном составе читателей свидетельствуют, что чиновников и помещиков было не слишком много, но они наряду с учащимися были наиболее активными посетителями библиотеки. Популяр-

1 Там же. С. 2.

ности тверской библиотеке способствовал и удобный распорядок ее работы. Она была открыта для читателей по будням с 9 до 14 часов и с 18 до 21 часа, а по воскресным и табельным дням – с 12 до 18 часов.

Изучение истории создания, развития и краха первой публичной библиотеки в Западной Сибири, как мне думается, даст необходимые основания для критического осмысления достижений отечественных историков библиотечного дела в изучении истории публичных библиотек в первой половине XIX в. В первую очередь это относится к недооценке исследователями всего разнообразия отдельных частей Российской империи и их социокультурной неоднородности. Особенно серьезные возражения вызывают выводы о причинах упадка первых публичных библиотек в России. Строго говоря, эти выводы были сделаны не в результате изучения эмпирического материала, но привнесены в работы априори, под давлением идеологических штампов и распространенных в массовом историческом сознании упрощенных представлений о времени правления Николая I как эпохе сплошной реакции. Они явились также следствием редуцированного взгляда на исторический процесс, когда все изменения в культуре выводились из изменений в производительных силах и производственных отношениях, а на первый план выдвигалась политическая история в ущерб социальной истории, культурной истории, истории быта и истории повседневности.

Однако не все здесь так просто. Нельзя объяснить все, что нас сегодня не устраивает в работах историков культуры недавнего прошлого (в том числе историков библиотечного дела) лишь давлением «единственно верной научной идеологии» или недооценкой социокультурных факторов. По-видимому, главная методологическая проблема заключается в том, как соотнести индивидуальное и общее, единичное и массовое в истории. Совершенно очевидно, что макроисторические методы исторического анализа дают возможность историку изобразить прошлое не в виде осколочных фрагментов, но как нечто целое. Именно в этом и заключается главное достоинство макроанализа, но при этом неизбежно ускользают не мелочи, но подробности, без которых историческое

познание рискует превратиться в изучение абстрактных понятий: «общество», «государство», «классы» и т.д. А историк вторгается на территорию социологии, оставляя свое собственное поле невозделанным. В этой связи, как мне кажется, большие возможности лежат в сфере микроистории. Что же поучительного дает исследование истории томской публичной библиотеки? Остановимся на одной ключевой проблеме понимания социокультурного развития России – причинах малой успешности первых публичных библиотек. Власти предержащие в лице губернаторов все сводили к трем факторам: малочисленности образованной публики (дворян), низкому культурному облику других горожан, включая купцов, и бедности населения. Советские историки культуры и библиотечного дела, по сути, согласились со второй причиной, а в качестве первоочередной выдвинули реакционную внутреннюю политику Николая I, особенно после 1848 г. Изучение же истории томской библиотеки обнаруживает значительно больший спектр причин, повлиявших на ее судьбу. Среди них экономические, ведомственные, социокультурные и ментальные. Но, что важнее, эти причины разноуровневые: общероссийские (передача из ведения МВД в Министерство народного просвещения), региональные (неблагоприятные последствия открытия золота в енисейской тайге, в частности инфляция), локальные (малочисленность образованной публики, низкий авторитет в обществе конкретных лиц, связанных с библиотекой), внутренние (конфликт среди активистов и читателей библиотеки, неопытность и халатность библиотекарей на общественных началах). Были и такие факторы, которые с равным основанием можно отнести одновременно к общероссийским, региональным и локальным. В первую очередь, это известный социокультурный раскол русского общества и различия в ментальности горожан, принадлежавших к разным субкультурам. Эти факторы отталкивали от библиотеки потенциальных читателей из мещанской среды (мещан, цеховых, отставных солдат, крестьян и прочих необразованных разночинцев), то есть носителей культуры городских низов. Важно отметить и то, что в рассматриваемое время реконструированная мною картина

факторов, приведших к упадку томской публичной библиотеки, не была неподвижной, она находилась в определенной динамике. В частности, изучение других институтов городской культуры в Томске дает основание сделать вывод, что в 30-е – 40-е гг. XIX в. мещане и разночинцы были отстранены от всяких начинаний чиновничества в сфере культуры. Иная ситуация была в конце 1850-х, когда в этой среде сформировалась небольшая, но активная группа лиц, стремившихся приобщиться к культурным новациям и ценностям светской городской культуры.

Отсутствие публичных библиотек в рассматриваемое время в уездных городах Московской губернии дает достаточно интересную информацию для осознания противоречивого влияния столицы на развитие социокультурных процессов в подмосковном регионе. Близость столицы с ее многочисленными книжными лавками, типографиями, библиотеками тормозила осознание необходимости учреждения публичных библиотек в городах Подмосковья. Для относительно отдаленных городов Московской губернии свою компенсирующую функцию выполняли усадебные библиотеки, вносившие свой вклад в социокультурную урбанизацию региона. Однако воспользоваться усадебными библиотеками из горожан могли, как правило, лишь чиновники. Что же касается читателей из других социальных городских слоев, то для них эти книжные собрания были недоступны. Кроме того, низкий образовательный уровень не способствовал осознанию купцами и мещанами идеи о необходимости учреждения в родном городе публичной библиотеки как необходимого элемента городской социокультурной среды.

Итак, в первой половине XIX в. в провинции шел процесс демократизации читателя. Потребность в чтении проникла, особенно к середине XIX в., во все слои горожан. Темпы этого процесса были выше в крупных городах. Осташков являл собой редкое исключение. Однако к концу 1850-х гг., когда расширилась сеть учебных заведений, под влиянием социально-экономического и общественно-политического развития страны, потребность в чтении у населения некоторых малых городов, очевидно, приблизилась к уровню жителей

крупных городов, что подтверждается созданием публичных библиотек в Ишиме, Каинске и Кузнецке. В целом, формирование библиотечной сети в Западной Сибири происходило быстрее, чем в центральном регионе. Однако все публичные библиотеки были платными, а потому и недоступными для значительной части горожан.

Театр и зритель

Раздел об отношении провинциальных горожан к театру я начну с констатации одного в известной степени странного факта. Театральные представления вошли в культурный быт ряда городов Западной Сибири раньше, чем в городах Тверской и Московской губерний. Разумеется, за исключением Москвы.

В последней четверти XVIII в. светские театры существовали в Барнауле, Тобольске и Омске. В Барнауле театральное помещение было сооружено еще в 1776 г. и вмещало до 110 зрителей. В Тобольске театр был построен в 1794 г. и рассчитан на 560 зрителей.[1] Причиной появления этих театров была деятельность просвещенных администраторов: в Тобольске – наместника, в Барнауле – горного начальника, в Омске – командира корпуса. Актеры этих театров были лица, служившие, соответственно, в горном и военном ведомстве. В Тобольске же в конце XVIII в. возник один из первых профессиональных театров в русской провинции.

Именно в Тобольске располагались резиденции правителя Тобольского наместничества и архиепископа Сибирского и Тобольского, а также все положенные по штату органы управления обширным краем. В городе действовало несколько учебных заведений: семинария, главное и малое народные училища, военно-сиротское отделение, в котором получали военную подготовку и элементарное образование преимущественно дети нижних воинских чинов. В Тобольске начал выхо-

[1] *Копылов А.Н.* Очерки культурной жизни Сибири. Новосибирск, 1974. С. 229, 238; *Гришаев В.Ф.* «Театральный дом» в Барнауле // Алтайский сборник. Вып. 15. Барнаул, 1992. С. 30.

дить и первый сибирский журнал «Иртыш, превращающийся в Иппокрену». Одним словом, город был административным, культурным и духовным центром всей Западной Сибири. В городе проживало 15 тысяч человек. Более многолюдных центров на востоке империи тогда не было. Казалось бы, вся логика исторического освоения Сибири обусловила появление первого профессионального театра именно в Тобольске. Однако никакой детерминированности вовсе не было. Уместно напомнить, что театр в Барнауле появился почти на двадцать лет раньше, чем в Тобольске. Правда, он не был и не мог стать профессиональным – для этого Барнаул был слишком малолюден. Творческой энергии немногочисленной горной интеллигенции хватало на то, чтобы устраивать время от времени любительские спектакли, но она не могла заменить другое необходимое условие появления профессионального театра – наличие достаточно многочисленной публики, готовой отдавать свои средства ради наслаждения театральным искусством. Такая публика сформировалась в Тобольске благодаря наличию многочисленного чиновничества. Эта культурная потребность тоболяков была осмыслена тобольским наместником А.А. Алябьевым – отцом известного русского композитора. Допускаю, что Алябьев, создавая театр, вполне возможно, думал не столько о культурных запросах местной публики, сколько проводил в жизнь культурную политику правительства Екатерины II. И даже в этом случае он должен был учитывать такой фактор, как наличие в городе достаточно многочисленной образованной публики, без которой устройство театра было бы невозможным.

Средства на устройство театра Алябьев изыскал в казне. Осталось решить одну проблему – найти артистов. В то время обладавшие властью провинциальные любители театрального искусства решали вопросы подготовки актеров исходя из того человеческого «материала», которым они располагали. Помещики готовили исполнителей из крепостных крестьян, войсковые командиры – из солдат. По более нестандартному пути пошли сибирские власти. Однако эта оригинальность решения была подсказана местной спецификой. Историк А.Н. Копылов первым ввел в научный оборот обширные материалы из То-

больского архива, позволившие ему очертить состав труппы, ее репертуар, устройство самого театра и взаимоотношения театрального коллектива с местной властью. Театр находился в ведении Приказа общественного призрения и непосредственно управлялся дирекцией, назначаемой Приказом. Когда же театр встал на ноги и начал успешно функционировать, произошел переход к антрепризе. Вслед за источниками А.Н. Копылов именует антрепренеров «местными жителями». Что же скрывается на самом деле за этой странной для сословного общества формулировкой? Благодаря доносу коллежского асессора Иосифа Ишимова (отца известной детской писательницы), который подписывал с труппой договоры от имени Приказа общественного призрения, этот вопрос удалось прояснить.

22 августа 1802 г. Ишимов подал прошение тобольскому камендату генерал-майору Маркловскому, в котором писал, что губернатор Б.А. Гермес «с злодеем Возницыным и подобным ему Алексеем Ушаковым вопреки всей строгости высочайших узаконений зделал... постановление (дав им название тобольских жителей, где они ни к какому классу людей не принадлежат и почему скитаются в городе неизвестно) о содержании им с 1 сего августа заведенного от приказа театра за 300 руб. в год откупной суммы...»[1]

Свой праведный гнев на попустительство губернатора «злодеям» Ишимову следовало бы поумерить, учитывая все обстоятельства собственной судьбы. В 1794 г. сам доносчик был высочайшим указом «за ложные доносы, клеветы и по службе порочное поведение, злой нрав и яко не заслуживающий никакой к поправлению и к спокойствию надежды сослан в Сибирь вечно на поселение», но три года спустя чин ему вернули и приняли в службу.[2] Однако Ишимов за время своего руководства театром по линии Приказа общественного призрения успел перессориться не только с содержателями театра, но и вступить в конфликт с губернатором.

Обвиняя последнего, он откровенно подтасовывал факты: Гермес ни к созданию театра, ни к переходу на новые от-

1 ГА РФ. Ф.109. Оп. 229. Д. 1. Л. 4.

2 Там же. Л. 8 об.

ношения Приказа общественного призрения и театральной труппы никакого отношения не имел, он прибыл в Тобольск лишь 2 марта 1802 г. В то время как сам Ишимов и внедрял антрепризу.

Состав труппы и статус антрепренеров театра были уникальны для того времени. Среди актеров и служителей, как записано в журнале тобольского Приказа общественного призрения 14 июля 1799 г., «есть некоторые, состоящие в здешней штатной городовой команде военные, имеющие *воинские нижние чины*, а некоторые из состоящих при тобольском рабочем доме *рабочих людей...*» [1] Каким было соотношение среди актеров военных и ссыльных? Установить точно социальное положение каждого артиста не представляется возможным без изучения материалов тобольского Приказа о ссыльных. Но уже сейчас я располагаю источниками, которые позволяют утверждать, что большинство актеров были ссыльными. Антрепренеры Возницын (в прошлом капитан) и Ушаков (в прошлом подпоручик), которых в официальных документах туманно именуют «тобольскими жителями», были лишены дворянства и сосланы в Сибирь за уголовные преступления. Как писал губернатор Гермес графу В.П.Кочубею, они со времени прибытия в город «пропитываются от представлениев на здешнем казенном публичном театре с прочими такими же *несчастными*» (курсив мой – *А.К.*).[2]

Одну из четырех актрис, Авдотью Руссо (Руссову), упоминает в своих воспоминаниях известный немецкий литератор Август Коцебу. Эта ревельская мещанка попала в Сибирь не за свое увлечение просветительскими идеями Жан-Жака Руссо, и ее имя не сценический псевдоним, выбранный служительницей Мельпомены, как иногда предполагали в литературе, но фамилия ее мужа – итальянца, такого же ссыльного.

По меньшей мере, один актер был военным. К такому умозаключению нас подводит текст его «обязательств», который

1 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 229. Д. 1. Л. 22.

2 Там же. Л. 7 об.

резко отличается от всех других договоров актеров с Приказом общественного призрения. Василий Васильев прямо говорит, что он будет выполнять принятые на себя обязательства при условии, «ежели я в течение полугодичного времени никуда по должности моей из Тобольска отлучен не буду». Наконец, именно он отверг принятые труппой новые правила вознаграждения актеров, согласно которым их жалование ставилось в прямую зависимость от доходов театра. Васильев потребовал, чтобы в начале каждого месяца ему выдавались деньги по фиксированной ставке – 10 рублей. Особая позиция одного из ведущих актеров позволяет интерпретировать его поведение, во-первых, как поведение военнослужащего, которого армейское начальство может направить на новое место службы; а во-вторых, как позицию личности, осознающей, что ее талант востребован. Он не хочет, подобно другим актерам, ставить свое жалование в зависимость от наполнения театральной кассы. Остальные же в принципе готовы к возможному сокращению своих доходов. Возникает вопрос, почему они так легко пошли на риск? Трудно предполагать, что тобольские артисты рассчитывали при новых условиях оплаты труда зарабатывать больше. Вероятно, у них не было выбора. Поэтому они приняли изменения принципа оплаты труда ради того, чтобы сохранить свой актерский статус и остаться на прежнем жительстве в Тобольске. Все это дает основание полагать, что другие артисты были, вероятно, ссыльные. Разумеется, среди актеров, кроме Васильева, могли быть и другие военнослужащие – один или два человека. В таком случае их мотивация могла существенно отличаться от тех мотивов, которыми руководствовался Васильев. Безусловно, эти люди иного склада. Для них деньги, получаемые за выступления на сцене, – не главное, они удовлетворены уже самим фактом своей причастности к искусству. По складу личности эти актеры – конформисты (а скорее, люди, одержимые искусством), поэтому они и согласились принять новые условия, предложенные Приказом общественного призрения.

В пользу предположения о безусловном преобладании в труппе ссыльных свидетельствует и объяснение тобольского гражданского губернатора Б.А.Гермеса по поводу доноса Ишимова. Гермес писал в ноябре 1802 г. министру внутрен-

них дел: «Естли же мне запретить театральное представление, к которому уже здешняя публика с давнего времени привыкла, то неминуемо навлеку на себя от всей публики нарекание и роптание. Кроме же сих *нещастных* представлять некому, да и оные лишаться дневного пропитания, публика удовольствия, а приказ дохода» (курсив мой – *А.К.*).[1]

В Сибири «несчастными» называли ссыльных. Этот статус не мешал актерам получать в зависимости от уровня исполнительского мастерства вознаграждение за свой труд. Ежегодное жалование артистов тобольского театра колебалось от 30 до 120 рублей. Причем максимальную сумму получала местная прима – Настасья Протопопова. Ведущие исполнители мужских ролей довольствовались 108 рублями. В тобольской труппе актеров было вдвое больше, чем актрис. С последними дело обстояло не лучшим образом – половина из них не могли даже подписаться под обязательствами «за неумением писать». Впрочем, особого выбора у учредителей театра не было. В провинции и полвека спустя социальный статус профессиональной артистки был чрезвычайно низок, а выступление на сцене даже в благотворительных спектаклях требовало от любительниц смелости и твердости характера, дабы преодолеть предубеждение общества на этот счет, поэтому набрать актрис в тобольский театр можно было лишь из ссыльных.

Для актеров тобольского театра возможность выступать на сцене была чрезвычайна важна. Ремесло актера давало не только заработок, но и возможность пользоваться плодами жизни в губернском городе, а не прозябать в глухих сибирских деревнях, в которые надлежало отправлять прибывавших ссыльных. Поэтому ссыльные, обладавшие хотя бы небольшим сценическим опытом, охотно соглашались играть в театре. Власти позаботились и о дисциплинарных санкциях против нерадивых служителей Мельпомены. Приказ общественного призрения в том же решении о театре от 14 июля 1799 г. постановил: объявить с подпискою командиру губернской роты и управляющему работным домом, «дабы они... за подведомственными им людьми имели неослабное наблюде-

[1] Там жё. Л. 10 об.

ние и за открывшейся иногда от кого-либо из тех актеров противной обязанности их поступок взыскивали неослабно».[1] Таков был статус артистов и особенности актерского состава первой профессиональной труппы в Сибири.

Какова же была роль этого театра в культурной жизни города? Театровед А.Б. Костерина утверждает, что этот театр «был еще весьма далек от выполнения функций действительно городского театра, то есть театра, рассчитанного на обслуживание широких кругов горожан. Попытка актеров самостоятельно организовать жизнь труппы явилась преждевременной для Тобольска, который ни экономически, ни творчески не был готов в то время к подобным экспериментам...»[2] А.Б. Костерина, видимо, справедливо относит его к типу театра, стоявшего на грани «профессионализма и любительства», но именование его артистов «актерами-любителями» и утверждение о «довольно низком уровне исполнения актерами своих ролей»[3] требуют некоторой корректировки. Во-первых, хочется напомнить, что даже в XX веке известны случаи превращения любительских трупп в профессиональные коллективы. Во-вторых, театр в Тобольске просуществовал почти 20 лет, в том числе более десяти лет в условиях самофинансирования, так что «эксперимент» был скорее удачен, чем преждевременен. В-третьих, хотя никто из артистов тобольского театра не получил театрального образования, то есть формально не имел сертификата, подтверждающего его актерское искусство, но все участники труппы многие годы выходили на сцену, а ремесло актера было для них главным (для большинства – единственным) средством существования. Поэтому можно еще говорить о том, что этот профессиональный театр по уровню своего исполнительского мастерства оставался на дилетантском уровне, но именовать его любительским некорректно. В-четвертых, рассуждая об уровне игры актеров, какими критериями мы руководствуемся? Неужели тут уместны наши сегодняшние представления и оценки? Очевидно, чтобы понять феномен театра того времени, мы должны учиты-

---

1 Там же. Л. 22.

2 *Костерина А.Б.* Особенности развития театральной культуры на Урале в XVIII – XIX вв. Автореферат на соис. уч .ст. канд. искусств. М., 1991. С.17.

3 Там же. С.16 – 17.

вать оценки его зрителей, их впечатления и чувства. Без учета отношения современников к театру мы, разумеется, не сможем понять и оценить его роль в городской жизни.

Тобольский губернатор, именуя театр «казенным публичным», имел на это все основания. Здание театра было выстроено на государственные средства, принадлежало оно Приказу общественного призрения, театральная труппа получала от зрителей вознаграждение за свой труд и вносила установленную сумму в этот Приказ, поэтому у нас нет никаких оснований считать тобольский театр любительским, а не профессиональным.

Театр рубежа XVIII – XIX вв. отличался от современного не только по репертуару или игре актеров, но и по поведению зрителей во время спектаклей. О принятых нормах поведения в театре можно судить по делу о неблагопристойном поступке поручика Докудоевского (Докудовского) во время оперы. По сообщению командира 24 дивизии генерал-лейтенанта Глазенапа, офицер во время представления, кроме топтания ногами под музыку и «громогласного разговора», не допустил более ничего предосудительного. Поведение офицера все же выходило за рамки допустимого, поэтому полицейские пытались его успокоить, а затем безуспешно просили выйти из театра. Командир полка утверждал, что его подчиненный был трезв, но за неприличное поведение он его посадил под арест на 10 суток. Более того, он утверждал: «и в поступке порутчика Докудовского никто из зрителей не заключал ничего необыкновенного».[1] Как следует понимать последнее утверждение? Если подобным образом вели себя многие зрители, то непонятно, почему полиция стала придираться к поручику? Очевидно другое: для офицеров подобная «раскованная» манера слушания оперы – явление весьма обыкновенное. Вероятно, не вполне трезвый поручик был уж чрезмерно «громогласен», чем и вынудил полицию вмешаться.

Что же касается источников, засвидетельствовавших мнение зрителей о спектаклях, сыгранных на тобольской

---

1 ГАТ. Ф. 329. Оп. 541. Д. 284. Л. 8 – 8 об.

сцене, то они чрезвычайно бедны. Обычно приводят отзывы двух литераторов – Коцебу и Радищева. Радищев никаких эмоций от посещения театра не выразил. А Коцебу, прослушавший оперу М.М. Хераскова «Добрые солдаты», и вовсе остался всем недоволен: игрой актеров, оркестром, декорациями, интерьером театра.[1] Однако здесь уместен вопрос: а чем вообще ссыльный немецкий литератор был доволен во время своего вынужденного пребывания в Сибири? Даже если признать, что его оценка была свободна от характерного для Коцебу брюзжания, то и в этом случае она означает не более чем его индивидуальное восприятие виденного на сцене. Но понимание природы эстетического, драматургии, места искусства в картинах мира популярного в то время драматурга и тоболяков, большая часть которых профессиональных трупп никогда и не видела, едва ли могли совпадать. Очевидно, на менее искушенного зрителя спектакли тобольского театра оказывали иное эстетическое, эмоциональное и социально-психологическое воздействие. Если этот театр пользовался более двадцати лет вниманием сибирских зрителей, это, несомненно, означает, что он был не так уж плох, по крайней мере, на вкус провинциалов.

Исследователь А.Н. Копылов, проанализировав репертуар тобольской труппы, пришел к выводу, что для него «были характерны жанровое многообразие и широта диапазона эстетического и идейного содержания. Здесь были, по существу, представлены все жанровые и идейные направления русского театра того времени. При этом в репертуаре театра прослеживается сильная демократическая струя, свидетельствующая о тяге зрителей в идейном плане к произведениям, вскрывающим пороки крепостного строя, а в художественно-эстетическом – к народно-песенному богатству и бытовой теме».[2]

Важно отметить, что в Тобольске на рубеже XVIII и XIX вв. театр, возникнув по воле наместника, существовал не благодаря меценатству губернаторов, но имел своего зрителя, регулярно покупавшего билеты на его представления. Од-

[1] *Коцебу А.* Достопамятный год моей жизни. Ч. 1. М., 1806. С. 156.

[2] *Копылов А.Н.* Из истории Тобольского театра конца XVIII – начала XIX в. // Известия СО АН СССР. Сер. Общ. Наук. Вып. 3. 1971. № 11. С. 100.

нако театр, уплачивая казне ежегодно 300 р., испытывал определенные проблемы. По-видимому, доходы от реализации билетов были все же недостаточны, чтобы театр мог существовать без государственной поддержки. Власти, которым принадлежало здание театра, не нашли средств на его ремонт. Если в отчетах тобольских губернаторов в 1811 – 1813 гг. указывалось, что «театр ветхой», то в отчетах за 1814 и 1815 гг. о нем даже не упоминается.[1] Тобольский краевед Голодников в своих воспоминаниях утверждал, что театр закрылся в конце 1810-х гг.[2] Возможно, ошибся Голодников, упомянувший об этом в связи с участием в спектаклях тобольских гимназистов конца 1830-х гг. бывшего декоратора «оперы» Циммермана. Однако нельзя исключить и вероятность того, что спектакли местной труппы в связи с аварийным состоянием театра продолжались в других помещениях и во второй половине 1810-х гг.

В условиях отсутствия профессиональных театров в большинстве провинциальных городов заметную роль в культурной жизни играли театральные кружки, существовавшие при некоторых учебных заведениях. В первой половине XIX в. одновременно действовали и любительские коллективы, ориентировавшиеся на современный национальный театр и модный столичный репертуар, и кружки, сохранившие приверженность традициям народной драмы и школьного театра. Хранителями традиционного репертуара школьного театра как в Сибири, так и центре России были, прежде всего, семинаристы. При этом в Тобольске, например, представления семинаристов продолжались почти до середины XIX в. Однако отношение духовного начальства к театральным представлениям семинаристов изменилось. Во времена правления Екатерины II театру отводилась важная роль в просвещении народа. Однако в последующие годы, особенно после 1812 г., в связи с консервативным переосмыслением роли театра в обществе духовное начальство запретило представления семинаристов, которые давались уже втайне

---

1 РГИА. Ф. 1281. Оп. 11. Д. 150. Л. 48, 115, 164, 260, 316.

2 НА ТМ. КП 13443. Л. 17 об.

от властей. Кроме семинаристов, традиции народного театра сохранялись кантонистами и солдатами, устраивавшими в некоторые праздничные дни свои представления прямо в казармах или в домах городских жителей.

В светских учебных заведениях (гимназиях и кадетских корпусах) отношение воспитанников к театральным занятиям было более благожелательным. Особенно заметную роль сыграли театральные кружки при учебных заведениях в Западной Сибири, удаленной от театральных центров.

О гастролях театральных трупп из Европейской России в городах Западной Сибири в первой четверти XIX в. никаких сведений обнаружить не удалось. По-видимому, в это время немногочисленные провинциальные труппы еще не решались пускаться в столь дальние гастроли, опасаясь не столько сибирских морозов, сколько холодного приема сибиряков. Не могла не сказаться и удаленность сибирских городов, особенно в условиях плохой транспортной коммуникации, от центров театральной жизни. В сложившейся ситуации удовлетворить потребность горожан в театре должны были местные артистические силы. Кроме народного театра, в отдельных городах региона зрители могли увидеть любительские спектакли. Одним из таких городов был Омск, в котором, как полагает А.Н. Копылов, спектакли продолжались до конца первого десятилетия XIX в.[1] И.И. Завалишин писал, что ему довелось видеть в Омске афишу одного театрального спектакля 1809 г., среди актеров которого был С.Б. Броневский (будущий генерал-губернатор Восточной Сибири). Г.Н. Потанин в 1858 г. сообщал, что он видел рукописную книжку пьесы «Козак-стихотворец», в которой в числе актеров указан Броневский.[2] Последний служил в Омске с 1809 г. по 1825 г. Вероятно, комическая опера-водевиль «Козак-стихотворец» исполнялась в первые годы его пребывания в городе, но не ранее 1812 г., когда она была впервые сыграна в Петербурге. Эти факты позволяют уточнить время существования лю-

---

1 *Копылов А.Н.* Очерки культурной жизни Сибири XVII – начала XIX вв. Новосибирск, 1974. С. 229.

2 Говорун. Листок из Омска // Тобольские губернские ведомости. 1858. № 8. С. 87; *Завалишин И.И.* Описание Западной Сибири. Т. 1. М., 1864. С. 164.

бительского кружка в Омске, который действовал и в первой половине 1810-х гг.

В общественном быту Барнаула 1820-х гг. любительские спектакли занимали прочное место. В.И. Соколовский, служивший в Сибири, повествуя о Барнауле того времени, писал: «многие из молодежи очень и очень не напрасно посвящают свой досуг музыке, пению и театру».[1] Европейские ученые и путешественники, побывавшие в этом городе, отмечали, что общественные увеселения, музыка, театр – это результат влияния горных инженеров, получивших образование в Петербурге.[2]

В некоторых городах Западной Сибири существовал и традиционный русский народный театр, а в Тобольске – семинарский. Семинарский театр, выросший из школьной драмы, появился в городе еще в начале XVIII в. и сохранился, как писал А.И. Сулоцкий в 1869 г., почти до настоящего времени. По данным Сулоцкого, наряду с пьесами религиозного содержания семинаристы играли и светские: «Царь Максимилиан», «Царь Ирод», «Фомка», «Калиф на час».[3] Первые две пьесы вместе с «Лодкой» были основой репертуара русского народного театра XIX в. Наличие в репертуаре народных драм свидетельствует об ориентации тобольских семинаристов на демократического зрителя. В первой половине XIX в. семинаристы нередко устраивали свои представления в домах горожан. Это обстоятельство немало способствовало тому, что в репертуаре семинаристов все большее место занимали светские пьесы. Поэтому церковное начальство стало запрещать их представления, которые втайне от начальства все же устраивались в городе.[4]

В крупных воинских гарнизонах Западной Сибири, вероятно, уже в первой четверти XIX в. имелись солдатские театры. Первое упоминание о солдатских спектаклях, которое мне удалось обнаружить, относится к святкам 1829/30 г.,

1 *Соколовский В.И.* Одна и две, или Любовь поэта. Ч. 2. М., 1834. С. 207.

2 Живописное путешествие по Азии. Т. 1. М., 1839. С. 160; *Ледебур К.Ф.* Путешествие по Горному Алтаю и предгорьям Алтая // Краеведческие записки. Вып. 2. Барнаул, 1959. С. 302.

3 *Сулоцкий А.И.* Семинарский театр в старину в Тобольске. М., 1869. С. 5.

4 Там же.

когда «артиллерийские служители» устроили постановки в доме купца Метелева.[1] Но, несомненно, что бытование спектаклей в солдатской среде в городах Западной Сибири началось раньше, поскольку первые солдатские театры появились в русской армии еще в XVIII в. Вместе с тем, представления, даваемые в Омском гарнизоне с конца 1760-х гг., нельзя считать солдатскими, т.к. они были рассчитаны не на солдат, а на офицеров, и устраивались по воле армейского начальства. Впрочем, возможно, этот вывод звучит слишком категорично, ибо опирается фактически на один источник – «Домовую летопись» капитана Андреева. Можно предположить, что та же самая труппа давала спектакли не только для начальства, но и для солдатской массы.

Репертуар солдатских театров в первой половине XIX в. целиком находился в рамках русского народного театра и отличался традиционностью. Выпускник кадетского корпуса, один из деятелей сибирского областничества Ф. Усов писал об этом: «Солдаты, казаки и артиллеристы, для собственного удовольствия и для увеселения простого народа, представляли, как и всегда, три комедии: «Царя Максимилиана», «Царя Ирода» и «Лодку». Он отметил, что у солдат первые две «сохраняются преданием». Чиновник К. Губарев, который в Березове побывал на представлении «Царя Максимилиана» в казарме казачьей пешей роты, писал, что эта пьеса исполняется солдатами и на Кавказе и в Омске.[2] В солдатских театрах давались и некоторые другие спектакли, например, «Кедрил-обжора». Ф.М. Достоевский сообщил, что для своего представления заключенные омского острога достали текст этой пьесы у отставного унтер-офицера.[3] Хотя репертуар солдатских театров не отличался разнообразием и состоял, как правило, из 3 – 4 пьес, он пользовался неизменным успехом у зрителей.

Основную массу зрителей на солдатских представлениях составляли «нижние воинские чины», мещане, небогатые

[1] ГАТ. Ф.1. Оп. 2. Д. 18. Л. 1.

[2] Ф. Известия сообщенные из Омска // Тобольские губернские ведомости. 1858. № 8. С. 86; *Губарев К.* От Тобольска до Березова. С. 379.

[3] *Достоевский Ф.М.* Записки из Мертвого дома // Полн. Собр. Соч. в 30-ти тт. Т. 4. Л., 1972. С. 118.

купцы, разночинцы, а также гостившие в городе на праздниках крестьяне. Но в малых городах края, таких как Березов, эти представления посещались всеми слоями горожан, [1] так как никакой альтернативы в театральной сфере там не было. Не последнюю роль в сохранении популярности солдатских спектаклей играла атмосфера непринужденности, царившая в импровизированных «театральных залах».

Главной причиной устойчивого интереса городского простонародья к солдатским театрам был демократический характер их репертуара. В пьесе «Лодка» поэтизировалась вольная разбойничья жизнь, поэтому ее содержание было близко и понятно зрителям. В основе драмы «Царь Максимилиан» лежит конфликт царевича-христианина Адольфа с отцом, царем-язычником. В народной драме наиболее популярным был вариант преследования царем сына за его христианские убеждения. «Существование и популярность этой версии, – пишет театровед Н.И. Савушкина, – объясняется русской исторической действительностью, политическими конфликтами, осложненными религиозной борьбой в эпоху Петра I, движением раскола, затронувшим широкие слои народа».[2] В конце представления наступала расплата за преследование сына – смерть косой сражала царя Максимилиана. В конце 1850-х гг. в Омске у солдат «Царь Максимилиан» и «Царь Ирод» были сюжетно объединены, а в финале неправедных монархов настигало возмездие.[3]

В войсковом казачьем училище в Омске (с 1845 г. кадетский корпус), в военно-сиротских отделениях (преобразованных в батальоны и полубатальоны военных кантонистов) в Тобольске, Омске и, вероятно, в Томске на святках силами воспитанников устраивали театральные представления.[4] В репертуаре воспитанников казачьего училища в 1820-х гг.

---

1 Ф. Известия сообщенные из Омска. С. 86; *Губарев К.* От Тобольска до Березова. С. 379; *Знаменский М.С.* Кое-что о театральном деле в Тобольске // Восточное обозрение. 1889. № 4.

2 *Савушкина Н.И.* Русский народный театр. М., 1976. С. 83 – 84.

3 Говорун. Листок из Омска. С. 88.

4 Ф. Известия сообщенные из Омска.//Тобольские губернские ведомости, 1858. № 8. С. 86; ГАТ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 18. Л. 2.

«Лодка» и «Потешный гаяр» «стояли на первом месте»,[1] реже исполняли одну из первых национальных опер «Мельник – колдун, обманщик и сват» (текст А. Аблесимова, музыка М. Соколовского), пользовавшуюся большим успехом у зрителя в конце XVIII – начале XIX в. Ближе к народному театру были представления в военно-сиротских отделениях. Интерес кантонистов к народной драме определялся социальным происхождением юных исполнителей, вышедших в основном из семей «нижних воинских чинов». Близость кантонистского и солдатского театров подтвердил подполковник Данилов, который в ответ на требование тобольской полиции от 3 января 1830 г. о запрещении солдатских представлений писал: «Не находя никакого неблагоприличия в театральном представлении, так как подобное сему дозволяется делать и военным кантонистам, – я позволил фейерверкерам вверенного мне артиллерийского гарнизона сделать на праздник в удовольствие свое одно представление...»[2]

Примерно до конца 1820-х гг. зрителями на спектаклях в казачьем училище были его воспитанники и преподаватели. В 1830-х гг. на спектакли стали приглашать публику, состоявшую из семей военно-чиновной верхушки города.[3] «Благородная публика» посещала и представления кантонистов, хотя последние не в полной мере отвечали ее запросам из-за своей близости к народному театру. Так, Н. Золотов характеризует представления кантонистов как «незатейливые и редкие».[4] Вероятно, на спектаклях кантонистов уже в первой четверти XIX в. бывала не только «благородная публика», но и демократическая – солдаты, мещане, купцы, разночинцы, крестьяне, как это имело место в 1850-х гг.[5]

---

1 Исторический очерк образования и развития Сибирского кадетского корпуса. Омск, 1884. С. 21.

2 ГАТ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 18. Л. 2.

3 Краткий исторический очерк Первого сибирского императора Александра I кадетского корпуса. М., 1915. С. 20.

4 *Золотов Н.* Несколько слов об Омске // Акмолинские областные ведомости. 1872. № 22. С. 5.

5 Ф. Известия сообщенные из Омска. С. 86.

Наряду с народной драмой заметным явлением культурной жизни города был народный кукольный театр – вертеп. Вертеп представлял собой двухъярусный ящик, в котором при помощи кукол, как писала Е.А. Авдеева, ставили различные сцены, относящиеся к Рождеству Христову. При этом дочь Ирода «плясала русскую Камаринскую с распудренным кавалером и являлась одетою по последней моде».[1] О популярности вертепа среди жителей городов Западной Сибири можно судить уже по социальному составу любителей-кукольников, в числе которых встречались семинаристы, мещане, разночинцы, солдаты (русские, поляки, украинцы). Вертепные представления устраивали даже дети. Сулоцкий свидетельствует, что в Тобольске, в первой четверти XIX в., «дети мещан, отставных солдат и бедных разночинцев бегали в святки по подоконью людей зажиточных с вертепом, райком, и за свои напевания и ломанья получали пятаки и гривны, а инде и полтины».[2] Зрителями кукольного театра были все слои горожан.

Кукольные представления были особенно любимы детьми, потому что производили на них очень сильное эстетическое и эмоциональное воздействие. Писатель Н.А. Полевой, посещавший в детстве вертепные представления, позже писал: «Ни Каталани, ни Зонтаг, ни Реквием, ни Дон-Жуан не производили на меня таких впечатлений, какое производило вертепное пение».[3] Дочь декабриста М.М. Нарышкина, как писал он из Кургана 7 сентября 1834 г., вернувшись домой после кукольной комедии, весь вечер «потешила нас своими рассказами».[4] Таким образом, юные зрители вертепного театра эмоционально сопереживали героям из народа, радовались их успехам и огорчались вместе с ними. Кукольные спектакли воспитывали в детях уважение к народной культуре, знакомили их с думами и чаяниями простого люда.

---

1 *Авдеева Е.А.* Записки и замечания о Сибири. М., 1837. С. 57 – 58.

2 *Сулоцкий А.* Семинарский театр в старину в Тобольске. М., 1869. С. 5; *К-шов К.* Томский заговор // Исторический вестник. 1912. № 8. С. 642.

3 *Полевой Н.А.* Мои воспоминания о русском театре и русской драматургии // Репертуар русского театра. 1840. Т. 1. Кн. 2. С. 3.

4 РО РГБ. Ф. 133. Оп. 1. К. 5803. Д. 2. Л. 35 об.

Двадцатые – тридцатые годы XIX в. в литературе, в том числе в «Истории Сибири», принято рассматривать как «время известного спада в театральной жизни Сибири, вызванного наступлением реакции после разгрома декабристского восстания. На сценах Иркутска, Омска, Красноярска ставятся лишь отдельные любительские спектакли, по преимуществу водевили. К числу немногих попыток противостоять удушающей атмосфере этих лет относятся постановки, осуществляемые в тобольской гимназии П.П. Ершовым..., а также театральные и музыкальные представления, организуемые на дому декабристами».[1] Аналогично оценивает этот период А.Н. Копылов: «В театральной жизни Сибири наступил период длительного застоя, нарушавшийся лишь эпизодическими спектаклями гимназистов и заезжих гастролеров. Вновь стационарные театры появились здесь в середине XIX в.»[2] В целом можно согласиться с такой оценкой театральной жизни сибирских городов в 20 – 30-х гг. XIX в. Однако было бы неверно объяснять это состояние какой-то абстрактной реакционностью правительства Николая I. Ранее уже говорилось о негативном влиянии внешней политики Александра I на развитие культуры русского провинциального города. Нельзя сбрасывать со счетов и факторы, связанные с внутренней логикой жизнедеятельности самих театральных коллективов, которые, как считают некоторые современные театроведы, едва ли способны успешно функционировать дольше, чем время жизни одного поколения. Наконец, требует уточнения ряд вопросов, касающихся состояния театральной жизни городов Западной Сибири. Во-первых, всегда ли наличие стационарного театра с постоянной труппой было благом для зрителей? Во-вторых, какую роль в городской жизни играли любительские спектакли? В-третьих, все ли театральные центры региона в равной мере испытывали кризис?

Безусловно, наличие специального театрального здания, оснащенного разнообразными механическими устройствами, хорошие декорации, удобный зрительный зал – все это создавало предпосылки для успешного развития театральной

---

1 История Сибири. Т. 2. Л-д: 1968. С. 496.

2 *Копылов А.Н.* Очерки культурной жизни... С. 246.

жизни. Однако в начале XIX в. этими достоинствами обладал лишь тобольский театр, да и то с известными оговорками. В других городах Западной Сибири специальных театральных зданий не существовало. «Театральный дом» в Барнауле едва ли представлял для зрителей больше удобств, чем чертежная Алтайского горного правления, где шли любительские спектакли в 1830-х – 1840-х гг. В «театральном доме» зрительный зал вмещал не более 110 человек, вынужденных сидеть на деревянных скамьях, а на спектаклях в чертежной помещалось не менее 150 зрителей.[1] Поэтому закрытие старого «театрального дома» не могло сократить число зрителей.

Весьма вероятно, что кризисные явления в театральной жизни страны почти не затронули Барнаул. Здесь и в 1820-х гг. не прекратились любительские спектакли, что было обусловлено особенностями социального состава чиновничества города, ядро которого составляли горные инженеры. Уровень культурных запросов горных инженеров и определил устойчивый интерес в Барнауле к театру. Отметим, что существует и другая точка зрения на культурные интересы алтайской горной интеллигенции. Так, краевед Н.Я. Савельев, который в существовании любительского театра в Барнауле видел лишь заслугу П.К. Фролова, писал, что после его отъезда в 1830 г. в Петербург уровень культуры горных инженеров резко упал и театр «превратился в место кутежей и карточной игры...»[2] Это утверждение автор не подкрепил абсолютно никаким фактическим материалом.

Письма чиновника Ф.Н. Пояркова к дочери и зятю – известному фольклористу и краеведу С.И. Гуляеву – проливают свет на театральную жизнь Барнаула конца 1830-х – начала 1840-х гг. В эти годы театр был устойчивым явлением культурной жизни барнаульских чиновников, как свидетельствуют многочисленные факты, сообщенные Поярковым. В частности, он был приятно удивлен уровнем игры актеров, хорошими декорациями, отличным оркестром из 8 музыкантов, руководимым инженерным штабс-капитаном А.И. Ляпи-

---

1 ГААК. Ф. 163. Оп. 1. Д. 18. Л. 33.

2 *Савельев Н.Я.* Петр Козьмич Фролов. Новосибирск, 1951. С. 123 – 124.

ным. В театральные постановки был вовлечен значительный для небольшого города круг лиц. В некоторых пьесах было занято до 15 артистов. У этого театра была своя постоянная и социально однородная публика (чиновники), в которой тон задавали горные инженеры. Наконец, в городе существовал и детский театральный кружок, состоявший из детей «лучших чиновников». Этот кружок также выступал перед публикой.[1]

Возрастной диапазон барнаульских любителей был широк. На сцене выступали представители старшего и среднего поколений: управляющий Барнаульской горной конторой горный инженер подполковник Л.А. Соколовский, горный инженер майор В.В. Клейменов, жена заседателя окружного суда Е.С. Пояркова, которая к этому времени уже стала бабушкой. В среде артистической молодежи мы встречаем и дочь исследователя Алтая доктора Ф.В. Геблера – Юлию. Но особо Ф.Н. Поярков выделял игру С.В. Самойлова (в то время служившего приставом на золотых приисках) в водевиле «Стряпчий под столом». По мнению этого приезжего из Петербурга чиновника, актер играл «весьма отлично, хотя бы и на императорском театре».[2] Можно было бы усомниться в восторженных оценках Пояркова, как-никак его жена играла на взрослой, а дочь – на детской сцене. Однако эти оценки подтверждаются и другими современниками, не имевшими никаких родственных связей с деятелями барнаульского театра. Среди них и известный путешественник П.П. Семенов-Тян-Шанский, побывавший в Барнауле спустя 18 лет после спектаклей, описанных Поярковым. «Многие из членов барнаульского общества, – писал ученый, – выдавались своими замечательными сценическими дарованиями. Совершенно первоклассным комиком был горный инженер Самойлов, старший брат знаменитого артиста, даже превосходивший своим природным сценическим талантом своего младшего брата...» [3]

Семенов-Тян-Шанский смотрел спектакли уже в специальном театральном здании, а не в «чертежной» или в горном училище, где в 30-х – начале 40-х гг. XIX в. выступали люби-

1 ГАЛК. Ф. 163. Оп. 1. Д. 18. Л. 33, 47, 47 об., 49, 50.

2 Там же. Л. 33, 47 – 50, 108.

3 *Семенов-Тян-Шанский П.П.* Путешествие в Тянь-Шань. М., 1947. С. 190.

тели и заезжие артисты.[1] После завершения строительства театра спектакли стали доступны не только для горных инженеров и чиновников, но и для более широкого зрителя. Театр в Барнауле в середине XIX в. был настолько неотъемлемой частью городского быта, что его деятельность не прекращалась даже летом, когда обычно в провинции театральный сезон прекращался. По свидетельству семипалатинского прокурора А.Е. Врангеля, летом труппа выезжала в близкий к Барнаулу Змиев, где на дачах любило отдыхать горное начальство.[2] Таким образом, барнаульские любители Мельпомены радовали своим искусством и жителей этого небольшого городка.

В тридцатых – сороковых годах XIX в. гастроли профессиональных театральных коллективов в Западной Сибири были еще редким явлением. В то время горожане видели артистов цирка, особенно вольтижеров, чаще, чем драматические труппы. И. Белов о первых писал, что они приезжали «летом нередко», а о вторых – «иногда». Уровень исполнительского мастерства актеров не всегда соответствовал эстетическим запросам горожан, прежде всего образованной части публики. Белов упомянул об одном спектакле, в котором артисты играли так плохо, что зрители покинули театр «на половине почти представления».[3] Редкость гастролей профессиональных театров, не всегда достаточно высокий уровень исполнительского мастерства странствующих актеров объективно выдвигали задачу создания любительских театральных кружков. Эта задача могла быть решена в тех городах, где имелось достаточно многочисленное чиновничество, уровень образования которого был выше, чем у других горожан.

Одним из таких городов стал Тобольск. Театральный кружок, возникший при гимназии, стал центром притяжения для многих творческих людей. Подлинным его организатором стал преподаватель гимназии поэт П.П. Ершов, который привлек к театру гимназистов лучшие творческие силы Тобольска. Политический

---

1 ГААК. Ф. 163. Оп. 1. Д. 18. Л. 95.

2 *Врангель А.Е.* Воспоминания о Ф.М. Достоевском в Сибири: 1854 – 1856 гг. СПб., 1912. С. 89.

3 *Белов И.* Путевые заметки и впечатления по Западной Сибири. М., 1852. С. 49 – 50.

ссыльный, бывший офицер польской армии, обучавшийся музыке в Парижской консерватории, К. Волицкий руководил оркестром казачьих музыкантов, участвовавшим в спектаклях, а также занимался гримом. Он же сочинил музыку к пьесе «Удачный выстрел, или Гусар-учитель», текст которой был написан другим польским ссыльным Чернявским и декабристом Н.А. Чижовым.[1] Устройством декораций ведал бывший декоратор тобольского театра Циммерман. А наибольшую деятельность развернул сам П.П. Ершов, который занимался режиссурой и создал специально для гимназистского театра несколько пьес: «Сельский праздник», комическую оперу «Якутские божки», а также куплеты к «Черепослову» Н.А. Чижова. Гимназисты неоднократно играли и пьесу Ершова «Суворов и станционный смотритель».[2] Благодаря объединению усилий группы талантливых молодых литераторов и музыкантов, как ссыльных, так и чиновников, значение этого театрального кружка трудно переоценить. Спектакли гимназистов были событием общественной жизни города. Театральные представления для публики устраивали по праздникам: во время святок, масленицы, Пасхи. Они охотно посещались и пользовались неизменным успехом. На масленице 1838 г. на одном из представлений присутствовало до 400 зрителей, «а в другом столько, что едва вмещала зала». С аншлагом прошли спектакли гимназистов и в рождественские дни 1840 г.[3]

В 1837 – 1841 гг. тобольские гимназисты исполняли, кроме названных выше пьес, комедию М.Н. Загоскина «Добрый малый», водевили «Актер и музыкант», «Искатель обедов». Выпускник гимназии К.М. Голодников называет и другие спектакли, игравшиеся в 1830-х гг. под руководством Ершова: «Недоросль» Д.И. Фонвизина, водевили «Прекрасный принц», «Филаткина свадьба», «Еще суматоха».[4] Таким образом, репертуар театра гимназистов состоял преимущественно из водевилей. Возможно, что комедия Фонвизина была единственным остросатирическим произведением, поставленным в эти годы

1 *Бухштаб Б.* П.П. Ершов и Н.А. Чижов в воспоминаниях Констанция Волицкого // Омский альманах. Кн. 6. 1947. С. 163.

2 *Ярославцев А.К.* Петр Павлович Ершов. СПб., 1872. С. 48 – 49, 55, 74.

3 Там же. С. 55, 74.

4 НА ТМ. КП. 13443. Л. 17 об.

в Тобольске. Однако репертуар гимназистов нельзя назвать типичным для любителей того времени, ибо значительное место в нем занимали произведения, специально созданные для этого театра. О сознательном выборе пьес свидетельствует и тот факт, что в репертуаре отсутствовали, насколько известно, переводные водевили. Это обстоятельство нельзя недооценивать, ибо водевиль, как установили театроведы, был «долгое время, в пору господства на сцене мелодрамы, чуть ли не единственным жанром, так или иначе отражавшим современный уклад жизни русского общества».[1] Поэтому внимание горожан к театру гимназистов отражало интерес зрителей к социальным проблемам российской действительности.

В Омске театральный кружок появился в первой половине 1840-х гг. Он был создан с благотворительной целью. Как писал И.Белов, в нем были заняты «дамы, здешние аристократки», представления которых «еще довольно редки».[2] В одной из корреспонденций в журнале «Репертуар и Пантеон» о спектаклях в Омске сообщалось, что организатором спектаклей, состоявшихся 30 декабря 1845 г. и 27 января 1846 г., была жена директора кадетского корпуса – А.Р. Шрам. В представлениях участвовали дамы омского бомонда: баронесса Е.А. Сильвергельм – жена квартирмейстера Отдельного Сибирского корпуса, три дочери директора кадетского корпуса (одна указана в корреспонденции под фамилией мужа) и М.Ф.Белокопытова. Все актеры – 5 человек – скрыты под инициалами.[3] Однако их социальная принадлежность очевидна – это офицеры, вхожие в салоны А.Р. Шрам и Е.А. Сильвергельм. Эти же дамы и спустя пять лет играли активную роль в культурной жизни Омска. Литератор и исследователь П.К.Мартьянов, который, как доказала М.М. Громыко, в своих работах «Гардемарины» и «Морячки» использовал мемуары одного из высланных на службу в Омск гардемаринов,[4] называет баронессу Сильвергельм устроитель-

---

1 История русского драматического театра. В 7 т. М., 1979. Т. 4. С. 82.

2 *Белов И.* Путевые заметки и впечатления по Западной Сибири. М., 1852. С. 49 – 50.

3 Благородный спектакль в Омске // Репертуар и Пантеон. 1846. Т. 13. С. 155.

4 *Громыко М.М.* Сибирские знакомые и друзья Ф.М. Достоевского. Новосибирск, 1985. С. 29 – 39.

ницей спектаклей и концертов, устраиваемых в казачьем манеже.[1] А.И. Сулоцкий, в письме к декабристу М.А. Фонвизину 3 января 1850 г., писал, что дочери Ф.А. Шрама «претендуют на славу музыкальных и театральных талантов».[2] Сведения Мартьянова и Сулоцкого, заметка из «Репертуара и Пантеона» дают основания для вывода о стабильности состава или хотя бы ядра театрального (театрально-музыкального) кружка в Омске в 1840-х гг., который был заметным явлением культурной жизни города. Однако в 1851 г. он распался, в результате отъезда семей Ф.А. Шрама и его дочерей.

С благотворительной целью был создан и театральный кружок в Тобольске. Жена тобольского губернатора А.В. Энгельке писала, что по ее убеждению и «по примеру других губернских городов согласились некоторые лица тобольского благородного общества давать иногда в доме собрания спектакли», чтобы со временем завести «что-либо благотворительное для бедных в Тобольске».[3] Первый спектакль этого кружка состоялся 1 октября 1846 г. в зале благородного собрания. Хотя многие актеры дебютировали на театральных подмостках и исполнены были далеко не самые содержательные пьесы (комедия-водевиль «Муж в дверь, а жена в Тверь» и водевиль «Квартира на Бугорках»), «зрители были так довольны, что сцену... положено было не трогать, а оставить для будущих спектаклей...» Интеллигентный зритель, автор сообщения о спектакле, выразил надежду на улучшение репертуара любителей. Вероятно, на спектаклях в благородном собрании присутствовали не только его члены. Цена за место «на хорах» была вполне доступна для большинства горожан – 30 коп. серебром.[4]

Несколько позднее появился любительский театр и в Томске. Отбывавший в городе ссылку Г.С. Батеньков, в письме от 2 декабря 1850 г. к А.П. Елагиной, упомянул о благотворительных спектаклях в пользу бедных.[5] Эти спектакли

---

1 *Мартьянов П.К.* Дела и люди века. Т. 3. СПб., 1896. С. 270.

2 РО РГБ. Ф. 319. II. 3. Д. 67. Л. 3.

3 ГАТО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 6. Л. 23.

4 Спектакль в Тобольске в пользу бедных // Русский инвалид. 1846. № 241. С. 961.

5 Русские Пропилеи. М., 1916. Т. 2. С. 89.

проходили уже на сцене настоящего театра, строительство которого было завершено в 1849 г. Здание театра первоначально находилось в ведении городского общества, а затем было передано благородному собранию.[1]

Директор благородного собрания А.Д. Озерский, в письме к И.И. Пущину от 30 декабря 1855 г., описал состояние, в котором пребывал томский театр: «Здание театра, выстроенное в цветущее время золотого разлива г. Филимоновым, весьма достаточное для томской публики. Зрителей помещается в нем около 300 человек, но сцена весьма велика и служит для 5-ти декораций. Впрочем, заезжие антрепренеры порядком ограбили томский храм Мельпомены...»[2] У здания театра имелся один существенный недостаток, который ощутил на себе французский путешественник Руссель-Киллуг, побывавший в нем в декабре 1858 г.: «Театр здесь недурен, но так холоден, что все сидят в шубах».[3]

На сцене театра выступали гастролировавшие артисты и местные любители, дававшие представления с целью сбора средств для различных благотворительных учреждений. О спектакле, устроенном в пользу раненых воинов и семей, потерявших кормильцев в годы Крымской войны, Г.С. Батеньков подготовил корреспонденцию для одной из московских газет. На этом представлении вниманию зрителей, переполнивших ложи, партер и галереи, были предложены две пьесы: водевиль «Демокрит и Гераклит, или Философы на Песках» и комическая опера «Дочь второго полка». Среди актеров ссыльный декабрист выделил талантливого комика А.Ф. Атопкова,[4] служившего заседателем в земском суде, и генеральшу Н.И. Пономареву, игра которой пользовалась огромным успехом у публики (в 1860 г. она стала одной из шести основательниц женского отделения Попечительного о тюрьмах общества в Томске). Об интересе томичей к любительскому театру свидетельствует и тот факт, что не все желающие смогли купить билеты на вышеу-

1 *О.П.* Театр в городе Томске // Томские губернские ведомости. 1858. № 22. С. 169 – 170.

2 РО РГБ. Ф. 243. П. 2. Д. 51. Л. 1 об. – 2.

3 *Руссель-Киллуг.* Чрез Сибирь в Австралию и Индию. СПб., 1871. С. 46.

4 РО РГБ. Ф. 20. К. 6. Д. 10. Л. 36, 39 – 39 об.

помянутое представление. Чистый же доход от спектакля составил немалую сумму – 500 руб. Отметим, что томские любители исполняли не только премьерные спектакли: некоторые пьесы, например, «Дочь второго полка», игрались неоднократно. Поэтому можно говорить, что вкусы публики оказывали влияние на выбор любительского репертуара.

Принято считать, что в 1850-х гг. по всей стране усилился интерес к театру, который связывают с подъемом общественно-политической жизни страны, полагая, что характерные черты духовной жизни общества этой эпохи наиболее явственно, по сравнению с другими видами искусства, отразил драматический театр.[1] Все это не вызывает особых возражений, но такие объяснения причинно-следственных связей страдают некоторой односторонностью. При этом искусство выступает в качестве зеркала, которое отражает те или иные социально-политические и социально-экономические изменения. Не вдаваясь в тонкости этой проблемы, замечу лишь, что театр, как и городская культура в целом, безусловно испытывая влияние социально-политических и социально-экономических факторов, развивался по собственным законам. При этом влияние местных факторов, как показывает возросшая роль театра в общественном быту западносибирских городов «большой четверки» в 1840-х гг., было не меньше, чем общероссийских. В 1850-х гг. повышение роли театра в жизни общества в Западной Сибири проявилось в распространении театральной культуры «вширь» – любительские драматические кружки возникают и в уездных городах: в 1856 г. в Ишиме, в 1858 г. в Тюмени и Березове, в 1859 г. в Каинске.[2]

Появление этих театральных кружков было знаменательным явлением культурной и общественной жизни Западной Сибири. Впервые в регионе театральные постановки смогли увидеть жители уездных городов, в том числе таких малонаселенных, как Березов, Ишим, Каинск. В Ишиме дебют

1 *Петровская И.* Театр и зритель в провинциальной России: Вторая половина XIX в. Л., 1979. С. 6.

2 Праздники коронации в Ишиме // Тобольские губернские ведомости. 1857. № 12. С. 94; Благородный спектакль в Тюмени // Тобольские губернские ведомости. 1858. № 6. С. 86 – 87; *А.И. Березов.* 10 июня // Тобольские губернские ведомости. 1864. № 31. С. 60; ГАТО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 89. Л. 8 об.

местных актеров-любителей состоялся 15 сентября 1856 г., когда в доме приходского училища был дан бесплатный «благородный спектакль».[1] Другие кружки, возникшие в конце 1850-х гг. в уездных городах, сближает не только время появления, но и цель – устройство театральных спектаклей для сбора средств на женские школы. Наряду с официальной целью были и иные причины их создания, связанные с потребностью одних лицедействовать, а других – получать удовольствие от их игры.

Любительские спектакли в Тюмени интересны необычным для того времени социальным составом участников. В первой половине XIX в. театральные кружки в Барнауле, Омске, Тобольске и Томске состояли из гражданских и военных чиновников и членов их семей. В Тюмени же из этой среды участвовало лишь двое учителей уездного училища и жена окружного начальника Ф.А.Стефановская, которая в апреле 1859 г. избирается попечительницей женской школы. Все другие актеры принадлежали к купечеству: почетные граждане Решетников и Шушуков, купец Прасолов, две дочери купчихи Злобиной, «а танцевали русский танец две дочери купчихи Юдиной».[2] Таким образом, театральный кружок в Тюмени имел принципиально иной социальный состав участников, чем в других городах: в нем преобладали молодые представители местной буржуазии. Это было обусловлено разнородными факторами: малочисленностью чиновничьего общества; доминирующей ролью во всех сферах городской жизни богатого местного купечества; ростом его культурных и социальных запросов в конце 1850-х гг.

Первые любительские спектакли в Тюмени стали главной сенсацией года для жителей города. В зале не хватило мест для всех желающих. Ажиотажный спрос на билеты подогревался тем, что на подмостки должны были выходить актеры из известнейших в городе купеческих фамилий. Главная цель спектакля была успешно выполнена – сборы с них вместе с пожертвованиями в пользу женской школы «взамен

---

1 Праздники коронации в Ишиме. С. 94.

2 Благородный спектакль в Тюмени. С. 86.

праздничных визитов» составили 1225 руб. Постановки тюменских любителей осуществлялись и в последующие годы.

Любительские спектакли выполняли еще одну важную функцию – они способствовали ломке стереотипных представлений о личности, развивали прогрессивную мораль. На это обстоятельство обратил внимание автор корреспонденции о первых театральных представлениях в Тюмени: «Человек бедный, богатый только дарованием, выступает на видное место в обществе; богатый с не менее богатым талантом заслуживает себе новый почет...»[1]

Любительские спектакли и концерты, как и балы, танцевальные вечера, маскарады, способствовали сплочению «благородного общества», раздробленного в большинстве городов на небольшие кружки, состоявшие часто из семейств служащих одного ведомства, или скрепленные родственными узами, что было особенно характерно для купеческой среды. По сравнению с чисто развлекательными мероприятиями благотворительные спектакли и концерты успешнее объединяли членов этих мелких корпоративных кружков, ибо все они чувствовали общую цель. «Благородные спектакли, – писал, умиротворенный общим эмоциональным подъемом томичей Г.С.Батеньков, – имеют особое свойство тесного единства и симпатии между актерами и зрителями. Все родные и знакомые, как бы одно семейство».[2]

Участие в театральных спектаклях или музыкальных концертах было одним из немногих выходов социальной активности женщин. Однако до середины XIX в. в западносибирском городе, как и в городах других регионов России, общественное мнение негативно относилось к игре женщин «из общества» на театральных подмостках.[3] В 1850-х гг. ситуация изменилась, и не только в городах «большой четверки», в которых (за исключением Томска) уже в начале XIX в. бытовали любительские спектакли, но и в некоторых уездных городах. В маленьких же уездных городах предубеждения против появления дам на театральных подмостках были еще

1 Там же. С. 86 – 87.

2 РО РГБ. Ф. 20. К. 6. Д. 10. Л. 39.

3 Спектакль в Тобольске в пользу бедных. С. 961.

сильны. Так, в Березове, в связи с отсутствием актрис-любительниц, женские роли в конце 1850-х – начале 1860-х гг. порой исполняли мужчины.[1]

Впрочем, и мужчинам-актерам не всегда было легко принять решение участвовать в спектакле. Приходилось преодолевать социальные стереотипы, связанные с несоответствием «легкомысленного увлечения» профессиональному статусу. Это касалось некоторых категорий служащих: офицеров, преподавателей семинарии. Такая ситуация наблюдалась даже в городах, имевших давнюю театральную традицию, – в Тобольске и Омске.[2]

Профессиональные театральные коллективы в середине XIX в. все чаще гастролировали в городах Западной Сибири. Благодаря наличию в городе театрального здания томичи оказались в лучшем положении, чем жители других городов Западной Сибири, в которых, за исключением Барнаула, постоянных театров не было. В 1850-х гг. в Томске ежегодно гастролировали труппы Маркевича, Петрова, Ярославцева, Глушкова, Лазарева.[3] Наибольшим мастерством отличалась труппа Ярославцева, в репертуаре которой современники выделяли «Свадьбу Кречинского», «Бедность не порок», «Праздничный сон до обеда».[4] Эти пьесы, в которых была сильна обличительная струя, заставляли зрителей задуматься над социальными пороками общества, порождали у части зрителей протест против проявлений крепостничества во всех сферах жизни.

Спектакли гастролировавших трупп видели и жители Омска, Тобольска, Барнаула. В 1850-х гг. театральные коллективы иногда на время ярмарок заезжали в Тюмень.[5] Несмотря на отсутствие постоянных театров в регионе, горо-

---

1 *А.И. Березов.* 10 июня // Тобольские губернские ведомости. 1864. № 31. С. 260.

2 РГАЛИ. Ф. 765. Оп. 1. Д. 103. Л. 18 – 18 об.; Благородный спектакль в Омске. С. 155.

3 *О.П.* Театр в городе Томске. С. 172.

4 История русского драматического театра. Т. 4. С. 245.

5 *О.П.* Указ. Соч. С. 171; Местные известия // Тобольские губернские ведомости. 1858. № 9. С. 111.

жане, благодаря гастролям вышеуказанных трупп, не могли считать себя оторванными от профессионального театра. Отсутствие стационарных театров было характерным явлением для всей провинции даже во второй половине XIX в. «Театр российской провинции второй половины XIX в. – это, в сущности, один организм, а не сумма театров населенных пунктов».[1] Зритель смотрел постановки разных гастролировавших коллективов каждый новый театральный сезон, и таким образом он знакомился с широким кругом исполнителей. Да и уровень артистов провинциальных трупп в середине XIX в. заметно вырос.[2]

Благодаря гастролям профессиональных трупп к театральному искусству приобщались новые слои горожан. Этот процесс в разных городах Западной Сибири протекал неодинаково. Так, в Омске даже в конце 50-х гг. XIX в. лишь отдельные лица из городского простонародья посещали спектакли и музыкальные концерты. В Томске же состав зрителей был более демократичен. Среди зрителей встречались не только мещане и разночинцы, но и татары, бухарцы, некоторые из которых даже брали в театр жен.[3] Причины более демократического социального состава зрителей были связаны с социально-экономическим развитием Томска, который, как отмечал Г.Н.Потанин, был самым «буржуазным» городом в Западной Сибири.[4]

Значение гастролей драматических коллективов состояло не только в эмоциональном и эстетическом воздействии на зрителей. Они меняли саму роль театра в досуге горожан. Если любительские и народные представления устраивались по праздничным дням, исключая лишь Барнаул, в котором уже в 1830-х гг.,[5] а возможно, и ранее, спектакли давали и в будние дни, то выступления профессиональных артистов заняли важное место в повседневном досуге горожан. Но

---

1 *Петровская И.* Указ. Соч. С. 6.

2 История русского драматического театра. Т. 4. С. 245 – 246.

3 Говорун. Листок из Омска. С. 87; О.Н. Театр в городе Томске. С. 173.

4 *Потанин Г.Н.* Города Сибири // Сибирь, ее современное состояние и ее нужды. СПб., 1908. С. 234 – 259.

5 ГААК. Ф. 163. Оп. 1. Д. 18. Л. 33, 47, 49, 108.

ни профессиональный, ни любительский театры не могли по целому ряду причин, главной из которых была бедность значительной части населения, вытеснить из досуга мещан, цеховых, солдат и разночинцев народный театр. Это было характерно как для городов Западной Сибири, так и для Центра России.

Влияние фактора отдаленности западносибирского региона от столичных театров в 1840-х – начале 1860-х гг., как ни парадоксально, способствовало появлению гастролировавших трупп в наиболее многолюдных городах Западной Сибири. И, напротив, близость городов Московской и Тверской губернии к столичным театрам была препятствием для приезда на гастроли профессиональных провинциальных трупп. Помещики, чиновники и купцы, особенно из Подмосковья, часто посещали Москву или даже проводили в столице несколько месяцев. Длительное пребывание в Москве, как правило, приходилось на зимние месяцы – время театрального сезона. Поэтому все, кто интересовался театром и видел на сцене лучших актеров того времени, не были заинтересованы в появлении в их родном городе посредственных профессиональных трупп. Правда, известно, что в наиболее крупных городах Московской губернии в середине XIX в. все-таки происходили иногда кратковременные гастроли странствующих театральных коллективов.

Сопоставление театральной жизни Центра России и Западной Сибири обнаруживает общую закономерность: театр к середине XIX в. вошел в быт лишь губернских городов. Омск и Барнаул, оставаясь формально уездными городами, резко отличались от других уездных городов по своим функциям (например, Омск с 1839 г. стал фактически административным и военным центром западносибирского региона) и по составу горожан (наличию достаточно многочисленной образованной публики).

Только во второй половине 1850-х гг. любительский театр охватывает и уездные города западносибирского региона (Тюмень, Ишим, Березов, Каинск). Любительские спектакли в Тюмени выделялись в регионе необычным составом участников: большинство составляли молодые представители и

представительницы купеческих фамилий.[1] Социальный состав участников театральных постановок в самом купеческом городе Западной Сибири был близок к осташковскому театру.

В Осташкове (Тверская губерния) первые театральные представления были организованы в самом начале XIX в. школьным учителем Михаилом Савичем. Ученики играли пьесы духовного содержания. Эти ученические представления дали импульс для создания любительского театра в 1805 г. Его актеры принадлежали к самым широким городским слоям (живописец, приказчики, сапожники, маляры, каменщики, позолотчики, портной и др.). В Осташкове театр действовал до 1825 г., был восстановлен три года спустя, закрылся в 1830 г. и возобновил свою деятельность в 1836 г. Однако театральная жизнь в городе не прекращалась и в то время, когда стационарный любительский театр был закрыт. В 1820-х гг. ставились детские спектакли, в которых играли мальчики, певчие Воскресенского храма. Примечательно, что зрители (тоже мальчики) платили за представление от 2 до 4 копеек. [2] Эти детские спектакли обнаруживают тот факт, что произошло осознание театра как эстетической ценности или, по крайней мере, как развлечения, за которое следует платить. Детские спектакли поддерживали определенную городскую театральную преемственность – они готовили и актеров, и публику.

Первая половина 1830-х гг., безусловно, может быть охарактеризована как шаг назад в театральной жизни Осташкова. В те годы театральные представления давались лишь зимой, по большим праздникам, в домашнем театре С.К.Савина (старшего). Заводские помещения позволяли вместить в импровизированный театральный зал не только гостей Савиных, родственников и друзей артистов, но и фабрично-заводских служащих дома Савиных. Актерами были как приказчики Савина, так и «молодые люди, любители, из первых домов города...», – писал краевед И.Ф. Токмаков.[3] В 1836 г. театр вновь возобновил ра-

1 *Куприянов А.И.* Указ. Соч. С. 97 – 98.

2 *Токмаков И.Ф.* Указ. Соч. С. 165 – 166.

3 Там же. С. 166.

боту. В 1842 г. в городе, по инициативе С.К. Савина и Н.С. Уткина, была проведена подписка и устроены партер, ложи, галереи. Театральный зал вместимостью до 450 человек (11 лож, 34 кресла, 52 стула и галереи),[1] – следует признать большим для уездного города с населением менее 10 тыс. человек.

Осташковская публика, за небольшим исключением, от нового театра была в восторге. «Возникший в короткое время театр наш есть живое подобие столичного театра», – сказал один из осташковских граждан, имеющий некоторое притязание на образованность», – сообщал о впечатлениях от театра один из корреспондентов журнала «Репертуар и Пантеон».[2] Автор другой заметки об осташковском театре в 1842 г. смотрел на вещи более трезво, он отметил, что зрителей на спектаклях «бывает немного», в театре прохладно, поэтому публика может не снимать верхнюю одежду: дамы – салопы, мужчины – шубы и шляпы. Он же писал, что зал освещался сальными свечами, костюмы и декорации, на его взгляд, «плохи».[3]

Чем же театр, в котором играли 16 дилетантов, притягивал к себе публику? Кроме местного патриотизма и желания подражать столицам, были и другие причины, побуждавшие зрителей устремляться зимними вечерами в холодный и плохо освещенный зал. Такими причинами были жажда новых публичных и культурных форм проведения досуга, социальная близость актеров и зрителей, соответствие репертуара эстетическим вкусам и социальным запросам публики. Так, автор заметки об осташковском театре выделил среди последних спектаклей два, имевших наибольший успех: «Русский человек добро помнит» и «Ссору». Митин, исполнявший роль Сутягина, «так неподражаемо разыгрывал подьячего, что заслужил негодование всех подьячих, бывших в это время в театре... Митин так верно изобразил подьячего, как будто он вырос в кругу этого безкорыстного сословия. Частые рукоплескания и вызов на сцену были ему наградою».[4]

---

1 *Н. Р-в.* Очерк Осташкова // Памятная книжка Тверской губернии на 1863 год. Тверь, 1863. отд. III. С. 173.

2 *И. Н-в.* Осташковский театр //Репертуар и Пантеон. 1842. № 24. С. 21.

3 Театр в Осташкове // Репертуар и Пантеон. 1842. № 11.

4 *И.Н-в.* Осташковский театр. С. 22.

1840-е гг. стали для Осташкова эпохой театральных новаций. К этому времени один из первых актеров – сапожник П.И. Запутряев, который вместе с братом сам играл на сцене, передал свою любовь к театру детям. Именно он основал первую в городе театральную династию. В 1843 г. на местной сцене впервые появилась актриса – 18-летняя Ольга Запутряева. Вслед за Ольгой в театр пришли и три ее сестры.

Другая особенность театральной жизни Осташкова того времени – расширение социального состава его участников. Активное участие приняли в театре некоторые офицеры двух квартировавших в городе гвардейских батарей, один из которых (А.Н.Обольянинов) некоторое время выполнял функции режиссера. В конце 1840-х другой Савин – Федор Кондратьевич – позаботился об улучшении реквизита и театральных костюмов, на его средства и благодаря торговцам, пожертвовавшим много «старомодных и залежавшихся товаров», эту проблему удалось решить. Учитывая, что в театре ставились также оперы и комические водевили, большое значение имела организация театрального оркестра. До конца 1840-х гг. его функции исполняли церковные певчие или остатки помещичьих оркестров. В 1849 г. по инициативе Ф.К. Савина из молодых осташковских граждан (т.е. мещан) был создан оркестр. Руководитель оркестра А.Ф. Елецкий прошел стажировку в Петербурге.[1]

В других же городах Тверской и Московской губерний актерами на любительской сцене в это время выступали дворяне и чиновники.

Осташковский театр долгое время оставался единственным провинциальным театром в Московской и Тверской губерниях. Когда в 1842 г. МВД предписало тверскому губернатору доставить сведения о существующих в губернии театрах, странствующих труппах и их репертуаре, то губернатор уведомил, что таковых нет, «кроме временно открываемого театра в г. Осташкове, на котором даются представления тамошними гражданами только в осеннее и зимнее время. Труппа этого театра состоит из тамошних граждан, которые не имеют в виду никаких выгод и довольствуются только об-

[1] *Токмаков И.Ф.* Указ. Соч. С. 166 – 169.

щим желанием драматического представления. Она не имеет особого содержателя и учреждается в известное время по особой подписке любителей театра».[1]

В Твери стационарный театр появился только в 1848 г.,[2] на год раньше, чем в Томске. Примечательно, что в этих городах театры были построены на средства частных лиц из буржуазных кругов (купца 1-ой гильдии Боброва и золотопромышленника Филимонова), которые вскоре передали здания в ведение города. В Томске, впрочем, деятели местного самоуправления быстро избавились от этой обузы, передав театр благородному собранию.

В Твери первым содержателем театра стал местный купец 2-ой гильдии А.И. Сутугин, затем его сменил костромской мещанин Иванов. В 1857 г. дворянин И.О. Петрашевский взялся за постановку театральных представлений в тверском и вышневолоцком театрах, «а равно и в других городах Тверской губернии». Из переписки тверского губернатора с МВД и III Отделением можно узнать, что из уездных городов губернии Петрашевскому удалось поставить спектакли только в Твери и Вышнем Волочке. Эти постановки имели отчасти и благотворительный характер. Денежные средства, после исключения из выручки расходов на постановку, содержание театра и актеров, шли в пользу инвалидов.[3]

Уездные города Московской губернии долгое время были лишены театров. Имеются глухие упоминания о существовании театра во второй половине 1820-х гг., в котором играли студенты Московской духовной академии, располагавшейся в Троице-Сергиевой лавре.[4] Лишь в 1850 г. начали ставиться любительские спектакли в Серпухове.[5]

Эти данные позволяют иначе, чем принято в литературе, поставить вопрос о причинах усиления интереса к театру в русской провинции. Не пытаясь оспорить положение о свя-

---

1 РГИА. Ф. 780. Оп. 2. Д. 33. Л. 1 – 1 об.

2 РГИА. Ф. 1286. Оп. 11. Д. 576. Л. 3.

3 РГИА. Ф. 780. Оп. 2. Д. 33. Л. 45 – 45 об.

4 *Миловский Н.* Московская духовная академия по воспоминаниям двух родных братьев // Русский архив.1893. № 9. С. 42.

5 ЦИАМ. Ф. 17. Оп. 23. Д. 120, оп. 24. Д. 114.

зи возрождения интереса к искусству театра с подъемом общественно-политической жизни страны во второй половине 1850-х гг., мы не имеем права игнорировать тот факт, что в трех из четырех исследуемых губерний, популярность пришла к театрам в иной общественно-политической атмосфере. Для объяснения этого явления необходимо привлечь не только аргументы из арсенала традиционных историков культуры, но и прибегнуть к культурно-антропологическому объяснению.

Социокультурные процессы, имевшие место в русской провинции (рост грамотности, переосмысление европеизированной культуры не как культуры дворянского сословия, но как национальной, возросший интерес молодого поколения формирующейся русской буржуазии к искусству, местный городской патриотизм, усвоение относительно широкими городскими слоями норм культурной повседневности, присущей раньше лишь дворянству и верхним и средним слоям чиновничества), к середине XIX в. привели к качественным переменам в картине мира значительной части купцов, мещан, мелких чиновников и разночинцев. Таким образом, и в провинции выросла социальная база потребителей нового (классического) искусства. Искусства европейского по форме и преимущественно национального по содержанию. В пользу национального содержания свидетельствует особая популярность русских пьес, а также переводных водевилей, адаптированных к реалиям городского быта российских столиц и провинции. Выходцы и лица из этой среды, считавшейся еще в 30-х – 40-х гг. необразованной, все смелее выдвигались и в прямом, и в переносном смысле на сцену.

Клубы и благородные собрания

В какой мере правомерно рассматривать клубы, благородные собрания и подобные им увеселительные общественные заведения XVIII – середины XX в. контексте городской культуры? Какова была их роль в культурной жизни города? Наконец, какое значение имели эти клубные учреждения в истории духовного развития горожанина?

В провинции клубы стали возникать позже, чем в столицах, на 20 – 25 лет. Руководствуясь «гендерным» подходом, следует разделить все клубные заведения на мужские клубы и благородные собрания, куда допускались и дамы.

В Тверской губернии первый клуб появился в губернском городе в конце 1800-х гг. «Предмет сего собрания есть общественное увеселение, для которого назначается каждую неделю один бал или концерт», – говорилось в правилах, утвержденных принцем Георгием Голштейнским-Ольденбургским. Членами тогда могли быть только потомственные дворяне. Членские взносы были установлены в размере 50 руб. ассигнациями. Последствия войны 1812 г. привели к сокращению числа членов собрания. В этих условиях были предприняты усилия по привлечению новых участников. Ежегодные взносы были снижены до 30 руб. Вероятно, и наполняемость залов во время концертов оставляла желать лучшего, поэтому 8 января 1824 г. было принято первое дополнение, согласно которому посетителями на балах могли быть «дворяне, купцы, мещане и иностранцы», а на публичный маскарад «всякий пристойно одетый может иметь в оный вход с платою одного рубля...»[1] В этом же направлении происходили и изменения, принятые 31 января того же года. Они открыли перед чиновниками, имеющими только личное дворянство, возможность стать полноправными членами клуба.[2]

Дальнейшие шаги по либерализации допуска в собрание произошли в 1848 г., когда по инициативе старшин Тверского Благородного собрания гражданский губернатор вошел с представлением в МВД «о допущении тверского купечества быть постоянными посетителями Тверского Благородного собрания». В приложенном «протоколе» этой организации, отмечалось, что ее члены пошли навстречу «неоднократному» изъявлению желания некоторых лиц тверского купечества быть постоянными посетителями данного собрания. Однако принимались они на особых условиях по сравнению с членами: постоянные посетители были лишены права голоса «в совещаниях о могущих быть

1 РГИА. Ф. 1286. Оп. 11. Д. 630. Л. 15, 21 об.

2 Там же. Л. 23.

постановлениях» во время баллотировки, а также не могли избирать старшин и быть избранными на эту должность.[1]

Уставы Английских клубов Москвы и Санкт-Петербурга отличались большим демократизмом и в вопросах приема новых членов, и в решении всех важных вопросов внутриклубной жизни. Этот дух демократии оказался чужд русской провинции. В частности, новые «Правила для Тверского Благородного собрания», принятые в 1849 г., предусматривали, что его членами могут быть все служащие и неслужащие дворяне – по рекомендации двух членов и с согласия старшин.[2] В то время как в столичных клубах кандидат подвергался баллотировке при участии всех членов клуба.

Имелись некоторые различия в уставах Московского Английского клуба и Тверского Благородного собрания и в вопросе о требованиях, предъявляемых к социальному положению претендентов. В Москве вообще никаких формальных сословных ограничений не было, а в Твери они занимали важное место. Так, «все чиновники, почетные граждане и купцы, а также артисты и иностранцы, если они не приписаны к мещанскому или цеховому обществу», могли быть лишь постоянными посетителями, но не полноправными членами.[3] Сложилась парадоксальная ситуация: например, актер М.Щепкин был избран в члены Московского Английского клуба, но в Твери он не мог бы стать полноправным членом Благородного собрания в силу своего социального статуса. Каковы же причины возникновения столь странных коллизий?

Первые клубы Москвы и Петербурга выросли из общественной инициативы просвещенных столичных дворян, иностранных купцов, чиновной интеллигенции и небольшой части образованных русских купцов, усвоивших нормы поведения, принятые в дворянской элите. Отсюда и то неповторимое сочетание, как тогда выражались, аристократического тона и внутриклубного демократического устройства, которым отличался в первую очередь Московс-

1 РГИА. Ф. 1286. Оп. 11. Д. 630. Л. 1 – 2 об.

2 Там же. Л. 7.

3 Там же. Л. 7 об.

кий Английский клуб. В провинции клубы и благородные собрания возникали в иной социальной среде. Образно говоря их можно назвать зимними постоянно действующими дворянскими собраниями. Не случайно уставы подавляющего большинства клубов и собраний содержали пункты о том, что непременными старшинами являются губернские или уездные предводители дворянства. Не был исключением из этого правила и устав Тверского Благородного собрания.

Тверское Благородное собрание сочетало в себе оба типа клубных заведений. Оно функционировало и как «мужское собрание» и как собрание благородной публики во время балов, маскарадов и музыкальных вечеров, куда наравне с мужчинами допускались и женщины. При этом преобладала тенденция превращения этого заведения в мужской клуб. Если в 1820-х гг. клубные дни назначались только по четвергам, то в 1840-е гг. – не реже трех раз в неделю. Развлекались в мужском собрании игрой в карты и на бильярде. Правда, в уставе содержался и неопределенный пункт о том, что собрание «приобретает по возможности газеты, журналы русские и иностранные и другие литературные новости». С социальной точки зрения правила 1849 г. сделали небольшой шаг в сторону отхода от сословных ограничений на посещение клубных мероприятий. Наиболее доступными для простых горожан были маскарады, вход в которые за плату в 50 копеек серебром был открыт для всех одетых «прилично». Впрочем, все «пристойно одетые» могли попасть и на бал или музыкальный вечер, но только в качестве зрителей (слушателей) на хоры. [1]

В уездных городах Тверской губернии потребность в создании клубов и благородных собраний была осознана в дворянских кругах лишь с начала 1840-х гг. Ранее отдельные попытки открытия заведений подобного типа имели место, но они носили эпизодический характер. Так, в Осташкове, в 1834-м и 1835 гг., по инициативе офицеров артиллерийской батареи по ходатайству бригадного командира полковника И.П. Миллера тамошнее дворянство устраивало «благород-

---

1 Там же. Л. 8 – 8 об., 12

ные танцовальные вечера». За разрешением на открытие этих вечеров, начинавшихся поздней осенью, предводитель дворянства обращался к губернатору. Губернатор без проволочек удовлетворял эти ходатайства. В 1835 г. всего неделя отделяет просьбу уездного судьи Корбутова – о дозволении устроить вечера – от вердикта губернатора.[1]

1840-е годы стали для Тверской губернии временем учреждения благородных собраний в уездных городах: Осташкове, Вышнем Волочке, Торжке, Корчеве, Кашине, Ржеве. При этом в Ржеве непосредственным поводом к открытию «танцевального и мужского благородного собрания» стало пребывание в городе гусарского полка, офицерам которого хотелось иметь такое место, где удобно было бы заводить романы с благородными дамами и пытаться поймать удачу за зелеными столами в игре с ржевскими помещиками и купцами. Местные помещики, в свою очередь, видели в гусарах завидных женихов для дочерей. Благодаря гусарам в уставе с армейской четкостью были разведены танцевальное собрание и клуб. О первом сказано, что, кроме танцев и карт, «других занятий в оном собрании не полагается, почему ни чтение газет, ни курение трубки и сигар не имеют места...»[2] И в том же духе в проекте устава провозглашалось: «Цель же собрания есть, чтоб дать способ дамам, девицам и молодым людям пристойно веселится».[3]

Сам процесс возникновения клубов в уездных городах Тверской губернии, как и в других городах Российской империи, протекал довольно сложно, натыкаясь на препоны, созданные бюрократическим режимом Николая I. Когда в ноябре 1841 г. дворяне, проживающие в Кашинском уезде, обратились за разрешением открыть благородное собрание, их просьба была отклонена МВД по формальным причинам.[4] Затянулся и процесс открытия благородного собрания в Ржеве. Главной причиной торможения учреждения любых «обществ и заведений» было циркулярное предписание управляющего

1 ГАТвО. Ф. 56. Оп. 1. Д. 116. Л. 1 – 2.

2 РГИА. Ф. 1286. Оп. 10. 1846 г., Д. 922. Л. 6.

3 Там же. Л. 6 об.

4 ГАТвО. Ф. 56. Оп. 1. Д. 206. Л. 1 – 7.

МВД от 27 мая 1841 г. (№ 2393). Об этом прямо писал ржевскому городничему гражданский губернатор, который объяснил, что по новому положению требуется разрешение МВД, для получения которого необходимо представить не только прошение, но и устав собрания,[1] в то время как раньше для открытия нового заведения достаточно было резолюции губернатора. Однако не только бюрократические рогатки препятствовали появлению благородных собраний, были и другие негативные факторы: отсутствие массовой поддержки этого начинания со стороны дворян в силу бедности или индифферентного отношения к тем формам досуга, которые могли предложить в провинциальных городах благородные собрания и клубы. Именно к такому выводу можно прийти на основании уведомления от исполняющего должность уездного предводителя ржевского дворянства, направленного губернатору 23 декабря 1843 г., то есть год спустя после первого прошения. В нем говорилось, «что в нынешнюю зиму собрание в городе Ржеве по неимению достаточных средств открыто быть не может».[2]

Через несколько лет, в ноябре 1846 г., ржевское дворянство, генерал и офицеры квартирующего в Ржеве гусарского полка вновь ходатайствовали об открытии танцевального благородного и мужского собраний. Целью танцевального собрания провозглашалось: «дать способ дамам, девицам и молодым людям пристойно веселиться». Танцы предполагалась устраивать по воскресеньям раз в две недели, а по высокоторжественным дням – балы. Членами собрания могли быть только дворяне, но в маскарадах (на святках и масленице) могли участвовать и купцы, а также и другие визитеры – с платою за вход 1 руб. серебром. При посещении собраний военные должны быть в мундирах, а статские – во фраках. «На маскарадах допускаются также и маски, но пристойные».[3] «Мужское собрание» конституировало себя как «благородное»; в нем предполагались «приличные разговоры, чтение газет и журналов и позволенные игры в карты». Купцы допускались на собрания лишь в качест-

1 ГАТвО. Ф. 56. Оп. 1. Д. 211. Л. 2 – 3.

2 Там же. Л. 8.

3 РГИА. Ф. 1286. Оп. 10. 1846 г. Д. 922. Л. 1, 6 – 6 об.

ве визитеров, с платою по 30 коп. серебром. Визитерами можно было стать лишь по приглашению кого-либо из членов собрания. В «мужском собрании» члены и посетители могли быть в сюртуках и курить в специально отведенной комнате, что категорически запрещалось в танцевальном собрании.[1]

В Вышнем Волочке собрание открылось до упомянутого циркуляра. 10 декабря 1840 г. местный городничий рапортовал губернатору об открытии собрания 6 декабря в высокоторжественный день тезоименитства е.и.в. Николая Павловича. Собрание состоялось без дозволения властей. Такое своеволие становится понятным из того же рапорта городничего, писавшего, что собрание открыто штаб- и обер-офицерами гусарского полка, а старшинами избраны генерал-майор Рихтер и полковник Головинский.[2] Учредители вышневолоцкого благородного собрания позаботились о сословной чистоте своих рядов, разрешив вступать в него лишь дворянам и чиновникам не ниже первого офицерского чина. Правда, двери собрания остались слегка приоткрытыми и для лиц из купеческой верхушки. Их прием был предоставлен на усмотрение старшин: «Почетное купечество и иностранцы приглашаются в члены или только гостями по определению гг. старшин Благородного собрания».[3]

После появления циркуляра МВД от 27 мая 1841 г., в 1842 г., понадобилось получить разрешение начальства на деятельность благородного собрания. Инициатива на этот раз принадлежала не офицерам, а уездным дворянам и чиновникам, служившим в городе. О социальном составе этого планируемого собрания свидетельствует один оригинальный пункт из устава: «На балах, в собрании все вообще гг. посетители: военные должны быть в мундирах, а статские во фраках, *кроме почетного купечества, сохранившего национальный костюм*, в танцах могут участвовать только те из купечества, которые одеваются во фраки, *а в сюртуках, венгерках и полукафтаньях, ни в коем случае танцевать не дозволяется...*» (курсив мой – *А.К.*).[4] Данный пункт

1 Там же. Л. 8 – 9.

2 ГАТвО. Ф. 56. Оп. 1. Д. 188. Л. 1 – 1 об.

3 Там же. Л. 4.

4 ГАТвО. Ф. 56. Оп. 1. Д. 210. Л. 3.

недвусмысленно фиксирует тесные связи, сложившиеся в Вышнем Волочке между дворянством и «почетным купечеством». Купцы сразу рассматривались учредителями клуба в качестве его членов. Примечательно, что в «гусарском» уставе ничего не говорилось о «национальном» костюме купечества, ибо его составители исходили из общего правила, согласно которому на балах военные должны быть в мундирах, статские во фраках, а в прочие дни дозволяется быть в сюртуках. Новый устав исходит из местных условий, в должной мере учитывая и социокультурный облик «почетного» вышневолоцкого купечества. Дружеские контакты с дворянами и потребность в приобщении к новым формам проведения досуга еще не привели местных купцов к заимствованию современного европейского платья. И составители устава продемонстрировали свое уважение к приверженности купцов традиционной русской одежде. Но эстетические представления дворян не позволяли им допустить возможность участия в бальных танцах человека, одетого в сюртук или полукафтанье, отсюда и ограничения для лиц, одетых не по принятым нормам.

Из «дворянского» устава исчез и жесткий принцип сословности, характерный для «гусарского» устава и предусматривавший, что из 7 старшин один избирается из купечества или иностранцев, однако при этом его распорядительные пункты были урезаны по сравнению со старшинами-дворянами.[1]

Следует заметить, что чиновники МВД не утвердили устав, отправив его на доработку. Наряду с конкретными параграфами учредители собрания уточнили и его цель, подчеркнув социализирующую роль мероприятий, проводимых им. В первом варианте говорилось, что благородное собрание учреждается «по примеру прочих уездных городов, для доставления семействам своим в зимнее время развлечения...» Во второй редакции был усилен акцент на социальном значении учреждаемого заведения – «приучать детей к светской жизни в небольшом кругу, что будет иметь влияние... как на обхождение, так и образованность их».[2] Из-за бюрократичес-

[1] ГАТвО. Ф. 56. Оп. 1. Д. 188. Л. 7, 8 об.

[2] ГАТвО. Ф. 56. Оп. 1. Д. 210. Л. 10.

ких проволочек собрание смогло открыться лишь 6 декабря 1843 г. Как доносил губернатору городничий, на балу присутствовало 32 кавалера и 23 дамы. Собравшиеся с энтузиазмом протанцевали до 6 часов утра.[1]

В Осташкове первое благородное собрание по инициативе уездного дворянства открылось в самом начале 1839 г. Разрешение губернатора последовало 30 декабря 1838 г.[2] Просуществовало оно, очевидно, недолго, возможно, всего один зимний сезон. Спустя пять лет, 6 ноября 1843 года, Осташковский предводитель дворянства Федор Муромцов обратился к состоящему в должности Тверского губернатора А.П. Бакунину с просьбой «о позволении нынешнею зимою учредить в городе Осташкове увеселительное собрание». Губернатор разъяснил предводителю, что своей властью он дать разрешение не может – это прерогатива МВД. Наконец, что необходимо представить устав. Полагая, что осташковским дворянам нелегко будет сочинить этот документ, он уведомил предводителя об открытии такого заведения в Вышнем Волочке, с официально утвержденным уставом. Предводитель попытался решить проблему просто, по-домашнему. Он направил устав существовавшего прежде в городе благородного собрания с трогательной просьбой: «и покорнейше прошу не благоугодно ли будет Вам, милостивый государь, приполнить к оному из правил в Тверском собрании ныне существующих...»[3]

Подобная уездная непосредственность вызвала раздражение тверской бюрократии. В архивном деле об открытии благородного собрания в Осташкове текста устава нет, но есть документ «Некоторые недостатки, замеченные в правилах Осташковского Благородного собрания». Этих «недостатков» набралось почти на две страницы. Чиновники внимательно проштудировали устав и придрались едва ли не к каждому его пункту: от целей собрания и размеров платы за вход с дам-членов и дам-посетительниц до вопросов о том, в каком доме будет помещаться собрание и «какое платье

1 Там же. Л. 24.

2 ГАТвО. Ф. 56. Оп. 1. Д. 168. Л. 4.

3 ГАТвО. Ф. 56. Оп. 1. Д. 217. Л. 3.

должно быть на мужчинах? Допускаются ли сертуки, венгерки и полукафтаны, также русское платье»[1].

Встретив Рождество и Новый год, осташковский предводитель представил 5 января 1844 г. исправленный вариант устава, отметив, что до сих пор не смог получить «для примера» устав Благородного собрания Вышнего Волочка. Предводителю вся эта уставная канитель уже порядком надоела, и он тонко намекнул губернатору, что пора бы уж закончить с канцелярскими придирками. Ведь из-за отсутствия разрешения на открытие собрания дворяне не слишком скучают: «а потому съехавшиеся дворяне делают частные балы, приглашая прочих, до разрешения общих собраний».[2] Этот пассаж на губернатора Бакунина не произвел никакого впечатления, и 13 января 1844 г. он обнаружил в новой редакции устава недостатки, которых было уже значительно меньше. Предводитель оперативно их устранил и 18 января направил губернатору очередной исправленный вариант. Доработанный устав в конце января и был послан Бакуниным в МВД. Однако разрешения не последовало, в МВД обнаружили новые неточности формулировок документа, а иногда и неуместные подробности, среди которых был и пункт, вставленный по инициативе тверских чиновников, о том, в каком именно доме будут устраиваться вечера. 10 марта 1844 г. тверской губернатор уведомил осташковского предводителя о замечаниях МВД. Бюрократические проволочки окончательно загубили зимний сезон, поэтому расстроенный предводитель не стал уже ничего исправлять.

Вероятно, эта история обсуждалась в обществе губернского города, и в общественном мнении начальник губернии предстал не в самом выгодном свете. В пользу этого предположения говорит то обстоятельство, что 29 сентября 1844 г. уже сам Бакунин напомнил осташковскому предводителю о необходимости своевременно представить исправленный устав, для того чтобы он мог ходатайствовать перед министром об открытии в городе благородного собрания. Однако по-

---

1 Там же. Л. 5 – 5 об.

2 Там же. Л. 6 об.

лучил неожиданный отказ от Федора Муромцова, который писал: «имею честь уведомить, что по прошедшему сего года мокрому лету и назначенному рекрутскому набору, я полагаю, для дворян Осташковского уезда наступает сухая зима, в которую не до увеселительных собраний приятного препровождения свободного времени; навряд успеть исправить необходимые надобности, а потому и ходатайство об утверждении сего проекта на этот год оставлено».[1]

Ходатайство было возобновлено год спустя – 27 сентября 1845 г. В этот день уездный предводитель дворянства вновь заявил о намерении открыть «дворянский клуб», хотя в представленном положении учреждение именуется «благородным собранием». Следует отметить, что учредители Осташковского Благородного собрания учли замечания бюрократических инстанций и тщательно подошли к составлению устава, позаимствовав и некоторые оригинальные пункты Вышневолоцкого Благородного собрания, в том числе и положение о национальном костюме купечества. Спустя два месяца было получено разрешение министра внутренних дел, сопроводившего его секретным предписанием губернатору. Министр напоминал губернатору о необходимости со стороны полиции иметь секретное наблюдение, «чтобы в означенном собрании не были допускаемы непозволительные карточные игры или какие-либо неуместные суждения на счет религии и правительства».[2]

Через какое-то время дворянский клуб в городе закрылся, иначе неясно, почему в декабре 1849 г. уездный предводитель дворянства обратился к губернатору за разрешением открыть «дворянский клуб». Сами эти определения – «благородный» и «дворянский» – он употребляет как синонимы, в частности в «Положении» о клубе это учреждение именуется «благородным». Получив от тверского гражданского губернатора соответствующие документы, в МВД пришли в недоумение, так как правила осташковского дворянского клуба были утверждены министром еще в 1845 г.[3]

1 Там же. Л. 15 – 15 об.

2 ГАТвО. Ф. 56. Оп. 1. Д. 168. Л. 11

3 ГАТвО. Ф. 56. Оп. 1. Д. 1946. Л. 8.

В то же самое время, что и в Осташкове, в ноябре 1845 г. предводитель кашинского дворянства составил прошение об открытии в уездном городе благородного собрания, «какие существуют для сего в городе Твери, исключая клуба».[1] В октябре 1845 г. уездный предводитель новоторжского дворянства Львов, дворяне, а также генералы и офицеры квартирующего в городе полка ходатайствовали о разрешении открыть «мужское собрание» при «танцевальном собрании» в Торжке. Цели и круг его участников были очерчены одной фразой: «Собрание сие должно быть благородное мужское, в оном предполагается: приличные разговоры, чтение газет и журналов и позволенные игры в карты».[2] Важно отметить, что такая формулировка исключала купцов из числа полноправных членов собрания, они появляются лишь при упоминании о «визитерах». Эти сословные ограничения в Торжке были сняты лишь зимой 1852/53 гг., хотя той свободы выбора одежды, которая отличала Вышний Волочок и Осташков, купцы не получили. Правила для танцевального собрания с категоричностью армейского устава предписывали: «Военные должны быть в мундирах, штатские во фраках, а купечество в сертуках».[3]

В маленьком городке Корчева устав благородного собрания, утвержденный в 1846 г., был составлен по сословному принципу: «В собрание дозволяется входить всем дворянам неукоризненного поведения...». А целью собрания провозглашалось «доставить развлечение и удовольствие и между тем небогатым дворянам доставить средство познакомиться с высшим кругом».[4]

В Бежецке идея устройства благородного собрания долго не находила должной поддержки. Вероятно, впервые ее пытались воплотить в жизнь квартировавшие в городе офицеры полка под командованием полковника П.Я. Голенищева-Кутузова. Полковой командир 20 ноября 1845 г. писал губернатору: «Общество гг. штаб и обер-офицеров вверенного мне

1 ГАТвО. Ф. 56. Оп. 1. Д. 1909. Л. 3.

2 ГАТвО. Ф. 56. Оп. 1. Д. 1905. Л. 2.

3 Там же. Л. 18, 18 об.

4 РГИА. Ф. 1286. Оп. 10. 1846 г. Д. 869. Л. 2 – 3.

полка отнеслось ко мне с желанием устроить в городе Бежецке одно благородное собрание без клоба. Приняв участие в этом общем желании, я сделал для сего все нужные распоряжения; но до открытия его долгом себе поставил сообщить об этом Вашему превосходительству, равно и о том, что мною сделано предложение чрез г-на уездного предводителя всему почтеннейшему дворянству Бежецкого уезда о желании быть нашими участниками в этом общественном удовольствии».[1] Однако времена были уже другие, подобная уведомительная практика учреждения клубных заведений ушла в прошлое. Губернатор отказал, указав, что необходимо формальное представление с проектом правил.[2]

Новая попытка организации клуба в Бежецке имела место в октябре 1851 г. И вновь во многом под влиянием офицеров. Социальный состав потенциальных предполагаемых участников: «дворяне, чиновники не из дворян, служащие в городе, почетные граждане, *купцы, пользующиеся уважением и принимаемые в благородном обществе»* (курсив мой – *А.К.*). Все провинциальные уставы в разделах, где речь шла о купцах, имели такой контекст, однако здесь он вышел на свет божий в неприкрытом виде и тем самым как бы подчеркивал пренебрежительное отношение дворян к купечеству как сословию, в среде которого немало людей, не пользующихся уважением благородного общества. Поэтому-то политкорректные чиновники из МВД строго предписали использовать в уставе стандартную фразу: «почетнейшее купечество».[3]

Первое Старицкое Благородное собрание появилось в городе в январе 1849 г. Сведений о его деятельности найти не удалось. Известно лишь, что 11 февраля 1857 г. старицкий предводитель дворянства ходатайствовал об открытии благородного собрания по просьбе дворян уезда и офицеров гусарского его величества короля Виртембергского полка. Предводитель указал, что собрание будет руководствоваться «правилами», утвержденными в 1848 г. МВД. По справке выяснилось, что точная дата разрешения МВД – 4 января 1849 г.

1 ГАТвО. Ф. 56. Оп. 1. Д. 1910. Л. 1 – 1 об.

2 Там же. Л. 2 – 3.

3 ГАТвО. Ф. 56. Оп. 1. Д. 1965. Л. 4, 13 – 13 об.

Сохранность документов позволила губернатору, не обращаясь в министерство, уже 23 февраля разрешить открыть благородное собрание.[1]

В конце 1850-х гг. власть смотрела уже более благосклонно, чем при Николае I, на инициативу учреждения клубов и благородных собраний. Так, 13 декабря 1859 г. исполняющий должность предводителя дворянства Весьегонского уезда направил прошение губернскому начальству, а уже 5 января 1860 г. министр внутренних дел Ланской утвердил устав Весьегонского Благородного собрания.[2]

В уездных городах Московской губернии клубы и благородные собрания возникали значительно реже, чем в Тверской. Первым благородное собрание появилось в г. Можайске, дворянство которого ходатайствовало о его открытии в 1820 г.[3] Из других клубных учреждений заслуживает специального внимания благородное собрание в Коломне, учрежденное в городе в 1846 г. В правилах этой организации говорилось: «Города Коломны дворяне и почетное купеческое сословие по общему согласию расположились устроить благородные бальные собрания...» Роль купечества в его организации была столь очевидна, что в «правилах» собрание именовалось, не как обычно – «благородное», но «дворянское и купеческое».[4]

Однако делать какие-либо широкие обобщения о некоторой сословной демократизации состава участников благородных собраний, о возрастании роли молодой провинциальной буржуазии в их деятельности было бы не вполне основательно. Этот процесс в той же Коломне протекал прерывисто. Так, в начале 1853 г. московский военный губернатор сообщал министру внутренних дел, «что по случаю постоянного квартирования в г. Коломне гвардейской и гренадерской сводной резервной артиллерийской бригады, г. московский гражданский губернатор, *по ходатайству... полковника Вакара*, состоящих под его началом *офицеров и помещиков Коломенско-*

1 ГАТвО. Ф. 56. Оп. 1. Д. 13939. Л. 1 – 3.

2 ГАТвО. Ф. 56. Оп. 1. Д. 2070. Л. 1 – 3.

3 ЦИАМ. Ф. 17. Оп. 1. Д. 6340. Л. 1-6.

4 РГИА. Ф. 1286. Оп. 14, 1853 г. Д. 499. Л. 2, 3 об.

го уезда, предоставил мне о разрешении учредить в Коломне постоянное *дворянское собрание*, на правилах примененных к учреждению подобных собраний в столицах» (курсив мой – *А.К.*).[1] Появление этого документа ставит два вопроса: было ли это ходатайство вызвано закрытием прежнего собрания? Если же оно функционировало, имело ли место недовольство слишком большим влиянием купцов со стороны новых учредителей в лице офицеров и помещиков? Я не знаю ответа на первый вопрос, т.к. не располагаю для этого необходимыми источниками, но попытаюсь ответить на второй.

Вероятно, даже если это «дворянское и купеческое собрание» прекратило свою работу к 1853 г., очевидно, что новые учредители были им недовольны. Об этом свидетельствует то обстоятельство, что в числе его учредителей лица из «почетного купеческого сословия» уже не фигурируют. В этом же ряду и тот факт, что в самом названии клуба для них воздвигается сословный барьер. Произошла не просто смена названия клуба, из которого убрали одну из социальных составляющих, но в новом именовании клуба акцент был сделан на его сословном характере, чтобы отсечь купцов в качестве нежелательных членов. Иначе учреждаемое общество назвали бы «благородное собрание», что было бы значительно более нейтрально по своему сословному содержанию.

В городах Западной Сибири клубы и благородные собрания не получили сколько-нибудь широкого распространения в рассматриваемое время. Первые учреждения развлекательного характера, о которых встречаются разрозненные сведения в газетных корреспонденциях, в записках и письмах частных лиц, возникавшие в городах с многочисленным военным и гражданским чиновничеством (Омске, Тобольске, Барнауле) в конце XVIII – первой четверти XIX в., организационно были слабо оформлены и функционировали, вероятно, не ежегодно, а время от времени. Об этом свидетельствует и отсутствие в архивах «уставов» клубов и благородных собраний.

Наиболее отчетливо прослеживаются основные вехи истории клубных заведений в Омске. Один из мемуаристов,

---

1 РГИА. Ф. 1286. Оп. 14, 1853 г. Д. 499. Л. 1 – 1 об.

П.Золотов, рассказывая об Омске второй половины 1820-х гг., отметил «простоту» домашнего и общественного быта. Клуб в то время действовал только зимой, его деятельность сводилась к организации балов и танцевальных вечеров, которые за неимением собственного помещения устраивали в столовой военно-сиротского отделения или «в каком-либо из свободных казенных домов в крепости и в городе». В клубе в то время, согласно П. Золотову, обедов и ужинов не давали, а держали лишь «легкое питье и лакомство». В контексте патриархальности нравов того времени он упомянул о присутствии на балах в клубе и детей.[1] С подобной интерпретацией можно согласиться с известной оговоркой: участие детей в бальных вечерах было связано не с простотой нравов и не с тем, что детей не с кем оставить вечером (все семьи офицеров и чиновников в то время имели прислугу), а с представлениями о социализирующем влиянии подобных мероприятий для детей. Следует отметить, что возрастной ценз участия детей в развлечениях взрослых был в провинции низким. Так, в Барнауле девочек начинали вывозить в свет с 11 лет.[2] Танцевальное Благородное собрание г. Владимира, в соответствии с правилами, утвержденными в 1833 г., допускало на вечера в качестве полноправных участников детей обоего пола с 12-летнего возраста, с платою, как с дам и взрослых девиц, по 5 руб. асс.[3]

Влияние командира армейского корпуса (по совместительству генерал-губернатора) на существование этого заведения в Омске было столь велико, что после перемещения его квартиры в Тобольск, город более десятилетия оставался без клуба. Благородное собрание открылось в нем лишь 8 ноября 1839 г. Произошло это благодаря возвращению в Омск военного и административного управления Западной Сибирью при князе Горчакове.[4] После отставки Горчакова с поста генерал-губернатора в 1851 г. клуб в Омске вновь столкнулся с проблемами и, возможно, закрылся. Такое предположение

---

[1] *Золотов П.* Несколько слов об Омске // Акмолинские областные ведомости. 1872. № 22. С. 5.

[2] ГАЛК. Ф. 163. Оп. 1. Д. 18. Л. 102 – 102 об.

[3] РГИА. Ф. 1286. Оп. 5. Д. 159. Л. 3.

[4] Там же. С. 6.

можно сделать из служебной записки жандармского майора Гедде от 12 января 1857 г.: «Замечательно, что в Омске никогда не мог устроиться постоянный клуб, где бы общество соединилось и проводило свободные часы от службы, ... может быть главною причиною тому в настоящее время было выражение г. генерал-губернатора, публично сказанное, что он не любит ни балов, ни клубов, которые по его мнению вредны тем, что отвлекают молодых чиновников от служебных занятий по вечерам и требуют лишних расходов».[1]

В губернском Томске Благородное собрание было учреждено только в 1837 г.[2] Из представления Томского гражданского губернатора генерал-губернатору Западной Сибири «По открытию в Томске собрания» от 11 мая 1862 г. следует, что оно объединяло «дворян, служащих и тех купцов, которые по своему роду жизни достойны считаться принадлежащими к образованному обществу. Собрание это почти вовсе не посещалось в обыкновенное время, и служило главнейше для соединения общества при неофициальных по разным случаям обедах и на балах в высокоторжественные праздники».[3] Утверждение губернатора о том, что собрание почти не посещалось по обычным дням, противоречит материалам периодики и некоторым мемуарам современников. Так, в 1839 г. П.Шюц, автор «Писем о Сибири», в «Северной пчеле» писал о клубах в губернских городах как о типичном явлении повседневной жизни. Он не только отметил, что в этих клубах собираются чиновники и почетное купечество, но утверждал, что клубы от присутствия лиц из Европейской России «получают колорит столичный и мало разнятся своим блеском, нарядами и вкусом от собраний Европейской России».[4] По свидетельству английского путешественника Коттрелла (C.H. Cottrell), побывавшего в Томске в 1841 г., в городе был «весьма хороший клуб, куда члены собираются три раза в неделю поиграть в карты и на бил-

1 ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. 1844 г. Д. 247. ч. 48. Л. 7.

2 ГАОО. Ф. 3. Оп. 3. Д. 4972. Л. 17.

3 Там же. Л. 1.

4 *Шюц П.* Письма о Сибири // Северная пчела. 1839. № 83. С. 330.

лиарде и где по воскресеньям бывают балы».[1] Из «Томских губернских ведомостей» известно, что зимой 1857 – 1858 гг. собрание функционировало в другом режиме: раз в неделю устраивали «простые дамские вечера с танцами», а по пятницам – «карточные».[2]

Разрешить противоречивую информацию о деятельности Томского Благородного собрания и его роли в будничном досуге горожан помогает дело из Государственного архива Омской области «О преобразовании в г. Томске благородного собрания и о пересмотре его устава».

К началу 1860-х гг. принципы его организации, порядок работы и даже само местоположение не устраивали уже многих его членов. Чем же они были недовольны? 26 декабря 1861 г. старшины и члены собрания приняли постановление, принципиально реформирующее это заведение. Постановление начиналось с констатации, что по уставу в собрании могут иметь место «не только балы, маскерады и танцовальные вечера, но и другие ежедневные увеселения, для приятного препровождения времени, как-то: игру в карты, шахматы, домино, биллиард, чтение газет, журналов и т.п. Между тем подобных увеселений в собрании почти вовсе никогда не бывает».[3] Таким образом, члены собрания были недовольны тем, что для развлечений без дам оставался всего один день, они же считали перечисленные в документе игры «ежедневным увеселением». Клубные новаторы видели две главных причины, мешающих успешному функционированию собрания: неудобное расположение (в малонаселенной и отдаленной части города) и препоны для вступления в члены собрания купцов. Инициатором необходимости реформирования этого учреждения стал статский советник В. Оболенский, который и был избран его директором в ноябре 1861 г.

Популярная в то время идея сближения сословий была поначалу благосклонно встречена и губернатором:

1 Цит. по: *Евтропов К.Н.* История Троицкого кафедрального собора в Томске. Томск, 1904. С. 45.

2 Заангарский сибиряк. Томская современность // Томские губ. вед. 1858. № 6. С. 45.

3 ГАОО. Ф. 3. Оп. 3. Д. 4972. Л. 7.

«Новый директор, желая слить сословия купеческое с благородным и тем придать движение общественной жизни, устраивал в доме собрания балы и маскерады, на которые были между прочим приглашаемы купеческие семейства евреев и татар».[1] Начинания нового директора встретили поддержку в образованных кругах томского общества. В столичной газете «Северная пчела» (1862, № 41) была опубликована одобрительная заметка о начинаниях Оболенского. Расширение социального и этнического состава участников балов в благородном собрании, как следует из полемической статьи местного купца Н.Акулова, запрещенной к публикации в «Томских губернских ведомостях» губернатором, встретило возражение среди части старых членов собрания, особенно дам, недовольных появлением на вечерах купцов и евреев.

В дальнейшем В. Оболенский проявил большую самостоятельность, которая не понравилась губернатору. Новый директор собрания решил коренным образом реформировать клубную жизнь города. Он нанял дом в центре города, меблировал его и открыл «Томский коммерческий клуб» во время пребывания губернатора в Барнауле. Вернувшись, губернатор 11 мая 1862 г. в отношении к генерал-губернатору Западной Сибири жаловался на Оболенского, открывшего клуб без разрешения начальства. Губернатору не понравилось в новом учреждении абсолютно все: «Многие достойные уважения лица, равно и исправляющий должность полицмейстера и частный пристав... довели до моего сведения, ... что в доме этом допущены запрещенные азартные игры, между прочим в тринку и орлянку, что в собрание это, никем не утвержденное и не имеющее никаких установленных правил, допускаются без изъятия лица всех сословий, посредством одной записки в книгу и взноса известного количества денег и что такого рода общество, состоящее из незначительного числа чиновников, из обозных прикащиков, евреев, собираясь почти каждый вечер, проводит целые ночи до 7 или даже до 11-ти часов следующего утра в непо-

---

1 Там же. Л. 1 об.

мерном употреблении горячих напитков; полиция при этом не имела никакого участия, а по снисходительной слабости принявших под ближайшее свое руководство это новое учреждение, даже было дозволено приводить в него непотребных женщин».[1]

Вероятно, кое-что в этом доносе было преувеличено, но, несомненно, что подобная демократизация жизни клуба пришлась не по душе многим чиновникам и их женам. Поэтому губернатор принял меры к восстановлению благородного собрания в «первобытном» состоянии. Однако никакие запреты не могли повернуть время вспять. Буржуазные принципы организации досуга пробивали себе дорогу через предубеждения «общества», преодолевая бюрократические барьеры. В январе 1866 г. министр внутренних дел уведомил генерал-губернатора Западной Сибири, что с его стороны никаких препятствий к открытию клуба не будет.[2]

Благородное собрание в Томске, объединив в своих залах чиновную и торгово-промышленную верхушку, в 1840-х – 1860-х гг. играло роль главного центра культурной жизни города. Именно оно приняло в свое ведение здание театра, выстроенное золотопромышленником Филимоновым и переданное им городу, устраивая в его стенах театральные постановки и музыкальные концерты гастролирующих артистов и местных любителей. Наконец, именно благородное собрание организовывало с конца 1850-х гг. «вольные маскарады» и балы для широких слоев горожан на святках и масленице[3].

В уездных городах Западной Сибири из-за малочисленности чиновников и отсутствия дворян-землевладельцев благородных собраний и клубов не было. В июле 1860 г. попытку организации увеселительного заведения предпринял городничий Петропавловска Морев. Он смог договориться с местной ратушей о займе у ратуши под строительство зимнего «воксала» 3000 руб. Однако весной 1863 г. исполняющий должность тобольского гражданского губернатора запретил

1 Там же. Л. 4 – 4 об.

2 Там же. Л. 17 – 17 об.

3 *О.П.* Театр в городе Томске // Томские губ. вед. 1858. № 22. С. 173 – 174.

ратуше выделять средства на это строительство. «Имея в виду, что в г. Петропавловске нет ни учебных заведений, ни удовлетворительно устроенной больницы, ни вообще всех тех общественных заведений, которые должны быть устроены прежде всего, я не нашел возможным разрешить постройку на счет городских доходов воксала, служащего единственно для развлечения богатого класса общества, о чем 16 мая с.г. за №3705, и дал знать Петропавловской городовой ратуше», – писал он генерал-губернатору Западной Сибири 5 августа 1863 г.[1]

Подводя итоги истории становления и развития истории клубов и благородных собраний в провинциальных городах Центральной России и Западной Сибири, мы можем констатировать, что правительство, разрешая учреждение благородных собраний и клубов, как и любых «обществ и заведений», более всего было обеспокоено, чтобы эти учреждения не превратились в полноправные общественные организации, выражающие интересы дворян или купцов. Отсюда в николаевское время обязательное требование открывать всякое общественное собрание лишь после утверждения его устава Министерством внутренних дел. Первое такое высочайше утвержденное требование появилось в 1831 г., второе – спустя 10 лет. Разрешая учредить клуб или благородное собрание МВД посылало предписание губернатору, дабы тот поручил местной полиции иметь секретное наблюдение, «чтобы в означенном собрании не были допускаемы непозволительные карточные игры или какие-либо неуместные суждения на счет религии и правительства». О том, какой характер стремилось придать правительство всем подобным организациям, недвусмысленно заявил министр внутренних дел 30 июня 1849 в своем отношении к тверскому гражданскому губернатору. Министр потребовал удалить из правил Тверского Благородного Собрания фразу «с изображением герба Тверской губернии» как неуместную, «так как собрание сие есть частное увеселительное общество».[2]

1 ГАОО. Ф. 3. Оп. 3. Д. 4510. Л. 1 – 2 об., 14 – 14 об.

2 ГАТвО. Ф. 56. Оп. 1. Д. 1916. Л. 65.

В западносибирском регионе клубы и благородные собрания возникают несколько позже и распространяются далеко не во всех городах. Данное обстоятельство связано в первую очередь с особенностями социального состава постоянного и временного городского населения. Благородные собрания и клубы учреждались дворянством и выполняли функцию организации будничного и праздничного общественного досуга. Чрезвычайно важную роль в учреждении благородных собраний и клубов в уездных городах Московской и особенно Тверской губернии сыграли офицеры расквартированных там армейских полков. Поэтому и в Западной Сибири клубные заведения стали составной частью культурной инфраструктуры именно в тех городах, где было много дворян, состоявших на государственной службе. Большинство этих заведений не обладало сколько-нибудь прочной материальной основой, и функционировали они, как правило, в зимнее время, предлагая своим членам значительно меньшее разнообразие вариантов проведения досуга, чем столичные заведения. Дух аристократической республики, характерный для Московского Английского клуба, вызывал восхищение провинциалов.[1] Однако на практике он оказался не востребован в деятельности клубных заведений в провинциальных городах. Клубы и благородные собрания выполняли для русского провинциального дворянства (потомственного и личного) задачи социализации нового поколения, а также, как ни один другой институт культуры, служили делу консолидации дворянского сословия.

В клубах Центра России сословные барьеры затрудняли доступ купечеству в свои ряды. Та же картина наблюдалась и в некоторых городах Западной Сибири – Омске и Барнауле. Хотя уставы благородных собраний и клубов, существовавших в это время, мне и не удалось обнаружить, но современники даже в 1850-е – 1860-е гг. говорили о разобщенности быта чиновников и купцов в этих городах. Так, майор корпуса жандармов Гедде в 1857 г. писал, что в Омске небогатое купе-

---

1 См.: *Куприянов А.И.* Московский Английский клуб: Очерк истории досуга московской элиты конца XVIII – начала XX вв. // Чтения по истории отечественной культуры. М.: ИРИ РАН, 2000. С. 245 – 289.

чество не сливается с чиновничеством «по недостаточному образованию своему и средствам», единственное исключение – дом потомственного почетного гражданина Кузнецова, человека образованного и состоятельного.[1] В других крупных городах этого региона, Тобольске и Томске, ситуация была иной уже в конце 30-х гг. XIX в. Такое положение определялось более высоким уровнем благосостояния и образованности купечества двух последних городов. История клуба в военно-чиновничьем Омске со всей отчетливостью вырисовывает ту колоссальную роль, которую в дореформенное время играли в общественном быту и культурной жизни города первые лица администрации. Без прочной социальной опоры в лице независимых от главы местной власти лиц: богатых помещиков (как в Твери) или золотопромышленников (как в Томске) – судьба клубных заведений оказывалась игрушкой в руках губернаторов, генерал-губернаторов и их ближайшего окружения.

Провинциальное купечество и в Центральной России, и в Западной Сибири не сразу почувствовало потребность в совместном проведении досуга. Когда же такая потребность была осознана, то они вынуждены были входить в клубы и благородные собрания на усеченных по сравнению с дворянами правах, в то время как в ряде более крупных и развитых в торгово-промышленном отношении городов Российской империи возникали собственные клубы молодой русской буржуазии или благородные собрания, в которых дворянство и чиновничество не имели никаких привилегий по сравнению купечеством. Среди таких заведений были Домашний Клуб для чиновников, купцов и художников в Кронштадте (1836 г.), Коммерческое казино в Одессе (1847 г.), купеческие собрания в Харькове (1838 г.) и в Казани (1859 г.), коммерческие клубы в Дерпте (1835 г.), Нижнем Новгороде и Саратове (1860 г.), благородные собрания в Якутске (1852 г.), Енисейске (1858 г.) и в ряде других городов.[2]

При всей закрытости клубов и благородных собраний, ориентированных на удовлетворение запросов своих членов

1 ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. 1844 г. Д. 247. Ч. 48. Л. 7 – 7 об.

2 РГИА. Ф. 1286. Оп. 7. 1840 г. Д. 177. Л. 16 об. – 17; Оп. 13. 1852 г. Д. 389. Л. 1; Оп. 20. 1859 г. Д. 1550. Л. 1, 5, 6, 11, 27, 28, 33; Оп. 21. Д. 1047. Л. 2 – 2 об., 39.

и гостей, они сыграли свою роль в усвоении норм и ценностей европейской культуры для более широкого круга горожан. Благородные собрания, время от времени, по праздникам, допускавшие в свои залы и простых горожан, способствовали знакомству последних с современными бальными танцами и нормами повседневного бытового общения, принятыми в среде образованных слоев общества.

На всем протяжении своей истории в дореформенную эпоху клубные учреждения в центральном и западносибирском регионах имели полифункциональный характер, объединяя в себе сразу несколько разных функций: ресторана, танцевального клуба, казино, библиотеки, квазиполитического клуба. Эта традиция была заложена издавна и для своего времени была необходима, но в середине XIX в. в столицах возникают первые спортивные, охотничьи, скаковые и другие клубные заведения по интересам. В провинции такая дифференциация клубной жизни еще была невозможна – в силу ограниченного числа лиц, готовых участвовать в их деятельности.

Наконец, в сознании горожан клубы и благородные собрания стали рассматриваться как непременная принадлежность современной городской жизни. Например, в проекте устава Английского клуба в Симферополе (1845 г.) в статье 1 говорилось, что он учреждается «с целию, чтобы иметь место, где бы можно было доставить себе средства к благородному препровождению времени, к чтению издаваемых в отечестве журналов, к сближению более и более с членами его, к совещанию с ними по разным делам, и наконец с целию соединить членов в одно целое истинно-дружное общество, и тем доставить им возможность пользоваться *дарами жизни гражданской* и выгодами, присвоенными одним только *благоустроенным городам»* (курсив мой – *А.К.*).[1]

[1] РГИА. Ф. 1286. Оп. 10. 1846 г. Д. 861. Л. 5.

Заключение

В губернских городах сеть институтов культуры была более разветвленной и плотной. Вместе с тем, в отдельных средних по численности уездных городах (Осташков), где купечество преобладало в общественной жизни, городская культура была представлена уже в 1830-х – 1840-х годах тем же набором культурных учреждений, что и в благополучных губернских городах. Осташков даже превосходил в сфере культуры свой губернский город, а по некоторым ее компонентам и губернские центры Западной Сибири. Но Осташков все же был исключением из правил. Чаще наблюдалось заметное отставание социокультурного развития уездных городов от губернского центра. Гипертрофирование отдельных функций даже в достаточно крупных для русской провинции городах, как показывает история Омска – военно-административного центра Западной Сибири, – могло существенным образом деформировать общерусскую модель городской культуры, характерную для крупных и средних городов. Различия в повседневной городской культуре между древними и молодыми городами оказались менее существенными, чем можно было предположить. В большей мере на плотность и разветвленность социокультурной инфраструктуры влияли статус города, численность населения, численность «образованной публики» (чиновников и дворян), социокультурные традиции, унаследованные от предшествовавшего периода.

В первой половине XIX в. уездные города всех исследуемых губерний – старые и новые (получившие городской статус в конце XVIII – начале XIX) – тяготели к формированию однотипной культурной инфраструктуры. Государство было заинтересовано в первую очередь в подготовке кадров для аппарата управления. Поэтому первым шагом в культурной сфере, сразу после обретения населенным пунктом городского статуса, было создание в городе приходского и уездного училищ (до школьной реформы – малого народного училища). Однако план формирования сети общеобразовательных школ не был реализован в полном объеме из-за непрекра-

щавшихся войн, которые вело правительство Александра I и которые требовали больших расходов,

Институализация школьного дела тормозилась и отношением горожан к учебным заведениям и образованию вообще. В картине мира граждан все носители новой, европеизированной культуры рассматривались как «чужие» – отчуждение учителей от общества не было преодолено во многих городах до середины XIX в. Неинституализированные («домашние») формы образования смогли сохранить свое влияние (хотя и в меньшем объеме). Этому способствовали распространенные среди горожан представления о достаточности элементарного образования и предубеждения против школьного обучения девочек.

Другие институты городской культуры не были столь устойчивы. Социальными агентами культурных новаций в русском провинциальном городе в XVIII – первой трети XIX в. были военные и гражданские администраторы, члены их семей, богатые помещики, образованные ссыльные, а также иностранцы (чиновники, купцы, военнопленные). Во второй трети XIX в., особенно с конца 1840-х гг., культуртрегерские функции постепенно переходят в руки чиновников, получивших образование в университетах и других высших учебных заведениях, и другой, разночинной по происхождению интеллигенции, а также купцов и образованных мещан. А. Тыранов, сообщая об учреждении женской школы в Кашине Тверской губернии, заявлял о переходе инициативы в деле просвещения от дворянства к купечеству: «Следя внимательно за ходом открытия у нас женских гимназий, нельзя не заметить, что первыми, почти повсеместными начинателями этого важного дела явились купцы. Прочие же сословия как-то равнодушно смотрят на это дело. Редко-редко где приняло участие сословие, когда-то передовое у нас в России».[1] Заметную роль в культурной жизни провинции начинают играть женщины.

Сравнительное изучение структур городской культуры в избранных регионах выявило определенное отставание уездных городов Московской губернии от ряда западноси-

---

1 *Тыранов А.* Кашин, января 17-го. // Московские ведомости. 1860. № 24.

бирских городов и отдельных городов Тверской губернии. Это отставание имело место в тех сферах (библиотеки, театр, женское образование), которые были связаны с инициативой самих горожан и которые отражали уровень освоения национальной культуры. Решающими факторами, тормозившими социокультурные процессы в городах Московской губернии, стали близость столицы и последствия Отечественной войны 1812 г.

Культурная среда русского провинциального города не исчерпывается рассмотренными в этой главе институциями. В отдельных городах существовали и некоторые неинституализированные формы бытования культурной жизни: духовые оркестры и музыканты-любители, церковные хоры и военные хоры «песенников», литературные кружки и салоны художников. Последние существовали, например, в Арзамасе (школа Ступина) и в Осташкове (художники Колокольниковы-Воронины). Все они, наряду с гастролями профессиональных исполнителей музыки и песни, а также странствующими цирками, вносили свой вклад в городскую культуру, делали жизнь горожан более содержательной, живой и разнообразной.

Глава II.

КУЛЬТУРА ПОЛИТИЧЕСКОГО: ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВЛАСТИ И ПРАКТИКИ САМОУПРАВЛЕНИЯ

Политическая история в российской историографии всегда была, пользуясь метафорой Жака Ле Гоффа, «становым хребтом истории». Что, впрочем, не мешало ей благополучно существовать преимущественно в «тривиальной форме», когда все внимание уделялось событийной истории и жизнеописаниям великих людей.[1] Цитируемая статья видного французского историка «Является ли все же политическая история становым хребтом истории?» послужила серьезным интеллектуальным стимулом для развития во многих странах, включая и Россию, «новой политической истории»[2], в центре внимания которой оказались феномен власти и социокультурные представления о власти.

Что именно относится к этим представлениям? Ю.Л. Бессмертный, анализируя тенденции мировой историографии, включил в число важнейших социокультурных представлений о власти: «своеобразие восприятия отдельными индивидами или группами тех или иных властных институтов, оценка этих институтов в сознании отдельных субъектов и групп (включая «политические мифы», присущие массовому сознанию); престиж власти, как выражение меры согласия современников на подчинение ей; признанные

---

1 *Ле Гофф Ж.* Является ли все же политическая история становым хребтом истории? // THESIS. Т. II. Вып. 4. М., 1994. С. 177 – 192.

2 *Кромм М.М.* Новая политическая история: темы, подходы, проблемы // Новая политическая история: Сб. научных работ.СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге; Алетейя, 2004. С. 7 – 17.

теми или иными современниками и самой властью средства и формы обеспечения ее престижа; принятые (и не принятые) формы взаимоотношений между властью и разными группами подвластного населения. Все это так или иначе перекликается с господствующими в обществе топосами».[1]

Царь и царская семья глазами народа

Для реконструкции образа власти, существовавшего в картине мира горожан (купцов, мещан, чиновников), важную роль играют источники из фондов III Отделения собственной его императорского величества канцелярии. Возникает вопрос: а можно ли вообще такие тенденциозные источники, как жандармские обзоры о настроениях умов и агентурные донесения, использовать для анализа представлений горожан? Видный историк народной культуры Карло Гинзбург отметил: «Соглашаясь с неизбежностью искажений, привносимых всяческими посредниками, не следует все же чрезмерно отчаиваться. Если источник не полностью «объективен» (даже инвентарная опись таковой не является), это не значит, что его вообще нельзя использовать».[2]

Степень «достоверности» передачи «народного мнения» различных документов III Отделения неодинакова. Наиболее ценными для выявления массовых представлений горожан являются агентурные записки и донесения агентов III Отделения. Эти источники по сравнению с разного рода аналитическими материалами, составленными штатными сотрудниками, обладают одним ценным преимуществом: они всегда создавались оперативно, по «горячим следам». Как правило, информация из агентурных записок и донесений представлена максимально близко к источнику – высказывания о монархе, других представителях власти, тех или

1 *Бессмертный Ю.Л.* Некоторые соображения об изучении феномена власти и о концепциях постмодернизма и микроистории // Одиссей. Человек в истории. 1995. М.: Наука, 1995. С. 16.

2 *Гинзбург К.* Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в XVI в. М.: РОССПЭН, 2000. С. 36 – 37.

иных мерах правительства часто приведены дословно. Однако в случае прямых оскорблений монарха такие высказывания приведены в самом общем виде. Авторами этих записок и донесений, как правило, были лица, принадлежавшие к городским сословиям или близкие к их быту: мещане, разночинцы, отставные и служащие чиновники, имевшие родственные связи в буржуазных кругах. В тех же случаях, когда документы создавались жандармскими офицерами или чиновниками III Отделения, мы имеем презентацию власти с другой стороны, со стороны «образованных» слоев общества – их рефлексию на представления и стереотипы отношения «простонародья» к власти. Тем самым эти источники позволяют получить данные о специфике восприятия государя в картинах мира носителей различных городских культур.

Для традиционной картины мира, свойственной в дореформенную эпоху подавляющему большинству русских, оставался незыблемым политический постулат: «Несть власти, аще не от Бога». Однако этот краеугольный камень, лежащий в основе восприятия власти, всегда таил в себе и потенциальную угрозу для ее конкретных носителей, ибо мудрых правителей Бог дает народу милуя, а плохих – наказывая народ за грехи. Однако монарх и народ – это единое целое. О наличии глубоко эмоционально пережитого восприятия этого единства свидетельствуют зафиксированные в жандармских отчетах слухи о событиях, связанных с жизнью императорского дома. Начальник московского округа корпуса жандармов, донося А.Х. Бенкендорфу о верноподданнических чувствах москвичей, в апреле 1839 г. писал, что они «с детскою горячею любовию и благоговением привержены к нашему Великому государю императору и всему августейшему дому его. Москву... можно уподобить величавой глубокой реке, чистой, весьма чистой, ясно отражающей в себе образ Великого Светила».[1] Об откликах горожан на официальное сообщение о том, что из-за нездоровья императрица не будет присутствовать на маневрах, в секретном жандармском обзоре о настроениях умов москвичей говорилось в таком же самом тоне. Казалось

[1] Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 109. Секретный архив. Оп. 3. Д. 1198. Л. 9.

бы, отсутствие императрицы на маневрах – не самое крупное событие публичной жизни, но все официальные сообщения о жизни царствующей фамилии – это предмет внимания «общества». Следовательно, на взгляд жандармов, подобные отклики подданных заслуживают внимания и анализа. Известие о болезни императрицы вызывает соболезнование и сожаление москвичей, для которых она выступает не просто как супруга монарха, но как мать всех своих подданных. Поэтому в сообщении использована все та же лексика, характерная для восприятия подданными монарха в патриархальном обществе, передающая восторженное обожание народа: «неподдельное участие», «пламенные молитвы», «слезы на глазах» и «детская любовь».[1] Подобные описания могут показаться дурным образчиком сентиментального восприятия монарха и царского дома самими чиновниками, призванными стоять на страже порядка и стабильности империи. Более того, можно подозревать их авторов в том, что они, используя эти штампы, выдавали желаемое за действительное. Приписывая свои клише и стереотипы восприятия образа монарха «всем» сословиям, они тем самым вольно или невольно искажали место образа монарха в картине мира горожан.

Однако, чтобы разобраться с этим вопросом, достаточно отойти от обобщений, сделанных жандармами, и обратиться к сообщениям о конкретных слухах, зафиксированных осведомителями. Например, известие о замужестве дочери Николая I, вышедшей замуж за герцога Лейхтенбергского, вызвало в среде московского простонародья характерную реакцию: «Слава Богу, *мы выдали* царевну замуж, но *не отдали* ее на чужбину, а *пристроили* ее дома». Эта близость народа и монарха переносится даже на нового родственника Романовых: «Что што по-русски не говорит, да ведь уж сердце-то русское, ведь *родной наш зять царский*...» (курсив мой – *А.К.*).[2] Сообщения об откликах простых москвичей на известие о замужестве дочери монарха обнаруживают их близость к цитированному аналитическому обзору: та же лексика, то же обо-

1 Там же. Л. 9 об. – 10.

2 Там же. Л. 55 – 55 об.

жание царской семьи, то же умиление по случаю всеобщей «радости». Отношения внутри правящего дома настолько идеализировались, что уже самим фактом вступления в матримониальные связи с семьей монарха чужеземный принц не только становился преданным слугой царя, но и «родным», якобы обретая «русское сердце».

Наряду с такими идеализированными, наивными и восторженно-патриархальными представлениями о доме Романовых существовал и иной, реалистический взгляд на взаимоотношения высочайших особ. Династические перипетии века XVIII-го, убийство императора Павла I, коллизия престолонаследия после смерти Александра I, завершившаяся вопреки старшинству воцарением Николая (а в народном сознании данное обстоятельство не могло считаться безупречным с точки зрения семейной этики), – все это создавало основы для критического отношения к внутрисемейным отношениям правящей династии. Слухи о Константине многие годы волновали умы простонародья. В мае 1827 г. подполковник корпуса жандармов Шубинский доносил, что в Калязинском уезде Тверской губернии между «простолюдинами разнеслась молва... будто бы его высочество цесаревич, негодуя на... государя императора, сжег г. Варшаву и, забрав все войско, состоящее под начальством его, идет с оным в Россию, и прямо на Москву, где и будет короноваться».[1] При этом слух, зафиксированный в уезде, имел не локальное, а более обширное бытование, ибо, по мнению Шубинского, он распространялся преимущественно на постоялых дворах через проезжающих.

В народном сознании с Константином и после его смерти долгие годы связывались надежды на освобождение крестьян. Когда же крепостные получили «волю», то недовольство условиями ее предоставления (выкуп земли, временно обязанный статус бывших помещичьих крестьян и др.) вызвало к жизни надежду на обретение настоящей «воли» с помощью Константина Павловича. Так, в мае 1861 г. в Петербурге, на Сенной, в толпе «простого народа» «какой-то человек высо-

[1] Там же. Оп. 3. Д. 1331. Л. 2.

кого роста, красноцский, с черными усами, одетый в офицерскую шинель, без погон... распространял нелепый слух, будто бы считавшийся умершим великий князь Константин Павлович появился в Царстве Польском с длинною белою бородою и собирает там крестьян с целью, при их содействии, быть возведенным на престол, и что он с этим же намерением приедет и в Санкт-Петербург».[1]

Скоропостижная смерть императора Александра I, провозглашение императором Константина, последовавшее его отречение, переход престола к Николаю, восстание декабристов – все это не могло не волновать умы подданных в самых отдаленных частях империи. Так, 17 февраля 1826 г. тарское общее окружное управление уведомило генерал-губернатора Западной Сибири, что 10 февраля 1826 г. чиновник Гавриил Эрн донес о письме, которое он читал у выключенного из службы коллежского регистратора Якова Попова. В письме, «будто бы» полученном из Санкт-Петербурга, сообщалось, что «его высочество цесаревич Константин Павлович взошел на всероссийский престол, а его императорское величество император Николай Павлович лишен престола и арестован на год, ея же императорское величество вдовствующая императрица Мария Федоровна со страху умерла».[2]

Разумеется, окружной начальник приказал схватить Попова, который заявил, что письмо списал в питейном доме у «сидельца Степана Романова с руки здешнего инвалидного писаря Семенова». Вскоре у тарского мещанина Калины Антонова было отобрано «подобное тому сомнительное и неприличное письмо». Писарь тарской инвалидной команды Николай Семенов в конце концов признался в сочинительстве этого письма.

Для историка, стремящегося понять особенности социокультурных представлений простых людей о царской власти, этот казус дает важную информацию. В первую очередь эта информация связана с восприятием горожанами – а по своему происхождению и месту службы Семенов входит в их

1 ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3236. Л. 19 – 19 об.

2 ГАОО. Ф. 3. Оп. 13. Д. 17813. Л. 1 – 1 об.

число – правящей династии, отношений между членами царской семьи, которые не могли не влиять и на сам образ царской власти. Поэтому приведем данный документ полностью, с сохранением орфографии документа:

«Санктпетербург. Генваря 8 числа 1826 г.

К удивлению цесаревича, наследовавшего Российский престол Константина Павловича, когда уже я отвержен, но нет, вынудила меня Польская система быть Польским и Российским императором, тогда-то вынуждено Варшаве сказано Ура! Ура! Ура! – Любезные дети, гряду в Петербург с вами и занимаю престол Российский. В означенное число, приходя к оному, узнав, что тут царствует Николай, брат мой. Сие зависит от матушки моей Марии. Петербург вострепетал прибытия Константина, ни один из войска солдат не мог противоречить, тогда то Константин, повелев дайте мне виновников Сената, и по представлении неблагочестия сего, неизвестно куда удалены, но я о их знаю, а ты, брат мой, потворщик Сената, с матерью моею арестуешся на год. Осрамленный престол лишает Николая, в 10-е число приемлю престол Божий и могу даровать всенеослабную льготу. Мария, страха сего убояся, померла. Простив Бог согрешение мое и приемли великодушного Константина. Ура! Ура! Ура!

На подлиннике подписал князь Лобанов».

Это вымышленное письмо от имени тогдашнего министра юстиции князя Лобанова-Ростовского представляет собой смелую попытку предсказания справедливого решения вопроса о престолонаследии. Впрочем, оригинальность такой трактовки весьма относительна, подобные слухи бродили в Петербурге в начале декабря 1825 г. К середине февраля 1826 г. эти слухи, возможно, докатились и до далекой сибирской Тары. Писарь Семенов, во всяком случае, утверждал, что списал «бумагу» у неизвестного приезжего. Впрочем, следствие пришло к выводу, что тарский писарь самостоятельно сочинил антиправительственный пасквиль. На допросе, проведенном тобольским губернатором Бантыш-Каменским, Семенов признался в составлении «пасквиля». В любом случае этот документ представляет собой народное осмысление правительственного освещения петербургских событий

декабря 1825 г. Таким образом, письмо есть не что иное, как одно из выражений народного истолкования официальной интерпретации событий, связанных с восшествием на престол Николая I-го.

Согласно «пасквилю» Семенова, Константин Павлович не отрекся от престола, а был «отвержен». Константин выступает у него как лицо, которое не стремится овладеть троном, но вынуждено это сделать под давлением не зависящих от него обстоятельств («польской системы»), которые вынуждают его «быть польским и российским императором». «Польская система» в качестве побудительного мотива выступления Константина – несомненное свидетельство начала осознания значимости польского вопроса для городского простонародья. В отдаленной Сибири, куда высылались участники борьбы за национальную независимость Польши, а также военнопленные поляки, участвовавшие в войнах на стороне Наполеона, уже в 1826 г. этому фактору отводилось заметное место в народном представлении о путях развития Российской империи. Впрочем, до 1831 г., когда восставшим полякам временно удалось освободить от русской армии территорию Царства Польского и даже вторгнуться в соседние губернии, преждевременно было бы говорить о сколько-нибудь существенных региональных различиях между Западной Сибирью и Европейской Россией в представлениях о Польше и «польском вопросе». Нельзя сбрасывать со счетов то обстоятельство, что Константин Павлович был наместником Царства Польского. Смутное понимание особого положения в составе Российской империи Польши, обладавшей конституцией и управляемой великим князем Константином – законным наследником в глазах простонародья (по праву семейного старшинства), и породило ссылку на «польскую систему» в качестве главного социального фактора, якобы побудившего его занять престол. В первой декаде декабря 1825 г. в Петербурге, как свидетельствует письмо Николая I брату Михаилу от 10 декабря, среди солдат распространился сходный слух: «В солдатах был слух, что он [*Константин – А.К.*] идет суда с польской гвардией, и что ждут квартирьеров и подобный вздор!»[1]

[1] Междуцарствие 1825 года и восстание декабристов в переписке и мемуарах членов царской семьи. М., Л., 1926. С. 161.

Итак, взамен реального восстания декабристов, чьи подлинные цели тарскому писарю, как и миллионам подданных Российской империи, были неизвестны, движущей силой, свергающей Николая, является польская армия. В народной интерпретации слухов о восстановления попранной справедливости – возвращении престола Константину как законному наследнику – в качестве социальной опоры цесаревича всегда выступает или преданный народ («войско»), или же внешние силы – иноземные державы. Дворянству же такая роль никогда не отводится, поэтому декабристы и «не участвуют» в вымышленных событиях января 1826 г. Показательно, что ни о каких социальных преобразованиях в связи со вступлением на престол Константина у Семенова нет и речи, если не считать заявления о возможности «даровать всенеослабную льготу». Впрочем, туманное «обещание» было истолковано народом в соответствии с собственными ожиданиями. «Крестьяне же некоторые, а особенно татары, из происшедших по сему случаю толков выводили заключение, что сбор денег на земские повинности отменен и подати сложены, от чего было и сбор приостановился», – доносил 22 февраля 1826 г. тарский земский исправник.[1]

Обращает на себя внимание, что в народной интерпретации акцент в трактовке происходящих событий переносится с социально-политических аспектов на семейные отношения правящей династии. Рядовой Семенов, конечно же, не мог знать всех перипетий обсуждения вопроса о престолонаследии между членами царской фамилии. Но он разделял критическое отношение к официальной информации, в которой внутрисемейные отношения членов царствующего дома не только идеализированы, но и сентиментализированы. Ни о каком единомыслии в правящей династии в «пасквиле» Семенова нет и помину, напротив, есть жесткое противостояние двух лагерей. При этом Константин оказывается в семье фактически в изоляции. Причиной неблагочестия в «пасквиле» является не только и не столько сам Николай («потворщик»), а Сенат и особенно императрица Мария Федоровна:

[1] ГАОО. Ф. 3. Оп. 13. Д. 17813. Л. 39 об.

«Сие зависит от матушки моей Марии». Мария Федоровна, действительно, играла ключевую роль при решении вопроса о престолонаследии. Однако сорокалетний Семенов, выстраивая для себя схему вымышленных событий, опирается не столько на современные реалии (о которых он не мог что-либо знать достоверно), сколько держит в уме события не так уж далекого, но столь богатого на дворцовые перевороты XVIII в., когда Россией правили женщины: Екатерина I, Анна, Елизавета, Екатерина II, смерть которой случилась, когда Семенову было 10 лет.

Возможно, представление о матери-императрице как о главной виновнице неправедной передачи власти младшему брату было обусловлено не только глубиной исторической памяти тарского писаря, но и его личным жизненным опытом. Большую часть своей солдатской службы он провел в Тобольске и Омске – городах, где проживало значительное число семей офицеров и чиновников. С бытом некоторых из них он был знаком. В сибирских городах в силу особенностей социального и культурного развития отношения между офицерами и солдатами не сводились лишь к военным учениям и несению службы. Так, 1 марта 1833 г. командир Отдельного сибирского корпуса Вельяминов издал приказ, запрещавший офицерам «входить в интересные разчеты с нижними чинами»: «Заметив неоднократно из дел в Корпусном штабе производящихся, что некоторые воинские чиновники, вверенного мне корпуса, вступают в непозволительные счеты с нижними чинами, одалживаясь у них и взаимно ссужая их вещами и деньгами...»[1]

Семейно-брачные отношения были другой сферой, которая открывала некоторым солдатам возможность непосредственно, через родственные связи, столкнуться с укладом жизни «благородной семьи». Сам Семенов был женат, как явствует из его формулярного списка, на вдове поручика Харламова.[2] Если заглянуть в метрические книги сибирских церквей того времени, то окажется, что подобный мезальянс –

1 РГВИА. Ф.1449. Оп. 2. Д. 10. Л. 5 об.

2 РГВИА. Ф. 801. Оп. 76. Д. 77. Л. 18.

явление не такое уж редкое, как можно было бы предполагать, исходя из существующего в империи сословного строя. Вероятно, личные впечатления писаря Семенова и натолкнули его на вывод о бо́льшем влиянии женщин в «благородных семьях» по сравнению с семьями городского простонародья. Отсюда он мог экстраполировать свои жизненные наблюдения над бытом «благородных» и на царскую семью. Заметим, что едва ли это более почетное положение женщины в дворянской (благородной) семье его могло радовать. Скорее напротив, внушало сомнения и опасения. Тут срабатывал и негативный личный житейский опыт: его жена проявила известную самостоятельность и не последовала за ним, когда его перевели служить из Омска в Тару. Поэтому в социальном возвышении женщины он мог видеть только лишь отступление от Богом данного порядка.

Как отнеслись другие жители сибирского городка к «пасквилю» Семенова или, точнее, к той информации, которая содержалась в этом письме? Впрочем, его содержание нельзя рассматривать изолированно от стиля и формы документа. Чиновник Эрн, ознакомившись с текстом, решил, «что сего не может никогда случится, и, соображая, самый худой и неправильный слог письма сего»,[1]. отправился с доносом к окружному начальнику. Однако далеко не все сибиряки, которым довелось ознакомиться с «пасквилем», были в состоянии заметить несуразности стиля. Среди читателей письма оказался исключенный из службы коллежский регистратор Яков Попов, который, как он утверждал позже на допросе, сделал список с письма «единственно из любопытства и узнания об оном истинности...»[2] Попов, который тоже не мог не обратить внимания на шероховатости стиля (не случайно он исправил бросающиеся в глаза неправильные согласования слов), по своим соображениям их проигнорировал. Если отставной чиновник был искренен на следствии, то грамматические ошибки он, действительно, списал на то, что Семенов торопился, когда переписывал письмо. Учитывая дальнейшее поведение

[1] ГАОО.Ф. 3. Оп. 13. Д. 17813. Л. 7 об.

[2] Там же. Л. 5 об.

Якова Попова, отправившегося все же к городничему, чтобы выяснить достоверность «новостей из Петербурга», его объяснение выглядит вполне логично. В таком случае он допускал возможность вооруженного способа решения вопроса о престолонаследии. Информация для такой интерпретации событий междуцарствия у Попова имелась, с одной стороны, из литературных текстов, и слухов – с другой. Он, как и другие грамотные горожане, знал немало примеров династической борьбы из исторической литературы как переводной, так и русской. Впрочем, не только он, но и его неграмотные современники были знакомы с рассказом, вошедшим в «Жития Святых», о трагической гибели канонизированных церковью князей Бориса и Глеба. Богатейшую пищу для размышлений о возможности подобного решения вопроса о престолонаследии давали и события из недавней российской истории дворцовых переворотов. Благодаря слухам знал он и о том, что в декабре 1825 г. в Петербурге войска вышли на площадь с требованием «За Константина и Конституцию». В таком историческом и литературном контексте, позиция чиновника Эрна, утверждавшего, что такого не может быть никогда, выглядит менее обоснованной. Вероятно, на его критическое отношение к «пасквилю» повлияли другие факторы: стиль документа, наличие нескольких грамматических ошибок в тексте, сомнительный источник сведений – выключенный со службы чиновник Попов, получивший эту информацию к тому же не из первых рук.

Другие фигуранты следственного дела: мещане Калина Антонов, Степан Романов и многие безвестные посетители питейных домов Тары – были просто не в состоянии оценить «слог» письма, но его содержание не вызвало у них отторжения. Сколько бы имперская идеология ни стремилась навязать представления об идеальных отношениях в семье государя, но подобная трактовка восприятия народом отношений в царской семье вполне вписывалась в границы возможного.

«Государь Император... изволили быть»: сакрализация и монументализация царской власти

Как не раз отмечалось в литературе, для русского народа была характерна сакрализация монарха, хотя и не полная.[1] В.М. Живов и Б.А. Успенский, характеризуя политические и семиотические предпосылки сакрализации монарха в России, отметили среди важнейших из них перенесение на московского царя функций византийского василевса – исполнение монархами, начиная с Петра I, роли главы церкви, а также особенности прочтения новых (барочных) текстов носителями традиционного культурного языка.[2] Исследователь народной культуры раннего нового времени И.В. Побережников считает, что на сакрализацию власти монарха повлияла также «огромность дистанции между государем и подданными».[3] В какой мере сакрализация царя и царской власти присутствует в источниках, отражавших представления простых горожан? И было ли такое восприятие личности монарха, навязанное *придворно-ученой культурой, характерно* для горожан в первой половине XIX в.?

В «Обозрении расположения умов» за 1837 г. имеется патетическое описание пожара, уничтожившего в ночь с 17 на 18 декабря Зимний дворец. Следуя этому красочному описанию, составленному по горячим следам, мы можем отметить, что пожар Зимнего дворца, как и любой значительный пожар в то время, собрал толпы зевак. Но пожар царского дворца в самом центре столицы далеко вышел за рамки обыденного городского зрелища. Само поведение зрителей, как отмечает «Обозрение», имело принципиальные отличия от поведения

---

1. *Успенский Б.А.* Царь и патриарх: харизма власти в России. (Византийская модель и ее русское переосмысление). М., 1998; *Лукин П.В.* Народные представления о государственной власти в России XVII века. М., 2000.

2. *Живов В.М., Успенский Б.А.* Царь и бог. Семиотические аспекты сакрализации монарха в России // Языки культуры и проблемы переводимости. М., 1987. С. 47 – 153.

3. *Побережников И.В.* Монархизм в народной политической культуре России XVIII – XIX вв. // Ежегодник историко-антропологических исследований. 2001/2002. М.: ЭКОН-ИНФОРМ, 2002. С. 186.

при подобных бедствиях: «Не было слышно того шума, того говора, тех различных толков, которые обыкновенно при пожарах в толпе существуют»; «Вид народа представлял в эту бедственную ночь что-то неизъяснимо великое», «они с ужасом, и вместе с тем *с каким-то благоговением* смотрели на это разрушение царского дома», «*им сначала не верилось, чтоб мог сгореть Дворец*» (курсив мой – *А.К.*); когда пламя охватило весь дворец, собравшиеся «*в тихомолку* изъявляли один другому свой ужас, свое соболезнование», – в таких выражениях описывал источник впечатления и настроения народа при пожаре дворца. Наконец, величественная картина общего потрясения и соболезнования, охватившая всех присутствующих, дополняется образом какой-то рыдающей женщины, «по-видимому, из простого звания»: «Ах, – отвечала она, – ведь он сам, наш Батюшка, тут жил!».[1]

Таким образом, грандиозное зрелище пожара оказало на зрителей поистине магическое воздействие. Царская власть кажется столь могущественной и трансцендентной, что подданные не могут поверить в то, что пожар не удастся потушить с минимальными потерями. Собравшихся охватывает «ужас» и «благоговение», ибо горит не простое здание, но «царский дом». Дворец, в котором живет царь и члены его семьи, приобретает сакральный характер именно благодаря постоянному пребыванию в нем монарха. Место или вещь, к которой прикасается монарх, уже меняет свою сущность, переходя из разряда бытового обихода в сферу сакрального. Однако не следует забывать, что «Обозрение умов» – документ идеологически выдержанный, предназначенный для одного читателя, а потому трактующий события если не тенденциозно, то, во всяком случае, несколько односторонне. Поэтому на мастерски изображенных благостных картинах всеобщего благоговения и сострадания к монарху прорисованы не все детали (например, хищения вещей из дворца во время пожара, о которых говорилось в другой части ежегодного отчета по III Отделению и корпусу жандармов),[2] а лишь значимые, имеющие символический смысл.

1 Там же. Ф. 109. Оп. 223. Д. 3. Л. 74 об. – 75.

2 Там же. Л. 48 об.

О восприятии монарха горожанами лучше судить не по официозным отчетам, а по личным свидетельствам самих граждан. И такие свидетельства представлены не только дневниками, письмами или мемуарами, но и источниками, свидетельствующими о массовом восприятии императора купцами и мещанами. Так, в провинции дом, в котором хотя бы раз ночевал государь, как правило, по приговору городского общества, освобождался от воинского постоя и квартирной повинности, дабы не нарушать величия памяти горожан о пребывании обожаемого монарха. Вещи, которые дарил монарх хозяевам, бережно передавались из поколения в поколение.

Сакрализация монарха переносилась и на наследника престола. В 1837 г. цесаревич Александр Николаевич, направляясь в Тобольск, остановился в Тюмени. Через 10 лет горожане составили акт, «коим постановили: день сей считать навсегда для жителей торжественным». Для шлюпки, на которой наследник престола переправлялся через реку, по инициативе купечества был выстроен музей. Тогда же переименовали главную площадь и улицу, а городской голова Иконников за организацию приема цесаревича получил разнообразные льготы. Его дом, например, был освобожден навсегда от квартирной повинности, ибо, по мнению горожан, квартирование в доме кого-либо оскверняло бы величие этого места, в котором цесаревич провел две ночи.[1]

В своем монархическом рвении не отставали от тюменских и московские купцы, придавая мемориальный характер тем предметам, которые случайно попадали в монарший обиход. Однако в середине XIX века это воспринималось многими уже как профанация идеи сакральности царской власти. Так, Н.П. Вишняков писал 23 июня 1862 г. брату Михаилу о соседе по даче в Кунцеве, у которого побывала императорская чета: «Солодовников никаких пристроек, заборов, слава Богу, не делал. Только на двух беседочках прикрепил огромнейшими золотыми гвоздями мраморные дощечки с надписью: Государь император Александр II и государыня

[1] ГАОО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 2522. Л. 1 – 1 об.; *Расторгуев Е.* Посещение Сибири в 1837 г. его императорским высочеством государем наследником цесаревичем. СПб., 1841.

императрица Марья Александровна изволили быть в сей беседке такого-то, такого-то месяца 1861 года».[1] Из этой записи явствует, что иные московские купцы в выражении своих монархических чувств заходили дальше Солодовникова. Не вполне ясно, в какой мере в это время московские купцы, увековечивая таким образом память о пребывании монарха, руководствовались соображениями собственного престижа (императорская чета все-таки не часто удостаивала своими посещениями купеческие дачи), а в какой мере пребывание высочайших особ придавало мемориальный характер тому пространству, в котором какое-то время эти особы находились. Несомненно, что у молодых и образованных представителей купеческих династий такие образчики мемориальности вызывали скепсис и неприятие, за которыми стояло отрицание сакральности самого монарха.

Чрезмерная активность императора, его стремление лично вникнуть в повседневную жизнь подданных также способствовали десакрализации образа монарха в сознании горожан. Так, в донесении московских жандармов от 5 июля 1827 г. говорилось о слухах, распространяемых проезжающим из Петербурга в Краснослободск неким Федором Ивановым. Последний, ссылаясь на хорошо информированный источник в чиновничьих кругах, рассказывал, «что у государя императора подобрана мошенническая шайка из кадетов, которые в партикулярных платьях бывают в разных домах и вслушиваются в разговоры, что г*осударь входит в самые мелкие, не свойственные императору дела*, одеваясь просто, ходит по конюшням, разным казенным работам, расспрашивает рабочих: о жалованье, пище и тому подобном» (курсив мой – *А.К.*).[2] В этом рассказе Николай I ведет себя как справедливый сказочный царь, который, не доверяя министрам и придворным, переодевается, чтобы лично узнать, как живет народ. Однако такое следование канонам поведения фольклорного правителя вызывает осуждение рассказчика. О его социальном происхождении и статусе из данного источника известно мало,

1 ЦИАМ. Ф. 1334. Оп. 1. Д. 4. Л. 22 об.

2 ГАРФ. СА. Ф. 109. Оп. 3. Д. 1192. Л. 103 об. – 104.

достоверно лишь указание, что он ехал не самостоятельно, но сопровождал «хозяина». Из этого можно заключить, что он принадлежал к «городскому гражданству», но неясно, был ли Федор Иванов мещанином или купцом, служившим приказчиком у более преуспевающего предпринимателя, а возможно, отставным чиновником. В пользу последнего предположения может служить его утверждение, что эту информацию он получил от сына, выпускника Московского университета, титулярного советника, служащего в Министерстве финансов. Это утверждение, впрочем, остается на совести самого рассказчика. Однако в любом варианте его социального положения несомненна фольклорная основа рассказа об императоре. Другое дело, что в отличие от крестьянской среды, где такое поведение монарха принимается как должное, у горожан оно вызывает неодобрение, как неподобающее императору. Более того, имплицитно оно осуждается и в связи с использованием недостойных методов, таких как подбор «мошеннической шайки» из кадетов, тайно шныряющих повсюду.

Принадлежность к царской семье накладывала на каждого ее члена жесткие ограничения в поведении и занятиях. При этом представления о подобающем поведении членов императорской фамилии не во всем совпадали с мнением их подданных. Это справедливо даже для петербуржцев, принадлежащих к «обществу». Так, 7 сентября 1860 г. агент III Отделения писал, что лица, присутствовавшие в воскресенье на скачке великих князей в Царском Селе «и видевшие падение с лошади государя наследника, замечали, что напрасно государь позволяет его высочеству подвергаться опасности, с которою всегда сопряжена подобная скачка; для наследника достаточно уметь хорошо держаться на лошади и выезжать перед фронтом, а не упражняться в жокейском ремесле; при том говорили, что его высочество робкий ездок и долго ли случиться несчастию! Один из зрителей выразился следующими словами: “Эка охота променять Всероссийский престол на какую-нибудь запонку или цепочку!”, намекая на призы».[1]

---

1 ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3231. Л. 15 об. – 16.

Существовали ли отличия в восприятии образа монарха в столице и в провинции и в чем они состояли? Материалы III Отделения дают основания для утвердительного ответа на этот вопрос. Так, о специфике восприятия образа государя подданными в «Обозрении умов» за 1835 г. говорилось, что в провинции «народ и понятия не имеет ни о личности государя, ни о действиях его, но в слове государь заключается для него все великое, все прекрасное, все совершенное». Любовь к царю в этой среде – «врожденное чувство». Иное отношение к монарху было в средних и высших классах общества, особенно в столицах: «здесь уже понятия о государе основываются более на действиях его; здесь их обсуждают и нередко осуждают...»[1]

Впрочем, и в низшем классе петербуржцев о царе судили, не только руководствуясь традиционными представлениями об идеальном государе, но и исходя из его конкретных действий. Такое восприятие монарха во время обсуждения готовящейся крестьянской реформы было характерно для значительной части городского простонародья. При этом у недавних выходцев из деревни и у крестьян-отходников все же преобладало старое патриархальное отношение к царской власти. В начале сентября 1860 г. осведомитель III Отделения, донося о настроениях петербургских рабочих, приводит характерный диалог между ними и неким отставных чиновником или офицером: «На сих днях, на чугунных заводах, в трактире «Рим», собралось множество крестьян, рассуждавших о воле, говоря, что они слышали от верных людей, что она не будет объявлена раньше 1862 года, т.е. в тысячелетие России. Тут же находился отставной чиновник или офицер, с красным околышком на фуражке, уверявший означенных крестьян, что их только дурачут, протянут год, другой, и дело кончится ничем. На это крестьяне отвечали ему: «Тебя верно выгнали из службы, что ты шатаешься оборванный по кабакам; по нашему же мнению, как сказал Государь Император, что будем свободны, так наверно и будет».[2]

1 ГАРФ. Ф.109. Оп. 223. Д. 2. Л. 58 об. – 59.

2 ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3231. Л. 13 об.

В массовом сознании монарх являлся не только символом и олицетворением народа, но и частью тела народного. Часть эта, в силу своей исключительной значимости, могла навлечь многие бедствия на все тело народное. 30 декабря 1839 г. московские жандармы доносили в северную столицу о слухе, который давно гулял по Москве, а в последнее время распространился «в домах средних сословий, как дворянства, так и купечества». Москвичи передавали из уст в уста, что Сергий Радонежский встал из гроба, подошел к царским вратам, которые распахнулись, и стоявшая в них Богородица рекла: «Еще продолжатся голодные годы за грехи правителей народа».[1]

Военные маневры 1839 г. на Бородинском поле, сопровождавшиеся отселением крестьян из окрестных деревень, вызвали у крестьян и московской «черни» острое недовольство властью. Причину проведения этих грандиозных воинских маневров народ приписывал «затее» министров, которые «непременно с кем-нибудь откроют войну..., чтобы им удобнее было наживаться и грабить народ...», – говорилось в секретной записке «агента по наблюдениям за слухами в черном народе».[2] «Сильно ропщут на государя, говоря, что выдумали какие-то маневры, ... всех разорили вконец..., – доносил тот же агент. – Это, по-видимому, будет второй двенадцатой год, потому, что все это пожгут и разорят в прах, ... точно так, как было во время неприятеля...». Характерно, что в этом донесении логика народной молвы выстраивалась не по традиционной схеме: добрый царь – злые бояре. Вся ответственность за попустительство министрам, за разорение крестьянских хозяйств возлагалась на монарха: «... это государю от Бога грех, его Бог невидимо накажет, он затеял делать нещастие России...»[3].

Если же события воспринимались в народе не столь апокалиптично, то и мера ответственности царя за деятельность министров, ухудшающую положение горожан, была снижена. Так, в марте 1858 г. среди вопросов, волновавших большинство петербуржцев, было повышение цен на мясо: «Во

[1] Там же. Л. 94.

[2] Там же. Л. 41 – 41 об.

[3] Там же. Л. 42.

всех почти разговорах, как в кругу среднего и торгового сословия, так и в кругу простолюдинов, преобладает ропот на правительство и даже на государя за допущение дороговизны на мясо».[1] «Ропот», разумеется, не предполагает сильного недовольства и не предвидит Божьего гнева, но в этом случае в массовом сознании образ царя «снижается» и лишается сакральности, превращаясь в первое лицо государства, несущее перед подданными моральную ответственность за действия своих чиновников.

Верховная власть, поставленная Богом, должна быть неизменна и стабильна, как постоянно происходит смена дня и ночи или смена времен года. Поэтому всякое отклонение от однажды принятого ритуала вызывает смятение традиционалистского сознания или, по крайней мере, становится предметом оживленного обсуждения и толкования. Так, летом 1839 г. среди москвичей носились слухи, что наследник-цесаревич «находится у кого-то в плену». Один из агентов, наблюдавших за умонастроениями «черного народа», сообщал, что эти слухи и ожидания предстоящей войны были спровоцированы изменившимся порядком молебствия за членов императорской фамилии: «теперь после всего упоминания берет дьякон книгу и читает об наследнике особое моление Господу Богу, говоря – избави его, Господи, от видимых врагов его, стало быть, что они уже близко к нему подошли, что уж он их видит и знает, когда молят об избавлении от видимых врагов. Этого прежде никогда не было, ... а по всем признакам видно, что... они скоро доберутся до настоящих маневр, и будет то, что было в двенадцатом году. И весьма много сему подобных разговоров».[2] Такое восприятие церковного ритуала обнаруживает неспособность значительной части горожан к пониманию природы метафоры. Образ «видимого врага» трактовался не просто как открытый противник государя и государства, но детализировался предельно конкретно: враги находятся уже в пределах видимости. Даже случайное событие, связанное с атрибутами государствен-

[1] Там же. Д. 3217. Л. 62 об. – 63.

[2] Там же. Л. 42 – 42 об.

ной власти, могло вызвать в народе смущение умов. Так, в октябре 1828 г. в Петербурге и Москве оживленно обсуждалось, казалось бы, совершенно незначительное происшествие: по прибытии монарха в Санкт-Петербург на дворце был поднят флаг вниз короною – «и сие там суеверный народ принял с неприятными чувствованиями, делая из оного разные по своим предубеждениям превратные толки». Аналогичной, по донесениям жандармов, была реакция на это происшествие и простых москвичей: «В Москве простодушный народ скорбит, не означает ли сие какое-либо неприятное предзнаменование».[1]

Однако наряду с восприятием монарха как части тела народного в массовом сознании существовал и другой стереотип, вполне светский и рационалистический: царь боится дворян и вынужден выполнять их волю. Поэтому он и не решается уничтожить крепостничество. Вместе с тем на царя влияют и обстоятельства его семейной жизни. О народных слухах, причудливо переплетавших факторы внешней политики и частной жизни царской семьи, доносили московские жандармы: «Что государь просватал свою дочку за наследника Наполеонова, вот жених и говорит: сделай вольницу (то есть дай вольность народу). Царь не согласился, жених осердился да и уехал, вот царь и пишет: приезжай, я согласен, вольница будет объявлена после свадьбы. Проведали дворяне и говорят: не доставайся ж никому и жгут наши деревни».[2] В этих слухах царь предстает любящим отцом, готовым ради счастья дочери пересмотреть свое решение по самому фундаментальному вопросу жизни России. При этом царь принимает это нелегкое решение не только вопреки своим убеждениям, но и осознавая, что оно встретит сопротивление дворян. Прямо об этом в данном источнике речь не идет, но в других слухах о предстоящей отмене крепостничества этот мотив постоянно присутствует. Однако интересы семьи оказываются ему ближе, чем возможные социальные последствия в виде недовольства дворянства. Такое преломление в народном сознании обстоятельств семейной жизни монарха

---

1 Там же. Д. 1194. Л. 47 – 47 об.

2 Там же. Д. 1198. Л. 68 об.

и его социальной политики очевидно обнаруживает неверие народа в желание монарха дать «вольницу». Побудительным мотивом является оказываемое на него давление извне, со стороны «Наполеонова наследника».

В политических настроениях народа в 1810-х – 1850-х гг. существенную роль играет надежда на вмешательство иностранных держав, а точнее – Франции, в дело освобождения крестьян. Характерно, что хотя император Наполеон в 1812 г. не решился «уничтожить рабство», но надежды народа на освобождение крепостных крестьян долгое время увязывались с его именем и с политическим давлением Франции на русского царя. Так, летом 1860 г. отставной поручик Э. Мейверс сообщал агенту при постройке Варшавской железной дороги о слухах, распространенных в Островском уезде Псковской губернии: «мужики в том убеждены, что дорога продана французам для того, что если государь скоро не освободит крестьян, то император Наполеон пришлет свое войско и им принудит государя дать волю».[1]

В 1861 г. в связи с отменой крепостного права в сознании народа актуализируется тема защиты царя от возможного цареубийства. При этом не только крестьяне, но и питерские купцы говорят о возможности покушения на жизнь императора, так как «господа недовольны, что отпустил крестьян на волю государь». Тот же малограмотный информатор III Отделения рассказывал, что в «заведении» на Сенной площади, в связи с аварией поезда на железной дороге, которым ехал царь, крестьяне говорили: «естли, Боже сохрани, нашего отца и царя какое-нибудь постигнет [несчастье], то тогда господам на свете более не жить – всех перебиют...»[2]

В дореформенную эпоху непросвещенный народ постоянно испытывал чувство неуверенности в будущем. Так, уже в сентябре 1835 г. жандармы доносили из Москвы о неблагоприятных «толках, опасениях и гаданиях о 1836 г.», которые были распространены «не только в черном народе, но и в войске»: «В черном народе с унынием заметили, что 1836 год по

1 Там же. Д. 3230. Л. 76.

2 Там же. Д. 3237. Л. 16 об. – 17.

церковному летоисчислению уже начался с 1-го сентября».[1] Особенно страшили людей такие решения верховной власти, за которыми были неизбежны войны, приносившие неисчислимые бедствия и страдания. При этом крестьяне пытались предсказать войну, исходя не из изменений внешнеполитического курса России, о котором они чаще всего не имели никакого понятия, но из явлений бытовой повседневности, например, роста цен на продовольствие или сено. Другие предсказания имели в основе не рационалистическое толкование каких-либо социальных перемен, но веру в природные приметы. Так, в самом начале августа 1827 г. в Москве «народная молва» интерпретировала обилие грибов как знак, что в этом году будет рекрутский набор и «много будет слез». Крестьянские толки утверждали также, что будет война с турками, так как видели «кровавый месяц», который «всегда показывается пред большой войною».[2]

Последнее сообщение обнаруживает, однако, что наряду с традиционными народными приметами, о которых сообщают жандармы, в народном миропонимании, в частности в прогнозировании войны, происходило соединение обрывочной информации о внешней политике России с интерпретацией необычных природных явлений, воспринимаемых как послания из мира трансцендентного. Так, солнечные затмения всегда воспринимались в народе как недоброе предзнаменование. Не стало исключением и затмение Солнца в 1858 г. «3-го марта, часа в 4, на Сенной, в Гостинном и на Толкучем была в народе большая суматоха. Все наблюдали солнечное затмение. Толкам между торговым классом и чернью не было конца. Все говорили, что затмение это не к добру. Одни предвидят войну, другие голод, а большая часть понимает это затмение дурным предвещанием для дворян».[3] Таким образом, в интерпретации купечеством и городским простонародьем природного явления присутствовали главные темы: война и голод. Но в условиях подготовки крестьянской реформы, информация о которой постоянно просачивалась в народ, на

1 Там же. Д. 1197. Л. 20 об. – 21.

2 Там же. Д. 1191.

3 Там же. Д. 3217. Л. 12.

первый план вышла иная трактовка предзнаменования грядущего неблагополучия – для дворян.

Купечество дореформенной России в прогнозировании войны проявляло больше рационализма, чем крестьяне, городская «чернь» или захудалые провинциальные необразованные мелкопоместные помещики. Ориентиром для них являлись некоторые стратегические товары и сырье, необходимые для ведения войны. Так, в августе 1861 г. агент III Отделения доносил, что «кронштадтские жители, особенно купцы, боятся, что будущей весною не случилась бы война, так как они не запомнят ни одного года, чтобы столько было угля выгружено в военной гавани».[1]

Впрочем, суеверия, наивная вера в приметы, доверчивое отношение к новоявленным «пророкам» и прорицателям – явление, свойственное не только крестьянам и необразованным горожанам, но и значительной части «благородной публики» – как в провинции, так и в столице. «Слышно, будто, та же самая зловещая старушенка в Ямской, которая... верно предсказала необыкновенно жестокую и продолжительную нынешнюю зиму, опять предсказывает, что и лето ныне здесь будет необыкновенно ненастное и холодное, – иронизировал агент III Отделения над настроениями петербуржцев в апреле 1861 г. – Заметно, что верное ее предсказание о зиме, к сожалению, заслужило в некоторых лицах полное к ней доверие на счет лета, так что многие, особливо дамы, ... не решаются ныне даже отсылать своих меховых одежд к скорнякам на сбережение, а некоторые семейные люди из небогатого класса чиновников на последние, может быть, грешные свои доходишки нанявшие уже дачи, совершенно повесили головы, боясь, чтобы вместо того, чтобы согреваться там, на солнце, не пришлось греться у топленых печей».[2]

1 Там же. Д. 3237. Л. 12.

2 Там же. Д. 3235. Л. 87 – 87 об.

«Императорский доноситель»: донос монарху как форма коммуникации с верховной властью

В сознании народных масс на рубеже XVIII – XIX вв. важное место занимал архетип «хороший царь – плохие бояре». Многим казалось, что достаточно указать царю на злоупотребления плохих местных начальников, как царь тут же накажет виновных, восстановит справедливость и на смену «плохим боярам» придут верные «царские слуги». Особенно живучи были эти настроения в Сибири. Сохранение этих представлений было связано с большими, по сравнению с Европейской Россией, возможностями для злоупотреблений со стороны губернской и уездной администраций из-за отсутствия в сибирском регионе класса дворян-землевладельцев, а также с отдаленностью края от столичных имперских учреждений и верховной власти. Разумеется, влияние независимого дворянства на поддержание в Европейской России порядка не следует преувеличивать, но и полностью игнорировать этот фактор было бы ошибочно. В условиях крайнего произвола со стороны власть имущих в Сибири до реформы М.М. Сперанского «ябеда» была главным оружием в борьбе за восстановление справедливости.[1] Сформировался даже тип профессионального «ябедника». Один из томских краеведов середины XIX в. писал: «Ябедничество перестало быть промыслом томских мещан со времени приезда в Сибирь Сперанского. <...> Ябедничество считалось тогда за ремесло умное, прибыльное и похвальное»[2]. Среди такого рода профессионалов, выполнявших функции тогдашних правозащитников и адвокатов, были и люди, которые видели в своей деятельности не источник существования, но служение интересам общества и государя.

В их числе были горожане разных сословий. Одним из таких борцов с несправедливостью был и отец известной дет-

1 *Вагин В.И.* Исторические сведения о деятельности графа М.М.Сперанского в Сибири, с 1819 по 1822 год. Т. 1. СПб., 1872. С. 34 – 35; *Андриевич В.К.* Сибирь в XIX столетии. Ч. 2. СПб.,1889. С. 280.

2 Научная библиотека Томского государственного университета. В. 786. Л. 25 об.

ской писательницы Александры Ишимовой – Иосиф Филиппович Ишимов. За свой беспокойный нрав он был сослан в Сибирь, где вскоре был принят на службу и служил в чине коллежского асессора в Тобольском приказе общественного призрения. В Тобольске Ишимов продолжал обличать перед правительством лиц, возглавлявших местную власть. Губернскому начальству не без труда удалось выслать из Сибири этого беспокойного правдолюбца.

В губернии не было недостатка и в коренных борцах за справедливость. Особое недовольство властей как местных, так и центральных, снискали тарский мещанин Иван Чудинов и отставной унтер-офицер Карайков – последний называл себя «императорским доносителем». Об идейной стороне поведения сибирских ябедников весьма красноречиво повествует «представление» Карайкова Синоду: «Насыщаясь даром Божиим и гражданских законов, кои я храню в душе моей и лобызаю яко зеницу ока, признаюсь перед Богом Святейшему Синоду, что с младенчества так воспитан, чтобы давать ближнему всякое пособие и за правду вступаюсь...»[1] Титул «императорский доноситель» был присвоен им после того, как император отреагировал на его «извет» и «соизволил отрешить таковых зловредных чиновников от должностей», – писал он в Священный Синод[2] в 1802 г.

Донос на высочайшее имя со стороны подданного требовал в конце XVIII – начале XIX вв. определенного гражданского мужества. В памяти горожан еще свежи были санкции против смельчаков, осмеливавшихся «недельно» утруждать матушку-императрицу Екатерину II. Даже непосредственное обращение в Сенат рассматривалось как серьезное преступление, за таковое, например, тихвинский купец Говядин был наказан плетьми.[3]

Поэтому донос рядового горожанина Карайкова, услышанный царем, произвел в Томске колоссальный эффект: он актуализировал образ «милосердного царя», защищающего

---

1 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 229. Д. 1. Л. 60 об.

2 Там же. Л. 60 об.

3 *Грибовский В.М.* Высший суд и надзор в первую половину царствования императрицы Екатерины II. СПб.,1901. С. 298.

«слабых» от произвола сильных мира сего. Эта история продемонстрировала, что наиболее действенным и радикальным средством легитимной борьбы с насилием и произволом остаются прошения на высочайшее имя. Высочайшее одобрение доносов в той или иной форме изменяло отношение их авторов к себе. Сам факт актуализации механизма связи монарх – подданный способствовал резкому росту положительной самооценки доносителем своей личности и своего места в обществе. Он уже ощущал свою сопричастность общему благу империи, чувствовал себя вовлеченным в дела государственной важности, отсюда и придуманный отставным унтер-офицером титул.

Здесь мы сталкиваемся с любопытным эффектом, когда высочайшее одобрение доноса оказалось способно, как в случае с Карайковым, даже привести к смене самоидентификации: из отставного нижнего чина, занимавшего одну из нижних ступеней в городском социуме, он превратился в «императорского доносителя». Смене социальной самоидентификации способствовало и изменяющееся поведение окружающих, которое уловил «императорский доноситель». Чиновники начали относиться к нему осторожно, с опаской. Близкие, родственники, соседи и знакомые – с уважением. Обиженные и гонимые люди – с надеждой. Среди последних был и монах Дмитрий Беляев. По его доносу на игумена томского монастыря было начато расследование, однако следователь – кузнецкий протопоп Арамильский – встал на сторону игумена. Тогда, как писал Синоду Карайков, «сей доноситель, будучи человек беспомощный, убог, не мог получить себе чрез кого-либо защищения, *знав обо мне, что я императорский доноситель*, явился, пал в ноги, стал на коленях, поднял руки к небесам, слезно просил моего ходатайства» (курсив мой – *А.К.*).[1] Разумеется, эта сцена не просто тронула самолюбие отставного унтер-офицера, но укрепила его в новой идентичности – «императорского доносителя». В этом качестве его признают другие, к нему обращаются за помощью! Отказать было не только бесчеловечно по отношению к просителю, но

[1] ГАРФ.Ф. 109. Оп. 229. Д. 1. Л. 61.

и преступно по отношению к своему новому государеву служению. Поэтому он принимает решение направить прошения духовного лица к архиепископу Варлааму и в Синод от своего имени, подписываясь «императорский доноситель». При этом Карайков оказался человеком, который хорошо усвоил нормы коммуникации подданных и монарха, – он особо подчеркивал, что у него нет никакой личной заинтересованности в доносе, и только радение о государственном интересе заставило его обращаться к монарху, а позже к прокурору и в Синод. Очевидно, он понимал или интуитивно чувствовал, что «размывание грани между профанной частной жизнью и священным государевым интересом» встречало решительный отпор власти.[1]

Аналогичной была логика поведения и тарского мещанина Ивана Чудинова. После того, как один из его доносов возымел действие, Чудинов просил генерал-прокурора Алексея Борисовича Куракина разрешить ему доносить: 1) о происшествиях по Тобольской губернии; 2) надзираать над законным ведением дел; 3) «иметь блюдение о всем, касающемся до пользы государственной».[2]

Таким образом, из добровольного осведомителя верховной власти тарский мещанин превращался в губернского прокурора на общественных началах. У Чудинова, как и у Карайкова, происходит смена идентичности. Исследовательница «поэтики» российского доноса Г.А. Орлова полагает, что доносчик «вынужден» строить свою идентичность «на основе соотнесенности с властью, а не с ближайшим окружением. Он становится чуждым в своем кругу, а его донос, рационально и идеологически обоснованный, включенный в систему бюрократических координат, разрывает традиционную коммуникацию».[3] С последним утверждением исследовательницы можно согласиться лишь в том случае, если доноситель «стучал» на родных или «социально близких»: соседей или

1 О дискурсе доноса в XVIII – XX вв. см.: *Орлова Г.А.* Российский донос и его метаморфозы (Заметки о поэтике политической коммуникации) // Полис. 2004. № 2. С. 133 – 145.

2 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 229. Д. 1. Л. 62.

3 *Орлова Г.А.* Указ. Соч. С. 138.

других рядовых горожан. Напротив, доносы, направленные против чиновников или выборных лиц городского самоуправления, меняя самоидентификацию их авторов и в какой-то мере положение в городском сообществе, расширяли и укрепляли их неформальные связи с другими горожанами. Эти контакты, наряду с верой в царское правосудие, и давали им моральную опору в неравном противостоянии с бюрократической машиной.

Куракин, разумеется, не хотел наделять тарского мещанина статусом неформального губернского прокурора, но неосмотрительно, как выяснилось позднее, разрешил доносить ему о происшествиях. По второму пункту сановник добродушно напомнил бестолковому мещанину, что для этого есть чиновники, об упущениях которых можно писать ему же. По третьему пункту он иронично заметил, что содействовать пользе государственной никому не запрещено. Сам тон ответа прокурора Российской империи свидетельствует, что он недооценил Ивана Чудинова, приняв его за наивного прекраснодушного провинциала. Но Куракин ошибся, он еще не понял, с кем имеет дело. Жажда справедливости, готовность пострадать за правду были, по-видимому, в крови у тарского мещанина, недаром он носит такую характерологическую фамилию – Чудинов. Чудинов – человек иной культуры, нежели представитель известной аристократической фамилии, он не увидел в ответе Куракина иронии и издевки, но нашел в нем то, что искал. А искал он у такого приближенного к императору сановника, как генерал-прокурор, одобрения и поддержки своих радений о пользе государственной. Поэтому Чудинов, ободренный ласковым по форме ответом, с утроенной энергией принялся бороться со всеми злоупотреблениями, терроризируя местные власти и забрасывая новыми доносами генерал-прокурора. Разозленный тем, что его ответ был принят сибиряком как знак одобрения самочинного прокурорства последнего, Куракин пришел в ярость. В его новом послании Чудинову нет и тени былого благодушия: «Не отваживайся представлять себя в качестве человека, имеющего какую-либо особую привилегию, тем более делать из себя судью, мешаться непозволительным образом в дела, установ-

ленному начальству вверенные, и вести расчет в предметах до законоисполнительной власти относящихся».[1]

Появление Карайковых и Чудиновых было не только следствием сохранения традиции подачи челобитных царю служилыми и посадскими людьми с надеждой на заступничество монарха, которое часто было единственным средством обуздания произвола местной власти. Обращения к центральной власти, а не только к царю, мыслятся уже не как исключительная мера борьбы за свои жизненные интересы, но как средство, предоставленное подданным законом для отстаивания в установленном порядке своих интересов.

Огромную роль в переосмыслении права на защиту личности от произвола чиновников сыграло законодательство Екатерины II. Какими бы мотивами ни руководствовалась императрица, но просветительская идеология, присутствующая в законодательстве того времени, оказалась востребована в русском провинциальном городе купцами, мещанами, разночинцами, чиновниками низших рангов. Рецепция риторики указов Екатерины Великой в среде непривилегированных горожан способствовала росту правовой культуры и дала, по сути, первый серьезный импульс к осознанию чувства достоинства человеческой личности, к постепенному превращению городских обывателей в граждан.[2] Риторика матушки-императрицы легко нашла своих поклонников в среде наиболее богатых сибирских торгово-предпринимательских семей. Это продемонстрировала, например, многолетняя борьба иркутских купцов в конце XVIII – первых десятилетиях XIX в. против нескольких губернаторов, включая и всесильного сибирского генерал-губернатора Пестеля, которых удалось сместить. Уверенность в собственных силах лицам из купеческой верхушки придавала их экономическая мощь, возможность влиять на власть с помощью денежных ресурсов и связей. Иное дело небогатые купцы, мещане и разночинцы, которые не обладали такими возможностями, но,

---

1 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 229. Д. 1. Л. 62 об.

2 *Куприянов А.И.* Правовая культура горожан Сибири (первая половина XIX в.) // Общественно-политическая мысль и культура сибиряков в XVII-первой половине XIX в. Новосибирск, 1990. С. 81 – 101.

вдохновленные законодательством Екатерины II, начинали тоже по-иному воспринимать свои гражданские права и свое человеческое достоинство.

Разумеется, политический донос в рассматриваемое время далеко не всегда был проявлением активной социальной позиции. В XVIII в., как пишет историк Е.В. Анисимов, «...жены доносили на мужей, которых не любили и от которых терпели побои и издевательства. Мужья сообщали о «непристойных словах» своих неверных жен... Причины доносов были самые разные, но все этих доносы были одинаково далеки от защиты государственной безопасности: распри из-за имущества, вражда, жадность, особенно – зависть».[1] Впрочем, в большей степени подобные методы избавления от ненавистного супруга были характерны для эпохи петровской модернизации, сопровождавшейся разрушением традиционных родственных и семейных связей. В конце же XVIII в. политические доносы на близких – явление достаточно редкое.

Как бы ни были сильны упования провинциальных горожан на царскую «милость», но в умах большинства твердо сидели представления об удаленности (социальной и географической) царя от его рядовых подданных. Эти представления, пожалуй, лучше всего укладываются в парадигму двух популярных пословиц: «До Бога высоко, до царя далеко!», «Жалует царь, да не жалует псарь». Образы власти в картине мира горожан были связаны не только с царем, но и с институтами местного управления. Поэтому, чтобы понять социокультурные представления горожан о власти, следует прояснить особенности конфигурации власти в русском провинциальном городе.

Конфигурация власти в провинциальном городе

Губернская реформа 1775 г. сконцентрировала в руках губернаторов административно-полицейское управление. Губернатор управлял вверенной ему территорией с помощью

[1] *Анисимов Е.* Дыба и кнут. М., 1999. С. 194.

коллегиального учреждения – губернского правления. В городах охрана «тишины и спокойствия» возлагалась на городничих. Часть функций, выполняемых прежде магистратами и ратушами, перешла в ведение местной бюрократии. Н.П. Ерошкин, характеризуя состояние городского самоуправления, сложившегося после реформ 1775 – 1785 гг., писал: «В целом органы городского «самоуправления» играли роль административно-хозяйственного придатка к аппарату администрации и полиции»[1].

Такая оценка известным историком социального строя и государственного управления Российской империи опиралась не только на собственные исследовательские выводы Н.П. Ерошкина, но и имела самое широкое распространение в дореволюционной и советской историографии. В 1983 г. Б.Н. Миронов заявил, что необходима корректировка выводов отечественного городоведения о бесправии, полном подчинении бюрократии органов городского самоуправления в дореформенной России и их низком престиже среди горожан. «Фактическое слияние органов местного общественного самоуправления с органами местной власти затемняет факт действительного участия горожан в управлении городом, поскольку выборные с первого взгляда кажутся бесплатными слугами или чиновниками правительства...»[2]

Проведенные архивные исследования фондов местных государственных учреждений и органов городского общественного управления привели меня к выводу: гипотеза Б.Н. Миронова о том, что власть в городе была поделена между чиновниками и выборной верхушкой городского самоуправления значительно в большей степени отвечает реалиям провинциальной жизни, чем господствующий взгляд на бесправность самоуправления.

В условиях расцвета абсолютистской монархии в России подавляющее большинство подданных было лишено ка-

---

1 *Ерошкин Н.П.* История государственных учреждений дореволюционной России. М.: Высшая школа, 1983. С. 129.

2 *Миронов Б.Н.* Спорные и малоизученные вопросы истории русского позднефеодального города в современной советской историографии //Проблемы отечественной и всеобщей истории. Вып. 7. Л-д: 1983. С. 169.

кой-либо возможности участвовать в политической жизни страны. Самодержавный строй не допускал никаких институтов народного представительства на общенациональном уровне. Вместе с тем, представительные органы власти, организованные преимущественно по сословному принципу, действовали на уровне локальных сообществ. Жалованная грамота дворянству (1785 г.) завершила формирование дворянской корпорации. Интересы дворян выражали уездные и губернские собрания, избиравшие сословные органы управления и делегировавшие своих сограждан в учреждения местного управления. Самоуправление было предоставлено также городской общине и городским сословиям (купцы, мещане, цеховые), которые выбирали своих представителей и в отдельные губернские государственные учреждения, главным образом, органы суда: уголовную и гражданскую палаты, в совестный суд.

Важно отметить, что, начиная с введения Учреждения для управлений губерний (1775 г.) и Жалованной грамоты городам (1785 г.), происходило формирование новой системы городского самоуправления. Если прежде органы, избиравшиеся горожанами, были фактически частью аппарата управления, то в ходе реализации екатерининских реформ они стали в значительно большей мере выражать интересы городских сословий. Эта система просуществовала до городской реформы 1870 г., которая в некоторых городах начала реализовываться в 1863 – 1864 гг. Реформа 1870 г. принципиально изменила всю систему городского самоуправления, сменив сословный принцип представительства на имущественный ценз.

Для понимания специфики политической культуры горожан конца XVIII – первой половины XIX в. важно исследовать проблему доступа к реальному участию в деятельности институтов самоуправления для лиц разных сословий и социальных слоев (при этом необходимо учитывать особенности политического строя Российской империи). Прежде всего необходимо выяснить представления горожан о городском самоуправлении, иерархии выборных должностей, престиже представительных органов власти в разных слоях и сослови-

ях горожан. Наконец, важно понять, каковы были стратегии поведения и практики избрания или уклонения от общественных служб.

Система городского самоуправления, сложившаяся в результате реформ 1775-го и 1785 гг., была весьма разветвленной, но функционально не вполне структурированной. В городах создавались общая и шестигласная дума (т.е. избираемая от всех 6 разрядов городского населения из числа членов общей думы), магистрат (в малых городах – ратуша), сиротский суд, словесный городской и частные (т.е. по частям города) суды. Городовой староста, избираемый сроком на один год, с помощью «товарищей» собирал казенные подати, следил за выполнением некоторых других повинностей купцами и мещанами, выполнял различные поручения думы. Существовали и другие менее важные институты городского и сословного управления.

Важнейшей государственной повинностью – сбором податей с мещан и купцов (а также дворян и «разного звания» людей, «временно записавшихся» в гильдии для занятий промышленностью и торговлей) – занимались также органы городского самоуправления. Сбором податей ведали городовые старосты и их «товарищи» («расходчики», «ларечники» и пр.). Однако выборы на эти должности проводились, как правило, в другое время. Сроки выполнения обязанностей тоже существенно различались: на разнообразные фискальные и исполнительские должности избирали не на три года, а на годичный срок. Сама процедура избрания на эти должности больше напоминает назначение, чем выборы. Все это свидетельствует, что горожане ставили службу по сбору податей на одно из нижних мест в городском самоуправлении. Во многом это было связано с обременительностью их исполнения и финансовой ответственностью перед городом и государством. Самую низкую ступень в губернском городе занимали лишь службы, которые были связаны не с распорядительными функциями, но лишь с исполнительными, например, при полиции в качестве рассыльных. А в Твери действовала экзотическая и весьма обременительная для граждан, назначаемых к ней, служба городских трубочистов.

В малых городах структура самоуправления имела упрощенный характер: все дела были сосредоточены в руках городового старосты и городового хозяйственного управления.

«Учреждениями для управления губерний» 1775 г. было предусмотрено, что в каждом наместничестве или губернии должны существовать губернские магистраты. Губернскому магистрату были подчинены городовые магистраты, ратуши и сиротские суды. Губернский магистрат делился на два департамента: уголовных и гражданских дел.[1] Штат губернских магистратов состоял из двух председателей, назначаемых Сенатом, и 6 заседателей, избираемых купцами и мещанами губернского города на три года. В проекте число заседателей было больше – 10 человек, и, что особенно важно, «выбор их предполагалось поручить тем городам, на которые распространялась власть губернского магистрата». Но Екатерина II сократила число заседателей и ограничила их выбор лишь горожанами губернских городов.[2] Ее решение соответствовало интересам граждан, избавляя купцов уездных городов, которые могли бы быть избранными в губернский магистрат, от необходимости аренды жилья в губернском городе, а также сокращало общее число выборных служащих. Действия городских дум, учрежденных в 1775 г., также подлежали обжалованию в губернские магистраты. В 1798 г. губернские магистраты были упразднены, а указом 4 сентября 1800 г. во всех губернских городах вместо магистратов вводились ратгаузы.[3] Александр I вскоре после вступления на престол отменил административные преобразования отца, декларируя возврат к учреждениям своей бабки. Однако губернские магистраты восстановлены не были.

Государство никогда не забывало о своем интересе, принуждая горожан поставлять бесплатных служащих для аппарата управления. Диапазон таких «общественных служб» был велик: от сторожа при земской избе и посыльного при полиции, до заседателей уголовной и гражданской палат или

---

1 Государственные учреждения России в XVIII веке (Законодательные материалы). Справочное пособие. М., 1960. С. 415 – 416.

2 *Григорьев В.* Реформа местного управления при Екатерине II. СПб., 1910. С. 239.

3 ПСЗ-I. Т. 22. № 16188, Т. 25. № 18667, Т. 26. № 19543.

членов Судоходной расправы, ведавшей организацией движения, условиями найма рабочей силы на судах и прочими вопросами функционирования речного флота.

Впрочем, так ли все было однозначно с обязанностью города поставлять низших чиновников для аппарата государственного управления, как об этом говорят историки? Как относились сами граждане к делегированию своих представителей для работы в управленческих и судебных органах местной государственной власти: видели они в этом «обременение» или же пользу для городских сословий? По меньшей мере, в наличии постоянных заседателей в судебных инстанциях среднего звена (уголовная и гражданская палаты) граждане были весьма заинтересованы, так как они хоть в какой-то мере ограждали их от произвола коронных чиновников судебных палат.

При проведении городской реформы 1775 – 1785 гг. в жизнь произошли существенные отклонения от замысла. Правительство вынуждено было учесть многие реалии, в первую очередь неоднородность социального развития отдельных регионов обширной империи. «Эти отклонения – убедительное доказательство того, – пишет Б.Н. Миронов, – что не только государство творило социальную историю страны, но и само население и объективные социально-экономические процессы, происходившие в стране».[1] Одним из таких регионов, в которых при проведении реформы самоуправления были допущены заметные отступления от общего плана, была Западная Сибирь. Но произошли и такие отклонения от замысла реформы, которые не были санкционированы центральной властью, но были негласно признаны на уровне губернского звена государственного управления. Наиболее ярким примером корректировки гражданами законодательства в сфере самоуправления стало слияние общей и шестигласной думы. Это произошло почти повсеместно и было реакцией горожан на чрезмерную усложненность представительских органов и оторванность столичных чиновников, готовивших реформу, от социальных реалий российской провинции.

---

1 *Миронов Б.Н.* Социальная история России... Т. 1. С. 495.

Формирование новой системы самоуправления в 70-х – 80-х гг. XVIII в. привело к изменению существовавшей конфигурации власти в городе. Ситуация с распределением властных полномочий была особенно сложной из-за того, что новые структуры функционировали одновременно со старыми институтами. В Тверской губернии, как показала в своем исследовании Н.В. Середа, системы органов выборного городского самоуправления «в городах древних и новоучрежденных» существенно отличались «как по набору элементов, составляющих систему, так и по роли, которую каждая из них играла в жизни города...»[1] Так, в Торжке еще в 1778 г. действовала земская изба, которая была представлена городским старостой и ларечным, подчинявшимися магистрату. В Калязине же, напротив, ни о какой земской избе в журналах магистрата нет никаких свидетельств.[2] Впрочем, учитывая, что Калязин получил городской статус в 1775 г., ясно, что там и не могла существовать земская изба – элемент старой системы управления городом. В.В. Рабцевич, исследовавшая управление сибирскими городами, пришла к выводу, что разделение функций между городскими учреждениями в конце XVIII – начале XIX в. в каждом городе имело свои особенности. Формирование этих различий было ситуативно: в одних городах на распределение функций повлияла власть, в других – решающую роль сыграла местная инициатива горожан.[3]

Какова же была иерархия выборных лиц и учреждений городского самоуправления? В управлении городом особую роль играл городской голова («градский глава»). Н.П. Ерошкин отмечал, что последний «лично имел небольшие функции».[4] Действительно, формально городской голова исполнял по современным меркам не самые значительные функции и обладал относительно небольшим объемом пре-

---

1 *Середа Н.В.* Реформа управления Екатерины II: Источниковедческое исследование. М.: Памятники исторической мысли, 2004. С. 325 – 326.

2 Там же. С. 326.

3 *Рабцевич В.В.* Сибирский город в дореформенной системе управления. Новосибирск: Наука, 1984. С. 154 – 156.

4 *Ерошкин Н.П.* Местные государственные учреждения дореформенной России. М., 1985. С. 70.

рогатив. Он председательствовал в сиротском суде, руководил выборами на все должности городского самоуправления, т.е. исполнял функцию современного председателя избирательной комиссии. Городской голова также руководил и деятельностью шестигласной думы. Вместе с тем, именно он был наделен представительскими функциями как глава города: во время приезда почетных гостей подносил хлеб-соль и приветствовал их от имени города. Главы губернских городов приглашались на церемонию коронации государей императоров в качестве почетных гостей. Наконец, что более важно, именно по его инициативе раз в три года (после выборов на общественные службы) городское общество могло заявить о своих «нуждах» губернатору или генерал-губернатору. Все эти функции были прописаны в законах. На практике же городской голова часто расширял границы своей компетенции, сосредотачивая в свои руках порой огромную власть. Такая картина вырисовывается, например, по материалам сибирских городов.[1] В некоторых городах Центра, напротив, роль городских голов в управлении была достаточно скромной. Так, в Сергиевом Посаде в 1780-х –1790-х гг. он «фактически оказывался руководим ратушей», а в 1795 г. ратуша объявила ему выговор за «нерачение» в службе.[2]

Исследование социокультурных представлений о власти в русском городе и иерархии выборных лиц городского управления едва ли возможно без обращения к истории проведения выборов в русском дореформенном городе. Исследование избирательных кампаний выводит на целый круг вопросов, связанных с историей города и политической культуры, с взаимодействием городских сословий (купцов и мещан) с остальным населением города, с взаимоотношениями государства и общества. Между тем, в исторической литературе проблемы борьбы на выборах в местное самоуправление русских дореформенных городов еще не были предметом специального внимания. Одни исследователи предпочитали исследовать

---

1 *Куприянов А.И.* Русский город в первой половине XIX века: Общественный быт и культура горожан Западной Сибири. М., 1995. С. 31 – 33.

2 *Четырина Н.А.* Сергиевский Посад в конце XVIII – начале XIX вв. М., 2006. С. 130.

лишь правовые основания самоуправления. Другие полагали, что ни о какой борьбе за избрание в органы городского самоуправления говорить нельзя, ибо в России не было и намека на политические партии. Более того, историки, изучавшие историю управления в России на архивных документах, неоднократно наталкивались на свидетельства современников (деятелей выборных органов власти или высокопоставленных государственных чиновников) об уклонении горожан от участия в избирательных собраниях и исполнения выборных должностей. Оба этих суждения справедливы, но приводимые в их пользу аргументы совсем не опровергают фактов борьбы на выборах в русском дореформенном городе. Хотя политических партий в рассматриваемое время еще не было, но были «партии» различных сословий и социальных групп, интересы которых сталкивались между собой (купцы и мещане, коренные горожане и мигранты, старожилы и приписанные к городу жители слобод, православные и старообрядцы). Острота таких столкновений в различных городах была, разумеется, далеко не одинаковой. Иногда борьба за контроль над институтами самоуправления в том или ином городе явно обнаруживает себя, но чаще всего она протекала подспудно. В условиях относительной социальной однородности населения во многих малых провинциальных городах не было и борьбы вышеперечисленных «партий». Однако выборные лица обладали определенными властными полномочиями, которые и притягивали к себе интересы части социально активных граждан. Их стремление к овладению властным ресурсом и вело к конкуренции на выборах в органы самоуправления. Отдельные купцы, заинтересованные в контроле над местной властью, вынуждены были организовывать своих сторонников для благоприятного исхода голосования.

Как же на практике обстояло дело с предоставлением права голоса? Среди институтов городского самоуправления наибольший объем прав имели общегородские сходы. Законодательство предусматривало, что правом голоса на собраниях «общества градского» могут пользоваться лица, достигшие 25 лет и обладавшие капиталом, с которого платили в казну взнос не менее 50 руб. Но при отсутствии в городе зна-

чительных капиталов допускалось участие в этих собраниях с правом голоса и менее состоятельных горожан.[1]

В городах Западной Сибири избирательному цензу соответствовали «буквально единицы горожан». Попытки в отдельных городах на первых порах следовать букве закона вели к тому, что круг избирателей был катастрофически узок. Например, в Таре в декабре 1797 г. на выборах «гражданского старосты» и словесного судьи участвовало 7 человек.[2] Поэтому в городах края для составления общества градского пришлось воспользоваться оговоркой к Городовому положению, предоставлявшей при отсутствии капиталов право голоса гражданам, «доброй совести и не бывшим в пороках».[3] В Западной Сибири со временем право голоса было фактически предоставлено всем домовладельцам из числа купцов, мещан и цеховых. При этом абсолютные цифры полноправных граждан могли существенно отличаться при близком числе жителей в городах региона. Так, в Тобольске в 1847 г. избирательные права имели 1231 горожанин (в том числе 49 купцов, 1162 мещан и 20 ремесленников).[4] В Омске же в середине 1840-х гг. только 13 купцов и 210 мещан обладали правом голоса на общественных сходах.[5] Почти шестикратное превосходство Тобольска над Омском по числу лиц, обладавших правом голоса, было обусловлено малочисленностью купцов и мещан в Омске, где преобладали военные и чиновники.

Граждане лишались права голоса по причине судимости, банкротства, а иногда и без решения судебных органов – на основании приговора общества. Так, 28 декабря 1827 г. купцы и мещане г. Бийска, «находясь в общем при словесном суде собрании», постановили купца Андрея Мальцева, замеченного многократно «неспокойным членом общества», «в собрание общества ни в какое время не приглашать...» и довес-

---

1 ПСЗ-I. Т. 22. № 16188. Ст. 49, 50, 172; № 16514.

2 ГАОО. Ф. 381. Оп. 1. Д. 7. Л. 4.

3 *Рабцевич В.В.* Сибирский город в дореформенной системе управления. Новосибирск, 1984. С. 135.

4 АРГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 5. Л. 67.

5 *Кочнев С.И.* Омск в сороковых годах прошлого столетия //Вестник Омского городского общественного управления. 1912. № 23 – 24. С. 11.

ти до сведения «вышнего начальства».[1] Подобная сибирская «демократия», когда граждане лишь уведомляли начальство о принятом ими решении, была, пожалуй, не характерна для горожан Центра. Так, группа жителей Ржева пошла по иному пути, обратившись в начале 1779 г. с ходатайством к наместнику Я.Е. Сиверсу с просьбой не допускать Максима и Кузьму Поярковых и Никифора Мясникова на гражданские выборы и советы из-за «излишних со гражданства зборах».[2]

Доминирующей тенденцией в реализации права голоса на городских сходах и участия в городском самоуправлении стало превращение общесословного управления (как его видел законодатель) в управление собственно городских сословий: купцов, мещан и цеховых. Чиновники и дворяне самоустранились или были вытеснены гражданами от всякого участия в решении городских дел. Поэтому 6 ноября 1828 г. потребовалось высочайшее утверждение мнения Государственного Совета «О дозволении гражданам и поселянам избирать в градские и сельские должности чиновников и дворян».[3] Оно, разумеется, сильно запоздало и уже не могло переломить ситуацию, но открывало перед отдельными дворянами и чиновниками возможность активного участия в городском самоуправлении. Ни в сибирских городах, ни в городах Московской (не считая Москвы) и Тверской губерний в дореформенном городе этим положением никто из дворян так и не воспользовался. Почему это произошло? Исследовательница управления в дореформенной Сибири В.В. Рабцевич отмечала, что чиновники, духовенство и неслужащие дворяне уже в первые десятилетия XIX в. редко участвовали в общегородских собраниях, поскольку «имели другие возможности воздействовать на городские дела».[4] Эта причина справедлива и применительно к городам Европейской России. Однако она объясняет далеко не все. Например, непонятно: как мог горожанин, который не был родственником или близким другом

1 ГАТО. Ф. 3. Оп. 10. Д. 54. Л. 1 – 1 об.

2 *Середа Н.В.* Реформа управления Екатерины Второй. М.: Памятники исторической мысли, 2004. С. 143.

3 ПСЗ-II. Т. 3. № 2409.

4 *Рабцевич В.В.* Сибирский город в дореформенной системе управления. С. 143.

городничего, не только повлиять, но даже попытаться оказать давление на принятие решения городским сходом о сдаче в аренду городского имущества, о благоустройстве города или найме пастуха? Можно попытаться объяснить отказ дворян и чиновников от участия в общественных собраниях тем, что вопросы, решаемые ими, мало интересовали «благородную» публику. Но и такая трактовка лишь частично объясняет отношение лиц из привилегированных сословий к городскому самоуправлению в целом и к общегородским сходам в частности. Многие вопросы городской повседневности касались абсолютно всех горожан без сословных различий.

Более важна, на мой взгляд, другая причина уклонения «благородных» от участия в городском самоуправлении – неприязненное отношение к ним со стороны купечества и мещанства, которые считали, что управление делами города – это сфера гражданства, а у дворян есть свое самоуправление. Наконец, существенную роль в самоустранении дворян и чиновников от участия в городских делах сыграл социальный и культурный снобизм: как их просвещенное, благородное мнение будут оспаривать какие-то необразованные мужики! Таким образом, причины, вызывавшие отчуждение дворян и чиновников от городского самоуправления были достаточно многочисленны, и на них влияли самые разные факторы: социальная напряженность и сословные интересы, противоречивость законодательства и традиции городского самоуправления, ментальность горожан и сословные предрассудки.

Городские выборы рассматривались законодателем как один из важнейших *актов коммуникации царской власти и градского общества.* Поэтому имперская власть позаботилась о том, чтобы придать выборам характер дела государственной важности и официального торжества. Перед баллотировкой все участвовавшие в ней горожане обязаны были не только ознакомиться с избирательными процедурами (соответствующие статьи зачитывались вслух на собрании), но и побывать в церкви на молебне, присягнуть на беспристрастность своего выбора. По закону день выборов назначался губернатором, он же утверждал представленные списки избранных, обладая правом отклонить тех, которые признава-

лись им в соответствии с законом недостойными к занятию общественных должностей.

В Твери этот традиционный порядок проведения выборов счел нужным скорректировать муж великой княгини Екатерины Павловны принц Георг Голштейн-Ольденбургский, назначенный в 1809 г. генерал-губернатором Тверской, Новгородской и Ярославской губерний.[1] В 1811 г. он утвердил «Обряд выборов купечества и мещанства в губернском городе Твери на трехлетие с 1812 года». Согласно «Обряду» в первый день выборов, 15 декабря 1811 г., по предварительному извещению городского головы в установленном месте должны были собраться депутаты от купеческого и мещанского общества. Городской голова, объявив обществу «предмет» настоящего собрания, велел читать «Обряд», полученный от генерал-губернатора, а затем отправить к «его высочеству двух почетнейших членов того сословия для испрошения дозволения предстать оному». Получив дозволение, избирателям следовало отправиться во дворец торжественной процессией: «Мещане по два в ряд предшествуют градскому главе; за ним следует все купечество по четыре в ряд». В зале дворца купечество и мещанство располагались по разным сторонам, «как предварительно назначено будет». По выходе его императорского высочества градскому главе надлежало поднести «имянной список всего собрания». Далее принц велел читать «свое предложение; потом дано будет дозволение к шествию в придворную соборную церковь». В церкви обычный порядок (литургия, принятие присяги на беспристрастный выбор) ничем дополнен не был. Из церкви надлежало вернуться в дворцовые комнаты и, получив разрешение генерал-губернатора, отправиться в место собрания, где подписывается «присяжный лист». В первый день избирался лишь городской голова. Об итогах выборов следовало известить его императорское высочество Георга Ольденбургского

---

1 *Анненкова Э.А.* Георг Ольденбургский и великая княгиня Екатерина Павловна // *Анненкова Э.А., Голиков Ю.П.* Русские Ольденбургские и их дворцы. СПб., 1997. С. 9 – 23; *Колосов В.И.* Принц Георг Ольденбургский и его административная деятельность в Твери // Прошлое и настоящее г. Твери. Тверь, 1994. С. 55 – 64.

посредством двух почетнейших «сочленов общества» с предоставлением баллотировочного списка. Генерал-губернатор в тот же день утверждал главу города.

На следующий день было предписано провести избрание на все другие должности. Выборы должны были начаться в 8 часов утра, прерваться на двухчасовой обед и завершиться к 7 часам вечера. Городской голова обязан был тут же представить список избранных принцу, от которого зависело утверждение избранных. Заключительный день выстраивался по тому же сценарию, что и первый, с небольшими изменениями: во дворце происходит представление избранных на должности, которые во главе с новым головой возглавляют шествие в церковь, где они приносят присягу. Возвратившись из церкви, горожане выслушивают «приличное предложение е.и.в.». Не забыли составители «Обряда» и о праве общества воспользоваться правом на обсуждение своих насущных нужд и предоставление их генерал-губернатору – согласно 36-й статье Городового положения[1].

Какова была причина появления этого нормативного акта, соединившего положения законодательства о выборах и оригинальные церемонии? По-видимому, своим появлением он обязан самым разным мотивам, которыми руководствовался Георг Голштейн-Ольденбургский. Во-первых, тут сказался его прежний жизненный опыт, приобретенный на родине, в Германии. Поэтому не случайно предложенный им порядок выборов по церемониалу больше напоминал о каком-нибудь немецком княжестве, чем о русском губернском городе. При этом, разумеется, «Обряд» предписывал выполнение всех избирательных процедур, предусмотренных законами Российской империи. Во-вторых, он и его супруга – сестра императора Александра I Екатерина Павловна – создали в городе своеобразный «малый двор», что предполагало наполнение его жизнедеятельности различными церемониями и ритуалами, с участием различных групп и слоев «подданных». Наконец, принц понимал, что существующие процедуры городских выборов не обеспечивают личной коммуни-

1 ГАТвО. Ф. 21. Оп. 1. Д. 127. Л. 25 – 28.

кации между гражданами и губернатором как наместником государя. Поэтому он фактически ломает сформировавшуюся практику, основывающуюся на рутинном бюрократическом характере отношений и сводящуюся к формальной переписке губернской власти с учреждениями самоуправления. Взамен он предлагает иную систему коммуникации, выстраиваемую через личностное общение главы губернии (точнее, региона) с доверенными представителями городского сословия. Генерал-губернатор не просто отдает распоряжение о проведении выборов и утверждает их итоги, но непосредственно постоянно контактирует с гражданами и их представителями. Фактор личного общения генерал-губернатора, к тому же обладавшего статусом «его императорского высочества», с гражданами, повышал значимость городских выборов, а отчасти и престиж избранных лиц. Своим прямым участием в организации и проведении выборов принц придавал этому рутинному мероприятию не только характер важного государственного дела, но и способствовал укреплению коммуникации между подданными и императором.

К сожалению, ранняя смерть принца Георга Голштейн-Ольденбургского, последовавшая в конце 1812 г., не дает возможности проследить, каково могло бы быть влияние его деятельности в Твери на отношения между губернской властью и городским самоуправлением, а также на представления граждан о выборных учреждениях.

Мундир как символ власти

Престиж власти как готовность горожан добровольно повиноваться ей и ее представителям на местах налагал определенные требования к ее носителям. В первую очередь эти требования были связаны с возможностью распознать в незнакомом человеке представителя государства. Поэтому государственные служащие обязаны были носить форменную одежду и знаки отличия, содержащие определенные социальные коды, которые легко читались бы современниками и позволяли идентифицировать их обладателя. В этом были

заинтересованы все: государство, горожане и сами чиновники. Горожанам это помогало правильно выстраивать свои отношения с чиновниками. Легкость распознания принадлежности к государственному аппарату должна была ограждать последних от посягательств на их честь и достоинство. Такими атрибутами чиновного статуса были мундир, ордена и шпага (купцы, одевающиеся по-русски, вместо шпаги могли носить саблю). Оружие, правда, и статские чиновники, и выборные деятели городского самоуправления носили лишь при торжественных случаях, а затем и вовсе от него отказались. Отступление от правил ношения униформы трактовалось как небрежение к службе и позволяло горожанам рассматривать чиновника, одетого в партикулярное платье, как частное лицо.

Еще чувствительнее к нарушениям униформы со стороны начальствующих лиц были чиновники, служащие и отставные. В этом отношении интересна жалоба отставного губернского секретаря И. Соколова, поданная в июле 1827 г. сенаторам-ревизорам В.К. Безродному и князю Б.А. Куракину. В один не слишком удачный для него день Иван Соколов зашел в гости к знакомой жительнице Томска, к которой заглянул и управляющий губернией статский советник И.И. Соколовский. О цели посещения дома, где проживала несовершеннолетняя солдатская дочь И. Дресвянкина, почтенный губернатор позже показал: «которое я имел не по любострастному расположению собственно к распутной девке Дресвянкиной, но по естественному побуждению натуры».[1] В ходе скоротечного общения двух немолодых донжуанов Соколовский ударил Соколова, «хотя точно знал, что я чиновник», – жаловался последний. Отставной чиновник признавал, что, возможно, в волнении и нанес начальнику губернии оскорбление: «тем паче, что я почитал себя защищаться от него, еще с большим усилием, *поелику не было на нем никаких знаков отличия*, которые он имеет, а именно ордена Св. Анны 2 степени, Св. Владимира 4 класса; кои, хотя по статутам о сих орденах, он *обязан носить* их во все время, но... сии знаки

1 РГИА. Ф.1376. Оп.1. Д. 89. Л. 63.

отличия *носит весьма редко»* (курсив мой – *А.К.*)[1]. Правда, ни сенаторы, ни члены Совета Главного Управления Западной Сибири на эту информацию никак не прореагировали, хотя Соколов подал ее в контексте пренебрежения начальника губернии к узаконениям и «милостям монарха».

В представлениях горожан о статусе чиновника существовали и неформальные критерии, связанные как непосредственно с индивидом (его внешний вид, поведение, манеры), так и с занимаемым им в иерархии местом. На практике рядовые чиновники часто не соблюдали установленную форму одежды – во многом по причине элементарной нехватки средств на ее приобретение. После введения в 1834 г. разрядов мундиров для гражданских чиновников правительство стало бороться с вольностью в одежде штатских чинов. Это нововведение коснулось и лиц, служащих в городском самоуправлении. Весьма оперативно прореагировал на новые веяния верховной власти коломенский мещанин Сивяков, который, оправдываясь в оскорблении ратмана Затулкина, обвинил последнего в том, что он находился в присутствии не в мундире, «а в мужицком кафтане».[2]

Выборы и престиж общественных служб

Иерархия выборных городских служб, согласно Учреждению для управления губерний 1775 г., выглядела следующим образом: городской голова, заседатели губернского магистрата, совестного суда «мещанские» заседатели, которые считались в 10-м классе «за уряд, пока в должности пребывают». Губернского города городового магистрата первый и второй бургомистры, уездный стряпчий, «буде чина выше того не имеют, считаются в 11-м классе за уряд, пока в должности пребывают». Городового магистратов 1-й и 2-й бургомистры, а также ратманы губернского городового магистрата были отнесены к 12 классу. Городовых магистратов ратманы и бургомистры в

1 Там же. Л. 2 об.

2 ЦИАМ. Ф. 16. Оп. 11. Д. 1017. Л. 128.

посадах были «за уряд» в 13-м классе. Наконец, городовые старосты, судьи словесного суда и ратманы в посадах считались в 14 классе на время службы.[1] Однако уже к концу XVIII в. эта официальная иерархия претерпела заметные изменения: одни должности исчезли вместе с ликвидацией учреждений (в частности, губернского магистрата), другие появились впервые.

Сам факт присвоения выборным лицам городского самоуправления на время службы разрядов согласно «Табели о рангах» свидетельствует о новом видении правительством места городского самоуправления в системе Российской империи. Чиновничьи мундиры защищали деятелей городского самоуправления от произвола местной власти, поднимали их престиж в глазах горожан всех сословий. Органы городского самоуправления обладали значительным потенциалом для изменения баланса властных полномочий на местах. В отдельных регионах Российской империи (остзейские губернии, Финляндия), как и в ряде европейских государств, они существенно ограничивали возможности произвола бюрократии. Так, министр внутренних дел О.П. Козодавлев в 1818 г. в связи с многочисленными жалобами на произвол сибирского генерал-губернатора и иркутских губернаторов предлагал ограничить власть бюрократии и расширить компетенцию городского самоуправления: «Опыты многих лет доказали, что усиление власти магистратов или градских правительств в образованной Европе, не только послужило к благоденствию народов, но, без сомнения, и было основанием образованности европейской. Мне кажется, что, при ограничении власти местного начальника, не бесполезно будет усилить и в Сибири власть магистратов и городских правлений. Магистраты городов остзейских губерний доказали и доказывают пользу, каковую они принесли и приносят промышленности, торговле и вообще образованности жителей тех губерний».[2] Увы, мнение Козодавлева не получило поддержку у императора Александра I, который предпочел обойтись полумерами: несколько ограничить власть губернаторов за счет повышения

1 ПСЗ-I. Т. 20. № 14392. Ст. 53 – 57.

2 Мнение министра внутренних дел Козодавлева по делам сибирским // ЧОИДР. 1859. № 3. С. 63.

роли бюрократических коллегиальных органов, прежде всего губернских правлений.

Действия законодателей и повседневная практика функционирования институтов самоуправления не могли не сказаться на изменении престижа конкретных выборных должностей. Понять реальную иерархию общественных служб по выборам в конкретном городе помогает обращение к источникам, связанным с выборами в городское самоуправление. Наиболее информативны в этом отношении баллотировочные списки. Полистный просмотр этих документов по Твери помог уточнить соответствие нормативным актам процедуры проведения выборов. На собрании граждан, допущенных к выборам, городской голова, председательствующий на собрании, предлагал обществу свои кандидатуры или задавал вопрос избирателям, кого они желают баллотировать.

Скупая информация, которая обычно содержится в официальных документах, представленных городскими обществами в бюрократические инстанции, не позволяет рассмотреть процесс выдвижения кандидатур и ход выборов в деталях. Поэтому больший интерес представляют те выборы, в ходе которых имели место острые конфликты. Один из таких конфликтов, в котором активно участвовал городской голова, помог высветить недостающие подробности избирательного процесса. В Осташкове, как явствует из одного конфликтного дела, существовала практика, согласно которой городской голова совместно с членами городской думы обсуждал кандидатов на вакантные должности, а на избирательном собрании предлагал их гражданам.

Все принимавшие участие в баллотировке находились в зале, где была установлена избирательная урна. Поэтому выборщики одновременно выполняли и функцию «общественных наблюдателей» на выборах. Председателем заседания был городской голова. За соблюдением установленных законом избирательных процедур наблюдали представители государственных структур: полицмейстер (в уездном городе – городничий) и стряпчий. Эти чиновники не имели права участвовать в выдвижении и обсуждении кандидатов, но могли подать свое мнение по процедурным вопросам.

Как относились купцы и мещане к участию «сторонних лиц» в процессе принятия решений городским обществом? Граждане были твердо убеждены в том, что самоуправление – это прерогатива, дарованная им монархами и выражающая именно их сословные интересы, следовательно, именно они отвечают за всю общественную жизнь города. Эта уверенность была характерна не только по отношению к выборам в городское самоуправление, но и при избрании церковных старост. Так, в августе 1817 г. тобольские купцы, мещане и цеховые, собравшиеся для избрания старосты кладбищенской церкви, не сомневались в своем праве решить этот вопрос без участия благочинного, хотя по закону его присутствие было обязательным. В постановлении горожан их позиция мотивировалась следующим образом: так как «в собрание общества сего благочинный градотобольских церквей, по оповещению господина градского головы не прибыл, то общество, дабы неоднократно по одному вопросу собраниями не отвлекаться от промыслов», постановило утвердить приговор. В декабре 1822 г. прихожане одной из церквей Тобольска, собравшиеся для выборов старосты, узнав, что благочинный перенес выборы на следующий день, «собраться в другой раз отказались».[1] Ни у стряпчего, ни у городничего, ни у благочинного никакого действенного механизма заставить граждан соблюдать букву закона не было. Все, что мог сделать в данном случае представитель государственной власти или государственной церкви, – доложить губернскому начальству о допущенном гражданами нарушении.

В представлениях чиновников среднего (губернского) уровня управления бытовало мнение, что гарантией соблюдения законности на выборах является контроль за порядком со стороны органов надзора (уездных стряпчих) и исполнительной власти (городничих). Поэтому в Тверской губернии во многих городах установилась практика, по которой избирательные списки свидетельствовали присутствовавшие на выборах чиновники. Когда же в материалах о выборах в Осташкове на трехлетие с 1848 г. они не обнаружили подпи-

[1] ГАТ. Ф. 156. Оп. 2. 1815 г. Д. 426. Л. 42, Ф. 8. Оп. 1. Д. 161. Л. 30.

сей стряпчего и городничего, то усмотрели в этом нарушение закона. Однако новый градской голова Стефан Савин твердо отверг эту претензию губернской власти, указав, что хотя городничий и стряпчий и должны иметь надзор за выборами, но подписями баллотировочные списки не утверждают – согласно закону.[1]

Городничие, должности которых часто занимали отставные военные, и даже стряпчие не всегда и сами хорошо знали законы, и порой подталкивали граждан на их явное нарушение. Это касается и законодательства, связанного с выборами. Показательна история, приведенная в мемуарах бывшего городского головы г. Чухломы (Костромской губернии) И.В. Июдина. Он как городской голова был председателем на «заседании» 10 января 1836 г., когда проводились выборы на очередное трехлетие. «При начале оной городничий с прочими господами начал со мной спорить, чтобы все члены думы по его мнению должны баллотироваться в один день. А помоему, – в один голова, а прочие выбираются по утверждению нового головы в его заседание. Я, не глядя на их мнение, кончил выбор головы», – писал мемуарист.[2] Таким образом, городской голова, действовавший в соответствии с законом, отстоял свое мнение вопреки давлению чиновников. Хотя мемуарист и не был до конца уверен в собственной правоте, но он обладал сознанием своих прав и прерогатив. Июдин точно знал, что по закону выборами на общественные должности руководит городской голова, поэтому-то и позволил себе игнорировать мнения коронных чиновников.

Это поведение чухломского городского головы представляет несомненный интерес для понимания ментальности провинциальных купцов и мещан. Избранный на эту должность вопреки своей воле и тяготившийся выпавшими на его долю обязанностями, он не побоялся вступить по службе в открытый конфликт с городничим. Иван Васильевич Июдин в своей частной жизни был конформистом. Он давал взят-

---

1 ГАТвО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 12524. Л. 28 об.

2 Памятная книга купца 2-й и 3-й гильдий, городского головы г. Чухломы Ивана Васильевича Июдина, от начала жизни его в 1799 и до кончины в 1880 году. М., 2002. С. 32 – 33.

ки чиновникам губернского правления или жертвовал «на бедных» деньги городничему для получения разрешения на открытие лавки большего размера, чем у соседей в торговом ряду. Для поддержания благосклонного отношения со стороны городничего он ежегодно делал ему денежное подношение. Однако облеченный доверием своих сограждан, этот конформист и обыватель преобразился, проявляя твердость и неуступчивость в отношениях с городничим и другими чиновниками. В чем же была причина его принципиальности и твердости, проявляемая им на посту городского головы? По своему сословному статусу он – мещанин, т.е. лицо, занимавшее очень скромное место в обществе. Не обладал он и крупным капиталом. Новатором в бизнесе он тоже не был, более того, жена весьма критично оценивала его коммерческие способности. Муж в конце концов признается и самому себе, что, действительно, жена торгует успешнее, чем он. Таким образом, ни социальное положение, ни бизнес, ни богатство не могли быть основанием этой твердости и неуступчивости в отношениях с чиновниками или даже своими родственниками из местной элиты. Но у Ивана Июдина была моральная опора в этой жизни – вера в Бога. В его сознании присутствовала и гордость, что он сам честным трудом добился своего благополучия. Вступление во власть актуализировало в нем чувство социальной справедливости. Именно он как лицо, которому сограждане делегировали властные полномочия, обязан был стоять на страже их коренных интересов. К этому, несомненно, добавлялось сознание того, что законы Российской империи наделяют его как главу города властными полномочиями и ограждают его личность. Результатом осознания мещанином, мелким торговцем, прав и обязанностей главы городского самоуправления стало то, что в своей практике он превратился в защитника интересов сограждан, а именно так и понималась роль его должности в средних слоях городского гражданства. Современник И.В. Июдина, живший в далеком от Чухломы Иркутске, небогатый купец А.А. Литвинцев в своих воспоминаниях писал о видном деятеле иркутского самоуправления купце 1-ой гильдии К.М. Сибирякове: «Тоже дикий был человек, как начнет чубу-

ком махать – беда. *А все-таки голова, защитник»* (курсив мой – *А.К.*).[1] Такая возможность для человека, служившего городским головой или бургомистром, – стать «защитником» сограждан реализовывалась далеко не всегда, что зависело от многих факторов, среди которых важное место занимали личные нравственные качества человека, твердость его характера и сила духа.

Обязанные надзирать за правильным ходом выборов глава полиции и стряпчий порой манкировали своими обязанностями. Например, проследив за порядком при баллотировании градского главы, могли не прийти на выборы бургомистров, ратманов и прочих должностных лиц. Иногда, вместо контроля за соблюдением законов, чиновники нарушали их самым беззастенчивым образом.

Выдвижением кандидатов занимались сменяемый состав думы и городской голова. Впрочем, по закону, после проведения выборов городского головы следовало его утверждение губернской властью, и лишь затем проводились выборы на другие должности. После приведения к присяге уже новый городской голова обладал правом предлагать кандидатов на другие должности. Означает ли это, что городской голова и члены думы имели исключительное влияние на выдвижение кандидатов? Если избиратели вели себя пассивно, поддерживая все предложенные кандидатуры, тогда ответ на этот вопрос будет утвердительным. Но законодательство оставляло за гражданами возможность быть активными участниками избирательного процесса, а не простыми баллотировщиками предложенных кандидатов. Намеченный градским головой и думой ход выборов мог быть скорректирован избирателями. Показательная коллизия имела место на выборах 1821 г. в Осташкове. 10 января 1821 г. в дом градского общества после литургии собралось 193 выборщика, а также городничий Гребен. В обязанности последнего входило наблюдение за благочинием во время выборов. На должность городского головы было баллотировано 4 кандидата, из которых по большинству баллов избран прежний голова.[2] Однако

---

1 *Вагин В.* Исторические сведения о деятельности графа М.М. Сперанского в Сибири с 1819 по 1822 год. Т. 1. СПб., 1872. С. 575 – 576.

2 ГАТвО. Ф. 1048. оп. 1. Д. 440. Л. 95.

губернское правление по предложению губернатора выборы не утвердило и назначило расследование. Поводом для расследования стали рапорт городничего и сообщение группы граждан «о незаконном распоряжении головою Савиным касательно баллотирования на будущее трехлетие к градским должностям».

Представления лиц, возглавлявших выборные органы власти, о своих прерогативах наиболее отчетливо выясняются в ходе конфликтов между ними и местными чиновниками. Один из таких конфликтов имел место во время выборов в Осташкове Тверской губернии в январе 1821 г. Городничий майор Гребен доносил губернатору, что он обратил внимание городского головы Савина на отсутствие в зале известных граждан, на что тот ему ответил: «Не ваше дело в том знать, ибо ему оное представлено распоряжаться».[1]

Иная картина этих событий нарисована в журнале Осташковской градской шестигласной думы от 14 февраля 1821 г. В этом документе всплывают интересные подробности конфликта, которые Гребен изобразил в выгодном для себя свете. Оказывается, городничий интересовался причинами отсутствия вполне конкретных и уважаемых граждан – купцов Ф.П. Мосягина и Н.Д. Северова. На вопрос городничего градский глава ответил, что «назначение граждан или так называемых кандидатов зависит по закону и предписаниям начальства от градского главы и прочих членов Думы». Но городничий и дальше «продолжал домогаться о причине неприглашения означенных Мосягина и Северова», поэтому пришлось голове и членам думы разъяснить причины отсутствия обоих на собрании (не отчитались за прошлую службу).[2] Получив эти разъяснения, городничий не счел возможным вести полемику о правомерности принятого решения. Но характерно, что члены думы и градской глава считали подобные вопросы со стороны городничего совершенно неуместными и рассматривали их как посягательство на их компетенцию по организации выборов. Таким образом, получалось, что городничий и стряпчий могут подать свое мнение исключительно по процедурным вопросам.

1 Там же. Л. 33 об.

2 Там же. Л. 38.

На практике замечания стряпчего или городничего и по процедурным вопросам граждане порой игнорировали. Так, 22 декабря 1836 г. серпуховское купеческое и мещанское общество, избрав городским головой купца И.П. Щенкова и кандидата (заместителя) городского головы, «слушало предложение г. уездного стряпчего по силе Свода законов III-го тома Устава о службе по выборам статей 955 и 963-й, о том, дабы оно, не приступая к избранию в прочие градские общественные на трехлетие и годовые должности», предоставило бы через думу начальнику губернии на утверждение градского голову, а после его утверждения избирало бы и на другие должности. Однако общество на основании 957-й статьи «Устава» единогласно приговорило: приступить под председательством вновь избранного градского главы купца Щенкова к избранию в прочие должности «в сей день».[1] Формально стряпчий был прав. Именно так и надлежало избирать в соответствии с законом, но горожанам не хотелось собираться еще раз для выборов, поэтому они проигнорировали мнение уездного стряпчего и предложили свою трактовку порядка проведения выборов. В своем решении они руководствовались мнением, что это их выборы и их прерогатива, дарованная императрицей Екатериной Великой, поэтому главное здесь не следование букве закона, но соблюдение интересов граждан. Такие представления широко бытовали и в центре страны, и в Сибири.

С такой позицией граждан вынужден был считаться осташковский городничий. Знание законодательства и стремление к сохранению спокойствия в городе, поддержание нормальных отношений с первыми лицами в городском самоуправлении побуждали его уклоняться от вступления в прямой конфликт с головой и членами думы – именно таким осмотрительным чиновником он предстает в своем рапорте о выборах в Осташкове. Как писал Гребен, он счел за лучшее промолчать после резкого ответа Савина, а обратился к губернатору лишь потому, что к нему 17 января пришли граждане и принесли словесную жалобу на действия головы при выборах.

---

1 ЦИАМ. Ф. 1036. Оп. 1. Д. 670. Л. 6 – 6 об.

Не все городничие и полицмейстеры вели себя столь осмотрительно, как пытался выглядеть перед начальством майор Гребен. Крайнюю степень неуважения к городскому голове проявил омский полицмейстер Шепелев во время выборов 16 сентября 1854 г. Он допустил многочисленные нарушения закона: «заводил спор о лицах, назначаемых к занятию должностей», «предлагал избирать указанных им лиц и наблюдал за опусканием шаров в ящик» и даже не уступал «председательствующего стула» городскому голове «при обряде баллотирования».[1] В ходе расследования было установлено, что Шепелев (зять одного из омских купцов) был непосредственно заинтересован в результатах голосования.

Лица, служившие по выборам на одной из «классных должностей», на время службы обладали личной неприкосновенностью, а их дома освобождались от воинского постоя. На практике все было не так однозначно. В том же 1821 г., 19 февраля, майор Гребен приказал связать и доставить в городническое правление заседателя шестигласной думы мещанина Федора Иванова сына Размыслова, буянившего в гостях. Полицейским, явившимся, чтобы доставить его в городническое правление, Размыслов говорил, «что де я по выбору градского общества служу гласным и могу с ними итти к господину городничему не связанным». Однако они связали ему руки назад и повели к городничему. Гребен отказал ему в просьбе развязать руки, «зная, что я гласным находился в Осташковской думе, сказал, что де мало тебе того, что руки связаны, а прикажу де еще и ноги связать». В таком положении он находился 15 часов, пока не был развязан «по многим настояниям» ратмана Дмитрия Савина. Он же обвинял главу городской полиции в том, что во время разбирательства тот в присутствии свидетелей называл его «плутом и озорником»[2].

Настойчивое педалирование в прошении на имя монарха темы связанных рук потребовалось для обвинения городничего не только в оскорблении (для этого хватало уже и факта ареста и конвоирования в полицию 4 нижними чинами, не

1 РГИА. Ф. 1287. Оп. 37. Д. 1665. Л. 30 об., 66 об.

2 ГАТвО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 1453. Л. 1 – 2.

говоря уже о публичном именовании гласного думы «плутом и озорником»), но и в «истязании». Спустя тридцать лет после этих событий, 16 июля 1850 г., мещанин И.А. Нечкин сделает запись в своем дневнике об одном эпизоде из полицейского быта: «Сего в Осташкове новость – от дома г. городничего и до полиции по столичному шел, связанныя назад руки бечевкой, и при нем десяцкой...»[1] Учитывая, что 44-летний Нечкин обладал хорошей памятью, подобная практика конвоирования горожан не имела в городе сколько-нибудь заметного применения. Осташковская дума решительно приняла сторону Размыслова, направив 30 апреля 1821 г. в губернское правление рапорт за подписью головы К.А. Савина с характерным заголовком: «О рассмотрении поступка господина городничего, относительно истязания гласного Размыслова и о прочем».[2]

Другой арест выборного лица по приказу городничего произошел 8 сентября 1843 г. в городе Подольске Московской губернии. Бургомистр Иван Ермолаев вместе с взрослым сыном был задержан и находился под арестом 10 дней. Городничий, подпоручик Белаго, рапортовал начальству, что Ермолаев «оказал к требованию сему (об исправлении мостовой и покраске дома – *А.К.*), а равно и к званию г. городничего полное пренебрежение с произношением неблагопристойных слов, после сего, когда городничий предложил отправиться ему в правление, то вошедший в гостиницу сын означенного Ермолаева кричал, что он не позволит взять его отца, сам же Ермолаев, пришед в азартность, начал ругать скверными словами и плюнув на городничего, ушел».[3] Таким образом, городничий обвинял купца Ермолаева в оскорблении должностного лица при выполнении им служебного долга и в «буйственных» поступках.

Иная версия незаконного ареста и содержания под стражей содержится в прошении жены задержанного. По ее словам, конфликт возник из-за просьбы городничего «подарить» ему козу, в чем ему было отказано. Но городничий «пошел в

1 ГАТвО. Ф. 103. Оп. 1. Д. 2628. Л. 37.

2 ГАТвО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 1453. Л. 3 – 5.

3 ЦИАМ.Ф. 16. Оп. 12. Д. 1820.Л. 1 – 2.

нанимаемый нами двор у мещанина Калины Иванова для ночлега скота, без дозволения мужа моего приказал пастуху ту козу отвести к себе в дом...» Вечером следующего дня, 8 сентября, разыгрался второй акт подольской драмы. В гостинице, где Ермолаев пил чай с другим купцом, появился городничий, от которого бургомистр и потребовал возврата козы. Тогда подпоручик Белаго взял у буфетчика пятирублевую ассигнацию и пытался безуспешно рассчитаться ею с купцом, который заявил, что коза ему самому нужна, а городничий не имел права брать козу без его разрешения. Далее, как утверждает жена арестованного бургомистра, «г. городничий сказал, что он имеет право не токмо, что козу взять, но даже и самого его, и вместе с сими словами стал у двери и не выпускал вон из гостиницы... Но муж мой говорил ему, позвольте пройти, а он не пустил, тогда он, приподняв немного руку прошел, а г. городничий в это время упал на пол и закричал, что будто бы он ногу сломал»[1].

Вот это действие Ермолаева и дало повод городничему обвинить его в неповиновении власти и буйстве. Улита Антиповна, разумеется, не присутствовала при этом инциденте, но, несомненно, расспросила свидетелей, поэтому ее версия была значительно точнее, чем версия городничего. Ее изложение, разумеется, тоже тенденциозное, отмечает такие штрихи, на которые должно обратить внимание начальство и которые прямо или косвенно опровергают версию Белаго о неповиновении ему купца при исполнении чиновником служебного долга. Во-первых, женщина сразу апеллирует к тому факту, что ее муж не частное лицо, а бургомистр, следовательно, не мог быть арестован по распоряжению городничего. Во-вторых, появившийся вечером в гостинице городничий был одет в «черкесский казакин». Ее логика очевидна: если он находился при исполнении служебных обязанностей, то и должен быть одетым по форме. Отсюда напрашивается умозаключение, что подпоручик появился в гостинице не как глава полиции, а как частное лицо, одетое к тому же в народное платье. Следователи и судьи, правда, на

1 Там же. Л. 4 – 5.

последнюю деталь не обратили особого внимания, но в целом признали обоснованность заявления купеческой жены. В решении Московского губернского правления говорилось, что городничий Белаго, «вопреки 2306-й ст. X т. Св. Зак. Гражд. (Изд. 1842 г.), желая взять Ермолаева под стражу *удерживал* его сам в дверях, и в последствии Ермолаев, несмотря на то, что *находится на службе в магистрате бургомистром*, был взят с сыном своим под стражу из их дома, куда городничий пришел с командою и с ломом, в намерении отломать двери, и Ермолаев *содержался в тюрьме десять дней*» (курсив мой – *А.К.*)[1]. Не забыта была и самовольно взятая городничим коза, и более незначительные упущения по должности: вместо вызова купца Ермолаева в городническое правление для объявления ему распоряжения о починке мостовой напротив его дома, он говорил тому об этом в гостинице, «где при исполнении своей обязанности дозволил себе посторонние разговоры в отношении покупки у Ермолаева козы».[2]

Казус городничего Белаго открывает много любопытного для понимания восприятия пределов своей власти полицейскими чиновниками и их отношения к гражданам. Во-первых, подпоручик ухитрился из-за желания заполучить козу допустить множество административных нарушений и даже уголовных преступлений, что свидетельствует о его полной некомпетентности на своем посту. Во-вторых, чувство сословного превосходства, подкрепленное властными полномочиями первого чиновника города, позволяло ему пренебрежительно относиться к правам непривилегированных горожан, включая и должностных лиц городского самоуправления. В-третьих, как офицер он привык решать возникающие проблемы не законным путем, а с помощью физического насилия. Встретив сопротивление своим незаконным требованиям, он попытался непосредственно применить насилие против непослушного купца.

Готовность к личному физическому насилию или угроза его применения по отношению к гражданам, видимо, была

1 Там же. Л. 12 об.

2 Там же. Л. 12.

свойственна многим чинам, перешедшим на службу из армии. Да и законы Российской империи, стоявшие на защите личности граждан, трактовались в разное время неодинаково. Так, за свои «неприличные и самовольные поступки» Белаго был отдан под суд. Не так уж важно, почему он так себя вел: не знал законы, хотя обязан был их знать, или считал себя вправе их игнорировать. Главное, что он обнаружил совершенную непригодность для выполнения своих должностных обязанностей. Однако благодаря вмешательству московского военного губернатора ему удалось легко отделаться: месячным арестом и переводом на службу в другой город[1]. Иначе стали относиться к физическому насилию со стороны чиновников при Александре II. В 1856 г. на докладе об оскорблении действием (пощечинах), нанесенном нижегородским военным генерал-губернатором Анненковым нетрезвым купцам Лосеву и Морозову. бранившимся и шумевшим в театре, царь написал: «После подобного поступка, я во всяком случае не оставил бы его в моей свите».[2]

Служба на одной из престижных общественных должностей повышала самооценку личности. Как писал в 1848 г. учитель медынского приходского училища (Калужская губерния) А.Е. Данилевский, среди местных мещан многие отслужили три выбора – и они могут «ходить при шпаге», имеют «право на почтение, – ему надо скинуть шапку».[3]

Как реагировали губернские и имперские власти на открытые конфликты коронных чиновников и выборных лиц? Реакция была весьма различной. Например, губернское правление Московской губернии в конфликте между подольским городничим подпоручиком Белаго и бургомистром Иваном Ермолаевым встало на сторону пострадавшего купца. Но благодаря позиции московского военного генерал-губернатора, которого поддержал министр внутренних дел, Белаго отделался весьма мягким наказанием.

По схожему сценарию развивалось дело полицмейстера Шепелева: тобольское губернское правление в декабре 1854 г.

1 Там же. Л. 22 – 25.

2 ГАРФ. Ф. 109. 4 экспедиция. 1856 г. Д. 264. Л. 3.

3 АРГО. Р. 15. Д. 29. Л. 30 об. – 31.

признало его виновным, но генерал-губернатор Западной Сибири Г.Х. Гасфорд в подлинных мотивах странного поведения полицмейстера разбираться не стал, а попросту взял его под свою защиту. По мнению Гасфорда, «для спокойствия омского городского общества необходимо не дозволять, чтобы Баранов был назначаем городским головою впредь до тех пор, пока главное здесь начальство не получит удостоверения и полного убеждения в благонамеренности его видов».[1] Итак, воля граждан, выраженная в соответствии с законом, в глазах первого лица Западной Сибири значит несравненно меньше, чем мнение о человеке местного начальства. Однако Госсовет выступил против предоставления губернскому начальству права увольнять без суда служащих по выборам, как ведущего к произволу губернских властей. Мнение Госсовета было утверждено царем 3 ноября 1858 г., а императорским указом из Сената Шепелев не остался без заслуженного наказания.[2]

Приведенные выше факты пренебрежительного и даже оскорбительного поведения чиновников по отношению к лицам, занимавшим «классные должности» в городском самоуправлении, были все же скорее исключением, чем правилом. Когда же подобные эксцессы имели место, то выборные представители города вставали на защиту своей чести и достоинства. В этих устремлениях их нередко поддерживали учреждения самоуправления и лица, возглавлявшие городские думы и магистраты.

Какова же была иерархия выборных должностей? Изучение протоколов выборов на все «классные» места (т.е. такие, на которых прохождение службы считалось «за уряд» с государственными чинами) в местном самоуправлении позволяет решить вопрос о престиже каждой конкретной должности, о месте, которое занимает та или иная должность в городской иерархии. Реконструкция иерархической лестницы городского самоуправления исходит из двух очевидных допущений: первое – самые престижные должности замещаются в первую очередь; второе – на высшие должности избираются

1 РГИА. Ф. 1287. Оп. 37. Д. 1665. Л. 56.

2 Там же. Л. 57 об., 64 – 65, 72 об. – 73, 75.

наиболее влиятельные и авторитетные лица. Оба этих допущения основываются на действующем тогда законодательстве о выборах (первым избирался городской голова, на наиболее важные должности надлежало избирать купцов, а не мещан, купцы первых двух гильдий обладали правом отказаться от выборов на должности, которые не соответствовали их статусу).

Обращение к избирательным протоколам по г. Твери за 1790-е – 1810-е гг. позволяет выстроить по рангу выборные должности в следующем порядке: 1 – голова; 2 – заседатели совестного суда; 3 – заседатели уголовной палаты; 4 – заседатели гражданской палаты; 5 – бургомистры магистрата; 6 – ратманы магистрата; 7 – члены думы, 8 – депутаты квартирной комиссии. На вышеперечисленные должности избирали сроком на три года. Следующая ступень – выборные должности, замещаемые ежегодно: городовой староста, кандидаты (товарищи) к нему, члены городового словесного суда и частные словесные судьи (избираемые для каждой части города).

Что нового для макроистории дает иерархия городских общественных служб, выявленная в Твери? По меньшей мере, она ставит под серьезное сомнение утвердившийся в историографии вывод о никчемности и бесполезности совестных судов, введенных Екатериной II,[1] и их низком престиже. Тверские горожане выбирали своих представителей в совестный суд, в гражданскую и уголовную палаты сразу же после избрания городского головы, т.е. считали их одними из важнейших и уважаемых выборных служб. Именно в этих учреждениях в случае конфликта с представителями других сословий, с интересами государства решалась судьба купцов и мещан. Вердикт суда во многом зависел от активности заседателей из граждан. Пойдут ли они на поводу у судейского чиновника, заседателей-дворян или же будут отстаивать интересы своих сограждан? Поэтому-то на эти должности стремились выбрать активных, знающих законы людей.

---

1 *Вдовина Л.Н.* Право и суд // Очерки русской культуры XVIII в. Ч. 2. М., 1987. С. 173.
Н.И. Ефимова. Судоустройство России в XVIII – первой половине XIX вв. (Историко-правовое исследование). М., 1993.

Вышеприведенная аргументация опирается на реконструкцию «снизу», то есть исходит из интересов горожан. Она имеет во многом односторонний характер и не учитывает влияние государства на формирование этой иерархии. Необходимо соотнести ее с взглядом «сверху», т.е. с позиции законодателя. Так, в «Учреждении для управления губерний Всероссийской империи» 1775 г. в статье, которая определяла порядок торжественного собрания, судебные органы губернии (Палата уголовного суда, Палата гражданского суда, совестный суд) занимали одно из ведущих мест, с 4 по 6, при общем числе разрядов 22.[1] Исходя из того значения публичных церемониалов, которые в эпоху абсолютизма служили зримым воплощением социального устройства общества, влияние этого законодательного акта на формирование у граждан представлений о городской иерархии было несомненным, но все же не единственным. Тем более что подобные официальные губернские торжества были исключительно редки. Не менее важны были причины (о них речь шла выше), побуждавшие горожан выбирать в судебные органы наиболее достойных своих представителей. Об этом же свидетельствует и тот факт, что в Твери первыми избирали в судебные органы членов (заседателей) совестного суда, а не членов уголовной и гражданской палат.

Данный момент следует пояснить особо. Во-первых, председатель и все члены совестного суда (по два заседателя от дворян, «граждан» и государственных крестьян) были выборными лицами. Во-вторых, в совестном суде надлежало судить не по закону, а «по совести». Уголовная и гражданская палаты были более бюрократизированными органами, руководствовавшимися в своей деятельности (по крайней мере, формально) буквой закона. Тверские купцы и мещане – в рамках навязанной им абсолютизмом официальной иерархии выборных служб – внесли определенные коррективы, имеющие знаковый социальный характер. Они поставили на первое место среди всех судебных органов наименее бюрократизированный институт – совестный суд. Впрочем, при-

[1] ПСЗ-I. Т. 20. № 14392. Ст. 432.

давать этому факту серьезное идеологическое значение было бы опрометчиво. Уже на выборах в Твери, в декабре 1817 г., заседателей совестного суда выбирали после голосования в уголовную и гражданскую палаты. Более того, бургомистров избирали прежде, чем судебных заседателей палат и совестного суда.[1] Аналогичный порядок выборов сохранился и в декабре 1823 г.[2] Следует отметить, что эти изменения произошли задолго до указа 6 декабря 1831 г., который усилил позиции дворянства в губернских судебных органах. Согласно данному указу дворянство губернии избирало председателей палат уголовного и гражданского суда, а также совестного судью.[3] Таким образом, можно говорить о снижении престижа выборных должностей в губернских судебных учреждениях и о росте уважения горожан к магистратам. Эта тенденция повышения престижа магистрата и ратуш, а также служебного статуса бургомистров была поддержана позже и государственной властью. В сентябре 1849 г. министр юстиции входил в Комитет министров, а затем, в октябре того же года, в Сенат с предложением о присвоении бургомистрам городовых магистратов и ратуш: в столицах VII класса, в губернских и портовых городах VIII класса по должности, а в уездных и заштатных – IX класса по должности и мундиру. Предложение было одобрено и утверждено монархом.[4]

Самоуправление: обуза, престиж, общественная польза?

В литературе, посвященной истории ментальности, особое внимание уделяется коллективным прошениям и петициям как источникам, в полной мере выражающим коллективную ментальность больших социальных групп, а следовательно, и отражающим картину мира, присущую людям, входившим в эти группы. Руководствуясь этим положением, обратимся

1 ГАТвО. Ф. 21. Оп. 1. Д. 243. Л. 45 – 47, 51, 52.
2 ГАТвО. Ф. 21. Оп. 1. Д. 378. Л. 20 об. – 21.
3 СЗРИ. Т. 3. Ст. 729.
4 ПСЗ-II. Т. XXXIV. № 23586.

к ответам «градских обществ» в 1837 году на предложение правительства о слиянии магистратов и ратуш (низших судебных инстанций для городских сословий) с уездными судами (первыми судебными инстанциями для других сословий). Обширный комплекс этих документов имеет особое значение, так как в первой половине XIX в. он предстает, по сути, единственным общероссийским однородным массивом источников, отражающих чаяния городского гражданства. Ответы городов позволяют говорить о господствующем восприятии горожанами социальной структуры, государственного строя, городского самоуправления и своего места в социальной стратификации общества.

Предложение правительства о слиянии магистратов и ратуш с уездными судами, казалось бы, вело к формированию общегражданского судопроизводства, к уничтожению сословных барьеров в этой сфере. Однако свое согласие на объединение магистратов и ратуш с уездными судами дали лишь жители 86 городов и посадов Российской империи из 722, существовавших в 1811 г. В их числе оказалось лишь 14 малых городов и посадов в нынешних границах России.[1]

Каковы были причины такого единодушного отклика на предложение правительства, сделанное вроде бы в направлении буржуазного судопроизводства? Почему же горожане не поддержали идею единого, общесословного суда? Попытаемся разобраться в их системе аргументации. По мнению весьегонской городской думы (Тверская губерния), «магистрат учрежден единственно для пользы нашей, для скорейшего, справедливого и беспристрастного рассмотрения и решения наших дел». Отмечалось и удобство прохождения выборными лицами должности при магистрате, членам которого «по высочайше дарованной милости» разрешено по очереди половине отлучаться, «по взаимному их согласию, *не спрашивая даже на то дозволения и от губернского начальства*», что в уездном суде невозможно. Весьегонцы считали службу в магистрате почетной, а право носить вицмундир после 9-ти лет беспорочной службы «вящим поощрением». Они указали

1 РГИА. Ф. 1287. Оп. 37. Д. 7. Л. 741 – 743.

и на то, что в уездных судах дела будут проходить медленнее. Но более всего они не верили в равный суд «... *по невозможности* заседателями обществ как членов в судах, против чиновников, самых нижних собратии своей, гражданам, оказать законную защиту и удовлетворение» (курсив мой – *А.К.*).[1]

Сходная мотивация была и в отзывах других городов Тверской губернии. Осташковская городская дума прямо заявила о своем недоверии такому судебному органу, в котором от «граждан» будут два члена, а от дворян – три (два заседателя и председатель)[2]. «Служба городская по магистрату весьма полезна для общества тем, – писала в своем рапорте новоторжская городская дума, – что всякого гражданина состояние и поведение градскому чиновнику известно, *и всякий градский чиновник как к своему сословию благоснисходителен...*, и потому каждый находит в нем себе покровителя... как к *своему согражданину или собрату...*» Ржевские купцы и мещане отмечали, что «общество» привыкло подчиняться «равным себе собратиям» (курсив мой – *А.К.*). [3]

Граждане уездных городов Московской губернии, отвергнув предложение о слиянии магистратов и ратуш с уездными судами, не поднялись до патетики горожан соседней, Тверской, губернии. Они были значительно осторожнее в выражении социальных последствий этого шага. В их аргументации главное место занимает оперативность решения дел магистратами.[4] Очень близки к ним оказались и отзывы градских обществ Тобольской губернии. В этих отзывах нет явного недоверия к возможности равенства всех перед законом, характерного для граждан Тверской и некоторых других губерний, где имелось многочисленное дворянство. Однако известная осторожность в отзывах тоболяков все же присутствует. Аналогичной была аргументация и жителей городов других сибирских губерний. Подводя итог отношению городских «обывателей» вверенной ему губернии к судебным учреждениям, енисейский гражданский губернатор В. Ко-

1 Там же. Л. 143 об. – 144 об.

2 Там же. Л. 151 об.

3 Там же. Л. 147 – 147 об, 160.

4 ЦИАМ. Ф. 17. Оп. 5. Д. 598.

пылов писал, что они «не столько пекутся об уменьшении их расходов, сколько дорожат правом быть подведомственными только такому судебному месту, которого бы члены были из их же сословия и самими ими избраны».[1]

Граждане не без оснований подозревали дворян в сословно-корпоративной морали. О наличии двойного стандарта морали красноречиво свидетельствует публичное обвинение рязанского губернского предводителя дворянства Н.Н. Реткина, брошенное им известному общественному деятелю А.И. Кошелеву, в забвении сословных интересов: «Не таким... должен быть предводитель дворянства: если я увижу, что мой брат – дворянин зарезал человека, то и тут пойду под присягу, что ничего о том не знаю».[2] Поэтому неверие граждан в объективность и бескорыстие судейских чиновников-профессионалов было вполне оправданным. Нет ничего удивительного в том, что в цитированных отзывах градских дум Тверской губернии недвусмысленно просматривается глубокое недоверие непривилегированных горожан к идее общесословного суда. Такое отношение определялось чувством глубокой неприязни к дворянству. Сословная солидарность его членов оказывается в представлениях купцов и мещан много выше их веры в бескорыстие и объективность судей-дворян. Примечательна и лексика этих документов, в частности «гражданами» они именуют лишь лиц, принадлежавших к собственно городским сословиям. Противоречий внутри «граждан» – между купцами, мещанами и цеховыми – в этих источниках обнаружить нельзя. Налицо консолидация «граждан» против дворянства, отсюда и высокопарное именование горожан и выборных лиц «согражданами» и «собратьями». Само же понимание «братства» в массовом сознании и граждан, и дворян было далеко и от его христианского наполнения – «все люди братья», и от его буржуазной трактовки, получившей широкое распространение после Великой французской революции 1789 г. Идея «братства» была пронизана сословным духом.

---

1 Там же. Л. 510 об.

2 *Кошелев А.И.* Записки. Берлин, 1884. С. 62.

В целом в ответах городских обществ 1837 г. на предложение правительства о слиянии магистратов и ратуш с уездными судами обязательно присутствует позитивная оценка существующих учреждений городского самоуправления, в первую очередь магистратов и ратуш, о судьбе которых правительство и запрашивало граждан. Однако обильно цитированные мною отзывы – источники с достаточно сильной (явной или латентной) идеологической направленностью. Для проверки выводов, содержащихся в них, имеет смысл обратиться к идеологически более нейтральным документам – избирательным протоколам.

Протоколы выборов 1803 г. в Твери показывают, что избирателям раз за разом предлагали одних и тех же людей на различные должности. Так, четверо кандидатов были выбраны к должности лишь с третьей попытки, а купец М.И. Нечаев (он не прошел в заседатели совестного суда, уголовной и гражданской палат) только с 4-й попытки стал бургомистром. Своеобразный «рекорд» установил купец 2-ой гильдии К.И. Нечаев, который 7 раз неудачно баллотировался: в бургомистры, в ратманы, в уголовную и в гражданскую палаты, в совестный суд, в гласные думы от купцов 2-ой гильдии и по «второй части» города –от обывателей.[1] Спустя полвека, в декабре 1850 г., городская верхушка добилась избрания купца Светогорова с пятой попытки, когда его удалось провести в члены строительной и дорожной комиссии.[2] Такая тактика выборов до победного конца отдельных претендентов срабатывала не всегда. Например, в 1823 г. купец И.С. Клементьев был четырежды забаллотирован (в совестный суд, думу, магистрат, квартирную комиссию), да так никуда и не избран.[3]

В маленьком уездном городке Тверской губернии – Кашине на выборах 1803 г. И.С. Осекина последовательно баллотировали в первые и вторые бургомистры, в первые и вторые ратманы, прежде чем с пятый попытки избрали третьим ратманом. Еще трех горожан на тех же выборах баллотировали на четыре должности, четверых пытались избрать триж-

[1] ГАТвО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 158. Л. 8 – 17.

[2] ГАТвО. Ф. 21. Оп. 1. Д. 2904. Л. 17 – 39.

[3] ГАТвО. Ф. 21. Оп. 1. Д. 378. Л. 21 – 27.

ды. Из этой неоднократно отвергнутой «восьмерки» в итоге удалось выбрать лишь пятерых.[1]

Эти факты, число которых не исчерпывается приведенными примерами, демонстрируют стремление выборных лиц во главе с головой заставить нести общественную службу упомянутых купцов. Такую настойчивость городской верхушки можно интерпретировать в пользу устоявшегося взгляда на непопулярность среди городского гражданства выборных служб, а следовательно, и всего городского самоуправления. Но данное объяснение страдает очевидной неполнотой. Она сосредоточивает все внимание на деятельности городской выборной верхушки, но игнорирует позицию выборщиков. Последние не соглашались доверить некоторым навязываемым кандидатам ответственные должности в городском самоуправлении, вероятно, сомневаясь в их способности принести реальную пользу городу и своим согражданам.

Ходатайства горожан к коронным властям, в которых выражалось недоверие к деятельности отдельных выборных лиц, имели место не только в Твери, Осташкове или Серпухове, но и в других городах Московской и Тверской губерний. Как правило, поводом для них служили притеснения горожан и финансовые злоупотребления со стороны лиц, возглавлявших самоуправление. Нередки были жалобы на избрание в обременительную службу «не в очередь», на нежелание местных властей учесть семейное и материальное положение просителя. Иногда поводом для обращений к власти становились и личные качества деятелей местного самоуправления, их отношение к рядовым горожанам. Так, в 1811 г. осташковское городское общество даже обратилось с прошением в Тверское губернское правление об увольнении от должности ратмана Мосягина, который «усмотрен в нерасположении к гражданам, от коего защиты и попечения никакого нет».[2] Это ходатайство было оставлено властями без удовлетворения, а магистрату губернским правлением сделан выговор «за недолжное представление» о приговоре

---

1 ГАТвО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 158. Л. 56 – 58.

2 ГАТвО. Ф. 1048. Оп. 1. Д. 440. Л. 20.

общества. Подобные прецеденты укрепляли у горожан убежденность в том, что лучше забаллотировать сомнительного, асоциально настроенного кандидата на одну из классных должностей, чем потом страдать от его злоупотреблений своим должностным положением.

Если выборное лицо служило не на классной должности, то о его досрочном смещении городские власти могли и не запрашивать губернскую администрацию. О том, как такие вопросы решались в Твери, свидетельствует рапорт городового старосты тверской думе от 15 июля 1799 г. В этом документе сообщается о получении указа думы 15 июля 1799 г. об избрании на должность квартального надзирателя – вместо «неисправно» исполняющего ее Степана Ненасьина – другого человека, «способного из здешнего гражданства». В тот же день «тверское гражданство» в присутствии городского головы М.Е. Блохина выбрали сына уволенного – Павла.[1] Подобная оперативность решения вопроса: получение указа и проведение выборов в тот же день – была возможной благодаря тому, что о перевыборах не оповещали горожан, а созывали собрание из заседателей думы и еще каких-то граждан, вероятно, служивших по выборам, и, возможно, случайных посетителей, которые находились в тот момент в доме градского общества по своим надобностям. Легитимность такому собранию в глазах горожан придавало участие в нем городского головы, в обязанности которого, напомним, входило председательствовать на выборах.

Утверждение губернским правлением итогов выборов было важным актом легитимации должностных лиц самоуправления и одновременно – коммуникации городской общины («городского гражданства») и имперской власти, представленной наместником или губернатором. По закону право губернаторов вмешаться в ход выборов сводилось к утверждению в должности победивших кандидатов. Однако в конце XVIII – начале XIX вв. отдельные губернаторы игнорировали закон и активно влияли на проведение выборов, прежде всего дворянских. Поэтому Александр I в августе 1802 г. катего-

---

1 ГАТвО. Ф. 21.Оп. 1. Д. 20. Л. 24.

рически запретил какое-либо вмешательство губернаторов в ход дворянских и гражданских выборов, а также отклонение по каким-нибудь причинам, кроме оговоренных в законе, избранных лиц.[1] Губернатор – «хозяин губернии» (именно так он именовался в законодательстве) – как правило, оперативно рассматривал итоги состоявшихся выборов. На практике губернаторы редко отклоняли выборных лиц. Обычно не более 1 – 2 человек по городу, но могли быть и исключения. Так, тверской гражданский губернатор уведомил градского голову 9 января 1815 г., что не может утвердить в должности заседателя уголовной палаты Вагина, гласного думы Нечаева, бургомистра Тетяева и ратмана Аваева, как находившихся ранее под судом за упущения по должности.[2]

Губернские чиновники при утверждении итогов выборов порой проявляли явный произвол. Так, в Барнауле, избранных в декабре 1810 г. С. Мушникова в бургомистры и А. Белоголова в ратманы, горное начальство отказалось утвердить. Первый был признан старым (56 лет), а второй неугодным, ибо ранее он совершал «неблаговидные против начальства поступки».[3] Впрочем, подобные слабо мотивированные отказы во многом определялись спецификой органов городского самоуправления на Алтае. Проживавшие там купцы и мещане с августа 1800 г. по март 1824 г. были объединены в одну посадскую общину, подчинявшуюся горному начальству.

Законным же поводом для отклонения выбранных лиц была в первую очередь судимость. При этом презумпция невиновности граждан отнюдь не служила краеугольным камнем для вынесения губернскими чиновниками своих вердиктов. В частности, в 1855 г. не был утвержден головою Сергиевского посада купец Шапошников, как бывший неоднократно под судом и оставшийся «по некоторым делам в сильном подозрении...».[4] Казус Шапошникова позволяет говорить о том, что в Московской губернии, бытовала практика непризнания губернскими властями итогов выборов небла-

[1] ПСЗ-I. Т. XXVII. № 20372.

[2] ГАТвО. Ф. 21. Оп. 1. Д. 181. Л. 51.

[3] ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 441. Л. 116 – 116 об.

[4] ЦИАМ. Ф. 16. Оп. 45. Д. 164. Л. 2 об.

гонадежных лиц не только по приговору суда, но и на основе выдвинутых против человека недоказанных обвинений.

Другой распространенный мотив отказа в утверждении избранных – отсутствие недвижимой собственности. Этими нарушениями грешили в уездных городах Московской губернии после войны 1812 г. Объяснить это можно не только законодательными оговорками, допускавшими к участию в выборах лиц, которые не имели капиталов. Более существенная причина – последствия Отечественной войны 1812 г., в ходе которой многие города Московской губернии катастрофически пострадали от пожаров. Поэтому в протоколе о баллотировании против фамилий кандидатов в графе о наличии собственности в городе нередко стоят отметки: «не имеет» или «имеет место под застройку». В Можайске, например, в декабре 1815 г. каждый четвертый, баллотировавшийся в городские службы, не имел недвижимой собственности, а владел лишь «усадебным местом».[1]

Еще одна проблема, с которой сталкивались городские общества при утверждении губернской властью выбранных ими лиц, – нераздельность купеческих капиталов – также отчасти связана с крайне неблагоприятными экономическими последствиями войны. Взрослые «купеческие сыновья», «купеческие внуки» и «купеческие братья» – все эти категории официально рассматривались как «безкапитальные» и, следовательно, неправоспособные в сфере самоуправления. Например, московский гражданский губернатор Е.А. Дурасов 2 января 1822 г. отклонил сразу 4-х избранных по г. Серпухову, которых «как безкапитальных за силою закона я утвердить не могу, если общество не удостоит меня особым представлением, что отцы их будут ответствовать за них всем имением...», – писал он городскому голове.[2] Эту проблему в Коломне пытались обойти, используя в реестре избранных на городские службы на трехлетие с 1816 г. формулировку: «отец его собственность имеет, а он при отце сын».[3] Но подобная трактовка закона не разделялась московскими

1 ЦИАМ. Ф. 17. Оп. 1. Д. 1217. Л. 2 об. – 4.

2 ЦИАМ. Ф. 17. Оп. 1. Д. 6743. Л. 6 – 6 об.

3 ЦИАМ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 126. Л. 12 и др.

чиновниками, допускавшими к должностям выборных лиц лишь в случае, если их отцы, деды или матери-вдовы давали обязательство отвечать всем имуществом за возможные упущения по службе своих детей.

Как относились главы купеческих фамилий к избранию в городские службы невыделенных членов семьи? Рассмотрим ситуацию с серпуховскими купеческими «детьми», избранными в декабре 1821 г. За ратмана магистрата, 39-летнего купеческого внука Федора Воронина, согласился отвечать имением его дед, а за гласного думы 46-летнего Ефима Улитина – отец. Отцы Григория Фирсанова (31 года) и Василия Костякова (40 лет), избранных в городовые старосты и депутаты квартирной комиссии, напротив, «ответствовать не согласились». В своем рапорте губернатору от 26 января 1822 г. городской голова Остапов жаловался на отца Костякова, так как тот сыну «доверенность навсегда давал входить во все подряды и торговые промыслы и *по выбору общественному прежде сего городовым старостою имел служение...*» (курсив мой – *А.К.*).[1] Таким образом, даже отношение одного и того же главы купеческой семьи к общественной службе сына могло изменяться в зависимости от конкретных жизненных и предпринимательских обстоятельств.

Спустя три года, 3 января 1825 г., серпуховские граждане вновь вошли в конфликт с избирательным законом. Губернатор и в этот раз не утвердил всех 4 купецких детей «как безкапитальных». Отец 51-летнего Николая Плотникова сразу же после выборов подал прошение на имя губернатора, в котором писал, что сын баллотирован «без воли его, и что он никакого доверия ему не делает». Этим заявлением вопрос о службе Плотникова был закрыт. Трое других «детей» могли быть допущены к должностям при условии ручательства за них родителями. Однако их матери отказались отвечать своим имением за сыновей, избранных в службы.[2] Было бы ошибочно интерпретировать эти отказы родителей (в том числе трех матерей) как свидетельство бесправного поло-

---

1 ЦИАМ. Ф. 17. Оп. 1. Д. 6743. Л. 8 – 9.

2 ЦИАМ. Ф. 1036. Оп. 1. Д. 326. Л. 40 – 41, 42 – 42 об.

жения взрослых сыновей в купеческих семьях. Речь идет об обычной практике уклонения от службы по выборам. К такой тактике прибегали в Серпухове и раньше, в том числе, как отмечалось выше, и на предыдущих городских выборах.

Разумеется, такое поведение вызывало неприязненное отношение других горожан. Не всегда оно приводило и к цели. Против практики укрывательства зрелых мужей за старческой спиной главы семьи серпуховские «отцы города» придумали простой, но достаточно эффективный метод борьбы. Когда в 1825 г. серпуховские граждане вынуждены были проводить новые выборы на места из-за отклонения избранных кандидатов, 80-летний В.В. Плотников был почти единодушно избран в депутаты для смотрения за торговлей. При этом, чтобы у губернских властей не возникало сомнений в справедливости выбора столь пожилого человека к должности, в баллотировочном списке указано, что у него 3 сына и 2 взрослых внука. Этот метод борьбы с уклонистами от городской службы не работал лишь в том случае, если главой купеческой семьи была вдова.

Иной, редкий путь освобождения от службы избрал мещанин Петр Серебреников. В своем прошении он писал, что был избран вопреки приговору мещанского общества 1821 г. об освобождении его на восемь лет от службы за пожертвование обществу 500 руб. Губернатор, освободив Серебреникова от обязанностей гласного думы, поставил мещанскому обществу на вид, напомнив, что по закону денег за увольнение мещан от выборов «брать отнюдь не должно».[1]

В результате увольнения губернатором купцов и мещан, избранных в декабре 1824 г. на должности в органы самоуправления, в Серпухове пришлось провести дополнительные выборы в 5 различных учреждений, в которые баллотировалось 14 человек. При этом горожане не вполне вняли замечаниям губернской власти, выдвинув в гласные думы 3-й гильдии купеческого сына И.С. Щенкова, а в депутаты квартирной комиссии все того же 3-й гильдии купеческого сына В.С. Костякова. Правда, ранее они оба уже служили в органах самоуправле-

[1] Там же. Л. 40 об. – 41.

ния. Вероятно, наученные опытом «отцы города» не уповали лишь на это обстоятельство, но предварительно заручились согласием родителя последнего, чтобы не усугублять ситуацию. Что же касается Щенкова, то он ни в каком ручательстве, по мнению граждан, не нуждался, ибо вместе с братьями был совладельцем деревянного дома на каменном фундаменте.[1]

Впрочем, граждане Серпухова и на выборах 1828 г. в число 40 баллотированных на различные должности включили не только 6 купеческих «детей», но и двух горожан, у которых не было недвижимости.[2]

Правительство продолжало противиться расширению социальной базы граждан, обладавших правом быть избранными в органы самоуправления, вплоть до 1860 г., когда император утвердил мнение Госсовета «О разрешении выбирать в городские общественные должности членов купеческих семейств».[3] Этим актом было удовлетворено давнее чаяние жителей многих уездных городов о праве избирать в службы по выборам купеческих братьев, детей, внуков и племянников вне зависимости от наличия у них капитала. Ответственность за эту многочисленную группу лиц, не имевших собственных объявленных капиталов, возлагалась на «начальников семейств» или само общество.

Конфессиональный фактор городских выборов

Конфессиональная принадлежность горожан, которая не играла особой роли в 1780-х – 1810-х гг., актуализировалась после указа 27 мая 1820 г. Правительство, стремясь сосредоточить все городское самоуправление в руках лиц, безусловно лояльных существующему строю, этим указом резко ограничило роль старообрядцев в общественной жизни. Отныне избрание старообрядцев на выборные службы допускалось лишь при «весьма ограниченном» числе прихожан государ-

1 Там же. Л. 131 – 133.

2 ЦИАМ. Ф. 1036. Оп. 1. Д. 373. Л. 83об. – 84, 121 об. – 130 об.

3 ПСЗ-II. Т. XXXV. № 35955.

ственной церкви.[1] На местах с исполнением этого указа явно не спешили. Так, в Тобольской губернии указ начали осуществлять лишь в феврале 1829 г. Характерно, что тобольское общее губернское управление было против удаления от должности городского головы Тюмени купца И. Бурнашева. Аргументировали чиновники свою позицию тем, что в случае отстранения от должности головы и других выбранных лиц можно «глубоко оскорбить заблуждающихся в вере, класс народа в здешнем крае довольно значительный, и пробудить тем ненависть к правительству...»[2] Генерал-губернатор Западной Сибири с этим мнением согласился, но повелел на следующих выборах придерживаться указа 27 мая 1820 г.[3]

В некоторых уездных городах Московской губернии также игнорировали запрет избирать старообрядцев на престижные («почетные») должности в местном самоуправлении. Так, в крупнейшем уездном городе Московской губернии – Коломне в декабре 1830 г. городским головой был избран старообрядец, купец Коробов. Власти с подачи митрополита Филарета этот выбор не утвердили.[4] Однако этот пример не произвел на горожан Московской губернии особого впечатления. Во многом потому, что это кулуарное решение просто не было им известно. Но случались и более сложные коллизии, которые нельзя объяснить незнанием закона. На следующих выборах, через три года, градским головой Воскресенского посада был избран купец 1-й гильдии, старообрядец, приемлющий священство, Николай Царский. Губернские власти, руководствуясь законом, его не утвердили. Тогда купец подал жалобу в Сенат. И Сенату неожиданно пришлось решать непростую дилемму. В ходе сенатских слушаний выяснилось, что в городе всего три купеческих капитала: один – женский, второй принадлежал бывшему вольноотпущенному, не имевшему в Воскресенском посаде ни собственности, ни постоянного проживания. В этих условиях назначать новые выборы городского головы было бессмысленно – из-

1 Собрание постановлений по части раскола. СПб., 1858. С. 66 – 67.

2 ГАОО. Ф. 3. Оп. 13. Д. 17860. Л. 1 об. – 2.

3 Там же. Л. 4.

4 ЦИАМ. Ф. 54. Оп. 12. Д. 1582. Л. 4.

бирать можно было только из мещан. Исходя из городских реалий и отклонив по конфессиональным причинам Н. Царского, губернские власти повелели привести к должности кандидата городского головы – мещанина Звягина. По мнению же Сената, такое решение противоречило положению о гильдиях, утвержденному 14. XI. 1824 г., ибо должности городских голов предоставлены одному купечеству. Оказавшись перед выбором: что важнее – сословный статус или конфессиональная принадлежность, – Сенат предпочел богатого купца-старообрядца православному мещанину.[1]

В дальнейшем, в годы правления Николая I, правительство не раз издавало указы и рассылало циркуляры, в которых напоминало о необходимости неукоснительно соблюдать «правила» 1820 г. о выборах раскольников в общественные должности или уточняло, на какие именно должности можно избирать раскольников.[2] Каким же был результат политики вытеснения правительством «раскольников» из городского самоуправления? О том, что граждане ряда городов Центра и Западной Сибири в своей практике фактически игнорировали указы, повеления и циркуляры, ограничивавшие избирательные права старообрядцев, свидетельствуют и приведенные данные по Коломне и Воскресенску, и тексты самих циркуляров, в которых прямо сообщалось о нарушениях законов, направленных к снижению роли старообрядцев в делах городского управления.

Позиция губернских властей по данному вопросу могла весьма существенно различаться. Так, губернское правление Московской губернии отклонило кандидатуру купца Царского, а в 1845 г. аналогичный орган Тверской губернии признал легитимными итоги выборов в Ржеве. Там городским головой был избран почти единодушно (177 «за», «против» – 2) коммерции советник, купец первой гильдии В.В. Образцов. Прежний городской голова и гласные думы хорошо понимали, что избрание старообрядца городским головою прямо противоречит законам, поэтому заручились отзывом ржев-

1 ЦИАМ. Ф. 54. Оп. 12. Д. 1660. Л. 10 об. – 22.

2 Собрание постановлений по части раскола. С. 126, 178 – 179, 187 – 188, 364 – 366.

ского городничего о вероисповедании Образцова, который приложили к рапорту думы в губернское правление об итогах выбора градского головы. Из-под пера городничего Исупова вышел трогательный образ тяготящегося своим положением человека, вероятно, тайно исповедующего православие: «со всею вероятностию можно заключить, что привержен к православию и, можно думать, что исполняет таинство православной церкви, но производит это в бытность его ежегодно в С. Петербурге, а не во Ржеве, где живут постоянно уважаемые им родственники».[1] Губернские чиновники и сами осознавали, что более авторитетную кандидатуру на должность городского головы в Ржеве найти невозможно. Поэтому губернское правление, приведя в журнале ссылки на законы (которые для Ржева были совершенно неуместны, так как в городе было достаточно и православных купцов) утвердило «тайного православного» в должности.[2]

Между тем вскоре губернатор обеспокоился возможной негативной реакцией в Петербурге на утверждение городским головой старообрядца. Для начала губернские власти запросили объяснение у благочинного ржевских церквей протоиерея Измайлова, который подтвердил, что в 1844 г. он действительно присоединил к православию Образцова. Ржевский купец, однако, присоединился на условии, что он, «в избежание разрыва по коммерческим оборотам с ржевскими старообрядцами и из опасения нарушить родственные связи и семейное спокойствие, от чего совершенно зависит его благосостояние, христианские обязанности будет исполнять только собственнолично и притом вне г. Ржева».[3] Полученная информация вносила успокоение насчет конфессиональной благонадежности городского головы, но внешне-то ситуация выглядела по-прежнему. Во главе города, вопреки законам, стоит старовер! Осознание этого факта озадачило губернатора, поэтому он и инициировал 21 марта 1845 г. в переписке с министром внутренних дел вопрос о том, может ли Образцов как тайный православный оставаться на посту городского

1 АТвО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 11414. Л. 3.

2 Там же. Л. 4 об. – 5.

3 Там же. Л. 34.

головы? Спустя месяц министр поручал губернатору объяснить Образцову, что его присоединение к православной церкви «не имеет той гласности, которая необходима, дабы быть градским главою, и что он может продолжать настоящую службу в таком только случае, если будет исполнять обряды Православия в г. Ржеве».[1] Оказавшись перед непростой дилеммой, Образцов выбрал кресло и мундир городского головы. Впрочем, возможно, его переход в православие уже не был тайной. Если раньше об этом никто из светских лиц, вероятно, не знал, даже городничий мог только догадываться, то в результате «секретной переписки» в курсе дела оказался довольно широкий круг людей: все заседатели и секретарь думы, чиновники губернского правления – от губернатора до канцеляриста, переписывавшего бумаги.

Давление на Образцова было составной частью кампании тверской губернской администрации против влияния раскола на городское самоуправление. Свой главный удар чиновники направили против ржевских старообрядцев. При этом православные граждане были, мягко говоря, не в восторге от политики вытеснения старообрядцев с выборных должностей. Превосходно отношение торгово-предпринимательских кругов города, да и более широкого круга граждан, выявилось вокруг утверждения итогов выборов на трехлетие с 1845 г. Граждане единодушно (177-ю голосами против 2-х) оказали доверие Образцову и избрали на классные должности нескольких других старообрядцев. Возможно, они ничего и не знали о новой политике правительства в отношении старообрядцев. Об этом косвенно свидетельствует прошение купца 2-й гильдии Василия Акимова Ваулина-Чупятова об освобождении его сына от обязанностей ратмана, поданное в феврале 1845 г. Если бы Ваулин-Чупятов знал о начавшемся вытеснении старообрядцев из управления городом, ему не было бы никакой необходимости подавать свое ходатайство с трогательной мотивацией: «Имея от роду 74 года и при престарелых летах моих слаб силами и не могу лицом своим продолжать коммерцию, веками мною и предками моими

---

[1] Там же. Л. 57 – 57 об.

производимую, и потому, естли сын мой примет обязанность ратмана, то коммерция моя должна будет остановиться...» В прошении содержится довольно много ненужной в новых условиях информации, способной, по мнению просителя, повлиять на решение губернатора, а ключевое идентифицирующее слово для сына и внука – «старообрядцы» дописано в прошении над строкой сверху другими чернилами, вероятно, по совету «заинтересованного» чиновника губернского правления.[1]

Принадлежность к старообрядцам помогла Ваулину-Чупятову решить вопрос в свою пользу. Но еще на стадии подачи прошения о нем стало известно городскому голове и другим лицам. 1 марта 1845 г. 15 представителей городской верхушки письменно обратились к губернатору с критикой аргументов Ваулина-Чупятова и просили губернатора его «отзыв отринуть»: «Избрание его последовало в первый раз, и служба его не отяготительна; но уклонение его от оной обществу весьма неприятно, потому более, чтоб не дать повода и другим к подобному уклонению на будущее время в таком случае».[2] Аналогичная мотивация была и в рапорте губернскому правлению бывшего городского головы Немилова от 28 февраля 1845 г., который завершил свои рассуждения сентенцией: «... все вообще купцы и мещане имеют свои торги и занятия, но возлагаемые на них по выбору градского общества должности принимают беспрепятственно!»[3] Характерно, что ни в рапорте бывшего головы, ни в письме 15 граждан нет никаких упоминаний о старообрядцах вообще, хотя они могли бы справедливо утверждать, что последние принадлежат к лучшим в городе гражданам и традиционно отправляют классные службы. Отсутствие подобной аргументации – несомненное свидетельство того, что граждане еще оставались в неведении о новом наступлении власти на позиции старообрядцев в обществе.

Власть не спешила разъяснить гражданам свою новую политику, а просто освободила В.В. Ваулина-Чупятова от

1 ГАТвО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 11414. Л. 21 – 21 об.

2 Там же. Л. 25 – 26.

3 Там же. Л. 24.

должности, утвердив на его место купца Ивана Комолова (Камолова). Такое решение губернского начальства вызвало недовольство последнего, его поддержали и многие другие купцы. В апреле 1845 г. министр внутренних дел получил жалобу 76 ржевских купцов на неправильное решение губернского правления по делу Ваулина-Чупятова. Однако вердикт министра гласил: «Принимая в соображение, что существующими касательно раскольников узаконениями постановлено, чтобы в присутственных местах, составляемых посредством городских выборов, число православных членов было в каждом больше нежели раскольников, если по ограниченному числу православных нельзя составить из них целого присутствия, и чтобы в особенности старшие члены магистратов были из православных или единоверцев, я нахожу, что Тверское губернское правление правильно утвердило... Комолова, ... не допустив к этой должности двух старших кандидатов – купцов Ваулина-Чупятова и Чупятова-Брагина, состоящих в расколе...»[1]

Тюменские граждане попытались добиться от государства если не отмены законов, дискриминирующих гражданские права старообрядцев, то изъятия своего города из сферы их действия. В своих требованиях купцы независимо от конфессиональной принадлежности были едины. 18 мая 1832 г. городское общество составило приговор, в котором просило вернуть старообрядцам право занимать «классные общественные службы». В приговоре отмечалось, что эти должности в Тюмени почти всегда отправляют старообрядцы, которые «есть лучшие в городе и обществе люди...»[2] Правительство, руководствуясь целью ограничить влияние раскола в жизни общества, отклонило ходатайство тюменских граждан.

Следует отметить, что не во всех городах Центра, где старообрядческие общины были многочисленны, городская верхушка была едина и занимала такую же позицию, как в Тюмени. Бытовали и прямо противоположные практики. Конфессиональные конфликты, столь редкие в русском до-

---

1 Там же. Л. 75 об.

2 ГАОО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1084. Л. 3 об. – 4, 6.

реформенном городе, в редких случаях отражались на представлениях о том, кто из горожан имеет право участвовать в общественных собраниях и избираться в органы власти. Борьба за влияние в городском самоуправлении между православными и старообрядцами в наибольшей мере развернулась в Ржеве в 1857 г., где еще 12 лет назад граждане единодушно избрали старообрядца городским головой. Поводом для конфликта прихожан официальной церкви и старообрядцев послужили отнюдь не очередные выборы, а вопрос о строительстве моста. Однако это был лишь предлог для открытого выступления («буйства»), истинные причины которого коренились в передаче единоверцам старообрядческого молельного дома в феврале того же года. Об этом событии даже довели до сведения императора «во всеподданнейших ведомостях о происшествиях по империи с 6 по 13 июля 1857 г.». 5 июля собрание, на котором решался вопрос о строительстве нового моста, несмотря на усилия городничего и городского головы, старообрядцы сорвали. На следующий день ржевская городская дума донесла тверскому губернатору о происшествии. Дума, отметив, что вместе с толпой из зала ушли и служащие по городским выборам раскольники, во избежание в будущем беспорядков спрашивала разрешения у губернатора о недопущении раскольников в собрания, предоставив рассуждать о делах только православным, «коих в г. Ржеве купцов и мещан более половины...»[1]

Разумеется, губернатор не мог пойти на такую дискриминационную меру и лишить вопреки закону половину граждан права участвовать в общественных собраниях. Следует отметить, что для Ржева стремление устранить конкурентов с помощью обвинений в расколе имело весьма давнюю – столетнюю – традицию. В частности, историк А.А. Кизеветтер сообщал о донесении группы ржевских купцов, жаловавшихся на практику исключения из числа участников сходов «первостатейных людей под предлогом принадлежности их к расколу».[2]

1 ГАРФ. Ф. 109. 4 экспедиция, 1857 г. Д. 195. Л. 5, 32.

2 *Кизеветтер А.А.* Посадская община в России XVIII столетия. М., 1903. С. 782, прим.

Избирательные практики в старом русском городе

Желающие занять должность городского головы прибегали к разнообразным способам влияния на избирателей. Среди них были, например, такие меры, как подбор коллегии выборщиков из наиболее надежных избирателей: родственников, знакомых или бедных мещан, так или иначе зависимых от кандидата. Разумеется, не забывали и о создании благоприятного общественного мнения о претенденте на должность городского головы. Достигался благоприятный имидж различными путями: пожертвованиями на общественные нужды или в пользу церкви, помощью бедным, уплатой недоимок за несостоятельных граждан, покровительством губернского или духовного начальства.

Самым простым и надежным способом обеспечить успех кандидатам, угодным действующему городскому голове, было формирование корпуса выборщиков. Из-за несовершенства законодательства о городских выборах у городского головы и членов думы открывались большие возможности для злоупотреблений своим должностным положением при формировании избирательного списка. «Правильный» подбор избирателей обеспечивал успех кампании. Так, в январе 1822 г. служащие в коломенском магистрате бургомистры Иван Селивановский, Захар Колесников и ратманы Петр Тупицын и Шапошников подали жалобу московскому военному генерал-губернатору, князю Д.В. Голицыну, на действия бывшего городского головы Наума Шевлягина. Они обвиняли голову в серьезных нарушениях закона о выборах. Во-первых, Шевлягин не запросил магистрат «о состоящих в нем по делам из купцов под судом и под следствием»; во-вторых, начал готовиться к выборам «совсем не так, как в законе о таковых выборах предначертано, разослал ярлыки таким людям, которые б поддерживали его намерение на сей выбор, им уже тайно положенное»; в-третьих, удалил из числа присутствующих на собрании купца 2-ой гильдии А.М. Коротаева как находящегося под судом; в-четвертых, добился избрания бургомистром С. И. Попова, который обвинялся сразу по

нескольким уголовным делам, хотя бургомистр Колесников и ратман Шустов ему об этом говорили. Наконец, голова отказался составить общественный приговор об оскорблении, нанесенном Поповым Колесникову и Шустову.[1]

Отвечая перед следователем на эти обвинения, Шевлягин легко парировал вопрос: «Всем ли купцам и мещанам были разосланы ярлыки с приглашением в собрание?» Он заявил, что все исполнено «по заведенному с давних лет порядку» и приглашены были «из числа лучших в обществе лиц, более находящихся в городе на лицо. Повещать же и *приглашать к выбору всех купцов и мещан дума сочла затруднительным*, ибо не имеет места, где их поместить, да и сверх того при прежних выборах более сего числа присутствующих не бывало» (курсив мой – *А.К.*).[2]

Некоторые кандидаты не брезговали и прямым подкупом избирателей, организуя бесплатные застолья. Вот что писал об этом в докладной записке от 7 мая 1851 г. на имя московского генерал-губернатора А.А. Закревского статский советник Трубецкой, посланный для расследования злоупотреблений дмитровского городского головы Е.А. Немкова: «Узнал я также, что Немков, 15 лет постоянно избираемый в городские головы, употребляет для достижения сей цели средства непозволительные: перед выборами он в собственном трактире бесплатно кормит и поит многих людей, которые в нетрезвом виде избирают на свою погибель человека, коего они проклинают, когда очнутся от винных паров».[3]

Аналогичные предвыборные «мероприятия» применялись и в другом уездном городе Московской губернии – Подольске. Старший чиновник особых поручений при московском гражданском губернаторе Н.П. Синельникове – Янкевич обнаружил при ревизии подольской городской думы в 1856 г. многочисленные недостатки в «делопроизводстве». Попутно он вскрыл и механизмы предвыборной борьбы тамошнего городского головы Аллилуева. Чиновник оценил избирательную тактику городского головы как весьма эффективную.

1 ЦИАМ. Ф. 54. Оп. 175. Д. 558. Л. 7 – 7 об., 66 – 66 об.
2 Там же. Л. 29 об.
3 ЦИАМ. Ф. 16. Оп. 41. Д. 112. Л. 14 об. – 15.

«Впрочем, как в прежние выборы, так и в будущие, вероятно, будет избран Аллилуев, если не постигнет заслуженная им участь его предшественника, преданного Уголовному суду, – доносил ревизор губернатору. – Причина же его избрания собственно то, что честные и благомыслящие граждане даже не являются на выборы, опасаясь быть избранными, а следовательно, отвлеченными от торговых занятий, а Аллилуев, имея личную выгоду быть головою, подбирает партию из оборванной подольской челяди, которую накануне кормит и особенно поит на свой счет во всех подольских харчевнях, а в благодарность такие обыватели и выбирают его в головы».[1]

Поведение сторонников Аллилуева выглядит в изложении московского чиновника более рациональным и мотивированным, чем у жителей Дмитрова, опускавших шары за Немкова. Благодарность Аллилуева не ограничивалась бесплатными предвыборными обедами с обильным угощением водкой. Она имела и более долгосрочную материальную выгоду для его малоимущих избирателей. В ходе ревизии обнаружилось, что реестр мещан, имевших податную задолженность, в значительной части совпадал со списком избирателей, приглашенных на выборы городского головы. Признательный голова не взыскивал недоимки с преданных ему горожан.[2]

Впрочем, в арсенале у городских голов были и репрессивные методы воздействия на неблагонадежных мещан и даже купцов. Способы эти были довольно разнообразны: от закрытия лавки под каким-нибудь благовидным предлогом до включения вне очереди неугодного мещанского семейства в число подлежащих поставке рекрута. Подобная практика бытовала и в некоторых уездных городах Тверской губернии. «Из особенностей общественного быта заметить нужно то, – свидетельствовал о Торжке в 1849 г. священник Иовлев, – что выборы в градские должности по большей части бывают безправильны. В следствие сего у людей богатых бывают капризы и враждебное духу христианства злопамятство».[3]

1 ЦИАМ. Ф. 54. Оп. 177. Д. 995. Л. 4 об. – 5.

2 Там же. Л. 3 об. – 4.

3 АРГО. Р. 41. Д. 30. Л. 4.

В число же неблагонадежных могли попасть не только сторонники противоборствующей «партии», но и любые лица, решавшиеся при обсуждении каких-либо городских вопросов высказывать мнение, отличное от предложений градского главы. Священник В.Знаменский в 1849 г. писал о нравах, царивших на городских собраниях г. Крапивны Тульской губернии: «... если кто-либо из обывателей предлагает свое мнение, не согласное с мнением головы, тому замечают, что у него борода только велика, а ума мало. На будущее время таковой уже готовься в какую-либо должность, наприм[ер], в сборщики податей или еще затруднительнее...».[1]

В целом же несовершенство законодательства, дававшее возможность городским головам неограниченно влиять на формирование состава выборщиков, вызывало обеспокоенность и у чиновников, и у отдельных деятелей городского самоуправления. С конца 1850-х гг. эта проблема стала предметом публичного обсуждения и на страницах газет. В частности, в 1859 г. в «Московских ведомостях» автор, скрывшийся под инициалами, критиковал практику приглашения главами некоторых городов на избирательные собрания городского плебса, подкупленного ими. В качестве эффективной меры борьбы с этим явлением предлагалось введение имущественного ценза, необходимого для участия в выборах.[2]

Институт церковных старост и общественная служба

Церковные старосты появилась еще в Средневековье. Их место в жизни прихода претерпело определенные изменения в XVII – начале XVIII в. М.М. Богословский, исследовавший «земское самоуправление» на русском севере, пришел к выводу, что в конце XVII в. «церковный староста получает значение уполномоченного епархиальной власти, а не приходского мира».[3] Изучая сибирские материалы, Н.Д. Зольникова пришла к аналогичным выводам и писала, что вме-

---

1 АРГО. Р.42. Д. 29. Л.7 об.

2 *Б.В-п.* О необходимости ценза в городских выборах // Московские ведомости. 1859. № 113. С. 849 – 850.

3 *Богословский М.М.* Земское самоуправление на русском севере в XVII в. Т. 2. М., 1912. С. 52.

шательство церковных властей в дела прихода «постепенно уничтожило роль приходской церкви как одного из центров мирской жизни».[1] После реформирования городского и сословного управления по Жалованной грамоте городам 1785 г. должность церковного старосты оказалась в зоне конфликта интересов духовной власти и выборного общественного управления. В некоторых городах пост церковного старосты считался престижным и время от времени за него разворачивалась нешуточная борьба. Для современного читателя, незнакомого со многими реалиями дореформенного русского города, включение избрания прихожанами церковного старосты в общий контекст выборов в городское самоуправление может вызвать недоумение. Однако в рассматриваемое время именно так и обстояло дело. В 1808 г. с целью поднять престиж института церковных старост по докладу Синода царь уравнял его с другими службами по выборам, освободив дома церковных старост от постоя.[2] Указ 17 апреля 1808 г. не решил, а лишь обострил проблемы, связанные с введением должности церковного старосты в номенклатуру городского самоуправления. Оставим в стороне недовольство со стороны клира тем обстоятельством, что этот указ сделал затруднительным избрание на эту должность дворян, чиновников и вообще лиц, не принадлежащих к купцам и мещанам. Важнее другое: по мнению граждан, этот указ открывал «лазейки» для недобросовестных купцов, которые предпочитали быть церковными старостами, только бы не служить в самоуправлении. Уже в 1814 г. московское купеческое общество просило передать выбор церковных старост самому купечеству, исходя из того, что «многие из лучших купцов уклоняются от общественных должностей».[3] С аналогичным ходатайством выступило и Санкт-Петербургское купеческое общество, предлагая не утверждать в старосты тех, у которых очередь

---

1 *Зольникова Н.Д.* Делопроизводственные материалы о церковном строительстве как источник по истории приходской общины Сибири (начало XVIII – конец 60-х гг. XVIII в.) // Рукописная традиция XVI – XIX вв. на востоке России. Новосибирск, 1983. С. 102.

2 ПСЗ-I. Т. 30. № 22971.

3 РГИА. Ф. 797. Оп. 2. Д. 5112. Л. 1 – 1 об.

нести общественную службу.[1] С купечеством двух столиц были солидарны и многие деятели городского самоуправления в провинции. Один из них, воронежский городской глава Петр Титов, 12 декабря 1816 г. в донесении обер-прокурору Синода А.Д. Голицыну подверг указ 17 апреля 1808 г. и практику его применения резкой и аргументированной критике. Он писал, что многие богатые купцы «выбираются к таким церквам, где всего годового дохода от ста до двухсот рублей.., но и тут не занимаясь сами почти никогда сею должностию, а нанимают за самую малую плату быть при ящиках [для сбора пожертвований] из отставных солдат и другого звания людей...».[2] Эти же проблемы волновали и деятелей городского самоуправления в уездных городах Московской губернии. Поэтому 2-го и 30 декабря 1826 г. можайский городской голова просил московского гражданского губернатора Г.М. Безобразова запретить практику избрания церковных старост до проведения выборов на трехлетние службы в городском самоуправлении. Губернатор согласился с таким подходом и в январе 1827 г. ходатайствовал перед министром внутренних дел о принятии предложения можайского головы.[3]

И все же институт церковных старост в городах Центра так и не превратился во второстепенную службу городского самоуправления. Должность соборного старосты, а в малолюдных городах, где было обычно от одного до трех храмов, и должность приходского старосты считались весьма престижными. Поэтому среди желающих стать церковным старостой иногда завязывалась нешуточная борьба. О такой борьбе купеческих «партий» красочно рассказывает в своих воспоминаниях протоиерей С.С. Модестов, служивший в подмосковном Клину с 1857 г.

Молодой священник оказался помимо своей воли отчасти вовлечен в конфликт вокруг выборов церковного старосты. На эту должность накануне выборов, которые также проводились раз в три года, оказалось два претендента – Арсений Степанович Воронков (тогдашний староста) и Проко-

1 Там же. Л. 30.

2 Там же. Л. 16 – 17 об.

3 ЦИАМ. Ф. 17. Оп. 1. Д. 9338. Л. 1 – 5 об.

пий Осипович Истомин. Готовясь к выборам, оба кандидата вербовали своих сторонников. У Истомина были серьезные козыри: поддержка городского головы Николая Александровича Кудрявцева, желание причта, прежнее его «искреннее участие в делах церковных». На выборах, «обыкновенно в то время проводившихся в городской думе», Кудрявцев как городской голова «старался помешать» избранию Воронкова и агитировал за его оппонента. Но «административный ресурс» не помог – в собрании «произошел беспорядок, брань и укоры, так что выборы не состоялись». После этого в Клину развернулась настоящая предвыборная борьба с обнародованием компромата, апелляцией к общественному мнению и угрозами обратиться в вышестоящие инстанции. Тогда староста А.С. Воронков, знакомый во время службы им городской головой с митрополитом Филаретом, отправил старшего сына за защитой от обвинений граждан к митрополиту. Сын вернулся с томом проповедей Филарета, который украшала дарственная надпись автора: «Арсению Степановичу мир и Божие благословение за благоразумное попечение о храме». Разумеется, этот автограф демонстрировался гражданам и не только сыграл решающую роль в избрании Воронкова на новый срок, но и поднял его реноме так высоко, что он занимал эту должность пожизненно, а после смерти старостой стал его сын.[1]

Иная ситуация с положением церковных старост в городской иерархии наблюдалась в отдельных городах Западной Сибири. Так, в Тюмени и Томске в первой четверти XIX в. нередко граждане, избираемые церковными старостами, стремились от этой чести уклониться. Характерное отношение горожан к институту церковного старосты отражено в донесении Тюменского духовного правления к епархиальному начальству о мещанине Г.Е. Махилеве, избранном в декабре 1814 г. старостой. Махилев «от возложенной на него старостинской обязанности отказывается неочередностью и принять оной ни под каким предлогом не соглашается». Через год «лучшие прихожане» постановили, что Махилев избран «по очереди, поелику он при нашей церкви есть из лучших

1 РО РГБ. Ф. 524. К. 3. № 14. Л. 107.

прихожан, а службы никакой никогда и самомалейшей не исправлял».[1]

В этих документах отчетливо прозвучало отношение тюменских горожан к институту церковных старост как к общественной повинности, исполняемой «лучшими» гражданами. «Лучшие прихожане» и в Томске не жаждали быть церковными старостами. Томский купец М.И. Захарьев, избранный в 1807 г. старостой, дабы избежать этой службы, даже объявил себя старообрядцем. По мнению приходского священника, купец поступил так, чтобы уклониться от старостинских обязанностей. И, думается, священник был прав, ибо Захарьев регулярно бывал на исповеди и у причастия и после объявления себя старообрядцем.[2]

В других городах Западной Сибири престиж церковных старост был более высоким. Что объясняется, прежде всего, однородным конфессиональным составом населения.[3]

Подбором кандидатов, выдвигаемых на выборные должности, и непосредственной организацией выборов в первой половине XIX в. занимался городской голова совместно с членами городской думы. Но так было не всегда. В последней четверти XVIII в. обязанности по организации выборов в городах Тверской губернии возлагались на различные органы городского самоуправления. Как показала Н.В. Середа, в 1770-х гг. выборы организовывали непосредственно магистраты, а с 1780-х гг. – городские головы. В отдельных городах эти обязанности возлагались на городских старост. Так, в Вышнем Волочке выборами городского старосты и словесных судей занимались уже в начале 1780-х гг. городские головы. В Старице, напротив, даже в середине 1780-х гг. выборы всех должностных лиц, включая городского голову и членов магистрата, организовывал городской староста. Он же, как утверждает Н.В. Середа, проводил выборы «поверенных выборщиков», которые и являлись «непосредственными избирателями».[4]

1 ГАТ. Ф. 156. 1815 г. Д. 429. Л. 10, 12.

2 ГАТ. Ф. 156. Оп. 22. Д. 354. Л. 1 – 10.

3 *Куприянов А.И.* Русский город в первой половине XIX века. С. 42 – 43.

4 *Середа Н.В.* Реформа управления Екатерины Второй: источниковедческое исследование. М.: Памятники исторической мысли, 2004. С. 138 – 139.

В какой степени избиратели считались с мнением городского головы и выборной верхушки, выдвигавших кандидатов на замещение классных должностей? Каковы были возможности выявления волеизъявления рядовых избирателей? Исключительную информацию для ответа на этот вопрос содержат избирательные протоколы, разумеется, при условии, что они аккуратно заполнены. Тогда достаточно сопоставить порядковый номер предложенных кандидатур с данными о том, кто был избран. Так, в уездном городе Тверской губернии – Кашине в 1803 г. в верхнем слое управленцев (голова и два бургомистра) два человека были избраны из числа первых кандидатов, среди ратманов магистрата и гласных думы трое были избраны из первых кандидатов, а четверо были предложены для голосования вторыми и третьими. На проводившихся тогда же выборах на одногодичные должности (городового старосты и двух судей словесного суда) были избраны кандидаты, вынесенные на голосование первыми.[1] В другом городе Тверской губернии, Бежецке, в 1803 г. новые голова и бургомистры были предложены первыми, а из 4-х ратманов и 5-ти гласных победил лишь один кандидат, внесенный на голосование первым. Напротив, из пяти должностей одногодичных служб все пять были замещены лицами, стоявшими в списке первыми.[2]

На выборах в январе 1803 г. в Твери – городе с самыми развитыми традициями городской демократии в рассматриваемое время – на 9 самых престижных выборных должностей прошли лишь трое первых кандидатов. Городским головой был выбран третий кандидат, один из заседателей гражданской палаты был предложен лишь пятым, а заседатель уголовной палаты вообще внесен на голосование только седьмым по счету. Во второй группе выборных должностей (ратманы магистрата и гласные думы) 8 из 14 избранных баллотировались первыми. Такой перевес обеспечили выборы гласных думы, где на 10 мест прошли 8 первых кандидатов. Что же касается выборов ратманов в магистрат, то здесь вы-

1 ГАТвО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 158. Л. 56 – 58.

2 Там же. Л. 62 – 71, 96 – 102.

борщики совершенно проигнорировали мнение городского головы и членов думы. Так, первым и вторым ратманами избраны 4-й и 7-й, а третьим и четвертым ратманами – 6-й и 9-й кандидаты.[1]

Полвека спустя, в декабре 1850 г., в Твери на 9 наиболее ответственных должностей (голова, бургомистры, заседатели совестного суда, гражданской и уголовной палат) были избраны 4 человека, которые не были основными кандидатами. Следующая группа выборных должностей – ратманы магистрата, ратманы полиции и гласные городской думы. Здесь наблюдается картина, близкая к первой группе должностной престижности. Из 16 мест 6 досталось кандидатам не из основной «корзины».[2]

Приведенные данные о выборах 1803 г. в Твери и в уездных городах Тверской губернии, а также за 1850 г. в губернском городе, несомненно, свидетельствуют о том, что городские избиратели были активными участниками избирательных процедур и, пользуясь тем, что на должности баллотировалось несколько претендентов, имели возможность реального выбора. Особенно придирчиво они подходили к кандидатам, выбираемым на должности городского головы, бургомистров и вообще на классные должности в правовой сфере: судей, заседателей судебных органов, ратманов в магистрате или при полиции.

Иная ситуация была при выборах на менее престижные должности (ценовщики, депутаты по торговле, члены строительной и дорожной комиссий) – тут были избраны именно первые предложенные кандидаты. Фактически на эти должности в Твери назначали купцов посредством баллотировочной процедуры.

Аналогичным было отношение среди избирателей-ремесленников к выборам гласных ремесленного общества. Выборы проводились общие, избрано было по цехам 8 из 9 первых кандидатов.

В подмосковном Клину пошли еще дальше. Там не стали обременять выборщиков излишним голосованием. Напри-

1 ГАТвО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 158. Л. 7 – 27.

2 ГАТвО. Ф. 21. Оп. 1. Д. 2904. Л. 16 – 39.

мер, в январе 1819 г. баллотировались шарами только в городские головы, бургомистры, ратманы, старосты сиротского суда, словесные судьи, ценовщики. «Да сверх сего *избраны на голосах* (курсив мой – *А.К.*) в квартирную комиссию, в оспенный комитет, в городовые маклеры, для продолжения городовой обывательской книги и другие должности», – сообщали из Клина губернскому начальству.[1]

В Западной Сибири самые значительные отклонения от избирательных процедур наблюдались в тех городах, где было малочисленно посадское население и сильно влияние ведомственного начальства. Так, в Барнауле в 1807 г. даже бургомистров магистрата «избрали» без голосования, а в 1822 г. и городского голову назначили «без баллотировки, с общего согласия».[2] В военно-административном центре региона Омске при избрании первых лиц городского самоуправления баллотировку хотя и производили, но выдвигали на должность всего по одному претенденту – в соответствии с давней местной традицией, как утверждал городской голова Лука Баранов в 1856 г.[3]

Да и в старинных сибирских городах, например в Таре, выборы во многом проходили формально. Так, в 1797 г. в избрании городского старосты и словесного судьи участвовало всего 7 выборщиков, а на каждую должность баллотировалось по два кандидата. О самом характере выборов на эти должности можно судить из отношения городского головы Тары в тамошний магистрат: «из состоящих на очереди избрали в будущий 1798 год на перемену ныне находящихся в служении».[4] И все-таки эти малочисленные избиратели не были послушной машиной, утверждавшей решения городского головы. У них был выбор из двух кандидатов. Своим правом они воспользовались, отдав большинство голосов вторым кандидатам.

В центре страны грубейшие нарушения избирательного законодательства, подобные омским и барнаульским, не

---

1 ЦИАМ. Ф. 17. Оп. 1. Д. 5204. Л. 3 об.

2 ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 2759. Л. 19 – 19 об.; Д. 2963. Л. 7.

3 РГИА. Ф. 1287. Оп. 37. Д. 1665. Л. 28 об.

4 ГАОО. Ф. 381. Оп. 1. Д. 7. Л. 2, 4.

допускались. Более того, в 1840-е гг. произошло ужесточение контроля губернской администрации за буквой избирательных законов. Наиболее заметно это было в Тверской губернии. Так, если в 1803 г. городским головой Бежецка был избран кандидат, набравший менее половины голосов, то в 1847-м и 1848 гг. городской глава Вышнего Волочка получил от начальства три выговора и два строгих выговора, из которых четыре за нарушение избирательных процедур! В том числе в вину купцу 3-й гильдии Тимофею Синькову было поставлено то обстоятельство, что он как лицо, руководившее выборами, допустил перебаллотировку на должность кандидата (т.е. заместителя) городского головы лиц, набравших на выборах головы менее половины голосов. Особенно возмутила губернское правление попытка оправдать это нарушение тем, «что общество не находит на то более достойных лиц, тогда как нельзя допустить, чтобы кроме купцов 1-й и 2-й гильдий, в количестве 128 капиталов 3-й гильдии, не находилось одного или двух достойных к избранию в кандидаты на должность градского головы...»[1]

Кто же был «достойным к избранию», по мнению самих граждан? И как эти представления соотносились с законом?

Демократические возможности и олигархические традиции. Общественная служба как повинность

Законодательство отводило первенствующую роль в городском самоуправлении купцам. Мещане могли избираться лишь на второстепенные должности. Только в крайнем случае, при отсутствии достойных кандидатов из купцов, они могли допускаться к выборам на важные должности.

Означал ли равный сословный статус равные возможности избираемых? Формально да. У купцов 1-ой гильдии были преимущества перед купцами 2-ой гильдии; эти, в свою очередь, имели привилегии по сравнению с купцами

---

[1] ГАТвО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 13303. Л. 14 об. – 16.

3-й гильдии. На практике все было не так однозначно. Так, в Серпухове во время выборов на трехлетие с 1819 г. произошел примечательный конфликт. Купец 2-ой гильдии И.С. Плотников, избранный в депутаты квартирной комиссии, подал жалобу губернатору и просил уволить от должности. В частности, он писал, что был внесен в список для баллотирования не в головы или бургомистры, как следовало бы ему по статусу, но в ратманы. Когда же в ходе голосования очередь дошла до Плотникова, то общество «единогласно объявило, чтобы Плотникова в ратманы не баллотировать, назначив его к балтированию в депутаты, в квартирную комиссию». Очевидно, избирателям было ясно, что городской голова вел себя некорректно по отношению к нему, предлагая его на должность ратмана, в то время как в бургомистры баллотировались купцы 3-ей гильдии. Казалось, что был найден удачный выход из создавшегося положения, позволявший и купца приобщить к общественной службе, и не уронить его реноме. Однако квартирную комиссию возглавлял городничий, с которым купец имел дело в суде об обременении его постоем со стороны последнего. Это основание для освобождения от должности Плотникова и гражданский губернатор, и военный генерал-губернатор сочли неосновательным. Впрочем, купец проявил характер и упорство. Не получив поддержки у губернского начальства, он надолго уехал из города, и власти вынуждены были ввести в должность другого человека.[1]

Среди тверских купцов уже в начале XIX в. сложились представления о том, на какую должность следует выбирать того или иного горожанина. Например, лица, баллотировавшиеся в городские головы, затем могли быть кандидатами в заседатели совестного суда, уголовной и гражданской палат, бургомистры, члены думы. Ратманами магистрата или полиции, а также для службы на менее значительных должностях они уже, как правило, не предлагались. Эти неписаные правила соблюдались в Твери в начале XIX в. строго, а иерархия должностей была «прописана» для каждого человека весьма определенно. Например, существовавшая субординация

1 ЦИАМ. Ф. 17. Оп. 1. Д. 5211. Л. 6 – 8.

между ратманами магистрата позволяла в 1803 г. баллотировать купца П.И. Пирогова (ранее потерпевшего неудачу при избрании бургомистра) на первом этапе выборов на должности первого и второго ратмана. Однако занявшего третье место Пирогова уже не баллотировали на втором этапе, когда выбирали третьего и четвертого ратманов. Показательно, что на эти должности были избраны два купца, набравшие в первом туре вдвоем меньше баллов, чем один Пирогов.[1] Очевидно, городская верхушка считала для реноме этого человека недопустимым служить третьим или четвертым ратманом.

Данная практика и такие представления могли быть связаны с законом, запрещавшим избирать на более низкие должности, чем гражданин служил ранее. Это положение вошло в силу еще в «Учреждении для управления губерний» 1775 г.[2] Но такая интерпретация справедлива лишь отчасти, она применима к лицам, занимавшим ранее выборные должности. Однако и никогда не служившие представители известных в городе купеческих фамилий не баллотировались на низшие должности городского самоуправления. В этом случае выборная верхушка руководствовалась другим законом, разрешавшим купцам отказываться от должностей, которые не соответствовали их социальному статусу. Но этот закон, принятый, кстати, позднее, не устанавливал никакой иерархии между первым и четвертым ратманами. Поэтому в Твери можно говорить о своеобразном «местничестве»: нельзя было, не оскорбив уважаемую купеческую семью Пироговых, избрать одного из ее членов третьим ратманом, в то время как вторым ратманом будет служить человек из купеческой фамилии, которая стоит ощутимо ниже в неформальной городской иерархии. Таким образом, возможность выбора на ту или иную должность определялась не только официальным статусом человека, его личными достоинствами, но и местом, занимаемым его семьей в городской иерархии. Иначе говоря, в Твери, самом демократическом из городов России с точки зрения полноты избирательных процедур и наличия

---

1 ГАТвО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 158. Л. 8 – 9.

2 ПСЗ-I. Т. 20. № 14392. Ст. 281, 282.

нескольких кандидатов на одну выборную должность, торжествовали олигархические принципы подбора и выдвижения кадров на «классные должности».

Несколько иначе в конце XVIII – начале XIX в. относились к выбору в общественные должности в новых уездных городах. Там число классных должностей было меньше, а их иерархия имела иные конфигурации. Так, в Осташкове в декабре 1799 г. лица, баллотировавшиеся в городские головы, затем предлагались кандидатами в бургомистры, ратманы и даже частные приставы. В гласные же шестигласной думы, в старосты, в словесные судьи никто из претендовавших на места городского головы или городских бургомистров не предлагался, но двое безуспешно были баллотированы на должность частного пристава. Заседатели или гласные думы пользовалась у горожан меньшим престижем, чем члены магистрата. На тех же выборах 1799 г. в нее баллотировалось всего 8 кандидатов на шесть мест, да и те были не из семей городской верхушки. В думу были избраны лишь лица, провалившиеся на выборах в ратманы, а также те, кто ранее не баллотировался в другие должности.[1]

Если говорить о тенденциях в городских выборах, отражавших отношение горожан к избирательным процедурам и к институтам городского самоуправления, то количественные аспекты проблемы городских выборов прослеживаются весьма очевидно. Например, в Осташкове на выборах городского головы в январе 1779 г. было выдвинуто 15 кандидатов, при выборах двух бургомистров – 41 кандидат! Правда, большинство подлежащих баллотировке от этой чести предпочло уклониться. В результате большая часть кандидатов была уволена и в списке осталось 12 человек. В тот же день на места четырех ратманов были выдвинуты 46 кандидатов, а для голосования оставлены 15.[2] Спустя 20 лет произошло небольшое снижение числа кандидатов, предлагаемых для замещения вакантных должностей. И все же у горожан сохранилась возможность достаточно широкого выбора: 7 претендентов

---

1 ГАТвО. Ф. 1048. Оп. 1. Д. 27. Л. 11 – 28.

2 ГАТвО. Ф. 1048. Оп. 1. Д. 2. Л. 12 – 24 об.

на место городского головы, 11 человек – на 2 должности бургомистров, 12 на 4 должности ратманов, 8 кандидатов на место частного пристава.[1]

Количественные характеристики далеко не всегда адекватно отражают настоящее положение дел. Число кандидатов говорит о лишь о некотором спектре возможного выбора достойных претендентов, но умалчивает, например, о влиянии родственных кланов. Так, в Осташкове 13 декабря 1847 г. на очередных выборах городского головы баллотировали 7 кандидатов, в том числе 4-х купцов 3-ей гильдии, среди которых был и купеческий племянник. Однако три первых кандидата принадлежали к числу почетных граждан и были родными братьями. Победил старший из них, Иван Кондратьевич Савин. Два других брата разделили второе место, далеко опередив остальных претендентов. Возникла редкая коллизия, особенно учитывая, что в голосовании участвовало 185 человек. Данная ситуация была предусмотрена законом, о чем хорошо знали подписавшие протокол городской голова Шишкин и гласные Бочкарев, Савин и Коновалов: «Хотя бы и следовало по равенству избирательных шаров Стефану и Федору Савиным, согласно 204 ст. 3 том[а] дать жребий, но как по обоюдному согласию их, Савиных, так и по убеждению градского общества, изъявил готовность быть старшим кандидатом Стефан Савин, то общество, изъявляя на то полное согласие до жребия не допустило».[2] Члены осташковской думы проявили трогательную предусмотрительность по поводу незначительного нарушения избирательной процедуры, но совершенно обошли куда более важный пункт Устава о службе по выборам, запрещавший выбирать «в должности одного места, для служения в одно и то же время» отца с сыном, тестя с зятем, дядей с родными племянниками по мужскому колену и, разумеется, родных братьев.[3]

Динамика сокращения числа кандидатов на выборные должности продолжалась и в последующие годы. В результате,

1 ГАТвО. Ф. 1048. Оп. 1. Д. 27. Л. 11 – 28 об.

2 ГАТвО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 12524.

3 Свод законов Российской империи. Уставы о службе гражданской (Издание 1842 года). Кн. 2. СПб., 1843. С. 61 (ПСЗ II, № 3958. 29 сентября 1830 г.)

в середине XIX в. выборы в Осташкове приобрели во многом формальный характер: число кандидатов лишь незначительно превышало количество должностей. Так, в январе 1860 г. на 2 места бургомистра было трое претендентов, на 4 места ратманов – 6 кандидатов, в «директорские товарищи» общественного банка баллотировались 3 человека, на 2 места депутатов при следствии в уезде – 4 человека, в гласные думы – 7 кандидатов на 6 мест. Такая же картина наблюдалась и при выборах на другие должности.[1] Проигравшие становились кандидатами на должности с обязательствами – в случае смерти или продолжительной болезни одного из членов присутственного места, к которому они объявлены кандидатами, принять на себя соответствующие обязанности.

Создавшееся в Осташкове положение с замещением выборных должностей вызвало недовольство тверских чиновников. 9 марта 1860 г. губернское правление указало на недопустимость подобной практики. При этом оно руководствовалось не отклонениями от законов и уж тем более не интересами граждан, которые оказались в ситуации фактической безальтернативности выборов, – но прагматическими задачами управления. Губернское правление потребовало дополнительно избрать кандидатов к должностям, тем более что к некоторым должностям таковых не было избрано вовсе.[2] Тогда, 15 апреля городские власти организовали требуемые от них довыборы. Осташковские граждане отнеслись без какого-либо энтузиазма к этому решению губернского правления. Если на основных выборах участвовало 134 выборщика, то на дополнительных всего 88.

В Серпухове с выдвижением кандидатов на выборы сложилась такая же традиция, как и в Осташкове. Здесь, в среднем, выдвигалось по 2 (реже – 2,5) кандидата на одно место и 3 кандидата на место городского головы; лишь в 1834 г. по невыясненной причине граждане должны были избирать из 5 претендентов на кресло городского головы, а на 2 должности бургомистра баллотированы 6 человек. В Серпухове только

---

1 ГАТвО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 17443. Л. 3 – 10.

2 Там же. Л. 19.

в исключительных случаях забаллотированного кандидата предлагали на новую должность. Такой случай имел место в 1813 г. с купцом И. П. Щенковым.[1]

В другом уездном городе Московской губернии, Клину, существовала иная практика. Кандидатов на одно «классное» место в нем также было немного, но бытовали серьезные отличия в технологии замещения вакантных должностей. Здесь во время выборов провалившегося кандидата не стеснялись предложить на другую должность. В частности, в 1819 г. 3-ей гильдии купецкий сын Алексей Иванов Семейнин, 37 лет, формально безупречный кандидат («дом имеет отец его собственный и балотирован по воле родителя его»), был баллотирован в ратманы, в сиротский суд, а избран судьей словесного суда. А купца 3-ей гильдии Михайлу Леонова Першина, 63 лет, владельца собственного дома, последовательно четырежды баллотировали в ратманы. Такое было возможно в связи с тем, что выбирали по очереди первого, второго, третьего и четвертого ратманов. Возможно, ранее его предлагали и в бургомистры, но из-за плохой сохранности архивного дела это выяснить не удалось. При этом ни городского голову, ни избирателей не смутило то обстоятельство, что двумя первыми ратманами были избраны мещане, третьим – купеческий сын. И купец Першин получил необходимое число голосов лишь в четвертые ратманы магистрата, который возглавили два бургомистра из мещан. Все это позволяет утверждать, что ни о каком намеке на олигархическое самоуправление в Клину говорить не приходится. Здесь у мещан были большие возможности не только принимать участие в процессе выработки повседневных решений, но и занимать важнейшие должности в городском самоуправлении. Вероятно, это было возможно благодаря малочисленности купечества и общему невысокому уровню социально-экономического развития города.

---

[1] ЦИАМ. Ф. 17. Оп. 1. Д. 5211. Л. 2 – 3, 4.; Д. 6743. Л. 4 – 5 об.; Оп. 2. Д. 124. Л. 2 – 3; Ф. 1036. Оп. 1. Д. 189, Л. 4 – 5; Д. 326. Л. 24 об. – 29; Д. 373. Л. 83 об. – 84; 21 об. – 123, 125 об. – 130; Д. 492. Л. 24 об. – 32; Д. 1485. Л. 28 об. – 29; Л. 72 об. – 79.

Практики уклонения от городских служб

Раз в три года личные планы большинства купцов, а мещан и низшего слоя купечества ежегодно, оказывались в состоянии некоторой неопределенности. Надвигалась пора очередных выборов на общественные должности. Формально каждый мужчина, принадлежавший к городскому гражданству, мог быть избран на какую-либо должность в городском самоуправлении или приписан на срок в 1 год или 3 года к определенному кругу казенных заведений. Оплата за выполнение общественных служб не была предусмотрена. При этом одни должности не требовали больших временных затрат, другие же, напротив, отнимали массу времени и фактически не оставляли человеку, их исполнявшему, возможности заниматься своим делом, зарабатывать деньги на жизнь. Даже те «синекуры», которые существовали в городском самоуправлении, стесняли свободу хозяйственных занятий купцов и мещан. Поэтому выполнение общественных служб наносило некоторый урон материальным интересам купцов и мещан. Отсюда стремление уклониться от должностей городского самоуправления. Вот что писал о своем отношении к перспективе служить городским головой купец г. Чухломы (Костромской губернии) И.В. Июдин: «Декабря 12-го [1832 г.] избран я на наступающее трехлетие в городские головы к крайнему моему неудовольствию. При многом старании и трате не мог избавиться от оной на выборах меня в сию должность». Дабы избежать избрания, Июдин накануне выборов «благодарил мещан угощениями». Однако эти «угощения» не помогли: «По желанию бывшего городского головы Алексея Июдина, меня ровно 4 раза перебаллотировали то в головы, то в кандидаты, и остался кандидатом по городскому голове, которого выбрали заведомо, что он здесь не будет жить, а выпишится в Санкт-Петербург. Так и случилось. Я при многом старании избавиться как бы от должности, но поиздержась, остался неудовлетворенным».[1]

После избрания существовало всего два легальных пути уклонения от выполнения общественных должностей. Первый путь был связан с освобождением от службы по выборам

---

1 Памятная книга купца 2-й и 3-й гильдий, городского головы г. Чухломы Ивана Васильевича Июдина... С. 21, 23.

путем подачи мотивированных прошений в вышестоящие инстанции. Второй – найм вместо себя другого лица.

Прошения об освобождении от службы по выборам регулярно подавались горожанами в органы власти. В Твери спектр служб, от которых просили освободить, располагался от трубочиста до бургомистра. «Выбор» в трубочисты вызывал особое недовольство мещан, которые пытались от него избавиться. Трубочисты «избирались» в количестве 14 человек. В 1824 г. половина из них, 6 человек, подали прошение об освобождении от должности. Одному из просителей, мещанину Е.Н. Аваеву, дума рекомендовала нанять по предложению брандмейстера мещанина Всеславского с оплатой за полгода в размере 120 руб.[1] В начале 1820-х годовой наем трубочиста стоил – 220 руб., как утверждал мещанин А.И. Волынский.[2] Из указа губернского правления от 27 сентября 1824 г. думе по поводу прошения об освобождении от должности мещанина Зиновия Захарова следует, что действительно назначение (формально «выборы») в трубочисты было делом обременительным. В середине 1820-х гг. наем трубочиста мещанину, назначенному на полгода для выполнения этой повинности, обходился в 120 руб., а отбывающему эту повинность в течение года – в 240 руб.

Расследовав эту и подобные жалобы, губернское правление обвинило думу в социальной несправедливости, отметив, что мещане с хорошими доходами определяются «к самым легчайшим должностям», например, сбору камня, где наем стоит от 30 до 70 рублей, а наем трубочиста по 1-ой части города обходится в 240 руб. в год. Тверские чиновники отметили, что данная повинность возлагается на одних «средних и бедных мещан».[3] Думе пришлось по указу губернского правления освободить Захарова от обязанностей трубочиста, но последний мог быть доволен лишь отчасти, ибо дума уже 3 октября 1824 г. постановила определить его сотенным слободчиком, куда он был избран ранее. Более успешной можно признать борьбу мещанина Е.Н. Аваева за освобождение от

1 ГАТвО. Ф. 21. Оп. 1. Д. 443. Л. 38.

2 Там же. Л. 2.

3 Там же. Л. 38 об.

обязанностей трубочиста. Эта борьба завершилась 10 июня 1825 г., когда губернское правление удовлетворило жалобу Аваева на основании того, что он является несовершеннолетним и находится под опекой.[1]

«Дело о выборе трубочистов и о подаваемых по сему предмету прошениям о избавлении некоторых от сей повинностей» 1824 г. позволяет констатировать, что в Твери широкое распространение получила практика найма лиц, которые выполняли бы за других выборные службы (фактически личные повинности). О ее многолетней укорененности в городском быту свидетельствует и устоявшаяся такса на различные службы, и, что не менее важно, – признание ее губернскими властями. Наряду с этим губернские власти справедливо констатировали пристрастность городской верхушки при назначении на обременительные городские службы. Кроме приведенных фактов, об этом же свидетельствует и слишком частое («не в очередь») назначение в такие службы одних и тех же лиц.

Практика найма купцами и мещанами других горожан для исполнения выборных должностей получила широкое распространение в сибирских городах. Например, в Таре в 1824 и 1827 гг. по найму замещались должности словесного судьи, сборщика поземельных денег, сборщика податей, смотрителя городовой больницы.[2] Эта практика распространялась и на престижные должности. Так, в 1821 г. тарский мещанин И.М. Немчинов, избранный бургомистром, просил освободить его от должности в связи с необходимостью отлучаться из города, но, «дабы обществу сделать уважение за таковое почтительное назначение», вместо себя предлагал допустить к должности нанятого им А.Л. Мантабарова. Последний более двадцати лет постоянно служил на различных должностях в городском самоуправлении по очереди и за других лиц по найму.[3] В Тобольске в середине 1840-х гг. наем лиц для выполнения выборных служб был в таком ходу, что авторы «Статистического описания губернского Тобольска»

1 Там же. Л. 39, 41, 57 – 58 об.

2 ГАОО. Ф. 384. Оп. 2. Д. 12. Л. 18, 21; Д. 159. Л. 91, 94 об.

3 ГАОО. Ф. 381. Оп. 4. Д. 41. Л. 3 – 3 об.

включили в бюджет городской семьи специальную статью расходов – «на должность». Размер этих расходов определялся сложностью работы и статусом выборного места. Горожане со средними доходами тратили на оплату нанятого лица больше, чем бедные мещане и цеховые: «горожанин этого разряда предполагается грамотный и выбирается в высшую должность, следовательно, платит дороже наемщику».[1] Отметим, что грамотность была одним из важнейших критериев при выдвижении кандидатур на ответственные должности городского самоуправления. Уже в 1801 г. тобольская дума, предлагая купцам и мещанам избрать гласных думы из числа жителей, «в грамоте умеющих и доброго поведения».[2]

Государство никак не могло окончательно определиться с пониманием феномена выборной городской службы: что это в первую очередь – право или повинность? Отсюда и отношение к вопросу о возможности горожан, которые по различным причинам не могли или не хотели служить сами, нанимать вместо себя других лиц. Чтобы придать легитимный характер практике замещения выборных должностей желающими служить по найму, ялуторовские граждане в 1847 г. обратились к имперским властям с ходатайством. Однако министерство внутренних дел отклонило его.[3] В 1850 г. мещанское общество Твери просило дозволения «нанимать вместо себя других, под личною своею ответственностию за все упущения и утраты, подобно тому, как это допускалось для служащих по выборам от купечества прежде, и именно на основании имянного указа 1-го июня 1731 года...» В этом ходатайстве речь шла лишь о должностях мещанских старост и их помощников. Городская дума поддержала прошение, отметив, что ежегодно избираемые к этим должностям мещане действуют неудачно, что ведет к росту недоимок. Министр внутренних дел Перовский просьбу отклонил, но фактически пошел навстречу тверским мещанам, разрешив назначать жалование по усмотрению общества для старост и их помощников по сбору денег, чем мещанское общество и

1 АРГО. Р. 61. Д. 5. Л. 49 об.

2 ГАТ. Ф. 8. Оп. 1. Д. 59. Л. 1 – 1 об.

3 РГИА. Ф. 1287. Оп. 37. Д. 563. Л. 3 – 3 об.

воспользовалось.[1] Таким образом, не уступая в этом вопросе гражданам, правительство допускало по желанию местных обществ профессионализацию отдельных видов деятельности городского самоуправления. Но, в целом, проблема допуска горожан, желавших выполнять общественные должности за других лиц, оставалась актуальной весь дореформенный период. Сами муниципальные деятели рассматривали ее в качестве одной из преград, препятствовавших развитию самоуправления. Об этом прямо писал министру внутренних дел 14 декабря 1861 г. осташковский городской голова Ф.К. Савин, предлагая, чтобы лица, не желавшие служить по выборам, вносили деньги, а общество нанимало вместо них служащих.[2]

Культура конфликтов, возникающих в связи с ходатайствами об отмене выборов

Каждая просьба об освобождении от несения службы по выборам была поводом для возникновения многостороннего конфликта. Подача жалоб на результаты выборов создавала в городском обществе определенную социальную напряженность. Участниками конфликта становились различные стороны: проситель и органы самоуправления, проситель и локальное сообщество (городское, купеческое, мещанское, ремесленное), проситель и остальные граждане. В дальнейшем в конфликт вовлекалось губернское правление, иногда – непосредственно гражданский губернатор или генерал-губернатор, в отдельных случаях дело поступало в Сенат, рассматривалось министрами и членами Госсовета и утверждалось царем. Далеко не всегда должностные лица и учреждения, разбиравшие жалобы, были беспристрастными арбитрами. Порой главными участниками конфликта становились городское общество или выражавшие его интересы учреждения самоуправления и органы государственной

---

1 РГИА.Ф. 1287. Оп. 37. Д. 862. Л. 1 – 2, 3 – 3 об., 10 – 11 об., 18.

2 РГИА. Ф. 1287. Оп. 37. Д. 2379.

власти. Показательным в этом контексте является конфликт 1816 г. вокруг отказа тверского купца Петра Степанова Пирогова (недавно переехавшего из Москвы) выполнять обязанности словесного судьи. 7 января 1816 г. он просил думу освободить его от службы, аргументируя свое прошение тем, что после смерти тестя он управляет полотняной и парусиновой фабриками. При этом ссылался на указ 1 июня 1731 г. о льготах по службе для фабрикантов и заводчиков. Дума отказала Пирогову, но его прошение поддержало губернское правление. Аргумент об одиночестве Пирогова и необходимости частых коммерческих отлучек не был принят думой, так как его тесть исправлял общественные должности, был головой. Аргумент чиновников о важности для государства его производства дума также отвергла – под предлогом, что он не фабрикант, а управляющий на фабрике, принадлежащей жене. Правление не согласилось с аргументами думы и предложило ее членам войти «в точное рассмотрение законов». О накале отношений между губернским правлением и думой свидетельствует тот факт, что коронные чиновники вслед за Пироговым повторили, что последний выбран в должность «недоброжелательствующим градским головою Щукиным».[1] Дума, однако, не спешила капитулировать и рапортовала губернскому правлению о рассмотрении его указа. В этом документе она отвергла аргументы об общей пользе, восходящие к петровскому времени. «Впрочем такового рода фабрик в России есть не малое число, и самые содержатели их есть ни что иное, как торгующие или приобретатели своей пользы продажей со оных изделий; подобно занимающимся другим торгом купцам, и всякая выбором общества доставляемая служба для торгующего не без упущения, а следовательно и не без убытков по торговым каждого обстоятельствам. Почему и Пирогов от общественной службы, в которую избран еще в первый раз освобожден быть не должен». Отвергли и аргумент об «одиночестве» просителя: «и сноснее иногда может быть одинокому нежели семейному, судя по состоянию; и потому *долг есть общества рассматривать каждого и*

1 ГАТвО. Ф. 21. Оп. 1. Д. 181. Л. 244.

по возможности доставлять ему службу (курсив мой – *А.К.*), от которой буде бы все отклонялись, как и Пирогов, и сила закона не обуздала бы их самоволие и неблагонамеренность к пользе общей, то нарушилось бы общественное повиновение власти».[1] Обращает внимание в этой аргументации то обстоятельство, что выборные службы воспринимаются как обязанность горожан перед обществом, которую добропорядочные граждане выполняют с ответственностью, а неблагонамеренные игнорируют. Более того, идея «общей пользы», игравшая важную роль в петровской идеологии, оказалась переосмыслена тверскими купцами. Переосмыслена и в историческом контексте (привилегии, данные Петром Великим заводчикам, устарели), и в социальном (общая польза – это то, что служит не только государству, но и обществу, а также и интересам горожан).

Главным законом о выборах члены думы считали именной высочайший указ правительствующему Сенату от 20 августа 1802 года, который правление игнорировало, – место бездействовало. Дума просила правление «дабы оно соблаговолило в отвращение купца Пирогова от уклонения от общественной службы, и чтобы другие к тому не имели наклонности постановить свое определение, ибо место словесного судьи чрез то состоит не занятым три месяца», чтобы и впредь в должность вступали немедленно, а затем уже приносили просьбы об освобождении. И еще: «А как купец Пирогов градского голову назвал в прошении, поданном в губернское правление, недоброжелательствующим, какое название есть поносительное и не токмо для него, но и для целого присутствия Думы обидное», просили для законного удовлетворения представить копию.[2] Исчерпав все аргументы и фактически потерпев поражение в полемике с тверской думой, губернские власти прибегли к угрозам. В новом указе правления от 12 июня 1816 г. думе пеняли на неуместность ее возражений вышестоящему начальству и грозили привлечь к ответственности за невыполнение его распоряжений. Пред-

1 Там же. Л. 245 об. – 246.

2 Там же. Л. 246 – 246 об.

писано было также выдать Пирогову паспорт (в чем магистрат ранее отказал), необходимый ему для разъездов по коммерческим делам.[1]

Члены думы не стали подавать апелляцию в Сенат на решение губернского правления. Конфликт завершился в пользу купца Пирогова, победившего при активнейшей помощи чиновников губернского правления, действовавших столь настойчиво, вероятно, не бескорыстно. Однако отношения с членами думы и в целом с городской верхушкой у заезжего москвича оказались серьезно испорчены.

Взятка чиновникам губернского правления за освобождение от службы по выборам была, вероятно, не самым распространенным явлением. Косвенно об этом свидетельствует и тот факт, что большинство прошений горожан, поданных в губернские органы власти, отклонялись губернатором и губернским правлением. К тому же размер такой взятки и сопряженные с ней расходы, особенно если проситель жил в уездном городе, были весьма значительны. Так, в 1839 г. издержки упомянутого купца И.В. Июдина ради избавления от должности составили 450 руб., в эту сумму вошли не только взятки чиновникам, но и средства, потраченные на дорогу, проживание и угощения должностных лиц.[2] Поэтому часто проще было найти желающих служить за других по найму, чем давать взятки чиновникам. Другое дело, что подобная практика найма не имела законодательного признания, хотя в законе имелись и оговорки, позволившие в некоторых городах ее широко применять.

Если органы городского самоуправления в глазах граждан, во всяком случае социально активной их части, были необходимы и считались выразителями и защитниками их интересов, то выборная служба на классных должностях рассматривалась купцами и мещанами как общественная повинность, выполняемая по очереди лучшими гражданами. Поэтому всякие попытки уклониться от службы в учреждениях самоуправления трактовались как стремление избе-

1 Там же. Л. 271 – 272 об.

2 Памятная книга купца 2-й и 3-й гильдий, городского головы г. Чухломы Ивана Васильевича Июдина... С. 45.

жать отбытия повинности и переложить ее исполнение на плечи других. Такие граждане подлежали моральному осуждению. За исключением тех случаев, когда граждане знали, что человек по каким-либо причинам в результате назначения на должность оказывался фактически крайне стеснен в материальном обеспечении своей семьи. Если же жалобщика губернские или имперские органы власти освобождали по каким-либо причинам без должных, по мнению граждан, оснований, то это вызывало к нему неприязнь активной части горожан. Уважительными основаниями для освобождения от службы совсем не обязательно считались положения закона. Нельзя сказать, чтобы граждане руководствовались чувством справедливости, а не законом, но вместе с тем недостойные способы уклонения от службы и освобождение от нее по решению властей вызывало у них чувство торжества несправедливости. Здесь присутствовало не только моральное осуждение, но и понимание того, что за такого уклониста придется служить кому-нибудь из них. Лица, которые числились кандидатами, должны были вступить в должность взамен освобожденного гражданина. Одни спокойно и оперативно принимали такое решение властей, другие сопротивлялись и, в свою очередь, подавали прошения на увольнение от службы или жаловались на несправедливую отмену властями состоявшихся итогов выборов.

В 1827 г. в Твери в результате удовлетворения властями нескольких просьб горожан об освобождении от выборов, а также вследствие упорного нежелания отдельных граждан вступить в должность, даже спустя полгода после выборов оставались вакантными сразу несколько должностей. Особенно запутанной ситуация выглядела с ратманами магистрата. По разным причинам от службы ратманами были освобождены или уклонились не только избранные в должность, но и кандидаты к ним. С одним из них, купцом 2-ой гильдии Павлом Жуковым, ситуация была весьма нестандартной. Он подал прошение губернатору об освобождении его с братом навсегда от службы по городским выборам в обмен на пожертвование 5000 руб. на богоугодное заведение и 1000 руб. на уплату бедными мещанами податей. Губернатор направил

это прошение «на уважение» в думу. Однако собравшееся городское общество согласилось уволить братьев Жуковых от общественных служб лишь на 6 лет. Это вызвало недовольство просителя, который сообщил губернатору, что может выделить в таком случае только 3000 руб. Отзыв Павла Жукова был направлен губернатором городскому обществу, которое, однако, оставило в силе прежний приговор, то есть хотело, чтобы Жуков выполнил свои обязательства в полном объеме. Новый приговор общества был вновь направлен губернатору. Пока шло «перетягивание каната» между городским обществом и братьями Жуковыми, соответственно тянулась и переписка думы и общества с губернским начальством.[1] Другой кандидат на замещение должности ратмана, Фадей Лебедевский, занял круговую оборону: он не только заручился медицинским свидетельством о болезни, но и подал прошение губернатору, в котором обосновывал, почему он не может вступить в эту должность. Лебедевский указал, что хотя он и избран был вторым кандидатом в ратманы, но затем баллотировался в заседатели совестного суда и гражданской палаты и к каждой из этих должностей был избран первым кандидатом, поэтому и ратманскую должность принять не соглашался. Тут-то городской голова Никита Аваев и члены думы окончательно запутались и 18 апреля 1827 г. обратились в губернское правление за разъяснением.[2]

Губернское правление не сразу смогло разрешить эту коллизию и приказало ввести в должность еще одного кандидата – Н.П. Воротильницина. Последний, в свою очередь, 1 июня 1827 г. также подал прошение, в котором справедливо указал, что и перед ним есть кандидаты, а кроме того, в качестве старосты он составляет городскую обывательскую книгу. Тогда губернское правление решило ввести в должность ратмана купца Петра Аваева как набравшего больше баллов, чем Воротильницин.[3] В конце концов правление запуталось во всех изменениях тверской номенклатуры и оказалось уже не в состоянии утверждать кого-либо на вакантные должнос-

[1] ГАТвО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 2063. Л. 68 – 69.

[2] Там же. Л. 69 об.

[3] Там же. Л. 74 – 74 об., 79 об.

ти, не нарушая закон. Поэтому оно затребовало информацию об избранных, их кандидатах и кто в какую должность вступил. 16 июня 1827 г. это требование губернского начальства дума удовлетворила. У чиновников появилась наконец картина общей ситуации в городском самоуправлении г. Твери. Однако до окончательного разрешения кризиса с замещением должностей было еще далеко. Заседатель совестного суда Яков Ворошилов, уповавший на свой преклонный, 70-летний возраст, дождался благоприятного для себя решения Сената. Поэтому на место, которое он отказывался занять, только 10 августа 1827 г. ввели Лебедевского. В результате этих отказов от службы некоторые городские учреждения, в том числе полиция, не могли нормально функционировать несколько месяцев. Когда ситуация, казалось, была наконец-то урегулирована, возникла новая проблема: один из гласных думы, купец 2-ой гильдии С.И. Нечаев, перешел из 2-ой гильдии в 3-ю, «почему он, по второй гильдии и голоса гильдейского составлять уже не может». Поэтому дума предлагала заменить его следующим кандидатом, который, к всеобщему удовольствию чиновников губернского правления и членов думы, и вступил в должность.[1]

Конфликтная ситуация вокруг упомянутых ранее выборов городского головы в Осташкове, имевшими место 10 января 1821 г., обнаруживает другие механизмы противодействия принятому решению. Спустя неделю часть горожан, недовольных выборами на новый срок прежнего головы, купца Савина, обратилась со словесной жалобой к городничему на действия головы во время выборов. Городничий направил рапорт губернатору. Граждане, в свою очередь, также обратились с жалобой к губернской власти.

Отсутствие поддержки в губернском правлении или канцелярии губернатора отнюдь не останавливало некоторых граждан. Так, в январе 1827 г. тверской купец 2-ой гильдии Василий Гаврилов Кобелев жаловался царю, что его несправедливо назначили ратманом в полицию, тогда как он хотел остаться в магистрате. Оригинальна уже сама просьба Кобе-

---

1 Там же. Л. 109 – 109 об.

лева: он просил не вообще освобождения от службы, а лишь добивался права служить там, где он считал для себя более почетным и менее обременительным. Аргументировал он свою просьбу «старшинством баллов» (он был по счету второй), и более высоким социальным статусом: гильдия у него выше, чем у купца Томилова. Он справедливо указывал, что в магистрате его доводы проигнорировали по личным мотивам: «бургомистры означенному ратману Томилову, первый ближайший родственник и второй брат двоюродный, почему оные, не уважая моей просимости назначили присутствовать мне в градской полиции, а изъясненному своему родственнику Томилову в городовом магистрате».[1] Однако прямого указания в законах, кого из ратманов следует прикомандировать к полиции, не было, поэтому бургомистр Иван Назаров и ратман Яков Ворошилов легко отвергли выдвинутые против них обвинения. В рапорте губернскому правлению они писали, что ратманы посылаются магистратом в полицию по делам купцов и мещан, а не по старшинству баллов. Правление поддержало магистрат, велев сделать строгое внушение Кобелеву за недельную жалобу.[2]

Однако с таким решением Кобелев не согласился и подал жалобу в Сенат, а до решения Сената в должность вступить отказался. Тогда Кобелева за непослушание власти отдали под суд в уголовную палату, как следует из донесения полиции губернскому правлению об исполнении его указа от 16 февраля 1827 г. Вопрос о возбуждении судебного преследования был решен удивительно оперативно. О причинах такого скорого рассмотрения дела Кобелева прямо говорилось в постановлении губернского правления: «по примеру и в страх другим».[3] Но в Сенате дело застряло на целый год. Наконец по императорскому указу 23 февраля 1828 г. из Сената Кобелев был признан виновным. Однако санкции против уклониста: сделать внушение и строго предупредить, чтобы впредь не совершал подобных поступков, «в противном случае будет подвергнут строгому по законам взысканию», – не-

1 ГАТвО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 2063. Л. 29 – 29 об.

2 Там же. Л. 31 – 31 об., 36 – 36 об.

3 Там же. Л. 41, 52.

льзя назвать суровыми. Лишь после получения императорского указа он был введен в должность.[1] Анализируя тактику Кобелева, нельзя не признать, что упорство тверского купца увенчалось его частичным успехом. Хотя он и не добился желаемого результата, но срок службы, благодаря хождению его дела по судебным инстанциям, сократился для него более, чем на треть.

Прошения об освобождении от службы взрослых детей нередко подавались вдовами. При этом в мотивации оснований для пересмотра результатов выборов сколько-нибудь существенных гендерных различий не просматривается. Вероятно, по причине того, что их реальными авторами были мужчины. Однако в прошении серпуховской мещанки (в прошлом купчихи) А.И. Масленниковой (в 1845 г.) на имя московского гражданского губернатора И.В. Капниста об освобождении сына от службы по выборам прорвалось женское, материнское видение проблемы. Она указала, что в присяжных ценовщиках с 1843 г. уже служит ее старший сын, а если не освободить второго сына, то семья, в которой трое взрослых дочерей, «должна придти в крайнее разорение и убожество, а дочери мои, не получа от меня, так и от братьев своих, по приближении время к отдаче в замужество надлежащего пособия, неизбежно должны остаться навсегда несчастными...»[2] И все же этот крик отчаяния матери не тронул сердца московских чиновников.

В практике деятельности органов городского самоуправления существовали и примеры оперативного и позитивного разрешения конфликтных ситуаций вокруг выборов горожан на общественные должности без участия коронных чиновников. Так, в начале марта 1842 г. избранный в слободчики тверской мещанин Н.А. Зубчанинов обратился с прошением на высочайшее имя, поданном в соответствии с принятой практикой в думу. Зубчанинов просил уволить его от должности, т.к. в 1838 г. он служил мещанским старостой для сбора податей, «а потому... должность слободчика противу

1 Там же. Л. 120 – 120 об., 141.

2 ЦИАМ. Ф. 1036. Оп. 1. Д. 884. Л. 138.

означенной отправляемой должности мещанского старосты есть для меня понизительна». Дума согласилась с мотивацией мещанина и уже 14 марта объявила в присутствии об удовлетворении ходатайства Зубчанинова.[1]

Заключение. Горожанин первой половины XIX в. жил в небольшом (или даже совсем маленьком) городе, в провинциальной среде, структурированной не только сословными, корпоративными и конфессиональными связями, но и пронизанной межличностными отношениями и родственными связями. В результате функционирования этих структур и связей сложилась сложная система социальных сетей. Социальная напряженность в этих сетях возникала не только при столкновении сословных, групповых и конфессиональных интересов, но и как следствие недружественных личных отношений, отдельных социальных актеров. При этом родственные связи могли уходить на второй план, уступая место конкурентной борьбе за влияние на городские дела. Иногда такие родственные конфликты находили отражение и в делопроизводственных материалах органов власти. Например, давая объяснение о столкновении на выборах 1822 г. в Коломне между Поповым и Колесниковым, городской голова заявил, что не придал им особого значения, полагая, что Попов и Колесников «как ближайшие родственники прекратят сие миром».[2]

Культура политической жизни во многом имела патриархальный характер. Граждане, да и чиновники, полагали, что в первую очередь влиянием на городские дела должны пользоваться не только состоятельные, но и зрелые граждане («по летам и положению своему»). При этом представители старшего поколения считали родственные отношения основанием для безусловной поддержки их позиции и интересов со стороны более молодых родственников. Показательны в этом плане методы, которыми действовали купцы, недовольные итогами выборов в Осташкове в 1821 г. Как установило расследование, некоторые из подписавших письмо ничего не

1 ГАТвО. Ф. 21. оп.1. Д.1199. Л. 34 – 34 об.

2 ЦИАМ. Ф. 54. Оп.175. Д. 558. Л. 56 – 56 об.

знали о его содержании. Так, купец А.П. Мосягин сообщил, что был приглашен в дом к своему родственнику для подписания какой-то «бумаги». На его просьбу прочитать ее содержание, купец М.Д. Мосягин сказал, «что де *подписывай, читать дело не твое*». Молодой купец согласился: «как я уверен, что он, Мосягин, как родственник мне не зделает чрез сие какой-либо неприятности, подписал оную, *не знав вовсе содержания во оной*» (курсив мой – *А.К.*).[1]

Именно такими патриархальными представлениями руководствовался городской голова Чухломы, настойчиво добиваясь избрания на этот пост своего племянника. Однако значение родственных связей в рассматриваемое время постепенно ослабевает. Так, избранный на эту должность вопреки своему желанию, Июдин не потворствовал дяде и другим родственникам, а выстроил линию поведения, исходящую из своего понимания справедливости и иной культуры политического, в которой важное место занимают чувство персональной ответственности и служение интересам сограждан.

В Твери и Осташкове уже в конце XVIII в. в избирательных собраниях участвовал достаточно широкий круг горожан. Возможно, в эти же годы аналогичная ситуация сформировалась и в Серпухове, но по источникам она фиксируется только с 1813 г. Такое положение, когда среди выборщиков было примерно равное количество купцов и мещан, сохранилось и в начале 1860-х гг. Выборочные материалы по другим городам Московской и Тверской губерний подтверждают эту практику. Реально отстраненными от повседневного участия в делах городского самоуправления оказались лишь городские неимущие низы. Аналогичная картина наблюдалась и в городах Западной Сибири.[2]

Если законодательство стремилось создать самоуправление для верхних слоев городского населения, то граждане предпочли, чтобы в его деятельности участвовала не только

---

1 ГАТвО. Ф. 1048. Оп. 1. Д. 440. Л. 179 – 179 об.

2 *Рабцевич В.В.* Социальный состав органов городского самоуправления Западной Сибири в 80-х гг. XVIII – первой четверти XIX в. // История городов Сибири досоветского периода (XVII – начало XX в.). Новосибирск, 1977. С. 80 – 96; *Куприянов А.И.* Русский город в первой половине XIX века. С. 25 – 36.

верхушка, но и состоятельные мещане, обладавшие недвижимостью. Снижение имущественного статуса для участия в делах самоуправления определялось прежде всего малочисленностью богатого купечества, а также несовпадением представлений о социальной природе городского самоуправления у государственных сановников и у горожан.

Приведенные данные о выборах в городах Тверской и Московской губерний дают основание для вывода о том, что горожане, пришедшие на избирательное собрание, не были марионетками, послушно опускавшими шары в ящик по предложению городского головы. Особенно вдумчиво и серьезно они рассматривали кандидатов, выдвигаемых на наиболее ответственные посты в городском самоуправлении или на должности, представлявшие интересы городского гражданства в бюрократических органах власти. Вместе с тем, у части беднейших избирателей в Подольске, Дмитрове (весьма вероятно и во многих других уездных городах) отсутствовало подлинно гражданское понимание важности и значения городских выборов.

Избирательные процедуры не всегда соблюдались во всей полноте в уездных городах. Как граждане, так и чиновники, обязанные наблюдать за порядком на выборах, действовали нередко исходя не из буквы, а из духа законов. Еще точнее, эти действия проистекали отчасти из пренебрежительного отношения к действующему избирательному законодательству, как не учитывающему местные реалии. Но было и другое убеждение, выраставшее из трактовки городского самоуправления как сословного дела городского гражданства. Эта «привилегия» была дарована монархами для «пользы» горожан, следовательно, исходя из своих собственных интересов купцы и мещане имеют право корректировать на практике порядок проведения выборов. При этом местные традиции выборов в учреждения самоуправления оказывались в глазах граждан почти равными действующим законам. Такая аргументация нередко встречается в переписке выборных лиц городского самоуправления с губернскими властями. А омский городской голова Лука Баранов в 1856 г. даже писал об этом в своей жалобе царю: «Потому что порядок городс-

ких общественных выборов в Омске, проистекал от давности, обычая граждан и правил думы, одобрявшихся в продолжительное время... от того же губернского правления. Всего же более потому, что эти обычаи думы и граждан тесно связаны между собою с пользами и выгодами тех граждан».[1]

Выборы 1840-х – 1850-х гг. в городах Московской и Тверской губерний обнаруживают определенный кризис сложившейся избирательной системы. Проявились эти кризисные черты в организации института доверенных лиц, которым в отдельных городах делегировались права представлять купеческое и мещанское общества при решении различных вопросов городской жизни, требовавших согласия всего общества. Еще в большей степени кризисные явления обнаруживают себя в свертывании демократических традиций, в частности, происходило неуклонное сокращение числа кандидатов на выборные должности. Однако и к концу 1850-х гг. эта тенденция все же не достигла там уровня, характерного для некоторых сибирских городов. Так, в Омске, на должность баллотировалось по одному кандидату,[2] а в Барнауле, в первой четверти XIX в., не всегда соблюдали даже формальные избирательные процедуры, например, в 1807 г. бургомистры были «избраны» без голосования, а в 1822 г. даже городского голову назначили «без баллотировки, с общего согласия».[3]

В городах Московской и Тверской губерний мне удалось установить лишь единичные факты отказа от должности городского головы за весь период с 1785-го по 1861 гг. В конце 1826 г. просил уволить его от должности городского головы тверской 2-й гильдии купец Ф.Г. Тетяев, который ранее неоднократно нес различные общественные службы, в том числе и должность городского головы.[4] Другим отказником стал в 1849 г. новоторжский купец Цвылев.[5] А спустя три года купец Иван Маслов ходатайствовал об освобождении от должности кандидата городского головы Весьегонска Тверской

1 РГИА. Ф. 1287. Оп. 37. Д. 1665. Л. 28 об.

2 РГИА. Ф. 1287. Оп. 37. Д. 1665. Л. 28 об.

3 ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 2759. Л. 19 – 19 об.; Д. 2963. Л. 7.

4 ГАТвО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 2063. Л. 3.

5 ГАТвО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 13212, 13348.

губернии.[1] Полагаю, было бы серьезной ошибкой на основании этих двух отказов говорить об уменьшении престижа кресла главы города среди купцов Тверской губернии в конце 1840-х гг. Есть и совершенно противоположные прошения горожан этой губернии. Так, купец Синьков в 1849 г. жаловался на неутверждение его в должности городского головы Вышнего Волочка.[2] К этому же времени относится и жалоба вышневолоцкого мещанина Ивана Трудова на губернское правление за отказ утвердить его в качестве гласного думы.[3] Данное обстоятельство свидетельствует об определенном росте уважения граждан к институту городской думы и званию заседателя думы, не говоря уже о должности городского головы. В городах Западной Сибири должность городского головы считалась весьма престижной, и избранные на этот пост, насколько удалось выяснить, от своих обязанностей не отказывались.

Однако полученные данные об определенном росте авторитета думы и ее членов было бы не вполне осмотрительно распространять и на другие регионы. Например, в одном из крупнейших провинциальных городов – Нижнем Новгороде, в эти же годы несколько купцов стремились избежать этой хотя и почетной, но обременительной должности. Так поступали А.А. Брызгалов в 1785-м и 1792 гг., А.М. Костромин в 1807 г., Заплатин и Колтев в 1855 г.[4]

В целом же, идеалом поведения добропорядочного горожанина было такое же отношение к службе, как и у армейских офицеров: «Ни на что не напрашиваться, ни от чего не отказываться». Другое дело, что на практике это кредо разделяли далеко не все: одни – руководствуясь соображениями престижа; другие – находясь под давлением хозяйственной необходимости; третьи – движимые собственной корыстью и неготовностью безвозмездно служить интересам сограждан; четвертые – по состоянию здоровья и возрасту; пятые –

1 ГАТвО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 14656.

2 ГАТвО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 13303.

3 ГАТвО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 12588.

4 *Савельев А.А.* Столетие городского самоуправления в Нижнем Новгороде. 1785 – 1885. Н. Новгород. С. 13 – 14.

осознавая свою невысокую компетенцию для предлагаемой должности.

С развитием буржуазного самосознания у деятелей городского самоуправления им все теснее становилось в рамках абсолютистского государства. В конце рассматриваемого периода наблюдается не просто недовольство деятельностью отдельных лиц, возглавлявших административно-полицейскую власть на местах, но самой системой, когда бюрократические органы обладают функцией контроля за муниципальными органами. В городском обществе крепнет мнение, что в условиях преобразования крестьянского быта, в эпоху начинающихся реформ необходимо ликвидировать мелочную опеку городского самоуправления государственными структурами. Общественные деятели стремились к большей, подлинной самостоятельности городских учреждений, к расширению их компетенции. Рост правовой и политической культуры купечества, общая атмосфера в стране толкали верхушку торгово-промышленного населения не к прежним формам (жалобы в верховные органы власти) и старому содержанию (борьба против нарушений законов чиновниками, протесты против нарушений прерогатив выборных органов власти, отстаивание корпоративных и городских привилегий) – все это имело место, но к реформированию самой системы органов местной власти, к отмене всех отживших законов и инструкций, сковывающих инициативу выборных лиц, к расширению полномочий институтов самоуправления за счет сокращения компетенции органов государства на местах. Эти требования были отчасти учтены имперской властью при подготовке новой городской реформы в начале 1860-х гг.

Можно констатировать, что существовали по меньшей мере три дискурса власти: официальный (чиновничий), простонародный и гражданский, формулируемый общественно активной частью купечества. На принципиальное несовпадение дискурсов «городских сословий» и чиновников обратил внимание министра внутренних дел осташковский городской голова Ф.К. Савин. 14 декабря 1861 г. среди оков, мешающих развитию «гражданственности», он назвал и существующую

практику обращения городских дум и городских обществ к центральной власти через губернские правления, которые, пересказывая эти обращения, нередко искажали их смысл. Савин просил, чтобы общественные приговоры поступали министру внутренних дел, «хотя и чрез посредство губернских правлений, но в подлинниках, ради того, чтобы *как сущность содержания, так и самый дух оных* могли сохраняться в настоящей своей силе...» (курсив мой – *А.К.*).[1]

1 РГИА. Ф. 1287. Оп. 37. Д. 2379. Л. 13.

Глава III.

МОДА И ВЛАСТЬ: ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИЧНОСТИ РУССКИХ ГОРОЖАН

«Немецкая» мода и городская идентичность

«История костюма менее анекдотична, чем это кажется, – писал Ф. Бродель. – Она ставит много проблем: сырья, процессов изготовления, себестоимости, устойчивости культур, моды, социальной иерархии».[1]

Для понимания прошлого России обращение к истории костюма особенно актуально в связи с расколом общества, который произошел при царе Алексее Михайловиче и имел конфессиональную основу. Этот раскол углубился и расширился при Петре I, приобретя глобальный социокультурный характер, оформленный знаковой трансформацией всего внешнего облика подданных. Платье, прически и бороды приобрели ярко выраженную сословную и конфессиональную окраску. Ареной этого уникального стилистического эксперимента стал, как известно, город. Доминирующую сельскую округу не пытался изменить даже Петр. Власть, в целях облегчения идентификации верноподданных, ввела для старообрядцев и других ревнителей старины – «бородачей» – «указное платье», на которое должны были нашиваться особые знаки. Ограничения в одежде затронули и жен «бородачей», в число последних зачислили всех горожан, не пожелавших расстаться с бородой.[2] С этой дискриминацией старообрядцев

---

1 *Бродель Ф.* Структуры повседневности: возможное и невозможное. Т. 1. М., 1986. С. 333.

2 ПСЗ-I. Т. IV. № 1741, 1887, Т. VI. № 3944, Т. VII. № 4596.

и других «бородачей» покончила лишь Екатерина II указом 14 декабря 1762 г. и манифестом 3 марта 1764 гг.[1]

Какое значение имели данные законы Екатерины II для судьбы русского городского костюма? Они не привели и не могли привести к полному отказу власти от регулирования костюма горожан разных сословий. Но русским купцам и мещанам, а также проживавшим в городе крестьянам, была предоставлена существенная свобода выбора своего гардероба и всего внешнего облика. Перед «городским гражданством» был сломан барьер, возведенный властью и препятствовавший непривилегированным горожанам – мужчинам и женщинам – следовать собственному выбору одежды. Все они, включая и старообрядцев, таким образом стали потенциальными приверженцами моды своего времени. Потенциальные приверженцы моды, впрочем, еще далеко не реальные ее поклонники.

Каков же был тренд русского городского костюма после обретения гражданами свободы его выбора? Как известно, «бородачи» отнюдь не бросились шить новомодные французские кафтаны и носить кюлоты с белыми чулками, а также не поменяли прочные русские сапоги до колена на изящные башмаки из тонкой кожи. Видный советский этнограф М.Г. Рабинович даже писал об усилении сословного характера одежды горожан с конца XVIII до середины XIX в.[2] Однако имеются все основания полагать, что ситуация была более сложная и развитие городского костюма не было однонаправленным и линейным.

Кто кому подражал?

Большинство историков моды придерживаются одной модели объяснения изменений в одежде в новое время. Низшие «классы» подражают высшим «классам» в выборе «силуэта» фигуры, фасона одежды, материала для платья. Мода рождается в столичных городах, из которых распространяется в провинцию. Поэтому жители захолустных городов часто сильно отстают от моды.

1 ПСЗ-I. Т. XVI. № 11725, 12067.

2 *Рабинович М.Г.* Очерки материальной культуры русского феодального города. М., 1988. С. 195 – 198, 209 – 212.

Соответствует ли модель «подражания» низших «классов» высшим, предложенная историками костюма для объяснения изменений в одежде, реалиям русского города в первой половине XIX в.?

Изучение этнографических материалов, записок путешественников, дневников и мемуаров, художественной прозы и изобразительных источников дает основание говорить об одновременном существовании в провинциальных городах России 4 –5 моделей функционирования моды.

Иерархическая модель: купцы подражают в одежде дворянам и чиновникам; мещане ориентируются на вкусы купечества; низшие городские слои (мастеровые, прислуга) в свою очередь подражают мещанам. В чистом виде данная модель мне вообще неизвестна. Распространен паллиативный вариант этой модели – купечество подражает модам дворянства. Мещане и часть купцов сохраняют ориентацию на традиционную городскую одежду, которая постепенно адаптируется к требованиям моды. Городские «низы» носят модернизированную крестьянскую одежду.

Сегрегационная консервативная модель: все сословия, живущие в городе, придерживаются собственных традиций и не стремятся заимствовать что-либо в сфере одежды друг у друга. В относительно «чистом» виде эта модель закончила свое существование в 1840-х гг. Вариантом этой модели являлась «старообрядческая традиция», когда в уездном городе малочисленное дворянство и чиновничество не оказывают никакого влияния на другие сословия. Доминирует старообрядческая ориентация на допетровские традиции одежды. Эта модель воспроизведена в романе «На горах» П.И. Мельниковым-Печерским, детство которого прошло в Семенове Нижегородской губернии, окруженном старообрядческими скитами. И в дальнейшем, будучи чиновником, он профессионально занимался раскольниками. По запискам путешественников, во многом таким городом был Торжок до 1840-х гг.

Стихийная модель сатирически описана Ф. Булгариным в романе «Иван Выжигин»: в захолустном уездном городе, находящемся в этноконтактной зоне, наблюдается эстетический плюрализм в одежде и эклектическое смешение раз-

ных стилей и эпох моды, соединение западной и восточных традиций. Похожая ситуация наблюдалась почти до середины XIX в. в отдельных городах юга Западной Сибири, находившихся в зоне интенсивных торгово-экономических контактов с народами Средней Азии, Казахстана и сибирскими «инородцами».

«Буржуазная» модель: богатое купечество одевается в общеевропейское платье и ориентируется на новейшую западную моду. Ему подражают небогатые дворяне, чиновники и разночинцы. Купцы 3-й гильдии и мещане подвержены двойной ориентации: на сохранение традиционной одежды и заимствование элементов современной моды. Примером такого города служит Иркутск 1830-х – 1840-х гг.[1]

Такое разнообразие моделей функционирования моды, и – шире – развития городского костюма, требует своего объяснения. Действительно, почему же в разных провинциальных городах возобладала та или иная модель? Если принятая у историков моды традиция объяснения изменений в одежде «заимствованиями» и «подражаниями» низших классов высшим, а провинциалов – столичным жителям верна, то купцы, например, должны больше отставать от моды, чем дворяне и чиновники, а жители сибирских городов от горожан Центра, и чем больше город удален от Петербурга и Москвы, тем большим будет это отставание. Однако так ли это было в реальности? И другой, не менее важный вопрос: были ли изменения в одежде продиктованы лишь веяниями европейской моды или же имело место и обратное влияние народного костюма на одежду высших и средних слоев города?

Попытки ответить на эти вопросы будут иметь абстрактный характер, если игнорировать особенности социального состава населения разных городов, их географическое положение, характер торгово-экономических связей, локальные культурные традиции и, разумеется, если не учитывать проблемы регламентации властью городского костюма.

Тема «власть и мода» в дореформенной России важна сразу в нескольких аспектах: 1) политика власти в деле формирова-

---

1 АРГО. Р. 59. Оп. 1. Д. 15. Ч. 1. Л. 225 – 227 об.

ния идеального облика подданных и ее рецепция горожанами; 2) одежда как средство этнической, сословной и конфессиональной идентификации; 3) европейская мода и обретение новой социокультурной идентичности горожанами.

Среди всех аспектов отношений власти и индивида, индивида и общества в императорской России особую роль играет проблема рецепции западной («немецкой») моды в русском провинциальном городе. Трудно переоценить ее значение и для исследования социальной и этнической идентичности горожан.

Более 100 лет после Петра Великого европейская одежда в восприятии простого народа оставалась «немецкой». По В.И. Далю, «немецкое платье» – это платье «общеевропейское, мужское и женское, в противоположность русскому». Этот феномен обычно интерпретируется таким образом: этнонимом «немецкий» в связи с низким уровнем представлений о мире обозначали все западноевропейское. Однако если до эпохи наполеоновских войн данная интерпретация возражений не вызывает, то после 1812 г. она представляется односторонней. Русские простолюдины на личном опыте научились быстро отличать французов от поляков, немцев и представителей других этносов, пришедших с армией Наполеона. Такой личный опыт общения с иностранцами приобрели не только жители территорий, где проходили военные действия, но и тех отдаленных уголков России и Сибири, в которые ссылали военнопленных разноплеменной наполеоновской армии и всех подозрительных иностранцев. В этой связи думается, что вклад германского компонента в «немецкое» остается недооцененным.

Роль Германии и немцев в трансферте европейской культуры, в том числе моды и многих элементов культуры досуга (танцы, застолье, рождественская ель и др.), требует специального изучения. Многие стороны культурно-бытового влияния «немецкой слободы» в Москве на русских во времена Петра I привлекли к себе внимание исследователей. Но исследование воздействия немецкой культуры, в том числе и немецкой моды, на русский провинциальный дореформенный город еще только делает первые шаги. Изучение этой пробле-

мы не входит в задачу моей книги. Я хочу остановиться на отдельных аспектах влияния Германии и немцев на процесс распространения в русском городе европейского платья.

Как известно, влияние французской моды на дворянство, чиновничество высших и средних рангов, европеизированную верхушку купечества и другие образованные слои русского общества было доминирующим. Что же касается основной массы купцов, мещан и низших разрядов чиновников, то на протяжении всего рассматриваемого периода они воспринимали европейскую моду как дворянскую, следовательно, чужую, и весьма избирательно заимствовали что-либо из нее.

Некоторые известные русские предприниматели и купцы сознательно ориентировались на немецкие буржуазные традиции: обучали своих детей немецкому и английскому, а не французскому языку, давали им среднее, а иногда и профессиональное образование в немецких учебных заведениях, в том числе и функционирующих в Российской империи. Так, П.И. Щукин в своих воспоминаниях писал, что К.Т. Солдатенков держал для племянника Василия в качестве гувернера немца Реймана. А самого мемуариста, как и его старшего брата, в возрасте 10-ти лет отец отправил обучаться в Бемовскую школу в Выборге, где преподавание велось на немецком языке. Среди школьных товарищей братьев Щукиных было немало русских из Москвы, Петербурга, Выборга.[1] Учитывая галломанию в высших слоях общества, такие германофильские настроения в сфере культуры были свидетельством сознательной ориентации молодой русской торгово-предпринимательской элиты на буржуазные социокультурные нормы. Эти нормы воспринимались в контексте сохранения консервативных ценностей, неприятия радикализма и революционаризма, которые ассоциировались с Францией.

Каналы проникновения германской моды в России были достаточно разнообразны: а) журналы, б) непосредственные впечатления путешественников по Германии и прибалтийским губерниям Российской империи, в) готовая одежда, импортированная из Германии, продававшаяся на ярмарках и в

[1] Воспоминания П.И. Щукина // Щукинский сборник. Вып. 10. М., 1912. С. 149, 151 – 152, 160.

магазинах, г) облик и бытовой уклад немцев, проживавших в русских городах.

У меня нет данных о распространении в России первого немецкого журнала мод «Journal der Luxus und der Moden», выходящего с 1786 г. Издатели этого журнала избрали принципиальную ориентацию на вкусы и запросы класса буржуазии.[1] В России выходившие в те годы первые модные журналы были адресованы читателям-дворянам. Издатели одного из таких журналов – «Магазин английских, французских и немецких новых мод» за 1791 г. – использовали на своих страницах материалы «Journal der Luxus und der Moden». Поэтому данное русское издание стало для читателей в известной мере транслятором немецкого буржуазного прочтения современной моды. Это обстоятельство оказало определенное влияние на процесс рецепции западной моды в верхних и средних слоях горожан. Разумеется, главными читателями иностранных журналов в это время были дворяне. Лишь в отдельных купеческих семьях были знакомы с журналами мод. Для большинства читателей-купцов они были недоступны из-за языкового барьера. Члены немногих купеческих семей знакомились с новинками моды благодаря чтению литературных журналов и газет, многие из которых вели специальную рубрику о модах в столицах Западной Европы (Париж, Лондон, Берлин, Вена) и на модных курортах. Положение несколько меняется лишь во второй половине 1850-х гг. в связи с ростом образовательного уровня части молодой русской буржуазии, с возросшим интересом к периодике и ростом сети публичных библиотек, некоторые из которых выписывали и немецкие модные журналы.

Второй канал – путешествие по германским землям – также был мало эффективен из-за малочисленности русских, пересекавших границу. «Общее число лиц, выезжавших за границу в те годы, установить трудно: официальная статистика была случайной, отрывочной и страдала неполнотой»,[2] –

1 *Bergelt C.* Das "Journal des Luxus und der Moden" (1786 – 1827). Ein soziologischer Beitrag zur Durchsetzung des buergerlichen Familienideals im Spiegel einer deutschen Modenzeitschrift. Marburg, 1984.

2 *Ерофеев Н.А.* Туманный Альбион. Англия и англичане глазами русских. 1825 – 1853 гг. М.: «Наука». 1982. С. 34.

пишет историк Н.А. Ерофеев. С ним следует согласиться лишь отчасти. Его аргументация опирается на отрывочные официальные данные за 1816 и 1833 гг. (за границу выехало 698 и 1178 человек, соответственно).[1] Сведения о том, что в 1849 г. после распоряжения правительства на родину возвратилось более 40 тыс. человек[2], он интерпретирует в качестве доказательства неполноты учета лиц, побывавших за границей. Однако между 1833-м и 1849-м лежат 16 лет. Согласно данным III Отделения в 1840-х гг. число ежегодных путешественников возросло, составив, например, в 1845 г. – 3891, а в 1846 г. – 4101 человек.[3] Специфика заграничных вояжей русских в Европу, не говоря уже о более дальних континентах, состояла в том, что часто они длились многие годы. Несомненно, среди «возвращенцев» 1849 г. оказалось много дворян, проживавших в Европе несколько лет. Именно этим обстоятельством, а не плохо поставленным учетом можно объяснить тот факт, что вопреки малочисленности ежегодно выезжавших за границу в царствование Николая I количество «туристов», вернувшихся по воле царя, оказалось значительным.

Поэтому официальные данные (при некотором недоучете общей численности выезжавших) довольно точно отражают число представителей предпринимательских кругов, совершивших заграничные вояжи. Во второй половине 1840-х гг. число «торговцев и промышленников», отправившихся за границу, а также их доля в общем потоке выезжавших заметно возросли, по сравнению с 1830-м – началом 1840-х гг., составив в 1846 г. 2769 человек (или 67,5%). Борьба Николая I с революциями 1848–1849 гг. стала причиной временного сокращения числа торговцев и промышленников, которые отправились в Европу в 1850 г., до 2392 человек. Однако их доля среди всех выезжавших увеличилась до 69,6 %.[4] В связи с изменением формы учета выезжавших нельзя определить в их числе долю купцов и предпринимателей, отправившихся за границу в канун отмены крепостного права. Отметим внушительный рост

1 *Ерофеев Н.А.* Указ. Соч. С. 34.

2 *Нифонтов А.С.* Россия в 1848 г. М., 1949. С. 73.

3 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 223. Д. 10. Л. 150; Д. 11. Л. 169.

4 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 223. Д. 11. Л. 169, Д. 15. Л. 126.

количества путешественников и демократизацию социального состава лиц, пересекавших границы империи. Так, в 1860 г. выехало за границу 70 044 российских подданных разных сословий. Впрочем, из этого числа следует исключить обладателей 27 000 паспортов, выданных татарским семействам, переселившимся в Турцию. Доля дворян и служащих, среди лиц совершивших заграничный вояж и сохранявших российское подданство, составила только 16,8 %.[1]

К сожалению, официальные источники, в которых приведены обобщенные данные о численности русских за границей, не дают сведений об «агентах» моды, ибо в них отсутствуют сведения об этническом составе путешественников. Не дают данные III Отделения и ответа на вопрос, сколько подданных Российской империи побывало в эти годы в Германии.

Возвращаясь к проблеме «чемоданного импорта», отметим, что его рост в известной мере сдерживался высокими таможенными пошлинами. Чиновники таможенного ведомства, судя по мемуарам современников, проявляли пристальный интерес к багажу путешественников, защищая не только казенные интересы, но и улучшая собственное благосостояние. Помимо взяток существовал еще один канал беспошлинного импорта – оформление багажа на имя членов императорской фамилии. Разумеется, им могли воспользоваться и пользовались лишь единицы. Тот факт, что подобные манипуляции быстро становились известны всему Петербургу, подтверждает ограниченный масштаб этого явления. Так, в ноябре 1858 г. среди «слухов и толков», волновавших петербуржцев, один был связан с доставкой графиней Разумовской на имя великой княгини Марии Николаевны до 20 «больших ящиков с разными уборами и другими, закупленными ею в Париже вещами».[2] При этом купцы негодовали на таможенное ведомство «за снисхождения, делаемые постоянно знатным лицам» при ввозе ими предметов роскоши.[3] Таким образом, неспособность таможенников воспрепятствовать недобро-

1 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 223. Д. 25. Л. 199.

2 ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3221. Л. 110.

3 Там же. Л. 110 – 110 об.

совестности и изворотливости графини Разумовской петербургскими купцами была не только обобщена, но и дала повод к обвинению таможенного ведомства в попустительстве аристократии.

Справедливое негодование купцов на практику использования знатью личных связей с целью беспошлинного ввоза товаров все же не является основанием для того, чтобы считать это явление широко распространенным. Особенно учитывая, что в агентурном донесении это недовольство передано в контексте рассуждений купцов о том, что подобная незаконная практика знати вынуждает их к поддержанию высоких цен на импортные товары, дабы компенсировать упущенную выгоду. История с графиней Разумовской произошла весьма кстати: она позволяла хоть в какой-то мере оправдать в глазах «среднего класса» петербуржцев повысившиеся цены на предметы роскоши и другие импортные товары.

Так или иначе, но многие путешественники привозили в своем багаже модную одежду, сделанную не только во Франции или в Англии, но и в Германии. Этот канал распространения моды близок к импорту готового платья, однако он отличался от него тем, что отбор осуществлялся самими путешествующими на основе собственного индивидуального выбора.

Более интенсивными, чем с германскими государствами, были в это время контакты русских купцов с немецким населением Курляндской, Лифляндской и Эстляндской губерний. Особенно важны были эти контакты для горожан Тверской губернии, которая не граничила непосредственно с прибалтийскими губерниями, но находилась неподалеку. Вопрос влияния немецкого бюргерства на горожан региона нуждается в специальном изучении, но уже сейчас можно привести отдельные факты, связанные с самыми разными сторонами повседневной культуры и подтверждающие важность таких связей. Например, чиновник и краевед Н. Рубцов в начале 1860-х гг. отмечал общее культурное влияние Остзейского края на жителей Осташкова.[1] И. Дмитриев, автор популяр-

[1] *Н. Р-в.* Памятная книжка Тверской губернии на 1863 год. Тверь, 1863. отд. III. С. 178.

ного путеводителя, рассказывая о Твери, писал о развлечениях местных мещан: «Любимая пляска есть бланжа (в роде манимаски), завезенная, говорят, из Ревеля».[1] Писательница А.И. Ишимова, наблюдавшая, как танцуют бланжу в Твери в 1844 г., также утверждала, что танец происходит из Ревеля.[2]

На страницах дневника Ивана Лапина – мелкого торговца, мещанина г. Опочки Псковской губернии, соседней с балтийским регионом и Тверской губернией, содержится немало разрозненных упоминаний, свидетельствующих о влиянии немецкой культуры на горожан. В частности, он сообщает о взрослой девушке, которую учили немецкому языку, о танцах, бытовавших в мещанской среде (кадриль, экосез, вальс), о немецкой песенке, которую он с друзьями исполнял в доме городничего: «Гер Грудер, их виль мит дер вас шпрехен», – нетипичных явлениях в 1810-х – 1820-х гг. для культуры маленьких уездных городов, не находившихся в этноконтактных зонах с балтийским регионом. В самой Опочке также проживало несколько немецких семей, с членами которых автор дневника вступал в дружеские контакты: общался, иногда бывал по праздникам в гостях. В дневнике имеются свидетельства немецкого влияния и на внешний облик Лапина и его друзей. Так, он сообщает, что танцевал в жилете и сюртуке (а не в кафтане и камзоле или сибирке, как следовало бы одеваться человеку его круга в подобном «глухом углу»!). На святочной вечеринке 27 декабря 1821 г. в доме городничего, куда они вошли замаскированными, его товарищ был во фраке. 29 июля 1824 г. в жизни Ивана Лапина произошло знаковое событие, о котором он писал: «Выстриг я голову по-немецки».[3] Таким образом, новая прическа довершила «немецкое» оформление внешнего облика автора дневника.

Отмечая влияние немецких бюргеров балтийских губерний на костюм русских купцов и мещан, уместнее все же говорить не о моде, а о влиянии традиций немецкой бюргерской

---

1 *Дмитриев И.* Путеводитель от Москвы до С.Петербурга и обратно. М., 1839. С. 115.

2 *Ишимова А.* Каникулы 1844 года, или поездка в Москву. СПб., 1846. С. 76.

3 Дневник Ивана Игнатьевича Лапина // Труды Псковского археологического общества. Вып. 11. Псков, 1915. С. 40, 47, 48, 51, 57, 70, 74.

культуры. Это характерно и для тех русских провинциальных городов, в которых проживало немецкое население. Впрочем, это замечание справедливо лишь отчасти, ибо состав немцев-горожан пополнялся ремесленниками и торговцами из Германии, специализировавшимися на производстве и продаже модной одежды и аксессуаров.

Власть и маркирующие социальные функции костюма

Историки моды вслед за мемуаристами справедливо обратили внимание на влияние личных вкусов и пристрастий императоров и императриц на формирование костюма подданных, их причесок и всего внешнего облика. Традиция, заложенная Петром Великим, была подхвачена и его преемниками. Казалось бы, при Екатерине II возобладал, по крайней мере, государственный подход в сфере регламентации облика подданных. Тут были, с одной стороны, меры, направленные против роскоши, с другой – был отменен налог на бороды, а также были сняты с городских сословий ограничения на выбор костюма. Однако ее сын, император Павел I, был менее последователен в этом вопросе. Обычно его запреты на ношение круглых шляп, фраков и панталон интерпретируют в связи с борьбой императора против угрозы распространения якобинства в России.

Такая трактовка представляется слишком политизированной и справедливой только отчасти. Рассмотрим очередность появления запретительных мер в конкретном историческом контексте. Так, первая регламентация Павла I касалась лишь мужских головных уборов. Последовавший в 1796 г. запрет носить круглые шляпы распространялся только на дворян, чиновников и верхушку купечества, усвоившую европейский костюм. Для людей, «кои в русском платье ходят», то есть для большинства, было сделано исключение: они имели право носить круглые шляпы. С остальных в декабре 1796 г., в Петербурге, стали отбирать подписки о неношении круглых шляп. Одновременно бралась подписка с хо-

зяев домов и домоправителей «о неимении лакеям и другим разночинцам непристойных шапок, очаковскими называемых».[1] Таким образом, монарх не столько боролся с заразой якобинства в сфере моды, сколько заботился о поддержании пристойного внешнего вида горожан разных сословий. Наконец, отмечу, что Павел не мог не знать, что своим происхождением круглые шляпы, фраки и жилеты обязаны Англии, а не революционной Франции.

Были ли эти и подобные приказы, регламентирующие облик подданных, свидетельством целенаправленной государственной политики? Да и сами эти предписания, якобы направленные против «заразы» якобинства, появились разновременно. Прошло более года после кампании по борьбе с круглыми шляпами, прежде чем в январе 1798 г. в столице начали объявлять с подпиской «о неношении фраков, жилетов, башмаков с лентами и прочего, равно перьев, плюмажей и бантов на шляпах». Взамен запрещенных фраков следовало иметь «немецкое платье, с одиночным стоячим воротником, шириною не более как в три четверти вершка, а обшлага иметь такого же цвету как и воротники...» Вместо жилетов надлежало носить «обыкновенные немецкие камзолы», а взамен башмаков с лентами – башмаки с пряжками. Тогда же запрещалось «увертывать шею безмерно» платками, галстуками, косынками, которые не отменялись вовсе, но их следовало повязывать «приличным образом без излишней толстоты».[2] Регламентация высоты воротника, обязательное совпадение цвета воротника и обшлагов и даже запрет на ношение длинных брюк (панталон), популярных среди парижских санкюлотов, – это запреты не «идеологического», а эстетического, стилевого характера. Да, не нравились государю императору тогдашние европейские (английские и французские) моды, ему по вкусу были прусские мундиры и штатское немецкое мужское платье. Очевидно, Павла I раздражало тяготение мужского костюма к пестроте и излишней пышности (банты, плюмажи, ленты, шелковые материи и т. д.). Поэтому как

---

1 РГИА. Ф. 789. Оп. 16. 1796 г. Д. 62. Л. 1– 1 об.

2 РГИА. Ф. 789. Оп. 16. 1798 г. Д. 12. Л. 1– 1 об.

самодержец он стремился придать подданным более пристойный вид, который рассматривал в числе других мер, направленных на улучшение нравов. Характерно, что вопросы регламентации костюма горожан стоят далеко не на первом месте в предписании петербургского военного губернатора, объявившего волю монарха. Первый пункт касался военных чинов, которые отныне обязаны были носить шинели и крытые шубы только темно-зеленого цвета. Второй – воспрещал в праздничные (двунадесятые и императорской семьи) дни любую торговлю, кроме продажи съестных припасов.[1] Структура этого документа вполне отчетливо обнаруживает отсутствие для императора границ между «публичной» и «приватной» сферами жизни, он считает себя ответственным за жизнь подданных во всех ее проявлениях. Отсюда по своему вкусу он и регламентирует костюм, обувь, прически подданных или распорядок дня столичных жителей.

Впрочем, если в столицах монаршие регламентации соблюдались строго, то в провинции было больше вольностей в одежде. Странными запретами императора пренебрегали порой даже лица, которые по долгу службы обязаны были следить за их выполнением другими. Так, городничий Бржестска Литовской губернии Пирха был по воле императора в 1798 г. «выкинут из службы» за то, что «публично ходил в круглой шляпе, фраке и сею неблагопристойною одеждою явно изображал развратное свое поведение...»[2]

Современникам казалось, что царствование императора Павла I было последним, когда верховная власть стремилась регламентировать одежду подданных. При Александре I регламентации в этой сфере касались лиц, находившихся на государственной службе: военных, гражданских чиновников, придворных. Вместе с тем, император рассматривал одежду как важный маркер социальной идентичности. Незадолго до конца своего правления, в марте 1824 г., он запретил «поселянам и другим низшего сословия людям носить военную одежду». Это мера была вполне обоснованной и достаточно

1 Там же. Л. 1.

2 ПСЗ-I. Т. 25. № 18606.

мотивированной, в ее основе лежала забота о чести армейского мундира: запретить в связи с тем, что некоторые преступники, не принадлежавшие к военному ведомству, чтобы скрыть свои следы, умышленно носят военную форму, подвергая солдат «напрасному нареканию».[1]

В целом же во время правления Александра I (1801 – 1825) одежда, приличная для каждой ситуации и конкретной социальной среды (исключая придворных), определялась уже не предписаниями власти, но массовыми стереотипами, местными традициями и локальным (групповым) общественным мнением. Фактически все в этой сфере возвращалось к допетровской ситуации, но уже в новых социокультурных условиях. В высших и отчасти средних городских стратах выбор платья, его фасона, цвета – все это соотносилось с рекомендациями европейской моды. Однако до полной толерантности среды и власти к индивидуальному выбору горожанами предметов своего гардероба было еще далеко. Границы допустимого в этой сфере даже для частных лиц, непричастных к государственному аппарату, оставались вполне определенными и ощутимыми. За пределы этих границ выходить было небезопасно, особенно для низов. Имело место и административное преследование граждан, позволивших себе проявление «вольнодумства» в одежде. При Николае I (1825 – 1855) это фактически превратилось в государственную политику. Он счел нужным подтянуть «дисциплину» в обществе, преследуя либерализм во всех его проявлениях. Император лично обращал внимание на то, как одеты его подданные, какие у них прически, носят ли они усы и бороды.

Выполняя волю царя, полиция наблюдала за внешним обликом горожан. По этому поводу время от времени возникали конфликты между гражданами и местной властью. Так, 7 декабря 1840 г. тобольский полицмейстер И.В. Нога (Нага) нанес «обиду» депутату квартирной комиссии Кошкарову. Последний подал жалобу. В объяснительной записке полицмейстер писал, что, войдя в присутствие квартирной комиссии, застал «сидевшего за судейским столом... депутата меща-

[1] ЦИАМ. Ф. 17. Оп. 1. Д. 7998. Л. 1 – 1 об.

нина Кошкарова, *одетого в тулуп и подпоясанного кушаком*, которому тотчас напомнил, что он явился в присутствие *не в приличном платье одетый...*» Депутат отвечал, что «он *одет прилично и как должно*» (курсив мой – *А.К.*). Тогда полицмейстер заявил, что его оппонент должен быть в сюртуке или «другом, приличном званию его платье», и потребовал, чтобы Кошкаров ушел и переоделся. Но мещанин вновь повторил, «что переодеваться не хочет – и что он одет хорошо». Разгневанный полицмейстер вывел его из помещения.[1]

В этом конфликте, разыгравшемся вокруг тулупа, подпоясанного кушаком, со всей отчетливостью видны социальные представления разных городских слоев об одежде. По мнению полицмейстера, то, как одет депутат квартирной комиссии мещанин Кошкаров, – это грубейшее нарушение всех норм приличия. Перед ним меркнет даже некорректное поведение мещанина, который сидя разговаривал со стоящим чиновником. Тобольский полицмейстер фиксирует в своем объяснении эту деталь, но не заостряет на ней внимание. Он концентрируется именно на несоответствии нормам социального этикета одежды депутата-мещанина. Полицмейстер Нога, оправдываясь, писал, что он говорил мещанину: члену комиссии не подобает быть в тулупе, в котором «*прилично только ходить одним мужикам и какому-нибудь сапожнику*, но вовсе не члену квартирной комиссии» (курсив мой – *А.К.*).[2] Кошкаров, как утверждал полицмейстер, на эти слова обиделся.

За конфликтом вокруг тулупа стояли представления о маркирующей социальной функции одежды. Констатируем принципиальное несовпадение взглядов по этому вопросу у чиновника и горожанина. Впрочем, так оценивал тулуп не только полицмейстер. Историк А.Н. Зорин, ссылаясь на одного из корреспондентов Русского географического общества (РГО), пишет, что в середине XIX в. в городах Казанского Поволжья ношение тулупа являлось приметой «недостаточности».[3]

1 ГАТ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 2. Л. 6 – 6 об.

2 Там же. Л. 6 об. – 7.

3 Очерки городского быта дореволюционного Поволжья. Ульяновск: Издательство «Средневолжского научного центра», 2000. С. 58.

Место, где произошел конфликт, занимала городская комиссия, избираемая домовладельцами. Это учреждение ведало отводом квартир в домах горожан на государственные нужды. Для членов квартирной комиссии не была предусмотрена униформа. Следовательно, они имели право приходить на заседания комиссии в своем обычном платье. Именно так и поступил Кошкаров. Однако в вопросе о допустимости («приличности») этой одежды мнения полицмейстера и мещанина оказались противоположны. Более того, тобольского мещанина больно задело утверждение чиновника, что его одежда пристойна лишь крестьянам («мужикам») и «какому-нибудь сапожнику». Таким образом, он, признавая социальную иерархию в одежде, считал, что его одежда отличается от наряда крестьянина («мужика») или ремесленника, занятого «черным» (физическим) трудом. Здесь возникает вопрос, почему полицмейстер этих различий не усмотрел? Вероятно, он не обратил внимания на качество выделки тулупа или детали его отделки, но зафиксировал сам знаковый смысл вещи. Для чиновника тулуп – одежда низших слоев общества, которые по своему статусу не имеют права на выполнение властных функций. Поэтому Кошкаров своей одеждой профанировал сакральный характер власти, которым обладает каждое официальное учреждение, санкционированное царской властью.

История конфликта тобольского полицмейстера и мещанина Кошкарова вокруг тулупа, подпоясанного кушаком, обнаруживает отсутствие единого понимания горожанами, принадлежащими к разным слоям, что есть «неприличная одежда». Имперская власть, стремящаяся к устранению поводов для любых социальных конфликтов, была, несомненно, заинтересована в четком определении того, какую одежду следует относить к простонародному платью, которое уместно лишь на крестьянах, а какая пристала горожанам из непривилегированных слоев общества. Правда, с законодательным определением одежды, «пристойной» для появления в общественном месте, все было совсем не просто. Главная причина трудности идентификации «пристойного платья» заключалась не в разности эстетических вкусов дворян, с одной стороны, и купцов, мещан, разночинцев – с другой. А в том, что

и внутри «образованного общества» не было единого мнения на этот счет. Этот вопрос неоднократно обсуждался на правительственном уровне, где даже среди высших должностных лиц также не обнаружилось единства. Причина принципиальных расхождений в правящих кругах по этому вопросу коренилась, прежде всего, в экономических интересах. Культурные основания интерпретации простонародной одежды, как показала дискуссия, начатая по инициативе отставного полковника Приклонского – содержателя питейных сборов в Нижегородской губернии, были сугубо подчинены прагматическим соображениям. Приклонский горел отнюдь не академическим интересом, возбуждая перед правительством этот вопрос в 1828 г. Министр финансов Е.Ф. Канкрин в мае 1828 г. в отношении к министру внутренних дел А.А. Закревскому представил пространное рассуждение о том, в каком смысле следует понимать выражение «вход в трактиры дозволяется людям в приличной одежде и наружной благовидности».[1] В своем отношении он подробно цитировал действующее законодательство, связанное с определением круга лиц, которым разрешалось посещать трактиры и другие заведения общественного питания, и их внешнего вида.

Этот вопрос в законодательных актах 1820-х гг. трактовался неоднозначно и даже противоречиво. Так, в Положении о трактирах в губернских и портовых городах, высочайше утвержденном 14 марта 1821 г., вход в гостиницы, ресторации, кофейни и трактиры дозволялся всем «в пристойной одежде и наружной благовидности». Этим актом было запрещено впускать в заведения солдат и людей в ливреях. Однако Положением от 19 сентября 1822 г. о трактирных заведениях в уездных городах содержателям трактиров запрещалось впускать «простой народ в обыкновенной крестьянской одежде».[2] Таким образом, оно резко сокращало число потенциальных посетителей трактиров. Сокращало в интересах содержателей питейных сборов. Один из них, полковник Приклонский, и просил воспретить на Макарьевской ярмарке и в Нижнем Новгороде

---

1 РГИА. Ф. 1286. Оп. 4. Д. 43.

2 Там же. Л. 1.

вход в трактиры и другие заведения «простого народа в обыкновенной одежде». В своих корыстных интересах откупщик пошел дальше Положения от 19 сентября 1822 г. Фактически он добивался распространения запрета посещения трактирных заведений не только крестьянами, но и большинством горожан. Е.Ф. Канкрину позиция Приклонского была, вероятно, близка, но нижегородский генерал-губернатор Бахметьев не поддержал предложение запретить впускать в трактиры «в неприличной одежде людей низкого состояния». Он придерживался буквы закона и был против распространения на губернские города Положения об уездных городах.[1]

Проблема с определением крестьянского платья решалась успешнее – оно содержалось в высочайше утвержденном 31 декабря 1826 г. Положении о трактирных заведениях в Санкт-Петербурге. В нем говорилось, что под крестьянским платьем «разуметь должно: армяки, азямы, смурые кафтаны, нагольные тулупы и вообще крестьянское одеяние».[2] Хуже обстояло дело с костюмом простых горожан. От трактовки «приличного» городского костюма зависел вопрос: разрешить ли городскому простонародью посещать трактиры и подобные заведения? Поэтому министр финансов и обращается к министру внутренних дел за разъяснением, что такое «приличная одежда» и «наружная благовидность»?

В своем ответе министр внутренних дел А.А. Закревский 22 мая 1828 г. писал министру финансов Е.Ф. Канкрину, что в 1820 г., готовя положение о трактирных заведениях в губернских и портовых городах, его ведомство включило слова о «крестьянском платье», однако Госсовет их исключил, а царь утвердил решение Госсовета. Поэтому А.А. Закревский полагал, что в трактирные заведения по городам следует впускать всех, «исключая одетых в армяки, смурые кафтаны и нагольные тулупы...»[3] Иначе говоря, по его мнению, надлежало пускать всех, кроме лиц в традиционном крестьянском платье. Близкую к нему позицию занял и Сенат, который отклонил претензии Приклонского, добивавшегося вход «черного

1 Там же. Л. 1 об. – 2.

2 Там же. Л. 1 об.

3 Там же. Л. 3 об.

народа в обыкновенной одежде воспретить», и постановил придерживаться более раннего Положения. Таким образом, городской мещанский костюм был признан пристойным для посещения трактиров, исключая те его элементы, которые бесспорно могли быть идентифицированы как крестьянские.

Накануне отмены крепостного права вопрос о статусной роли одежды вновь обрел актуальность. Впервые в истории России регламентация платья вводилась не на городской территории, а в деревне. В отчете корпуса жандармов и III отделения за 1859 г. обращалось внимание на участившиеся подозрительные случаи хождения в народ образованных путешественников. В частности, в конце 1858 – начале 1859 г. кандидат Московского университета П.Н. Рыбников ездил по Черниговской губернии, собирая сведения о промышленности. «Он носил бороду и крестьянское платье, сближаясь с раскольниками, и разговорами о их религиозных обрядах и о предстоящем в России преобразовании быта помещичьих крестьян возбудив против себя подозрение, был арестован». В Новороссийской губернии бывший студент Московского университета Свириденко «также носил русскую одежду, сближался с простым народом, женился на крестьянке и приобрел на сельских жителей влияние».[1] История с дворянином П.И. Якушкиным (сыном декабриста), задержанным в Пскове, стала предметом газетной полемики. Якушкин утверждал, что был арестован за то, что носил бороду и крестьянское платье. Один из полицейских чинов (старик квартальный) заявил Якушкину о неприличности и социальной недопустимости его одежды: «Да и как ты, губернский секретарь, смел носить мужицкое платье! Я тебя в Сибирь упеку (энергическое слово)!.. Я своему Государю подпоручик, хоть худенькое платье, да все дворянское...»[2] Правда, псковский полицмейстер настаивал на иной причине задержания этнографа – «за неимение письменного вида».

Власти не оставили эти происшествия без внимания, усмотрев в них опасный политический умысел: «Повторя-

1 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 223. Д. 24. Л. 21 об.

2 *П. Якушкин* Проницательность и усердие губернской полиции. (Письмо к редактору Русской беседы) //«Русская газета». 1859. № 40. С. 246.

ющиеся случаи путешествий таких людей, которые сближением своим с простым народом, особенно при нынешнем ожидании помещичьими крестьянами свободы, могут подать повод к беспорядкам, заставили обратить на этот предмет внимание».[1] Этот вопрос обсуждался на самом высоком уровне с участием шефа жандармов, министров внутренних дел, юстиции и народного просвещения. В записке, представленной в начале декабря 1859 г. министром юстиции статс-секретарем графом В.Н. Паниным кн. В.А. Долгорукову говорилось: «По тщательном разыскании оказалось, что в законах наших не содержится постановления на предмет ношения одежды». Текст этой записки министра юстиции обнаруживает общность мировидения квартального надзирателя из Пскова и одного из высших сановников империи. Оба были уверены, что ношение дворянами народного платья запрещено законом. Панин, констатировав отсутствие законов об одежде, вошел в положение чинов полиции и отметил, «что произвольное употребление одним и тем же лицом попеременно различной и *различных классам усвоенной обычаем одежды* может в некоторых случаях возбудить подозрение со стороны полиции» (курсив мой – *А.К.*). Однако министерство юстиции в 1859 г. не решилось подготовить законопроект, запрещающий дворянам носить традиционный народный костюм. Чиновники министерства юстиции, подчеркнув нежелательность появления в местах скопления крестьян «переодетых собирателей», нашли выход в административном ограничении передвижения ученых мужей в сельской местности. Они рекомендовали обязать издателей газет и журналов, «которые признают нужным собирать сведения о народе посредством переодетых лиц, чтобы сии лица имели надлежащие виды, чтобы о каждом таком случае поставлялось в известность министерство Внутренних дел...»[2]

В результате обсуждения постановили (с последующей царской конфирмацией), «что одни ученые общества, ут-

---

1 ГАРФ. Ф.109. Оп. 223. Д. 24. Л. 21 об.

2 ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. 1859 г. Л. 24 – 25.

верждённые правительством, могут посылать от себя путешественников», снабдив их паспортами, и о каждом случае доносить МВД, чтобы губернаторы были заранее извещены «о собирательстве сведений». Ученым в «лучших» традициях полицейского государства предписывалось, прибыв на место, заявлять о себе местной полиции. Издателям же газет и журналов было отказано в праве посылать от себя «подобных путешествующих».[1]

Как воспринималось несоответствие одежды сословному статусу индивида в среде непривилегированных городских сословий? В 1805 г. дмитровский купец И.А. Толченов с удивлением заносит в свой путевой журнал, что среди мелкопоместных дворян некоторые не только «не имеют приличного своему званию воспитания, но и от службы удаляются. В числе таковых три брата по фамилии Розбитныя... и сами на козлах ездят в русском сером кафтане и совершенно крестьянском одеянии и притом все трое молодых лет».[2] Несоответствие одежды социальному статусу человека вызывает у Толченова неодобрение, недоумение и находится в одном ряду с другими неподобающими для дворянина поступками, включая уклонение от службы и необразованность.

После смерти Николая I административное вмешательство в частную жизнь граждан несколько ослабло. В меньшей степени оно коснулось на первых порах одежды подданных. Правительственная политика в этой сфере обращала внимание преимущественно на облик мужской части дворянства. Так, в августе 1855 г. московские власти констатировали, что на улицах встречаются молодые люди, «которые носят совершенно русский костюм, как-то: армяк, поддевку, красную рубаху, порты, сапоги с напуском и на голове поярковую шляпу». Среди замеченных начальством молодых людей оказались некий Петр Васильевич Минин, отпустивший к тому же и «весьма длинные волосы», а также учитель 1-й московской гимназии Григорьев, «на котором надет вместо верхнего платья серый армяк». Любовь к народному костюму казалась

1 Там же. Л. 21 об. – 22.

2 *Толченов И.А.* Журнал, или Записка жизни и приключений И.А. Толченова. М., 1974. С. 374 –375.

столь подозрительной, что оба молодых человека были вызваны к обер-полицмейстеру. Чиновник поинтересовался, почему они одеты не должным образом для благородного человека. Минин дал уклончивый ответ, что он одет так из-за болезни, ибо, по его мнению, русский костюм самый удобный. Аполлон Григорьев заявил, что носит армяк «по любви к русской народности». Однако оба «народника» не стали настаивать на своем праве одеваться по собственному усмотрению и дали обязательство впредь не носить русское платье.[1]

Несистемное эпизодическое регулирование внешнего облика горожан отчасти продолжалось и в эпоху реформ. Известны отдельные случаи, когда лица, принадлежащие к императорскому дому, считали необходимым административными мерами привести облик отдельных «благородных» лиц к «приличному виду». Так, 15 августа 1865 г. великий князь Николай Николаевич приказал «задержать в Гродне ехавшего с этим же поездом студента 1-го курса медицинского факультета С.-Петербургского университета Ивана Неишильдта, обрить ему усы и остричь безобразно длинные волосы, что и исполнено».[2]

Влияние провинциалов на столичный мужской костюм

Мода на русский мужской костюм, точнее, ношение отдельных предметов и элементов традиционного народного костюма, была первой, которая родилась не в Петербурге, Париже или Лондоне, а в русской провинции. Жители северной столицы на рубеже 50 – 60-х гг. XIX в. также внесли свой вклад в процесс «демократизации» одежды. В Петербурге в это время современниками фиксируется отказ молодежи от строгого соответствия эталону мужского костюма, принятого в обществе. Носителями новых веяний были, в первую очередь, студенты. Учитывая, что большинство студентов приехало в Петербург из других городов, следует и здесь признать решающую роль провинции. Этот момент следует отметить особо,

---

1 ЦИАМ. Ф. 16. Оп. 45. Д. 119. Л. 1 – 2.

2 ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. 1865 г. Д. 8. Л. 24.

ибо раньше студенты-провинциалы стремились подражать столичным модам. С конца 50-х гг. XIX в. ситуация меняется. Молодые люди (во всяком случае, значительная их часть) уже не стремятся угнаться за питерскими модниками, а напротив, демонстративно дистанцируются от столичных мод. Причины смены студенческих ориентиров в сфере одежды в первую очередь следует искать в изменении социального состава студентов. Среди студенчества увеличивается разночинская прослойка. Все больше на студенческой скамье оказывалось и выпускников духовных семинарий. Последние были старше и обладали большим житейским опытом, чем их товарищи, которые окончили гимназии. Разночинное студенчество не могло из-за низких доходов, да и не хотело по идейным соображениям, подражать столичным аристократам. Вкусы разночинцев становились все более популярными в студенческой среде.

Такое влияние разночинских вкусов на студенческую одежду определялось во многом идейными мотивами. В конце 1850-х гг. в студенческой субкультуре выделяется «нигилистическое направление». Его представители отвергали существующее в России общество как аморальное и несвободное. Новая «нигилистическая» культура была альтернативой официальной культуре. Поэтому применительно к радикально настроенной молодежи историки М. Конфино и Б. Пиетров-Эннкер считают уместным говорить не о «субкультуре», а о «контркультуре», или «встречной» культуре.[1] Характерно, что большинство «нигилистов» происходили из среднего дворянства. Они, проживая с родителями, принимали нормы поведения и образ жизни, определяемые старшими. Став студентами, молодые люди в поведении, манерах, жизненных ценностях подражали разночинцам, особенно товарищам, происходившим из семей духовенства.[2]

---

1 *Confino M.* Révolte juvénile et contre-culture: Les nihilistes russes des «années 60» // Cahiers du monde russe et soviétique. 1990. № 4. P. 519; *Пиетров-Эннкер Б.* «Новые люди» России: Развитие женского движения от истоков до Октябрьской революции. М.: РГГУ, 2005. С. 60.

2 *Confino M.* Op. cit. P. 516 – 521.

С конца 1850-х гг. можно говорить об особой студенческой моде, отличающейся «демократической» направленностью, то есть ориентированной на традиционную городскую и даже отчасти крестьянскую одежду. Первые проявления студенческой вольности в одежде были связаны с многочисленными отклонениями, проявлявшимися при ношении форменного платья. Секретный агент III Отделения в донесении о летних гуляниях 1858 г. в окрестностях Петербурга писал, «что ныне студенты решительно нигде, ни на гуляньях, ни в публичных собраниях, не обращают никакого внимания на опрятность своей одежды или соблюдение прежней формы; теперь все на них надето кое-как, экспромтом, как некоторые сами этим хвалятся. Многие беззаботно отпускают не только усы и эспаньолки, но даже и бороду, а о пестрых, цветных галстуках при форменных пальтах и сюртуках, уже и перестали говорить в публике, как о вещи совершенно обыкновенной и вошедшей уже в общую студентскую форму».[1]

На рубеже 50-х – 60-х гг. XIX в. демократические тенденции в студенческом костюме нарастали, наряду с ними в это время вошли в обиход и этнически маркированные вещи. В 1861 г. на студенческие наряды все чаще с беспокойством обращали внимание агенты и сотрудники III Отделения. В одном из донесений осведомитель с негодованием писал: «24 апреля, с 7 часов до 10 вечера, на Адмиралтейском бульваре, между 5-ю студентами, гулял один молодой человек в студенческой шинели, под которой у него было надето: ситцевая полосатая рабочая блуза, большие сапоги, в которые засунуты были брюки, и конфедератка. Костюм этот обратил на него всеобщее внимание. Многие прохожие, показывая на него пальцем, замечали: напрасно правительство допускает показываться на публичных гуляниях лицам, одетым в таком революционном костюме».[2]

В прямом значении этого слова «революционным» в костюме студента был лишь головной убор польских повстанцев «конфедератка», однако сам подчеркнуто вызываю-

1 ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3219. Л. 122 об. – 123.

2 ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3235. Л. 112.

щий характер наряда, соединяющего в себе детали народной одежды и униформы, вызывал отторжение у благонамеренной публики. Летние костюмы студентов для вечерних прогулок в 1861 г. вызывали не меньшей шок и трепет петербургских обывателей, а также подозрительность со стороны секретной полиции. Наряды студентов воспринимаются ими не только как вызывающие, но даже как «фантастические», «дурацкие», «маскарадные» костюмы. Студентов в них опознают лишь по форменным фуражкам. Весь облик студентов беспокоил «благородную публику». Особое недовольство «благонамеренных» вызывали «безобразно отпущенные» усы и бороды, и в первую очередь «необыкновенно длинные отпущенные ими сзади волоса, висящие по плечам и почти до половины спины». «Я же... полагаю, – писал один обеспокоенный охранитель режима, – уж не суть ли эти необыкновенно длинноотпускаемые ими волоса, какой-нибудь особенный обозначательный между ними знак..., а, может быть, не кроется ли тут и какой-нибудь тайной штуки относительно того, что Вы изволили мне говорить о слухах Кромвельского клуба?»[1]

Аналогичные процессы происходили в это время и в провинциальной студенческой среде. «Университет Киевский, можно сказать, обращен в маскарад, ибо студенты являются на лекции в разных национальных костюмах. Поляки имеют свои, малороссияне свои костюмы, последние даже приходят в больших сапогах, намазанных дегтем, и хотя профессора пеняют на это, говоря, что от вони трудно быть на лекции, но голос их вопиющий в пустыне, – писала Аршеневская Ильинскому 14 февраля 1861 г.[2] Некто Степанов из Астрахани 7 марта 1861 г. сообщал А.А. Акимову в Петербург: «Казанские студенты вне университета ходят во всевозможных костюмах всех цветов: кто в чуйке, кто в поддевке, кто в кафтане и прочее».[3]

«Вольности» в одежде штатских или военных чинов рассматриваются консервативной частью общества не просто как вызов принятому общественному вкусу, но как верный

[1] ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3237. Л. 46 – 47.

[2] ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 1. Д. 1152. Л. 1.

[3] ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 1. Д. 1128. Л. 1.

признак антиправительственных настроений людей, допускающих отклонения от требований ношения униформы. Это было характерно не только для рубежа 1850-х – 1860-х гг., но и для пореформенной России. Так, в донесении жандармского капитана Белоцерковского шефу жандармов от 30 октября 1866 г. об одном из «неблагонамеренных лиц», говорилось: «вообще штабс-капитан Трунин враг правительственных распоряжений: ходит в какой-то меховой статской шапке, расстегнутый, выставив воротнички из рубахи, и убеждений самых революционных...»[1]

С конца 1850-х гг. можно говорить о влиянии студентов на будничный костюм других образованных слоев населения. «На днях некто, имевший надобность справиться о чем-то в Комиссии прошений, рассказывал, что к немалому его удивлению, он видел некоторых из тамошних чиновников одетых sans facons, – вместо форменной одежды, просто по-домашнему, в каких-то коломянковых серых и желтых летних балахонах, – доносил агент III Отделения. – Эта liberte et egalite не весьма ему понравилась, и он находил, что свобода эта уже чрез чур велика в таком важном и приближенном к императору месте. В чем же после этого (заметил он) дозволят себе ходить летом чиновники в неважных, дальних присутственных местах? – Уж не подражатели ли это (присовокупил он) студентам...?»[2] Показательно, что этот «некто» усматривал за приватной одеждой чиновников весьма серьезные вещи: «свободу» и «равенство» – лозунги Великой французской революции.

Сам студенческий костюм на рубеже конца 50-х – 60-х гг. XIX в. не оставался неизменным. Сравнение описаний студенческого облика в цитированных донесениях агентов III Отделения за 1858-й и 1861 гг. обнаруживает отчетливую тенденцию: «от экспромта», когда студенческая форма дополнялась аксессуарами из гардероба питерских модников, к «демократизации» (фольклоризации) костюма. Для студенческой моды 1861 г. характерна уже не только эклектичность

1 ГАРФ. Ф. 109. 1 экспед. 1866 г. Д. 5. Ч. 47. Л. 45 об. – 46.

2 ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3229. Л. 55 об. – 56.

нарядов, но и нарочитое заимствование отдельных предметов одежды, обуви и головных уборов из городского и крестьянского народного костюма. А в ряде случаев, как с поляками и малороссами, ношение народной одежды демонстративно подчеркивало национальность ее носителя и было вызовом культурным стандартам империи.

В конце XVIII – первой половине XIX в. по одежде горожан можно было судить не только о сословной, но в ряде случаев и о конфессиональной принадлежности ее владельцев. Последнее замечание особенно справедливо в отношении мусульман и иудеев. Имела некоторые отличия и одежда старообрядцев, в частности, они носили традиционное русское платье, длинные волосы и бороды. Для большинства старообрядцев было характерно негативное восприятие современного городского костюма. Об отношении к феномену моды говорит распространенная среди старообрядцев Космодемьяновского уезда Казанской губернии в 1850-х гг. пословица: «слазит бес в воду, да вынесет моду и начнет людей рядить на свой лад». Вместе с тем, тот же информатор сообщал, что «некоторые горожанки носят платья и салопы, а мещане торговцы длинные сюртуки»,[1] то есть и в среде старообрядцев появлялись люди, носившие модную, по меркам этого уездного города, одежду.

Власть строго следила, чтобы православные не перенимали такой одежды инородцев, которая имеет знаковый конфессиональный характер. Так, в 1833 г. тюменская полицейская управа наказала розгами при земской полиции поселенца Нифантова. Вся вина последнего состояла в том, что он явился в тюменскую полицию «в неприличной камилавке, похожей на еврейскую ермолку», а также в мантии, «похожей на краган». За это «преступление» ему дали 20 розог. «Камилавку и мантию», чтобы через ношения их «не могло быть соблазна другим людям», истребили.[2] Вероятно, полиция ограничилась бы лишь уничтожением предосудительных предметов одежды ссыльного и отобранием от него под-

---

1 *Зеленин Д.* Описание рукописей Ученого архива императорского русского географического общества. Вып. 2. Пг., 1915. С. 496.

2 ГАТ. Ф. 376. Оп. 1. Д. 37. Л. 19 об. – 20 об.

писки о неношении в дальнейшем «непристойного платья», как обычно поступали в случаях различных незначительных проступков. Но, по-видимому, Нифантов осмелился им возражать, чем и навлек на себя наказание розгами. Чиновники тюменской полиции, расправляясь со ссыльным, не только защищали интересы государственной церкви, но и стояли на охране социокультурных норм и предписаний традиционного общества, в котором сословия, социальные группы («звания», «чины», «классы», «разряды» людей) и конфессии не должны смешиваться.

У полицейских чинов был свой «профессиональный» интерес к сохранению сословного характера одежды, но они были не в силах помешать какому-нибудь мелкому торговцу носить модный сюртук или даже фрак. Постепенной утратой костюмом горожан идентифицирующей функции были недовольны не только полицейские, но отчасти и другие чиновники. В ноябре 1810 г. отставной титулярный советник Александр Гаврилов даже подал особый проект «о присвоении особой одежды для чиновников, купцов и мещан». Гаврилов с досадой писал об отсутствии должной субординации между гражданскими чинами, чему способствовала, выражаясь современным языком, анонимность человека в большом городе и буржуазный характер городского костюма: «Словом сказать, обходятся все вообще не по достоинству чинов, а смотря по лучшей, нынешнего фасона шляпе, фраку, часам, тросточке и лакированным сапогам». Он констатировал, «что партикулярное платье, носимое при самых даже должностях, подает частые случаи к ошибкам, через которые старшим статским чинам от младших, а равно от купцов, мещан, ремесленников и прочих разнозванцев, оказываются весьма несносные грубости и обиды. Щеголеватый самолюбец, видя высшего своего одноземца в партикулярном платье, и... в таком, которое хуже его, почитает того без сомнения человеком низшего звания». Выход из создавшегося положения он видел в том, чтобы по примеру военных чинов наложить на каждого горожанина соответствующую маркировку путем прикрепления к платью «нашивочной ткани», чтобы отличить «каждый чин от чина явным обра-

зом».[1] При всем удобстве социальной идентификации горожан в случае реализации проекта Гаврилова, он не встретил поддержки у чиновников собственной его императорского величества канцелярии.

Политика власти в этом вопросе в конце XVIII – середине XIX в. была, как правило, последовательной, но ее направленность не всегда соответствовала картине мира низших чиновников и их интересам. В этом отношении показательна регламентация властью одежды евреев. Так, в декабре 1804 г. и в марте 1828 г. правительство предписывало, чтобы евреи, желающие быть избранными в магистрат, носили немецкое платье. Исключение было сделано лишь для евреев, «живших в губерниях, от Польши возвращенных», которым было предоставлено право выбирать между немецким, польским и русским платьем.[2] Другим требованием к кандидатам-евреям было обязательное умение читать и писать на одном из языков: русском, немецком или польском. Отныне образованная верхушка иудейской общины, претендовавшая на руководство городскими делами, обязана была отказаться от традиционного еврейского костюма. Логика правительства была достаточно очевидна: состоятельная и образованная часть еврейского общества, стремясь получить доступ к руководству городским самоуправлением, перейдет на европейское платье, за ней последуют и их соплеменники. Однако правительство не учло такие факторы, как крепость института иудейской общины и приверженность евреев традиционному платью, которые не позволили решить данную проблему путем регламентации костюма евреев – членов магистратов.

Вместе с тем у власти было достаточно воли и стремления использовать методы принуждения для достижения культурной ассимиляции евреев. Поэтому правительство идет дальше, распространяя регламентацию костюма уже на все еврейское население. Если при Александре I и в начале правления Николая I власть рассматривает переход к европейскому платью как условие поощрения верхушки евреев,

---

1 РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 496. Л. 3 об. 4.

2 СЗРИ. Т. 3. Ст. 948. С. 219 – 220.

то в дальнейшем отказ от традиционного костюма – это лишь мера избежать государственных санкций. Имперская власть категорично предписывает евреям перейти на «обыкновенное платье». Высочайшее предписание по данному вопросу имело место в 1844 г. Однако евреи не спешили его выполнять и неоднократно добивались отсрочки, особенно упорствовали евреи в польских губерниях.

Борьба с еврейским народным костюмом продолжилась и в эпоху реформ. В марте 1871 г. вступили в силу «правила» о неукоснительном соблюдении в Царстве Польском запрещения евреям носить традиционную одежду. Эти правила придерживаются довольно архаичного деления одежды на «русскую» и «немецкую». При этом все верхнее платье было классифицировано четко и с достаточной полнотой. Одеваться «по-немецки» означало носить фрак, короткий сюртук или пальто. «*Русскою одеждою* надлежит признавать: *сюртук длинною за колена или по щеколадку*, сшитый по такому покрою *как у русских купцов, панталоны в сапоги или сверху сапогов, шейный платок или шляпу, или обыкновенную фуражку*» (курсив мой – *А.К.*). Принятые «правила» отказали армякам в признании за ними статуса «общенародной русской одежды», а были определены как принадлежность «одних только кучеров». [1]

При сопоставлении этого документа с указом от 9 декабря 1804 г. обращает на себя внимание то обстоятельство, что в 1871 г. свобода выбора евреями нового платья в Царстве Польском сократилась: отсутствовала возможность ношения польского костюма. После революции 1863 г. в Польше культурное сближение евреев с поляками уже не выглядело привлекательным в глазах имперской власти.

Данный документ, несомненно, обнаруживает русскоцентричную картину мира его автора (авторов). Однако было бы ошибочно интерпретировать содержание «правил» как стремление имперской власти к русификации евреев. Классификация всей одежды на «русское» и «немецкое» платье, вероятно, по замыслу чиновника, сочинявшего этот документ, была понятна всем: и евреям, и нижним чинам полиции, ко-

---

1 ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп., 1845 г. Д. 136. Л. 56 в – 56 в (об).

торые были обязаны наблюдать за реализацией чиновнических предписаний в сфере одежды евреев. Евреям же навязали альтернативу: они обязаны были выглядеть «по-немецки» или «по-русски». Такая борьба власти за чистоту стиля в начале 1870-х гг. выглядела архаичной и дискриминационной по отношению к евреям, ибо после Екатерины II власть не запрещала русским, немецким или татарским купцам носить одновременно бороду и европейское платье. «Правила» свидетельствуют, что имперская власть и в пореформенной России, стремясь к унификации одежды подданных, создающей видимость социокультурной однородности последних хотя бы в пределах европейской части Российской империи, не готова была позволить индивидам (в данном случае евреям) самим решать, как они должны одеваться. Одежда в картине мира русского чиновника по-прежнему должна была выполнять функцию социальной маркировки подданных, деля их, по крайней мере, на две социокультурные группы: «народ» и «публику», состав которой постепенно расширялся.

Усилия власти в сфере регламентации костюма горожан имели определенный результат. Одежда в первой половине XIX в. продолжала довольно исправно играть свою идентифицирующую роль в картине мира не только чиновников, но и других сословий и социальных групп. Поэтому поднимающийся класс предпринимателей стремился избавиться от «родовых» простонародных признаков и приобрести «цивилизованный» внешний облик. Известный экономист и публицист пореформенной эпохи В.П. Безобразов писал, что любой крестьянин-предприниматель с. Иванова (жители этого села к началу 1860-х гг. уже давно вели городской образ жизни), разбогатев, «разрядится... непременно и разрядит в прах свою жену, если бы не для собственного удовольствия, то хоть людям на показ». Он также зафиксировал распространенную среди жен мастеровых практику выходить на гуляния в дорогих сторублевых шелковых платьях, взятых напрокат.[1] Эти факты он привел для характеристики нравов жителей Иванова, усматривая в них проявление тщеславия.

[1] *Безобразов В.* Село Иваново: Общественно-физиологический очерк. СПб., 1864. С. 293.

Историк К. Гества, изучавший протоиндустриализацию в России, предложил иную интерпретацию этих данных. Он справедливо считает, что ивановцы и павловцы (в первую очередь женщины), формально состоявшие в крестьянском сословии, стремились посредством городской одежды отгородиться от крестьянства окрестных деревень. Более того, К. Гества усматривает в показной роскоши нарядов женщин и рационалистические моменты: публично демонстрируя богатство своего наряда, жены тем самым подчеркивали преуспевание и финансовое благополучие своих мужей.[1]

Приверженность купцов и мещан к традиционному платью как знаковому отличию от дворян и чиновников, облаченных во фраки, башмаки и панталоны, едва ли уместно интерпретировать как неприятие всей социальной системы Российской империи. Ориентация на народную одежду вопреки моде – это лишь признак неприятия культурной модернизации общества, но вовсе не отрицание социальной российской действительности. Подтверждением такого видения является прошение фабриканта Грачева – поставщика для армии холста и «каламенки». В 1801 г. он просил уволить его от службы и наградить. Для того времени его поведение было вполне типично: человек, прослужив на благо государства без нареканий несколько лет, требовал себе награды. Московский генерал-губернатор поддержал его ходатайство и просил «вместо награждения чином, как подобные ему члены ратгауза удостаиваются, которого он по старинному образу одежды своей не желает, пожаловать ему каковой либо знак отличия для ношения на шее».[2]

Мундир в глазах горожан пользовался определенным уважением – он подчеркивал принадлежность его обладателя к государственной службе. В 1834 г. правительство установило разряды для ношения мундиров среди чиновников гражданского ведомства, распространив его в том же году и на лиц, служащих по выборам в городском самоуправлении. Эта мера привела к росту популярности штатской униформы среди со-

---

1 *Gestwa K.* Proto-Industrialisierung in Rußland. Göttingen, 1999. S. 470 – 473.

2 ЦИАМ. Ф. 16. Оп. 3. Д. 2979. Л. 145 об.

циально активной части купечества. Не попавшие в число тех, на кого распространялось новое положение о мундирах, члены Московской торговой депутации, купцы Арбузов, Коровин, Седельников, Маслов, Поземщиков, Шорин и Спиридонов ходатайствовали перед министром финансов о присвоении им разряда для ношения мундиров. Однако граф Канкрин был против распространения положения о разрядах мундиров на членов торговой депутации, «как не имеющих по должностям их никаких классов»,[1] то есть не приравненных на время службы по выборам «зауряд» к одному из 14 классов «Табели о рангах».

О несомненной престижности в провинции мундиров свидетельствуют и участившиеся в 1840-е – 1850-е гг. прошения купцов о награждении их правом носить мундир за службу по выборам после ее завершения. В Тверской губернии с ходатайством по этому вопросу обращались: калязинский купец Ногин в 1845 г., старицкий купец Веревкин в 1851 г., новоторжские купцы Вавулин, Попов и Свешников в 1849-м, 1857-м, 1857 гг., бывшие бургомистр Некрасов и ратман Воронов зубцовского магистрата, а также зубцовский купец Посохин в 1858-м и 1859 гг..[2] И это не полный список пожелавших испросить себе в награду за беспорочную службу право носить форменный мундир по последней должности.

Стремление к повышению своего статуса в местном обществе посредством ношения форменной одежды, как правило, обнаруживают люди небогатые: купцы 3-ей гильдии, мещане, разночинцы. Вероятно, для них право носить в отставке мундир было едва ли не единственным средством выделиться в городском обществе. Купцы первых двух гильдий имели «вес» в обществе благодаря своему капиталу, часто носили звания «почетного гражданина», «коммерции советника», «мануфактур советника», «степенного купца», «почетного попечителя», «почетного смотрителя», «директора» акционерного общества или какого-либо попечительства, поэтому они реже ходатайствовали о подобной награде. Не менее престижным для себя богатые купцы находили получение

1 ЦИАМ. Ф. 17. Оп. 5. Д. 307. Л. 1 – 1 об.

2 ГАТвО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 11402, 13466, 13526, 14377, 16707, 16914, 16915, 16914, 17157.

правительственных наград в виде медалей за пожертвования на нужды армии, церкви, просвещения и другие благотворительные цели. Разумеется, среди них были и люди, полагавшие, что их медали на фоне ведомственных мундиров будут выглядеть наиболее эффектно. Так, на портрете 1840 г. художника Васильева вологодский купец Н.И. Скулябин, занимавший пост городского головы, изображен в мундире министерства внутренних дел с четырьмя медалями на шее. На портрете художника К.П. Мазера (1842 г.) рыбинский купец Ф.И. Тюменев, который у Л.Е. Шепелева назван в одном случае купцом 1-ой, в другом – 2-ой гильдии, служивший главой Рыбинской судоходной расправы, изображен в кафтанном мундире ведомства путей сообщения с четырьмя медалями на шее и двумя наградами на груди.[1]

Мода как средство обретения новой идентичности

Для понимания социокультурных процессов в русской провинции важно выяснить: усиливались ли в костюме горожан сословные черты или же в первой половине XIX в. преобладала тенденция к сближению костюма городских жителей из разных сословий? Банальный вопрос, что же носили в рассматриваемое время горожане, требует непростого ответа, так как городской социум состоял из разных сословий, социальных групп, каждая из которых дифференцировалась в зависимости от уровня доходов, что не могло не сказываться на одежде горожан. Стремление имперской власти регламентировать одежду подданных также не могло не влиять на костюм городских жителей, особенно мужчин.

В наибольшей степени предписания власти касались государственных служащих, основу гардероба которых составляла форменная одежда. Поэтому сосредоточим внимание на частных лицах, у которых была большая свобода выбора. Наконец, необходимо выяснить и межрегиональный аспект

---

1 *Шепелев Л.Е.* Чиновный мир России. XVIII – начало XX в. СПб., 2001. Илл. 69, 71.

проблемы: существовали ли региональные отличия в одежде горожан Центральной России и Западной Сибири и каковы были тенденции в этой сфере?

Академик И. Георги, изучавший быт народов России в начале 1770-х гг., писал о городском костюме: «большая однакож часть купцов или мещан хотя и употребляет платье (и то мало) цвету той губернии, где живут, записаны и имеют свои промыслы; но покрой оного есть поднесь старинный, как то кафтан длинный, пониже икор, с частыми борами, подпоясанный кушаком, полукафтанье, пониже колен, но оное редко, а большею частию комзол длинный почти до колен и портки или широковатые на восточный образец штаны пестрядинные, кумачовые, редко немецкие суконные или плисовые; сверху которых висит выпущенная рубаха... зимою круглые шапки теплые с околышем из бобра, соболя или куницы, а летом круглые шляпы...» Но он же и отметил, что «каждая почти провинция или губерния имеют свой собственный образ одеяния...».[1]

Как же выглядели горожане исследуемой Тверской провинции в это время? Краевед и этнограф середины XIX в., чиновник Н. Рубцов составил подробное описание мужского костюма жителей города Кашина Тверской губернии в конце XVIII в.: «летом праздничный кафтан с мелкими наборами сзади от 30 до 40, суконный, красный, голубой или светло-вишневый с продолговатыми пуговицами и шелковыми петлями, которые делались только для вида, застегивался же он крючками; в будни кафтаны надевались китайчатые, простые, хотя также с наборами, но не частыми; на голову надевались так называемые кораблики черные бархатовые и пуховые, или пуховые шляпы вышиною вершков в шесть с большими крыльями, или небольшие поярковые вышиною вершка в два шляпы с большими пятивершковыми полями, загнутыми к верху. Зимою носились меховые, крытые сукном шубы с двумя фалдами назади, со скошенным воротом, который, равно как и рукава, был опушен котиком, или вовсе без опушки. Головы накрывались круглыми высокими от 8 до 10 вершков шапками, с бобровым или бараньим околышем и с бархатным, или

[1] *Георги И.* Описание всех в Российском государстве обитающих народов. Ч. IV. СПб., 1799. С. 127.

плисовым верхом зеленого, красного и белого цвета. Носились также шапки с так называемыми кряковками с овальными меховыми околышами и торчащими к верху ушами длиною в четверть, подвязывавшимися внизу головы лентой; верх этой шапки был выпуклый, бархатный или плисовый».[1]

Сравним этот гардероб с обобщенным костюмом русского провинциального горожанина (по И. Георги). Сопоставление предметов одежды из описаний И. Георги и Н. Рубцова позволяет сделать заключение, что костюм жителей Кашина имел лишь незначительные отличия от общерусского купеческого костюма. Что и неудивительно: по отдельным деталям описания (меховые крытые сукном шубы, а не овчинные тулупы, шапки с бобровым околышем) видно, что Н. Рубцов собрал материал о костюме зажиточного гражданина, вероятно, купца. Небольшие отличия гардероба кашинцев (нет полукафтанов и камзолов) от общерусской городской одежды (купеческой и мещанской), вероятно, объясняются тем, что информаторы Н. Рубцова просто забыли о них, а большее разнообразие мужских головных уборов связано с появлением в 1780-х – 1790-х гг. новых фасонов этой части костюма. Но возможно, что в Кашине раньше, чем в целом по России, перестали носить полукафтаны и камзолы, а некоторые головные уборы имели определенные местные особенности. Как бы то ни было, но данные о мужском гардеробе кашинцев не позволяют однозначно говорить о существовании традиционного регионального городского мужского костюма в Тверской губернии в конце XVIII в. Вероятно, в Кашине и в других городах Тверской губернии в последней четверти XVIII в. процесс размывания локальных особенностей городского костюма зашел достаточно далеко. Об этом свидетельствуют и одежда жителей Осташкова на картинах художника Колокольникова-Воронина о пребывании императора Александра I в этом городе в 1820 г.

А как обстояло дело с женским городским костюмом? Михаил Погодин, побывавший летом 1837 г. в Твери, писал о своих впечатлениях от праздника Св. Арсения Тверского: «Какие раз-

[1] *Р-в Н.* Очерк Кашина // Памятная книжка Тверской губернии на 1868 год. Тверь, 1868. С. 391.

нообразные костюмы виднелись в народе, о которых мы в Москве не имеем понятия! Вот весьегонка, говорил мне спутник, и вот новоторжанка. Русские национальные платья – прелесть!».[1] В этой записи обращает на себя внимание два обстоятельства: разнообразие костюмов, о которых литератор и историк, сын крепостного, живущий в Москве, «не имеет понятия»; и то, как легко его спутник, чиновник, определяет по наряду, из какого города та или иная женщина. Важно и то, о чем Погодин не писал: мужские костюмы купцов и мещан разных городов Тверской губернии не имели столь очевидных отличий.

Суммируя размышления о региональном верхневолжском (тверском) городском костюме, можно утверждать, что он не имел ярко выраженных признаков в конце XVIII – первой половине XIX в. Женский костюм свидетельствует о существовании не региональных, но локальных (городских) отличий. Мужской же костюм горожан – как по описанию Н. Рубцова, так и по более поздним запискам путешественников – никаких существенных отличий от общерусского костюма не имел. В Московской губернии образованные современники также не зафиксировали региональных особенностей нарядов горожан.

Можно ли говорить о местном (областном) городском костюме в других регионах России? В самом общем виде, ссылаясь на И. Георги – да. Екатерина Авдеева, происходившая из известной купеческой семьи (сестра литераторов Н.А. и К.А. Полевых), как будто бы согласна с этим выводом. В 1853 г. она писала, что «не везде одинаково русское платье; почти в каждой губернии одежда различна». Однако через одну страницу своей статьи она уже делает другое обобщение, свидетельствующее об унификации городского женского костюма: «От Нижегородской губернии до границы китайской, даже за шестьдесят лет не носили полного русского наряда. В городах носили кофты, шушуны разных фасонов, и к ним юбки, но более, особенно дома, душегрейки; сарафаны были одеждою пожилых женщин».[2] Таким образом, пожалуй, самый ав-

[1] *Барсуков Н.* Жизнь и труды М.П. Погодина. Кн. 5. СПб., 1892. С. 88.

[2] *Авдеева Е.* Старинная русская одежда: изменения в ней и моды нового времени // Отечественные записки. 1853. № 6. С. 182, 184.

торитетный этнограф русского городского быта того времени и много путешествовавшая Е.А. Авдеева[1] свидетельствует об одновременном процессе сохранения локальных отличий и унификации одежды горожанок. Во всяком случае на Урале и в Сибири, по мнению Авдеевой, уже в конце XVIII в. преобладала тенденция к ее унификации. Добавим, что в Западной Сибири ни дилетанты-этнографы, ни путешественники не зафиксировали такого разнообразия городских костюмов, как, например, в Тверской губернии. Учитывая, что в Тверской или в Московской губернии в городах проживали преимущественно потомки городских жителей, а в Сибири городское население не только сформировалось переселенцами из разных регионов России, но и постоянно пополнялось за счет механической миграции, отсутствие ярко выраженных локальных черт в костюме явление закономерное. Вместе с тем, более суровые климатические условия привели к тому, что костюм русских горожан адаптировался к местным условиям, особенно на севере, заимствуя у аборигенов те вещи, которые помогали лучше переносить холод.[2] Основа же мужского и женского городских костюмов оставалась общерусской и, благодаря притоку мигрантов, тяготела к унификации.

Насколько значительно отличалась одежда горожан разных великорусских губерний? Путешествовавший в 1843 г. по России барон А. Гакстагаузен писал: «... я обратил внимание на народную одежду. Замечательно, как мало в этом отношении разнообразия в России. Мужская одежда, с небольшими различиями в шапках, у всех великоруссов одинакова; но и женская одежда, во всяком случае более разнообразная, состоит из одинаковых частей и носит один и тот же характер во всей Великороссии. <...> в Германии насчитывают несколько сот различных народных костюмов. – *Во всей Великороссии,*

---

1 Русские писатели. 1800 – 1917: Биографический словарь. Т.1. М.: Советская энциклопедия, 1989. Т.1. С.15 – 16. Книгу *Е. Авдеевой* «Записки и замечания о Сибири» (М., 1837) А.Н. Пыпин называл одной из первых «собственно этнографических» (*Пыпин А.Н.* История русской этнографии. Т.4. СПб., 1892. С. 443).

2 *Шелегина О.Н.* Адаптация русского населения в условиях освоения территории Сибири (Историко-этнографические аспекты. XVII – XX вв.). М., 2001. С. 60 – 67.

несмотря на то, что она в шесть раз больше Германии, *народ носит один и тот же костюм*, может быть, с несколькими дюжинами незначительных отличий» (курсив мой – *А.К.*).[1]

Первая половина XIX в. была временем быстрой смены моды в женской одежде. Е.А. Авдеева в 1837 г. писала, что лет 15 назад в Иркутске можно было найти все наряды, которые носили наши прабабушки лет за 50 и более; теперь все истребляется; даже названия нарядов, я думаю скоро исчезнут...».[2] Во что одевались женщины в Сибири? «Обыкновенную одежду женщин из простого народа составляют: рубашки с широкими рукавами и узенькими запястьями (у пожилых женщин бывает у рубашек высокий ворот и широкий воротник), юбка и душегрейка или шушун, – свидетельствует Е.А. Авдеева. – Голову повязывают платком. Прежде все купчихи носили юбки и кофты, а на головах платки; ... бывали платки по сту пятидесяти рублей... Ныне все молодые женщины, купчихи, одеваются точно также как и в столице».[3] Образованные путешественники тоже нередко фиксировали, что в Сибири светские дамы одеты в соответствии со вкусом европейской моды. Так, К.Ф. Ледебур, побывавший в Барнауле в 1826 г., был весьма удивлен, обнаружив, что на балы дамы «являлись одетыми в дорогие нарядные платья, сшитые по последней столичной моде»[4]. Однако в этноконтактных зонах, в сибирских городах, женщины из малообеспеченных слоев общества широко заимствовали элементы восточного платья («кошмы, халаты, в коих сибирячки ходят запросто по улицам, окутываясь с ног до головы») и в начале 1830-х гг.[5]

Сопоставим свидетельство Е.А. Авдеевой с относящимся к 1829 г. замечанием о гардеробе жительниц города Бежецка Тверской губернии. В Бежецке приверженность традицион-

---

1 *Гакстгаузен А.* Исследования внутренних отношений народной жизни и в особенности сельских учреждений России. Т. 1. М., 1870. С. 199 – 200.

2 *Авдеева Е.А.* Записки и замечания о Сибири. М., 1837. С. 91.

3 Там же. С. 10.

4 *Ледебур К.Ф.* Путешествие по Горному Алтаю и предгорьям Алтая // Краеведческие записки. Вып. 2. Барнаул: Алтайское книжное издательство, 1959. С. 302.

5 *Восселн В.* Сатовка в Омске // Заволжский муравей. 1832. Ч. 3. № 19. С. 1054.

ной одежде (кофта, юбка, фата) сохранились среди «старушек», «молодушки же и девушки носят платья, подобно московским щеголихам, за исключением того, что немногие из богатых головным убором отличают себя от бедных, то есть, носят на головах шляпки».[1]

Нетрудно по этим и другим описаниям женских костюмов того времени заметить, что в первой четверти XIX в. в гардеробе купчих были те же вещи, что и у прочих горожанок. Отличались эти наряды прежде всего качеством отделки и стоимостью материала. Однако принципиальная близость одежды купчих и женщин из «простого народа» перестает устраивать молодых представительниц купеческого сословия, которые, получив образование в пансионе, стремятся подражать столичным модам. В этом стремлении было не только желание провинциалок не отстать от моды. Надевая тунику («шемиз»), а позже кринолин, эти женщины проводили резкую черту между собой и «простолюдинками». Тем самым модная одежда становилась средством выражения социальной идентичности, она выполняла эту роль более успешно, чем пусть дорогая, богато украшенная, но все же народная в своей основе одежда. Модные наряды были отличительным признаком благородства ее обладательницы. Молодая женщина в модном европейском платье всем своим видом сразу дистанцировалась и от простонародья, и от пожилых женщин, верных старозаветным традициям.

Квалифицированные эксперты городского быта – корреспонденты Русского географического общества – зафиксировали, что в середине XIX в. во многих уездных городах мода проникает в средние, а отчасти и нижние слои горожан. «Вышневолоцкие жители любят щеголять одеждою. Здесь достаточные женщины и девицы, даже мещанского звания, одеваются в немецкие платья, шляпки с большим вкусом и стараются подражать современным модам». Штатный смотритель вышневолоцких училищ А. Мирец-Имшенецкий, написавший эти строки, обратил внимание на связь уровня жизни горожан и их одежды: «Только самые бедные девицы

1 *Б...в.* Нечто о городе Бежецке // Русский зритель. 1829. № 15 – 16. С. 182.

и пожилые женщины мещанского звания еще носят древнюю русскую одежду: ферзи – сарафаны, шугаи – теплые кофты на вате, в роде полушубков, покрытые черным бархатом или плисом. Недостаточные мещане употребляют: чуйки – обыкновенные армяки, казакины – армяки со зборами, и зипуны – широкие армяки».[1] Нарядную одежду в Вышнем Волочке молодежь носила не только в праздничные дни, но и в будни: «На вечерины собираются девицы в шелковых и кисейных платьях, сшитых по моде, а мущины в модных пальто из тонкого сукна», – писал все тот же наблюдатель.[2] Другой корреспондент Русского географического общества, М.А. Добролюбов, отметил, что в г. Василе Нижегородской губернии в конце 1850-х гг. «национальный русский костюм... вытесняется платьями *немецкого или французского покроя*. Не много уже остается приверженцев сарафанов, длиннополых сюртуков, охабней, чапанов, шубеек и холодников» (курсив мой – *А.К.*).[3] В маленьком уездном городе Ишиме, на юге Западной Сибири, в середине 1850-х гг., по свидетельству местного городничего К. Кувичинского, «мещанки платье носят большею частию на покрой дворянской; впрочем, любят пестроту в одежде и в шалевых платках предпочитают красные цвета. Мужчины же одеваются в длинные сюртуки или халаты, подпоясывая оные опоясками (кушаками), а также в азямы, похожие покроем на халаты».[4]

Еще в 1849 г. штатный смотритель народных училищ г. Павловска Воронежской губернии В. Кашин фиксирует увлечение модами лишь в женской половине состоятельных купеческих и мещанских семей.[5] По-иному о влиянии моды на жителей этого же города писал в 1855 г. священник И. Скрябин, утверждавший, что купцы «в столе и одеждах перенимают все приемы благородного дворянства. Равно и мещанин ни в чем бы не уступил бы купцу, если бы всегда позволяло ему состояние его, или собственная *совесть и стыд не запреща-*

1 АРГО. Р. 41. Оп. 1. Д. 2. Л. 4.

2 Там же. Л. 5 об.

3 АРГО. Р. 23. Д. 103. Л. 28 об.

4 ГАРФ. Ф. 815. Оп. 1. Д. 36. Л. 1 об. – 2.

5 АРГО. Р. 9. Д. 19. Л. 4.

ли бы иногда надеть ему или ей шляпу ли, или что либо другое щегольное» (курсив мой – *А.К.*).[1] Таким образом, сдвиг в одежде в пользу отказа от традиционных нарядов бросался в глаза уже не только при виде женщин, но и мужчин. Наблюдения павловского священника фиксируют, казалось бы, общее место: низшие слои общества подражают высшим. И где, как не в области одежды, это достигается так легко! Однако он же подтверждает существование в сознании мещанина установок («совесть и стыд») на допустимые пределы этого подражания. Эти моральные ограничения в своей основе имели прагматический характер. Если горожанин не желал прослыть транжирой и мотом, он не должен был иметь репутацию щеголя, подражающего дворянам. Иначе для реноме молодого человека – небогатого купца или мещанина – это могло иметь крайне неблагоприятные последствия. Купцы и мещане, одетые по моде, рисковали подвергнуться двойному осмеянию: со стороны дворян и чиновной верхушки («мужик вырядился во фрак»), и со стороны лиц своего сословия («лезет в благородные»).

Мужчины из непривилегированных городских слоев в отношении одежды были значительно консервативнее женщин. Шотландский врач Р. Лайелл, живший в России в 1815 – 1823 гг., отметив консерватизм купеческого костюма, обнаружил и новые черты в культурно-бытовом облике русских купцов, некоторые из которых избавлялись от патриархальных бород и делали «робкие попытки носить европейское платье».[2] Эти попытки действительно были довольно «робкими». «Силуэт» фигуры купца или мещанина оставался в своей массе в провинции прежним и в середине XIX в. Так, писательница А.И. Ишимова, суммируя свои впечатления об облике жителей Твери середины 1840-х гг., приходит к умозаключению: «Мущины же здесь, как и везде, имеют более постоянства в этом отношении, и в купеческих семействах по большей части придерживаются старинного обычая не брить бороды, и не переменять покроя старинных кафтанов,

---

1 АРГО. Р. 9. Д. 36. Л. 23 – 23 об.

2 *Лайелл Р.* Характер русских и подробная история Москвы // Человек. 1992. № 3. С. 163.

не смотря на все щегольство женской половины».[1] Еще больше были стилевые различия в мужском и женском костюме в городах Казанского Поволжья в середине XIX в.: «Отец в черном кафтане и лаптях, а дочка в платье, шали и косынке, в серьгах, перстнях, на ногах нитяные чулки и башмаки...»; «платье женщин и девиц вовсе не соответствует сельскому образу жизни мужчин...».[2]

И все же постепенно менялось платье и мужской половины купечества и мещанства. Отношение к модной одежде во многом зависело от эстетических вкусов, возраста и материального достатка. В середине XIX в. лица одного и того же социального статуса могли быть одеты по-разному. Так, в праздничный день в Осташкове в церкви часть мещан была в синих чуйках, а другие в пальто.[3] «Старики держатся своих покроев, а молодые люди, с жадностию меняя моды, далеко уже отступили от свойственной месту жительства степенности», – писал в 1849 г. священник Иовлев о жителях Торжка.[4] Мужское платье в большей степени, чем женское, было эклектичным. Характерной чертой модернизированной народной одежды было сочетание русского платья с деталями модного дворянского костюма. Авторы пятитомного «Русского костюма», работавшие над материалом для сценических постановок, справедливо писали, что даже «купцы-щеголи, заказывая модный сюртук, пускали его подлинней», потому что, по народным понятиям, «куцая» одежда смешна».[5]

Для женщин короткое платье, открывавшее ноги выше лодыжек, было табуировано до начала XX в. Отставной титулярный советник В. Паршин в рукописном «Историческом, географическом и этнографическом начертании Иркутской губернии», составленном в 1849 г., сообщает о процедуре публичного изгнания из общества «падших девушек». Процедура эта бытовала в Иркутске еще в начале XIX в. Одной из

1 *Ишимова А.* Каникулы 1844 года... С. 77 – 78.

2 Очерки городского быта дореволюционного Поволжья. С. 62.

3 *Слепцов В.* Письма об Осташкове: образец городского устройства в России // Современник, 1862. № 5. С. 67.

4 АРГО. Р. 41. Оп. 1. Д. 30. Л. 2.

5 Русский костюм 1750 – 1917. В 5-ти вып. Вып. 1. М.: ВТО, 1960. С. 25.

главных частей этого обряда была манипуляция с одеждой изгоняемой. У девушки, уличенной «в нарушении целомудрия и легкомысленном поведении», обрезали по колени платье и публично, розгою, выгоняли за городской палисад.[1]

Если облегающая и короткая одежда считалась неприличной, неудобной и даже смешной, то кричащее на современный взгляд сочетание цветов не казалось странным и вызывающим. Красочные описания соединения несочетаемого, смешения стилей одежды можно найти не только в беллетристике, но и в путевых описаниях. Так, публицист и этнограф П.И. Небольсин, путешествовавший в 1845 – 1846 гг. по Сибири, оставил подробное описание нарядов томского мещанина Сизых и его гостей. В день, когда бывший приказчик на золотых приисках давал «бал» по случаю дня рождения жены, он выглядел весьма колоритно: «На хозяине был надет зеленый бархатный, подбитый белкою, халат; из-под него виднелась пестрая русская рубаха; желтые сафьяновые туфли надеты на босу ногу». Под стать хозяину были одеты и гости: «... иные в русском, иные в немецком, а иные в особого рода смеси того и другого».[2]

Вчерашние выходцы из деревни, занимавшие низшие социальные ступени в городе и решившие одеться по городской моде, нередко выглядели откровенно карикатурно. «Трудно вообразить себе что-нибудь жальче такого молодца, когда он в какой-нибудь праздник идет в своем новокупленном наряде (*сюртуке – А.К.*) с талией, большею частью болтающейся по пяткам, в русских сапогах с длинными голенищами, за которые заткнуты оборваннейшие штанишки. Суконный замасленный жилет с пуговицами в два ряда, с бортами, лежащими на груди в виде каких-то собачьих ушей, и красный ситцевый галстук, обвороченный на шее раза три, окончательно довершают сходство новорожденного немца с коровою в седле», – свидетельствует бытописатель середины XIX в. А.И. Левитов.[3]

1 АРГО. Р. 59. Д. 15. Ч. 1. С. 205 об.

2 *Небольсин П.* Заметки на пути из Петербурга в Барнаул. СПб., 1850. С. 191.

3 *Левитов А.И.* Московские «комнаты снебилью» // Собр. Соч. Т. 4. СПб., 1911. С. 22.

В рассматриваемое время московское купечество было одинаково провинциальным в своих вкусах и отношении к моде. «У нас никогда по моде не одеваются, – писал А.Н. Островский в «Записках замоскворецкого жителя», – это даже считается неблагопристойным. Мода – постоянный, неистощимый предмет насмешек, а солидные люди при виде человека, одетого в современный костюм, покачивают головами с улыбкой сожаления; это значит: человек потерянный. *Будь лучше пьяница, да не одевайся по моде»* (курсив мой – *А.К.*).[1] Эта фраза известного комедиографа – не шутка, а отражение реального, распространенного в замосковорецкой среде отношения к модно одетым купцам. Так, в ходе выборов в московскую городскую думу в январе 1863 г. по 3-му территориальному участку, включающему Замоскворечье, был забаллотирован один достойный кандидат лишь за то, что «одевался чисто и носил французскую бороду».[2]

Еще в 1815 г. журнал «Кабинет Аспазии» утверждал: «Купечество не знает мод, а только обычай».[3] Но уже в 1828 г. литератор П.Л. Яковлев, обличая столичные нравы, писал: «В старину можно было отличить по платью чиновника от купца, купца от ремесленника... Теперь? – Все состояния имеют – фрак! Идешь по улице – встречаешь вельможу, сидельца из магазина, титулярного советника, сапожника – все одеты одинаково».[4] Картина единообразия мужских нарядов, разумеется, утрирована, но верно отражает сразу несколько социокультурных процессов. Во-первых, писатель справедливо указал на универсальность фрака как престижной одежды; во-вторых, зафиксировал проявившуюся тенденцию к стилевому единообразию мужской моды, к ее унификации; в-третьих, он обратил внимание на начавшийся процесс «де-

1 *Островский А.Н.* Записки замоскворецкого жителя // Полн. собр. соч. Т. 1. М., 1973. С. 59.

2 *Ковшов С.* Купеческие выборы в Москве. Из дневника наблюдателя // Московские ведомости. 1863. 27 января. № 22. С. 2. (Как установила Л.Ф. Писарькова, под этим псевдонимом писал С.П. Карцев, участвовавший в этих выборах. См.: *Писарькова Л.Ф.* Московская городская дума: 1863 – 1917 гг. М.: Изд. объединения «Мосгорархив», 1998. С. 26).

3 Кабинет Аспазии. 1815. № 7. С. 60 – 61.

4 *Яковлев П.Л.* Записки москвича. Кн. 1. М., 1828. С. 68.

мократизации» мужской моды, то есть распространение ее в широких слоях постоянного городского населения.

В 1818 г. надворный советник Яков Вяземский во всеподданнейшей записке предложил запретить ношение фраков представителям низших сословий, включая и неродовитых дворян, служащих по гражданской части и не имеющих штаб-офицерского чина. Эту идею он высказал в контексте мер по сокращению импорта в Россию предметов роскоши, в том числе дорогого сукна, чая, кофе и сахара. От запрета ношения фраков его разгулявшаяся фантазия рисовала огромную государственную пользу: «Но когда отымутся от приказных заведенные из фраков гардеробы, тогда всякой из них будет стараться заслужить от начальства внимание трудами и деятельностью, а не будет иметь надобности обирать на неследующие наряды. А притом одно лишение фраков обратит премножество приказных, сделавших уже лихоимством состояние, в военную службу, из числа коих оказаться могут достойные в армии чиновники».[1]

При всей курьезности и архаичности предложенных Яковом Вяземским мер, за ними стояли представления о социальном статусе одежды индивида в иерархическом обществе. Широкое распространение фраков среди горожан вызывало недовольство части дворян. Отсюда и стремление оградить дворянство от подражателей из непривилегированных слоев общества.

В свою очередь, большинство носителей традиционной купеческой культуры не готово было даже в середине XIX в. следовать за новациями в мире моды. Можно ли это неприятие европейской моды объяснить тем, что фрак – наиболее знаковая одежда мужского костюма – воспринималась как «чужое», «немецкое» или «дворянское» платье? В 1826 г. петербуржцы, судя по донесениям агентов в III Отделение о настроениях горожан в день годовщины восстания декабристов, полагали, что в глазах народа («мужиков» и солдат) все «фрачные» – враги, поэтому в случае успеха «бунта» им грозило бы истребление.[2]

---

1 РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 2692. Л. 3 об. – 4.

2 ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3179. Л. 54 об.

Так ли воспринимался фрак в необразованных слоях горожан в провинции через двадцать лет? В поисках ответа на этот вопрос обратимся к «Заметкам на пути из Петербурга в Барнаул» П.И. Небольсина. В частности, Небольсин писал о барнаульском купце С.А. Федченко, у которого он снимал квартиру, что последний, как и большая часть сибиряков, «ходит по-немецки», но не решается носить фрак. И далее он привел антифрачную мотивацию своего собеседника: «Право, этот *кургузый* балахон *носить совестно*! Да и вглядитесь хорошенько, на что похож человек во фраке? То ли дело сюртук, али нынче пальты попридумали? – Благодать да и только! И *перед бабьем не краснеешь*, и дешево обходится; износил, выворотил: он и заново» (курсив мой – *Л.К.*).[1] Таким образом, Федченко предпочитает старинным кафтанам, чуйкам и сибиркам среднеевропейский костюм своего времени – сюртук, пальто. Для него, как и для большинства сибирских купцов, мода уже вненациональна и внесословна. Он приветствует ту современную одежду, которая удобна, создает комфортное ощущение, экономична и выглядит не слишком вызывающе. И напротив, соображения нравственного и эстетического характера, унаследованные от народной культуры, препятствовали принятию короткой и облегающей одежды, которая, действительно, едва ли была уместна на дородных русских купцах.

Весьма информативна для ответа на вопрос о восприятии фрака в купеческой среде и картина художника Я. Колокольникова-Воронина «Семейный портрет Савиных». Искусствоведы датируют картину 1820-ми – 1830-ми годами.[2] На ней изображен осташковский купец К.Л. Савин с тремя взрослыми сыновьями.[3] Глава семьи в кафтане, с подстриженной бородой, на голове народная прическа (« в скобку»), борода и волосы средней длины. Младший сын подражает отцу в костюме, стрижке; с усами, однако без бороды. Двое старших сыновей, напротив, гладко выбриты, коротко стрижены, один во фрачном мундире, другой – во фраке, его волосы аккуратно

1 *Небольсин П.* Заметки на пути из Петербурга в Барнаул. С. 240.

2 *Белова И.В.* Династия Савиных в XVIII – XX веках // Традиции династий Верхневолжья. Тверь, 2004. С. 60 – 66.

3 Наше наследие. 1994. № 32. С. 10.

завиты по моде. Известно, что старший сын постоянно жил в Петербурге, на втором также отчетливо во всем внешнем облике видно столичное влияние, и лишь младший сын еще находится во власти отцовских вкусов. Таким образом, тренд в купеческом костюме на примере одной семьи предпринимателя, купца 1-ой гильдии очевиден: молодое поколение, обретая самостоятельность, выбирает фрак как костюм, приличный солидному предпринимателю. И наоборот, молодой купец, живущий в родительской семье, ориентируется на вкусы и традиции местной купеческой среды.

Отношение к фраку менялось в эти годы и у дворян. Так, А.И. Герцен в работе «О развитии революционных идей в России», отмечая снижение социального престижа офицеров в царствование Николая I, использовал противопоставление мундира и фрака: «Офицеры упали в глазах общества, победил фрак, – мундир преобладал лишь в провинциальных городишках да при дворе...»[1] По сути, с ним был солидарен и граф Бенкендорф: «дух европейской положительности (le positif) проникнул и в Россию. Наши юноши, которые еще недавно думали только о блестящем мундире, обратились теперь к хозяйству и добыче денег».[2]

Приоритет фрака перед мундиром в среде дворян и чиновников символизирует изменение отношения дворянства к службе: теперь даже служащие отдавали предпочтение частной жизни, что находит свое выражение и в ношении фрака – этой подчеркнуто приватной одежды. Впрочем, функции фрака не оставались неизменными. Он появился как костюм для верховой езды и обрел популярность в качестве универсальной (праздничной и будничной) мужской верхней одежды всех претендовавших на «благородство». Со временем фрак превратился в своего рода штатскую униформу и делового, и светского человека. Поэтому уже в 1840-х гг. в качестве более удобной одежды, чем фрак, выступают сюртук и халат (домашняя одежда, пристойная для приема гостей в будние дни).

1 *Герцен А.И.* Собр. Соч. в 30 тт. Т. 7. М., 1956. С. 210.

2 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 223. Д. 8. Л. 214 – 214 об.

Дамский костюм и феномен моды

Принято считать, что в провинции о моде, как социокультурном феномене, можно говорить с первой четверти XIX в. Полагаю, что время появления феномена моды в провинции следует сдвинуть к рубежу XVIII – XIX вв. Раньше влияние моды на одежду было мало заметно, поэтому из поколения в поколение передавались дорогие дамские наряды. Такая преемственность женского гардероба была возможна благодаря стабильности «силуэта» фигуры: «Для всего XVIII века, за исключением последних нескольких лет, – констатируют историки костюма, – характерно женское платье с тесно облегающим фигуру декольтированным корсажем и более или менее широкой юбкой».[1] Однако середина 1790-х гг. ознаменовалась радикальной сменой «силуэта» женской фигуры. Новая мода предписывала свободное платье со струящимися складками по образцу античных хитонов и туник, с высокой («английской») талией. Корсеты, турнюры были забыты, в моде оказалась естественность и простота. Об этих нарядах Ф.Ф. Вигель с иронией писал в своих мемуарах: «И право было недурно: на молодых женщинах и девицах все было так чисто, просто, свежо; собранные в виде диадемы волосы так украшали их молодое чело. Не страшась ужасов зимы, они были в полупрозрачных платьях, кои плотно охватывали стан и верно обрисовывали прелестные формы... Но каково же было пожилым и дородным женщинам? Им не так выгодно было выказывать формы; ну что ж, и они также из русских Матрен перешли в римские матроны».[2] В начале XIX в. платья надевали на батистовую рубашку или на розовое трико. Вечерние платья часто шили из просвечивающих материй, поэтому модницы носили ножные браслеты: один на щиколотке, другой выше колена. Историки моды полагают, что такой откровенный эротизм дамских нарядов не мог быть принят в провинции.[3] Впрочем, исключения все же имели место. Так, на литографии «Бал в Иркутске», датируемой обычно

---

1 Русский костюм 1750 – 1917. Вып. 1. С. 11.

2 *Вигель Ф.Ф.* Записки. Т. 1. М.: Захаров, 2000. С. 123 – 124.

3 Русский костюм 1750 – 1917 гг. Вып. 1. С. 94.

1805 г. (по мнению Ю.М. Лотмана, не ранее 1807 г.),[1] одна молодая женщина парит именно в таком прозрачном ампирном платье. А рядом, в другой паре, танцует женщина в описанном Е.А. Авдеевой традиционном иркутском наряде.

Эта литография изумительно обнажает столкновение двух стилей жизни – приверженность традиции и стремление идти в ногу с модой. Разумеется, всякий раз, когда происходили изменения в одежде, женщины оказывались перед выбором: менять привычную одежду и следовать моде или одеваться, как принято в той социальной среде, к которой они принадлежат? Со времен Петра I никогда изменения в женском костюме не были столь разительны, как на рубеже XVIII – XIX вв. Отсюда и заостренность «извечной» женской проблемы, как одеваться, чтобы быть модной и не вызвать резкое осуждение окружающих. Этот выбор для женщин в провинции был значительно более сложным и требовал большей самостоятельности, чем, например, для столичных дворянок. Последние вынуждены были следовать придворной моде, подражать ей. Строго говоря, дамы, и не только избранные, бывающие при дворе, но и все вращающиеся в светском обществе, были, по сути, лишены свободы выбора. Все они должны были, безусловно, следовать моде. Исключения могли быть лишь для пожилых женщин.

Иное дело купчихи или зажиточные мещанки. Вот для них-то мода и была сферой реализации собственной индивидуальности. Эта индивидуальность проявлялась многопланово. Они, как и небогатые провинциальные дворянки, в первую очередь решали вопрос, как найти средства на приобретение модного платья. Точнее, чаще всего деньги требовались на покупку не готового изделия, а материала, ниток, шитья и т.д., а также на пошив изделия портными. Ограниченность в средствах, как и отсутствие модисток – этих «кутюрье XIX в.», – все это было побудительным стимулом к реализации своих способностей и вкуса для провинциалок самого разного социального положения: помещиц, чиновниц, купчих и мещанок. Однако для женщин из двух последних

[1] *Лотман Ю.М.* Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX в.). СПб., 1994.

сословий сфера моды, как я уже отметил, особенно важна, и именно через нее во многом выстраиваются стратегии жизненного поведения. Девушки из купеческо-мещанской среды могли повысить свой социальный статус путем замужества. Чтобы выйти замуж за чиновника или офицера (предел мечтаний многих провинциальных барышень), необходимо было иметь не только известную сумму в приданое, но и соответствовать принятому в «благородном» обществе стандарту поведения: уметь танцевать бальные танцы, иметь бальные платья и другие модные наряды.

Конфликт носительниц европеизированной моды с окружением, в котором господствовала приверженность традиционной одежде, мог иметь не столь выраженный характер, как на рубеже XVIII – XIX вв. Литератор П. Небольсин, побывавший в 1845 г. в Торжке, писал, что старинная одежда «мало-помалу выводится даже между дамами среднего класса и нередко можно встретить богатую горожанку, как и везде, в немецком платье, в чепчике и в шляпке с пером, со всеми атрибутами парижского модного когда-то костюма». Но он же отметил, что национальная одежда все же преобладает, и та же самая горожанка отправляется гулять в «матерчатом сарафане» и телогрее, рукава которой «весьма красиво оттеняют талию и весь стан щеголихи».[1] «Женское платье несравненно более отступило от прежних своих костюмов и *с каждым годом новые моды, и всем стараются безусловно подражать; но главного своего костюма не покидают...* – писал в 1849 г. о жительницах Торжка священник Иовлев. – Каждая купчиха и мещанка за необходимость поставляют для себя иметь как можно более платья, ибо оно от них переходит в приданое дочерям» (курсив мой – *А.К.*).[2] Все ли точно в этом насыщенном информацией сообщении корреспондента РГО? Первый внешний пласт сведений о том, что новая модная европейская одежда не вытеснила традиционную, но сосуществовала рядом с ней, сомнений не вызывает. Наблюдатель жил в городе много лет и ежедневно видел, как менялся облик его

1 *Небольскин П.* Заметки на пути из Петербурга в Барнаул. СПб., С. 11.
2 АРГО. Р. 41. Д. 30. Л. 2 – 2 об.

прихожан и прихожанок. Сосуществование нового модного платья и старого традиционного костюма в Торжке, где почти половина горожан были старообрядцами, тоже особого удивления не вызывает. Но верно ли объяснял священник поведение купчих и мещанок, стремящихся обзаводиться все новыми и новыми нарядами?

Мне представляется более убедительной другая интерпретация поведения женщин – на основе тех же сообщенных священником Иовлевым данных. Во-первых, думается, что он переоценил заботу новоторжских матрон о приданом своих дочерей. Стремление женщин иметь новые наряды едва ли уместно сводить к материнским хлопотам. Не случайно П. Небольсин, светский человек, отметил привлекательность женщин в традиционном городском костюме. Тем более что, выдавая дочь (дочерей) замуж, матери не уходили в монастырь, следовательно, потребность в нарядах у них сохранялась. Во-вторых, переход части одежды от матери к дочери был целесообразен в силу того, что в Торжке традиционную городскую женскую одежду носили наряду с современным модным платьем. Последнее внедрилось посредством не отрицания традиционных нарядов с полным отказом от их ношения (что, например, имело место в Иркутске), но путем завоевания себе определенного места в гардеробе горожанок. Можно говорить о периоде сосуществования (то есть одновременного бытования, но не смешения) европейской моды и традиционной русской городской одежды в обиходе одной и той же женщины. Двойная стилистическая ориентация в одежде («русское» и «немецкое» платье) свидетельствует о переходном состоянии городского общества, об определенной раздвоенности идентичности горожанок. Сарафан – это удобная и привычная одежда, а «немецкое» платье, дополненное шляпкой и зонтиком, – это модный и престижный наряд. В таком наряде уместно показаться в обществе – на праздничном гулянье, на бале или званом ужине, где присутствует смешанная публика: дворяне, чиновники и граждане. Если же состав собрания был однородный в социокультурном отношении, то в таком случае мещанки и даже купчихи облачались в традиционный городской костюм.

Вопрос в том, насколько охотно они делали это? Кто определял выбор стиля одежды: сама женщина или ее муж, а ранее – родители? Руководствуясь стереотипными представлениями о патриархальном обществе, следует дать уверенный ответ: муж, родители. Вот только не будет ли он упрощенным? И было ли так всегда в последней четверти XVIII – первой половине XIX вв.? Е. Авдеева в статье, посвященной старинной русской одежде, писала: «Кто носил юбки и кофты, тем труднее было *выпросить позволение* носить длинное платье (так называли обыкновенно фуро и другие наряды). Если случалось, что небогатая дворянка выходила за купца, то она должна была носить кофту с юбкой и платок на голове, потому что купцы считали неуместным подражать дворянам...» (курсив мой – *А.К.*).[1] Описанная Авдеевой обычная для купеческой среды ситуация имела место «в старину», судя по упоминанию о модном платье фуро, – еще до 1790-х гг. По своему обыкновению, пожилая писательница не только делится своими воспоминаниями об ушедших нарядах, но и дополняет свой рассказ бытовыми подробностями, которые большинству ее читательниц были неизвестны. «Ныне» – в 1853 г. – «по городам редко можно встретить русский наряд».[2]

Провинциальная двойственность гардероба, когда у одной и той же женщины были наряды в «русском» и «немецком» стилях, была характерна в основном для купчих, мещанок и жен низших государственных служащих. Впрочем, «русский стиль» сохранился не только в провинции, но бытовал и при дворе. Еще Екатерина II произвела реформу придворного дамского платья, которое должно было обрести исконно русские черты. О том, насколько удалось ей это начинание, свидетельствует И. Георги: «Женщины придворные одеваются в так называемое русское платье, но оное весьма мало отвечает сему наименованию, и есть паче отонченного европейского вкуса; ибо и самый вид оного больше на вид польского похож».[3] Новая «русификация» дам-

---

1 *Авдеева Е.* Старинная русская одежда: изменения в ней и моды нового времени // Отечественные записки. 1853. № 6. Отд. VII. С. 183.

2 Там же. С. 183.

3 *Георги И.* Описание всех обитающих в российском государстве народов... Ч. 4. С. 129.

ского придворного костюма была предпринята при Николае I, начиная с бала 6 декабря 1833 г. В «Обозрении расположения умов» за 1834 г. этому событию было придано важное знаковое значение: «Независимо от красоты сего одеяния, оно по чувству национальности, возбудило всеобщее одобрение. Многие изъявляют желание видеть дальнейшее преобразование и в мужских наших нарядах, и, судя по общему отголоску, можно, наверное, сказать, что таковое преобразование сближением нынешних мундиров к покрою одеяния наших бояр прежнего времени было бы принято с крайним удовольствием».[1] Ожидания «многих» совпали с принятым Николаем I решением модернизировать в русском стиле женское придворное платье. 27 февраля 1834 г. было утверждено «Описание дамских нарядов для приезда в торжественные дни к высочайшему двору».[2]

Таким образом, консервативно настроенная часть высшего света Петербурга под впечатлением недавнего восстания в Польше и революции 1832 г. во Франции оказалась готова отказаться от «пагубного влияния Запада» даже в моде и вернуться к национальным корням, обратившись для этого к одежде допетровской Руси. Разумеется, этот возврат мыслился не столь радикально, как это произошло позже у славянофилов.

Николай I не пытался, подобно Петру I, провести революцию костюма и обязать всех подданных перейти на русское платье. Хотя нечиновных подданных он вообще предпочел бы видеть в русском платье. Характерный эпизод, раскрывающий отношение царя к современному костюму, привел в своих воспоминаниях В.Д. Барков о встрече с царем на Макарьевской ярмарке в августе 1836 г. Увидев сибиряка в традиционной одежде, Николай I обратился к нему со словами: «Я желал бы, чтобы все вы русскую одежду не меняли на иностранную, а одевались бы по-русски, как деды ваши, она очень красива, а костюмировать себя по иностранному не делает чести русскому...».[3] Вместе с тем, выражая свое поже-

---

1 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 223. Д. 2. Л. 3 об. – 4.

2 *Шепелев Л.Е.* Чиновный мир России. XVIII – начало XX в. СПб., 2001. С. 430.

3 История Василия Дмитриевича Баркова, потомственного почетного гражданина. СПб., 1902. С. 113.

лание о сохранении за одеждой русских подданных ее национального характера, он как человек, с малых лет впитавший эстетику воинского мундира, не мог ориентироваться на допетровский мужской костюм, утверждая новую форму для военных, штатских и придворных чинов.

Традиционный русский женский наряд ему (как и многим его подданным) весьма импонировал, несомненно, даже больше, чем мужской. Вероятно, в первую очередь вкусовым пристрастием императора и объясняется введение нового придворного дамского платья. Если бы он руководствовался исключительно принципом конструирования национальной идентичности через демонстративное ношение при дворе традиционного русского платья, то сделать это следовало бы в пику Франции и либеральной Европе раньше на 1 – 2 года. Поэтому с политической точки зрения это мероприятие запоздало. Однако концептуально оно соответствовало курсу правления Николая Павловича – на внедрение русского начала в сознание подданных.

В конце августа 1851 г. московский военный генерал-губернатор А.А. Закревский сообщил московскому городскому голове И.А. Щекину повеление монарха, чтобы купчихи и купеческие дети, удостоенные приглашения во дворец, «являлись всегда в русских национальных костюмах, а не в немецких платьях».[1] Как следует оценивать это повеление императора? Что здесь превалировало: забота о неукоснительном соблюдении приглашенными лицами предписания 27 февраля 1834 г. или же недовольство тем, что богатые московские купчихи одеты, как парижанки?

Этот вопрос не так прост, как может показаться на первый взгляд. Тем интереснее попытаться реконструировать мотивы появления этого царского повеления. В сообщении Закревского речь идет не о «дамах», приглашенных ко двору, а о «женах и детях купеческого сословия». Их наряд регламентируется не четкой отсылкой к указанному предписанию, где детально описывается, каким должно быть «русское платье», но требованием являться «в русских национальных костюмах». Поэто-

---

1 ЦИАМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 4539. Л. 1.

му можно утверждать, что император не стремился добиться стилевой унификации нарядов всех дам, приглашаемых во дворец. Возможно, его повеление было инспирировано придворными дамами, недовольными тем, что в своих модных и дорогих платьях женщины и девушки из московской купеческой элиты выглядят более привлекательно и модно, чем они в стилизованном русском платье. Действительно, если купчихи появляются при дворе в современном женском нарядном платье, то происходит знаковая инверсия: они выглядят более современно и по-европейски, чем дворянки, одетые хотя и в стилизованные, но архаичные по сути наряды.

Если бы речь шла о простой унификации наряда дам, удостоенных чести быть приглашенными ко двору, то императору стоило лишь указать на необходимость московским купчихам придерживаться принятого при дворе «русского платья». Николай I пошел по иному – сословному пути. Что такое «русский национальный костюм»? – Это костюм, который в начале 1850-х гг. не только в столичных, но и в губернских городах в богатых купеческих семьях вышел из употребления как парадное платье. Женщина, даже в дорогом «национальном костюме», сразу теряла европейский лоск и превращалась из благородной дамы в богатую простолюдинку. Принимая свое решение, царь символично подтверждал незыблемость сословного строя Российской империи. Он указывал даже самым богатым и достойным представителям третьего сословия на их место в социальной иерархии: есть первенствующее сословие, обладающие правами и привилегиями, на которые купечество не должно покушаться. Возникает вопрос, почему же купцам – главам семей – был предоставлен выбор костюма по собственному усмотрению? Во-первых, купец во фраке или во фрачном мундире на фоне придворных мундиров, в изобилии украшенных золотым шитьем, и сияющих бриллиантами орденов, мог отличаться лишь скромностью своего костюма. Во-вторых, уместно ли было заставлять купцов являться во дворец в русском национальном костюме? Заставить уважаемого купца вырядиться в современное русское платье, т.е. длиннополый сюртук, широкие штаны, заправленные в смазные сапоги, означало

бы оскорбить приглашенного. Да и вид человека, одетого подобным образом при дворе, шокировал бы придворных и иностранных дипломатов. Предписание приглашенным купцам являться в старинных кафтанах годилось лишь на случай карнавала, ибо они так вообще никогда и не одевались. В-третьих, буржуазный стиль XIX в. с его претензией на утонченность и роскошь проявлялся более отчетливо именно в дамских нарядах. Вот с этим-то данное монаршее повеление успешно и справилось. Справилось, правда, только в рамках придворного быта. Вне двора на всех публичных церемониях и на балах модные наряды и драгоценности жен и дочерей богатых купцов заставляли вздыхать не только чиновниц и небогатых помещиц, но и обедневших аристократок.

Пыталось ли в провинции дворянство оградить благородных дам от подражательниц из низших сословий? Административным порядком во второй трети XIX в., когда в провинции происходил постепенный переход женщин из средних городских слоев на европейское платье, сделать это было невозможно, не нарушая закон. Подобные попытки административной регламентации нарядов горожанок в городах исследуемых регионов мне неизвестны. Единственное исключение, которое мне удалось обнаружить, – запись 1911 г. омского краеведа И.Г. Кузнецова «по рассказам старожилов» о деятельности полицмейстера Шепелева: «Доставалось также бедным модницам-мещаночкам. Вышли тогда какие-то не то кринолины, не то какие-то другие «робы», и вздумали молодые мещанские модницы пофорсить, завели себе эти моды и вздумали щеголять. Это не понравилось грозному Шепелеву. Он вызвал модниц к себе в полицию, как водится, накричал на них и сверх того заставил в течение месяца каждую неделю мыть полы в помещении полиции. Бедные модницы... с тех пор далеко запрятали свои модные платья, и уже долго даже не думали следовать за какими бы то ни было женскими модами, по грозному внушению Шепелева, составляющими принадлежность женщин только чиновничьего и дворянского сословий».[1]

---

[1] *Кузнецов И.Г.* Из омской старины. Полицмейстер Шепелев // Русский архив. 1911. № 8. С. 542.

Приведенное И.Г. Кузнецовым «свидетельство» не кажется мне достоверным. Действительно, подполковник Шепелев, как хорошо показывает его поведение во время выборов в городское самоуправление, имевших место в 1854 г., был человеком, способным на грубейшее нарушение закона, поэтому от него вполне могло исходить подобное административное запрещение. Но против того, что он сделал это запрещение, имеются серьезные аргументы, первый из них – давность лет, ибо запись рассказа отделена от события более чем на 50 лет. Второй: никто из литераторов, путешествовавших по Сибири в конце 1850-х – 1880-х гг. и собиравших среди прочего и анекдоты о Шепелеве, о подобном оригинальном распоряжении полицмейстера не упоминает. Третий: Шепелеву, по образу его жизни, подобный взгляд на сословность женских нарядов едва ли был присущ. Он был женат на дочери купца и имел внебрачные связи с омскими солдатками и мещанками[1]. Четвертый: делая подобное распоряжение, полицмейстер рисковал нажить себе серьезных врагов из числа офицеров, многие из которых также имели любовные «романы» с городскими простолюдинками, а некоторые холостые офицеры держали их у себя дома в качестве экономок, а иногда и гражданских жен. Пятый: при всей социальной приниженности положения мещан в Омске в 1850-х гг. они не были бесправны и безгласны, а порой отстаивали честь и достоинство, обращаясь к высшему начальству или в суд. Назначение унизительного наказания мещанкам в виде мытья полов без всякой формальной причины – достаточный повод для подачи жалобы или судебного иска.

Если же руководствоваться пословицей, что дыма без огня не бывает, то можно предположить, что Шепелев и в самом деле угрожал каким-то «мещаночкам» репрессиями. В таком случае обстоятельства этого запрета были иными, чем излагает Кузнецов. Реконструкция такого возможного запрета опирается на ключевое утверждение, что он заставил мещанок мыть в полиции полы, а также на обыденную практику наложения административных наказаний в провинции.

1 *Мартьянов П.К.* Дела и люди века. Отрывки из старой записной книжки, статьи и заметки. Т. 3. СПб., 1896. С. 274.

Цепь событий выстраивается в этом случае по следующей схеме: какие-то молодые мещанки, одетые в модное платье, были задержаны полицией или городовыми казаками, которые несли полицейскую службу, за хождение по городу и распевание песен в ночное время. С подобными нарушительницами полицмейстер вполне мог обойтись именно так, как рассказывают старожилы.

Признавая влияние высших слоев городского населения на низшие в сфере одежды, отметим и обратное, хотя и не такое сильное, как первое, воздействие народного костюма на одежду дворян и чиновников в середине XIX в. Целенаправленное внедрение русского стиля в городскую культуру (архитектуру, живопись, дизайн, одежду и даже военный мундир) произойдет позже, при Александре III, не на пустом месте. Первые шаги в этом направлении сделал еще Николай I, одобрив русский стиль в архитектуре. «Русификация» русского города и горожан была успешной во многом благодаря тому, что в городской среде русский стиль продолжал существовать и во второй половине XIX в. «Народность», ориентированная на традиции допетровской Руси, была уделом низших слоев общества или приверженцев изоляционизма в лице старообрядческого меньшинства. Русский стиль в одежде был вытеснен из столиц (точнее из Петербурга) в провинцию. В Москве, по сравнению с Петербургом, толпа на улицах выглядела совершенно иначе. Об этом писали не только литераторы, но порой и люди, которым по долгу службы следовало бы обращать внимание на другие вещи. Так, прибывший из Петербурга в Москву летом 1857 г. секретный агент, который должен был проверить истинность слухов по поводу уменьшения банковского процента, в своем донесении уделил немало места внешнему облику жителей двух столиц. «В Петербурге все чисто, опрятно, на барскую ногу, и исключая разнощиков, извощиков и мастеровых, изредка только встречаешь простолюдина и то в отдаленных только улицах; вся остальная же масса жителей заключается в барах, щегольски одетых военных и гражданских чиновниках, пышных по последней парижской моде разряженных дамах и вообще людях хотя и различного звания и состояния, но

весьма и весьма прилично одетых, словом, Петербург в этом отношении представляет общий вид *не русского, а иностранного города»* (курсив мой – *А.К.*).[1]

Иную картину являла первопрестольная: «В Москве же напротив царствует еще *настоящий тип русского народа, начиная даже с самой физиономии черни...»* (курсив мой – *А.К.*). Русскость Москвы для осведомителя-петербуржца состоит также в «нечистоте, неопрятности, грязи» и в одежде толпы на улицах города. Особенно удивило его то обстоятельство, что в центре Москвы «чрезвычайно редко встречаешь военного или гражданского чиновника и вообще порядочно одетого человека, а о дамах и говорить нечего, их, кажется, как будто не существует в Москве; но за то на каждом шагу встречаешь простого купца, грязно одетого мужика или бабу, разнощика...» Еще больше его удивила обувь, точнее отсутствие таковой на многих московских пешеходах, «чего никогда, решительно никогда, не видишь в Петербурге».[2]

Возвращаясь к вопросу о функционировании городской моды, следует заметить, что происходило не только ее распространение из столичных городов в провинциальные, но и обратное влияние провинции на столицы. Имело место также заимствование горожанами некоторых предметов из традиционного гардероба жителей других губернских и уездных городов. Так, литератор С.П. Шевырев сообщал о наряде купеческих девушек в Белозерске, одетых в «платья нового фасона», но имевших и «свой, незнаемый обычай: носить блестящие короны на головах». Обычай носить эти уборы, которые надевали только «по большим праздникам» введен «не более десяти лет», – писал он в 1847 г.[3]

И все же, в середине XIX в. доминировали другие тенденции: европейская одежда уверенно распространяется в русских городах, а сама мода становится заметно демократичнее – удобнее, дешевле и больше отражает буржуазные представ-

1 ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3214. Л. 37 об. – 38.

2 ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3214. Л. 38, 40 об.

3 *Шевырев С.П.* Места благословенные. Вакационные дни 1847 года // Памятники Отечества. Иллюстрированный альманах Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. М., 1993. № 30. С. 19.

ления о том, какой должна быть одежда. Огромную роль в этом процессе сыграло удешевление производства ситцевых тканей. Как писал в 1864 г. В.П. Безобразов, с водворением ситца «постепенно исчезает самый народный костюм; сарафан быстро превращается в платье, как он уже окончательно превратился в наших фабричных местностях». Он же отметил, унифицирующую социальную роль современного женского костюма, уничтожившего различия в одежде и головном уборе замужней женщины и девушки.[1]

Проникновение модной одежды в среду городского гражданства совсем не походит на триумфальное шествие. Сменить сибирку или длиннополый сюртук на короткий сюртук, а уж тем более фрак, для купца 3-й гильдии часто означало бросить вызов своей социальной среде, но именно эти люди, «агенты моды», своим поведением и размывали сословные границы одежды. В равной степени этому же способствовало и отношение к одежде разночинной интеллигенции. Рост образовательного уровня, весьма заметный в городах в середине XIX в., участившиеся контакты русских с иностранцами, в том числе и с немецким населением городов империи, способствовали изживанию представлений о европейской моде как о «чужой» – дворянской или иноземной, «немецкой». Поэтому уже в 1840-х – 1860-х гг. (в разных городах не одновременно) купец или мещанин в европейском платье постепенно перестает восприниматься как человек, утративший свою конфессиональную, национальную и сословную идентичность.

Европеизация отдельных составляющих женского городского костюма (головных уборов, верхнего платья, нижнего белья и обуви) в провинции проходила далеко не всегда синхронно. Так, головные уборы женщин дольше, чем платье или обувь, сохраняли знаковый характер. В 1850 г. житель Осташкова И.А. Нечкин записал в своем дневнике об одной горожанке: «венчалась, а равно и впоследствии ходила по-дворянски – в салопе и шляпке».[2] Трудно понять, почему именно дамская шляпка из всего гардероба внедрялась в туалет горожанок наиболее

1 *Безобразов В.* Село Иваново: Общественно-физиологический очерк. СПб., 1864. С. 267 – 268.

2 ГАТвО. Ф. 103. Оп. 1. Д. 2628. Л. 7 об.

медленно. Было ли это вызвано причинами материального характера: неразвитостью шляпного дела в провинции, высокой стоимостью исходных материалов, используемых при их изготовлении, а также транспортными издержками? Да, безусловно. Но не только высокая цена на шляпки делала их предметом не первой необходимости. Традиционные головные уборы горожанок выполняли ту функцию, которую шляпки выполнить не могли. Шляпки универсальны, они говорят лишь о состоятельности их обладательницы и отчасти о социальном статусе, а позднее – о социокультурном уровне женщины (выражение «модная» горожанка было синонимом «образованная»); но они молчат о семейном положении своих хозяек. В то время как традиционные женские головные уборы четко позволяли отличить замужнюю женщину от девицы. Однако и этими гендерными факторами не исчерпывается привязанность горожанок к платкам, шалям, кокошникам, шапкам, меховым или отороченным мехом, и прочим головным уборам. Не все из них позволяли определить семейный статус горожанок. Были и прагматические соображения, в частности, перечисленные традиционные и более современные русские женские уборы лучше подходили к местному климату и надежнее защищали женские головки от ветра и снега, чем европейские дамские шляпки. Но на климат и функциональность традиционных городских головных уборов нельзя списать медленное проникновение женских шляп в демократические слои горожан. Тут сказывались и эстетические пристрастия русских женщин.

Борода и мода: социокультурная трансформация традиции в русском обществе XIX в.

В первой половине XIX в. современник, бросив взгляд на незнакомого человека, как правило, мог быстро определить его сословную принадлежность и положение в обществе. Однако все стереотипы рано или поздно дают сбой. Показательный случай произошел одним летним днем 1830 г. в Москве, когда полиция задержала мужчину 29 лет. Задержан он был «по сомнению имеющейся на нем ветхой одежды и отпущенной

небритой бороды». В это самое время по улицам Москвы шатались сотни нищих и бродяг и тысячи плохо одетых бедных людей. Однако из всей этой массы мужчин внимание полиции привлек именно данный человек. Каковы причины этого интереса? Согласно документам бородатый и бедно одетый человек был отставным капитан-лейтенантом С.И. Кадьяном, в чем полицейские чины усомнились. Однако следствие подтвердило его личность. Что же именно в облике этого человека вызвало подозрения полицейских служителей?

Ответ на этот вопрос содержится в протоколе допроса Степана Кадьяна. Частный пристав Токарев и квартальный надзиратель Лютов в числе других задали Кадьяну вопрос о его внешнем облике, который, собственно, и стал поводом для задержания отставного моряка: «Почему Вы не имеете у себя приличного званию Вашему одеянья, а особливо не бреете бороды тогда, как вам по службе известно, что и нижним чинам поставлено в обязанность носить приличное платье и брить бороду, а вы сего не исполняете?» Допрошенный дал весьма содержательный ответ, заявив, что он, «отправляясь из Херсону, взял с собою одну грубую и неценную одежду, дабы, нося ее, выучиться не стыдиться того, что непостыдно есть, укоренить себя в терзании и сблизить сердце с бедностию и нищетою». По поводу бороды отставной капитан-лейтенант заявил, что бороду бреет, «а только по случаю моих разъездов, сделал относительно ее многие упущения; но и сего нигде не показано чрез сколько времени путешественник бороду брить должен». [1] О самой цели своего путешествия Кадьян сказал, что он «отправился поглядеть широкую землю русскую и добрый народ русский».

Путешествующий без видимой надобности небритый человек в «грубой» одежде ничем не напоминал своим видом бывшего флотского офицера, поэтому полиция принимает его за беспаспортного бродягу, похитившего чужие документы.

Степан Иванович Кадьян решился раньше, чем лидеры славянофилов Хомяков, Киреевские или Аксаковы,[2] отка-

1 ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. 1830. Д. 325. Л. 5 – 7.

2 Об отношении славянофилов к бороде и о реакции власти см.: *Мазур Н.Н.* Дело о бороде. Из архива Хомякова: письмо о запрещении носить бороды и русское платье // Новое литературное обозрение. 1994. № 6. С. 127 – 138.

заться от иноземного платья и принять облик, который был присущ основной массе русских мужиков. Есть ли основания считать, что поступок отставного флотского офицера имел сходные культурные основания, что и шокировавшие публику на первых порах шаги славянофилов в этом направлении? На этот вопрос можно ответить утвердительно. Кадьян не был настолько беден, что он не имел другой, более подобающей отставному офицеру одежды. Следовательно, он, как явствует из его ответов в полиции, пошел на сознательный выбор. Попытаемся разобраться в причинах, побудивших Кадьяна отказаться от облика, приличного человеку его звания. Очевидно, такой наряд и отпущенная борода позволяли ему легче войти в контакт с крестьянами или городскими низами. У него была и другая причина смены платья, о чем он заявил на допросе: в целях нравственного совершенствования решил он отказаться от излишеств и принять бедность, и тем самым, сблизившись с народом, обрести более широкую социальную идентичность. Отсюда и сознательный отказ от ношения одежды, имеющей знаковый характер принадлежности к «благородному обществу».

Принципиальная разница между Кадьяном и славянофилами состояла в том, что, в отличие от них, его действия были обращены не на других, а на себя. Он не стремится никого шокировать и не пытается ни на кого воздействовать своим примером, он хочет обрести себя в этой новой для него народной одежде и в своем желании познать «добрый русский народ».

Его «грубая» одежда, борода, иррациональная, с точки зрения обыденного человека того времени, цель путешествия встретили насмешки полицейских чинов. И вот эти-то насмешки вызывали у отставного моряка чувство обиды и недоумения. Он писал: «Я по моим намерениям и делам достоин похвалы, а не унижения, осмеяния и содержания меня в частном полицейском доме под стражею...»[1] Намерения и дела отставного офицера не понравились и царю. 25 сентября 1830 г. управляющий III Отделением М. фон Фок писал

---

[1] Там же. Л. 7.

исполняющему должность московского обер-полицмейстера С.Н. Муханову, что император по докладу об отставном капитан-лейтенанте С. И. Кадьяне повелел «выбрить ему бороду и взять с него подписку что он впредь не будет делать неблагопристойностей, освободить его».[1]

Данный казус обнаруживает, что главный акцент власть (от квартального до императора) сделала не на платье отставного офицера, а на его бороде. И сам арестант по поводу своей бороды, в отличие от «неприличного платья», занял оборонительную, а не принципиальную позицию. Причину такого внимания власти к растительности на дворянском лице можно понять лишь в общем историко-культурном контексте истории бороды в России.

Власть в рассматриваемое время унаследовала традицию отношения к бороде, заложенную Петром I, который указом 16 января 1705 г. повелел брить бороды «всякого чина людям, кроме попов и дьяконов», а также пашенных крестьян.[2] Терпимость Екатерины II в отношении любителей бороды распространялась на непривилегированных горожан, но не коснулась дворян и чиновников. Минуло недолгое царствование императора Павла I, и подданные решили, что власть перестала бдительно надзирать за их внешним обликом. Действительно, при Александре I государство отказалось от тотального контроля над частной жизнью горожан, соответственно уменьшилось и преследование полицией людей, нарушавших в повседневной жизни сложившиеся требования к платью и способам ухода за лицом и волосами городских жителей. Но Николай I был иного мнения о «дисциплине» в обществе, преследуя либерализм во всех его проявлениях. Император лично обращал внимание на то, как одеты его подданные, какие у них прически, усы и бороды.

Впрочем преследования дворян, носящих бороды, отчасти продолжались и в первые годы правления Александра II. Ранее я уже писал о реакции правительства в 1859 г. на участившиеся подозрительные случаи хождения в народ

---

1 Там же. Л. 15.

2 ПСЗ-I. Т. IV. № 2015.

образованных путешественников, носивших бороды и народное платье.

Власть, следя за «цивилизованным обликом» (в его петровском понимании) дворян и всех служащих, стояла на охране социокультурных норм и предписаний традиционного общества, в котором сословия, социальные группы («звания», «чины», «классы», «разряды» людей) и конфессии не должны смешиваться. Одной из мер поддержания сословных норм в обществе был и запрет лицам, состоящим на государственной службе или вышедшим в отставку, а также вообще всем дворянам, носить бороды.

В более выгодном положении по сравнению с дворянами оказались «простые» горожане. После указов Екатерины Великой 14 декабря 1762 г. и 3 марта 1764 г. все лица из непривилегированных сословий получили возможность самим выбирать платье, прическу. Иначе говоря, для купцов и мещан было отменено принудительное стилистическое единство всего внешнего облика. Однако в условиях дарованной сверху свободы «бородачи» не кинулись носить «немецкое» платье».

В описаниях ученого И. Георги начала 1770-х – первой половины 1790-х гг.,[1] шотландского врача Р. Лайелла,[2] жившего в России в 1815 – 1823 гг., писательницы А. Ишимовой (1844 г.) и других образованных наблюдателей можно обнаружить корреляцию между наличием бороды и отношением к европейской моде в купеческой и мещанской среде. Например, Ишимова писала о внешнем облике тверских купцов: «Мущины же здесь, как и везде, имеют более постоянства в этом отношении, и в купеческих семействах по большей части придерживаются старинного обычая *не брить бороды, и не переменять покроя старинных кафтанов*, не смотря на все щегольство женской половины» (курсив мой – *А.К.*).[3]

Несколько иная ситуация фиксируется современниками в 1850-е гг. в Тюмени, крупном уездном городе Тобольской

---

1 *Георги И.* Описание всех в Российском государстве обитающих народов. Ч. IV. СПб., 1799. С. 127 – 128.

2 *Лайелл Р.* Характер русских и подробная история Москвы // Человек. 1992. № 3. С. 163.

3 *Ишимова А.* Каникулы 1844 года... С. 77 – 78.

губернии. Там также молодые купцы и мещане не брили бороды, но носили не старинные кафтаны, а сюртуки. Молодые же женщины из купечества щеголяли богатыми нарядами, ориентированными на столичную моду.[1] Характерно, что в сибирском городе, где проживала многочисленная влиятельная община старообрядцев, мужской гардероб купцов и мещан менялся быстрее, чем в близкой к столицам Твери с явным доминированием прихожан официальной православной церкви. В костюме другой конфессии – иудеев, проживавших в западносибирских городах, наблюдалась та же тенденция, отмеченная в середине 1840-х гг. офицером И. Беловым. Он писал, что одежда евреев соответствует не традиционному еврейскому платью, принятому в западных губерниях, но сибирскому гардеробу: «женщины... наряжаются как здешние мещанки, мужчины же, подобно прочим разночинцам, носят кафтаны».[2] Причины опережающего, по сравнению со старыми русскими городами Европейской России, проникновения европейского платья в Сибирь, состояла в комбинации двух факторов. Во-первых, отсутствие во многих городах носителей купеческого самосознания и соответствующих традиций – в силу того, что многие города обрели свой статус только в конце XVIII в., а некоторые даже в середине XIX в., – привело к тому, что одежда не имела столь выраженного сословного характера. Во-вторых, даже в крупных (по тогдашним меркам) городах существовала более плотная сеть социальной бытовой коммуникации. Так, упомянутый ранее И. Белов даже о самом социально стратифицированном (наряду с Барнаулом) городе Западной Сибири – Омске писал, что «круг здешнего общения гораздо тесней, нежели где-нибудь в другом обширном городе». [3]

Эти данные позволяют утверждать, что борода успешнее выполняет идентифицирующую сословную, а точнее, этносословную функцию, чем костюм. Сохраняя традиционную бороду, тюменские граждане (как и купечество других городов) демонстративно заявляли о своей этничности и своей независимости от иноземной и дворянской моды.

1 *Абрамов Н.* Город Тюмень // Вестник РГО. 1858. № 8. С. 144.

2 *Белов И.* Путевые заметки по Западной Сибири. М.1846. С. 21.

3 Там же. С. 19.

В рассматриваемое время московское купечество было едино с провинциальным в своих вкусах и отношении к моде. Вот что писал в 1844 г. В.Г. Белинский в очерке «Петербург и Москва»: «Девять десятых этого многочисленного сословия носят православную, от предков завещанную бороду, длиннополый сюртук синего сукна и ботфорты с кисточкою, ... одна десятая позволяет себе брить бороду и, по одежде, по образу жизни, вообще по внешности, походит на разночинцев и даже дворян средней руки».[1]

Таким образом, большинство носителей традиционной купеческой культуры не готово было даже в середине XIX в. отказаться от бороды. Можно ли эту приверженность к бороде и отказ от ее бритья объяснить тем, что бреющий бороду – это «чужой»: иноземец или дворянин (чиновник)?

Весьма информативна для ответа на этот вопрос картина художника Колокольникова-Воронина «Семейный портрет Савиных», к анализу которой я уже обращался при характеристике изменений в городском костюме.[2] Глава семьи носит бороду, подстригает ее, на голове народная прическа (в «скобку»). Борода и волосы этого уездного купца имеют среднюю длину, одет он в кафтан. Младший сын подражает отцу в костюме, стрижке, с усами, однако без бороды. Двое старших сыновей, напротив, гладко выбриты, коротко стрижены, один во фрачном мундире, другой – во фраке, волосы последнего аккуратно завиты по моде. Весь внешний облик членов семьи предпринимателя, купца 1-ой гильдии, позволяет утверждать, что молодое поколение уже не воспринимает бритье бороды как свидетельство отказа от сословных и этнических традиций. Однако на облик индивида, вероятно, решающее влияние оказывает не собственный вкус, но предъявляемые в той среде, где он действует, требования к костюму и способам ухода за прической и бородой.

Отношение «образованной» публики к господам, появляющимся в обществе в модном платье и при бороде, было неоднозначным всю первую половину XIX в. Екатерина II,

---

1 *Белинский В.Г.* Петербург и Москва // Физиология Петербурга. М., 1984. С. 58.

2 Иллюстрацию см.: Наше наследие. 1994. № 32. С. 10.

отменив для купцов и мещан, не состоящих на государственной службе, соответствие между бородой и платьем, предоставила бороде право гражданства. Действительно, никто не воспрещал бородатому купцу одеваться в самый новомодный фрак. Воспринималось ли в дворянской среде такое сочетание как соответствующее приличиям и допустимое? Наиболее исчерпывающий ответ на этот вопрос можно обнаружить, пожалуй, в самых надежных источниках по вопросам вкуса и этикета – в уставах клубов и благородных собраний. Уставы провинциальных благородных собраний и клубов середины XIX в. накладывали ограничения, в частности запрещение танцевать, не на лиц, носивших бороду, но на тех, кто одевался в кафтаны, венгерки и т.п. костюмы, которые воспринимались как несоответствующие современному дамскому платью из-за своей старомодности и распространенности в народной среде. Борода, таким образом, в глазах образованной провинциальной публики перестала рассматриваться как нечто неприличное, как символ нецивилизованности и варварства.

Но не все в истории отношения власти к бороде было так просто и «эволюционно». В «правилах» 1871 г., разработанных для Царства Польского, регламентирующих одежду и «другие отличительные знаки евреев и евреек», вновь была установлена корреляция между бородой и платьем: «5. Дозволяется также евреям носить одежду русского покроя и исключительно при оной могут они иметь бороды, но без пейсов... 7. Не должно принуждать евреев, чтобы при одежде русского покроя стригли волосы непременно в «скобку», выбор стрижки этого рода представляется им самим».[1] В приведенных пунктах обращает на себя внимание более придирчивое отношение их составителей к бороде, чем к мужским прическам. Если по отношению к прическам был проявлен либерализм, то борода по-прежнему подлежала строжайшей регламентации и дозволялась евреям лишь при платье «русского покроя». Традиции такого отношения к бороде были заложены в петровскую эпоху. 30 – 50-е гг. XIX в. в России

---

[1] ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. 1845 г. Д. 136. Л. 56 в (об).

прошли под знаком борьбы власти с демонстративным проявлением либерализма в образованном обществе, который выражался в ношении бороды. В этом контексте борода рассматривалась как символ независимости и прав личности на проявления индивидуализма в вопросах частной жизни.

1820-е гг. стали первой эпохой в рассматриваемое время, когда имело место интенсивное проникновение новой моды – моды на усы – в разные городские слои. В июне 1823 г. в Москве последовало полицейское распоряжение о запрете ношения усов служащим статским и отставным чиновникам, «в особенности же молодым вертопрахам из купеческого и мещанского сословия». Московский обер-полицмейстер генерал-майор Шульгин грозил всем ослушникам насильственным сбриванием усов.[1] Однако это административное распоряжение через некоторое время перестали соблюдать. «В Москве теперь усы необходимы для порядочного молодого человека, а потому всякий регистратор, всякий конторщик, сиделец – с усами! С усами непременно. Невесты прямо отказывают женихам без усов!», – насмешливо писал в 1828 г. в «Записках москвича» литератор П.Л. Яковлев.[2] В Петербурге, где полиция более строго наблюдала, чтобы гражданские не имели на своем лице такого воинского атрибута, как усы, – они выступали в качестве несомненной приметы военных при опознании трупов: «По нижнему одеянию, полагают, что естли не сам офицер, то верно офицерский денщик, ибо с усами».[3] В провинции на эту вольность штатских власти обращали меньше внимания. В Осташкове, например, на рубеже 50 – 60-х гг. XIX в., как отмечали современники, усы были неотъемлемым атрибутом мужчины: «Осташковские мещане или граждане, как они себя называют, все отчасти смахивают на отставных солдат: бороду бреют, носят усы...»; «мужчины-граждане все бритые с усами...»[4]

---

1 Сборник старинных бумаг, хранящихся в музее П.И. Щукина. Ч. 5. М., 1899. С. 263.

2 *Яковлев П.Л.* Записки москвича. Кн. 1. М.: 1828. С. 3.

3 ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3169. Л. 67 об.

4 *Слепцов В.* Письма об Осташкове: образец городского устройства в России // Современник. 1862. № 5. С. 52, 67.

В русской литературе до середины XIX в. борода в соответствии с традицией, заложенной М.В. Ломоносовым, долго оставалась предметом постоянных насмешек как символ косности. Но литераторы любили острить и по поводу бритых купцов. Так, П. Вистенгоф в «Очерках московской жизни» писал: «Высшая степень образования в купеческом обществе подразумевается тогда, когда он бреет бороду; низшая – когда он ее носит, да еще занимается ею и гордится, оказывая явное негодование обритым; подстригающие составляют переход от последних к первым».[1] Все в той же ироничной манере он пишет, что «бреющие бороду и говорящие по-французски, имеют более других наклонность к мотовству, праздношатанию и разным шалостям. Многие из них стремятся в дворяне и для того вступают в военную службу, или, поступая в университет, идут потом по гражданской части».[2] В этом сатирическом описании нравов купечества можно найти и ответ на вопрос о социокультурном содержании отношения к бороде в купечестве. Молодые представители русского купечества, которые стремились «облагородиться», достигали намеченной цели в основном тремя путями: через государственную службу и обретение официально более высокого статуса; через освоение достижений мировой культуры – отсюда интерес к иностранным языкам, поездкам за границу и т.д.; и, наконец, путем установления дружеских и родственных отношений с представителями образованных классов – поэтому здесь тот же французский язык, и мотовство, и следование моде в одежде, бритье стрижке. Все эти пути преодоления замкнутости купеческого мира были связаны с приятием ценностей и норм другой культуры, отсюда и знаковое отношение к бороде в русском обществе того времени.

В то время когда русские литераторы продолжали острить по поводу купеческих бород, придирчивый к русским порядкам маркиз де Кюстин, отметив, что русские придают большое значение «этому украшению, гораздо больше подходящему к их наряду, чем к воротничкам, фракам и жиле-

1 *Вистенгоф П.* Очерки московской жизни. М., 1842. С. 36.

2 Там же. С. 39.

там наших нынешних модников», констатировал: «Русская борода выглядит величественно, сколько бы лет ни было ее владельцу...».[1]

Символическое значение борода сохраняет, прежде всего, благодаря стремлению правительства императора Николая I регламентировать внешний облик голов подданных – их прически, но особенно усы и бороды. Как доносил 31 марта 1837 г. начальник 2-го округа корпуса жандармов Бенкендорфу, высочайшее повеление насчет усов и бороды, сделалось среди москвичей «предметом суждения»: «Если воспрещение сие относится только до служащих гражданских чиновников, ... то на это не делают никаких возражений; но буде оное должно простираться и на отставных – вовсе не служащих, в таком случае рассуждают: ... что подражать во оной (моде – *А.К.*) иностранцам сделалось привычкой, еще более потребностию, а посему и не находят довольно уважительной причиной, подражание моде в отношении усов и бороды, могло обратить особое внимание правительства, ибо и без оного, мода сия по общему порядку со временем изменилась бы сама собою...»[2] Это высочайшее повеление вызвало такую реакцию в московском обществе, что верноподданнически корректный тон жандармского донесения уступает место точному указанию на негативное отношение к нему: «О сем рассуждают с некоторым негодованием даже и безбородые...».[3] Причина эмоциональной критики заключалась в том, что государство слишком бесцеремонно вторглось в сферу приватного, где каждый имел право на выражение своего личного отношения к моде. Николай Павлович и его приближенные не уловили возросшего чувства собственного достоинства у дворян и новой потребности – стремления к интимизации приватной сферы.

Однако и преувеличивать оппозиционность российского дворянства вторжению государства в частную жизнь не следует. В этой связи показательна переписка А.Х. Бенкендорфа с киевским военным губернатором Д.Г. Бибиковым в феврале –

1 *Кюстин А. де.* Россия в 1839 г. В 2 Т. Т. 1. М., 1996. С. 128.

2 ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 1197. Л. 25 – 25 об.

3 Там же. Л. 26.

марте 1838 года. Шеф жандармов сообщал, что, по имеющимся у него сведениям, в Киевской, Подольской и особенно в Волынской губерниях молодые люди, «упитанные духом вражды и недоброжелательства к правительству, и, принимая все мысли и даже моды Западной Европы, отпустили себе бороды [jeune France] и испанские бородки. Хотя подобное себя уродование не заключает в себе вреда положительного, не менее того небесполезно было бы отклонить молодых людей от такого безобразия, не употребляя однако же для достижения сей цели мер строгих и каких либо предписаний».[1] В качестве такой мягкой меры против «уродования» лица шеф жандармов предлагал использовать прием пародирования моды, приказав «всем будочникам и другим нижним полицейским служителям отпустить такие бороды и, для вернейшего успеха, отпустить их в некотором карикатурном виде».

Д.Г. Бибиков уведомил А.Х. Бенкендорфа 22 февраля 1838 г., что «высочайшее воспрещение носить бороды [jeune France] и испанские бородки, строго исполняется и в нарушении оного из живущих в Киеве никто не замечен». Он же месяц спустя, 28 марта, доносил: в Подольской губернии жители бород не носят; а носившие прежде усы, после высочайшего повеления, по «внушениям» от гражданского губернатора, их сбрили в 1837 г. «В Волынской же губернии некоторые из дворян носили подобные бороды, но, после первого намека, сделанного житомирским военным и волынским гражданским губернатором губернскому предводителю дворянства о непристойности такой моды, дворяне в городе Житомире тотчас выбрили у себя усы и бороды, и сему примеру последуют вероятно и жители уездов».[2]

Больше твердости в отстаивании своего права на индивидуальный выбор прически, платья, бороды проявляли некоторые интеллектуалы, в частности, славянофилы. Ф.В. Чижов, вернувшийся в 1845 г. из Италии, перед встречей с министром народного просвещения, на которую он возлагал большие надежды, не захотел выглядеть как все в столи-

---

1 ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп., 1838 г., Д. 66. Л. 1.

2 Там же. Л. 2 об. – 3 об.

це. «Сегодня иду к министру Уварову, не хочу брить бороды. Очень может быть, что наше свидание будет очень замечательным по последствиям для меня», – записал он в своем дневнике.[1] Вслед за интеллектуалами мода на ношение бороды постепенно распространяется среди чиновников и провинциальных дворян. Однако власть не сдавалась. В 1849 г. МВД разослало предписания о неприличии для дворян отпускать бороды.[2] Время появления нового запрета на дворянские бороды, как и сам текст циркулярного предписания, не оставляют сомнения в его антизападной направленности. Борода на лице дворянина воспринимается властью уже не как признак цивилизационной отсталости или простонародности, но как символ либерализма и даже революционности.

О том, как столичное светское общество и спустя 15 лет после дневниковой записи Чижова воспринимало бородатых дворян, рассказывает в своих мемуарах ржевский помещик П.И. Закревский. Мемуарист писал, что Пасху 1861 г. он встретил в Москве, в домовой церкви дяди – графа А.А. Закревского: «На меня смотрели как на «оригинала» только потому, что я единственный из всех присутствовавших не имел бритой физиономии (у меня была маленькая бородка), пользовавшейся еще в то время всеми правами и преимуществами на исключительное уважение. Не имея такого «оригинального» знака отличия, я и был встречен косыми взглядами...»[3] Впрочем, дело не всегда ограничивалось косыми взглядами. Тому же мемуаристу тетка, в недавнем прошлом первая дама Москвы, воспетая в молодости лучшими русскими поэтами и совершившая немало экстравагантных поступков, при первой же встрече заявила: «Что я вижу, le paysan russe (русского мужика)! Что это у тебя за борода? Это страм! Видно что ты из деревни!».[4] Судя по упоминанию Платона Закревского о «маленькой бородке», она соответствовала европейской моде того времени, но А.Ф. Закревская воспринимает ее в традиционном для русского дворянского общества контек-

[1] ОР РГБ. Ф. 332. К. 2. № 2. Л. 174.

[2] ГАТвО. Ф. 59. Оп. 1. Д. 2694.

[3] ОР РГБ. Ф. 178. № 10806. Л. 51 – 51 об.

[4] Там же. Л. 48 об.

сте, как символ отсталости, ассоциирующийся у нее лишь с крестьянами. Молодой человек, возражая ей, ссылается не на современную моду, распространенную на Западе и завоевывавшую себе приверженцев в либеральных кругах в России, не признает он и своей деревенской провинциальности, но переводит полемику в идеологическую плоскость, на «почвенническую основу»: «Извините меня, графиня, – ответил я ей. – Вам не нравится моя русская борода, вероятно потому, что Вы совершенно не знакомы с русской историей».[1] Таким образом, для него борода – это не символ косности и простонародности, не атрибут скоротечной моды, но свидетельство верности национальному духу и живой связи с традициями и историей русского народа.

Этот эпизод, описанный небогатым провинциальным помещиком, показателен для начала 1860-х гг., когда дворяне, потеряв право на крещеную собственность, стали обостреннее воспринимать всякое вторжение (со стороны ли подобных А.Ф. Закревской хранителей неписаных норм и приличий, со стороны ли власти) в их право на свободу самовыражения, иначе говоря, на свободу индивидуального выбора. Такой протест против вторжения в сферу частной жизни, приватного, был характерен, прежде всего, для молодого поколения образованных дворян и чиновников, не успевших пройти долгую выучку в николаевской школе государственной службы. По инерции некоторые начальники еще продолжали требовать от подчиненных бритых физиономий, но таких ретроградов становилось все меньше, ибо в условиях реформ 1860-х гг. подобные требования воспринимались как анахронизм и нередко встречали отказ со стороны подчиненных. Да и чиновники высоких рангов, уходя в отставку, порой следовали моде, стремительно распространявшейся по Российской империи. В эти годы в образованных кругах борода одновременно интерпретируется разными лицами и как признак либерализма ее обладателя, и как возвращение к отечественной «почве».

Распространение новой моды среди дворян вызывало на первых порах кризис отождествления ее носителей с их соци-

---

1 Там же. Л. 48 об.

альным статусом. Особенно страдали от этого полицейские чины, в картине мира которых борода устойчиво связывалась с купцами или крестьянами. Уже в 1861 г. в прессе появляются публикации, рассказывающие о курьезных конфликтах, когда чиновники разных рангов принимали некоего неизвестного им бородатого человека за небогатого купца, оказавшегося в действительности генералом в отставке, и пытались себя с ним вести соответственно.

Если в преследовании усов и бород на лицах чиновников и дворян при Николае I сказывались традиции власти, которая одна имеет право решать, какой облик должны иметь подданные, то в купеческой среде, где осуждали собратьев, бреющих бороды или отпускающих иноземные модные бородки, сильна была власть традиции. На осуждении купечеством подобных модников, рискнувших таким образом выделиться из своего круга, сказывалось во многих городах и влияние старообрядцев, для которых расстаться с бородой означало разорвать связь с предками и утратить свою конфессиональную и национальную идентичность.

Бритый мужчина воспринимался в купеческой среде как чужак – чиновник, дворянин, иноземец или человек, не уважающий традиции предков и общественное мнение. Анализируя восприятие бороды в купеческой и мещанской среде, следует учитывать свидетельства современников о довольно широком распространении в народе ксенофобии. В частности, в ноябре 1812 г. И.П. Оденталь в письме к А.Я. Булгакову, рассуждая о причинах неудачи планов Наполеона в России, находит их в неприязни к иностранцам и приверженности народа «обычаям»: «В глазах его всякий иноземец, хотя бы он с неба звезды хватал, казался бусурманом, человеком презренным».[1] В 1857 г. другой петербуржец, секретный агент III Отделения, сравнивая «самый дух и обращение» черни в Москве и Петербурге, заметил, что простой народ последнего «учтив, вежлив, предупредителен (*даже к иностранцам*)...» (курсив мой – *А.К.*).[2] При таком отношении к иностранцам

1 Сто лет назад. Письма И.П. Оденталя к А.Я. Булгакову о петербургских новостях и слухах // Русская старина. 1912. № 11. С. 330.

2 ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3214. Л. 40.

становится понятным, что подражать последним в бритье или одежде, по мнению народа, было делом постыдным.

Итак, к началу 1860-х гг. «городское гражданство» (купечество и мещанство) в большинстве своем сохранило народную традицию отношения к бороде. Славянофильски настроенная часть образованных слоев в поисках национальных корней, «почвы», еще раньше обратилась к бороде как символу русскости. Либерально настроенная молодежь с ее помощью (как и длинными волосами, «вольностями» в одежде) выражала свою оппозиционность правящим кругам. Наконец, на молодых и людей среднего поколения (отчасти и представителей старшего поколения, носивших бороды в 1830-х гг.) повлияли европейские моды на бороды. Таким образом, сочетание различных причин: традиционных социокультурных, современных политических и сиюминутных явлений в моде – привело к тому, что бородатых мужских лиц становилось все больше в городской толпе и даже на балах в благородных собраниях.

В этих условиях власть оказалась перед дилеммой: продолжать запретительную линию в духе линии Петра I – Николая I или же предоставить подданным самим определить свое отношение к бороде.

Вопреки своим вкусам, но в соответствии с духом времени император Александр II сдал предпоследний редут обороны государства против бород подданных, «святая святых» – армию. В 1874 г. он разрешил «носить бороды служащим во всех войсках, кроме гвардии и гренадер, во всех командах морского ведомства, кроме гвардейского экипажа, а также лиц, состоящих в свите его величества и чинов главных управлений военного министерства и служащих в учреждениях морского министерства».[1] Спустя 7 лет его наследник издаст «дополнение» к данному указу, исходящее из другой шкалы представлений о мужественности и мужской красоте. Для Александра III, как и для Николая II, носивших бороды, они были уже не символом цивилизационной отсталости и косности (как для Петра I) или выражением либерализма (как для Николая I), но свидетельством принадлежности к

---

[1] ПСЗ-2. Т. XLIX. № 53829, 53830.

народу русскому, приверженности к традиционным ценностям Государства Российского.

Таким образом, власть, насильственно навязав своим подданным принудительное бритье лица, вынуждена была под давлением сопротивления различных социальных групп и сословий общества постепенно сдавать свои позиции. Власть позволила сначала купцам и мещанам вслед за крестьянами и духовенством, а затем неслужащим дворянам и гражданским чиновникам, наконец, военным и придворным самим определить, носить ли им бороду или усы или же брить то и другое. В поисках европейской идентичности в начале XVIII в. монарх заставил подданных обрить подбородки, а его потомок, Александр III, в поисках национальной идентичности сам отрастил бороду. Означал ли приказ Александра III по военному ведомству от 26 апреля 1881 г. признание за подданными полной свободы выбора своего внешнего облика? Не вполне, свобода ограничивалась гражданскими лицами, в армии же она распространялась лишь на «господ». Дозволив всем офицерам, генералам и чиновникам носить бороды «по желанию», император запретил брить бороды нижним чинам войск гвардии и гренадер.[1]

На облик горожан (особенно горожанок) не меньшее влияние, чем попытки власти регламентировать костюм и весь внешний вид подданных, влияли факторы, связанные с ментальностью и традициями горожан, а также пространством России и средствами коммуникации, которыми располагало общество. Е. Берман и Е. Курбатова, авторы фундаментального пятитомного издания «Русский костюм», объясняют отставание мод в провинциальных городах двумя факторами: первый – «весьма несовершенными средствами связи с культурными центрами, благодаря чему сведения о модах поступают с большим опозданием»; и второй – характерной для провинциалов того времени «неприязнью ко всему новому, непроверенному». Впрочем, уточняют они, такой консерватизм в одежде характерен лишь для мужчин и старух.[2]

---

1 Приказы по военному ведомству за 1881 г. № 106.

2 Русский костюм 1750 – 1917. Вып. 3. М., 1963. С. 6.

Все вышесказанное относится авторами ко второй половине XIX в. Однако уже для 1850-х – 1870-х гг. подобное объяснение справедливо лишь частично. Так, в это время идет интенсивное строительство железных дорог в Европейской части России, развивается дилижансное сообщение между отдельными городами, доставляющее большее удобство путешественникам, растет пассажирский речной транспорт, включая Сибирь и Север России. Таким образом, происходило улучшение транспортного сообщения между городами и открывалась возможность для более быстрого передвижения горожан и товаров. Другой канал распространения моды – пресса, которая начинает играть более заметную роль в русском провинциальном городе. Конец 1850-х гг. характеризуется быстрым ростом числа подписчиков газет и журналов, в том числе журналов мод и иллюстрированных изданий. Что особенно важно на рубеже 50-х – 60-х гг. XIX в., во многих городах впервые возникают публичные библиотеки, которые почти всегда выписывают модные журналы. Другое предложенное объяснение причин «отставания» провинциальной моды представляется правильным, однако требующим более аргументированной интерпретации.

Городской костюм и в городах Западной Сибири, и в городах Центральной России претерпел в конце XVIII – середине XIX в. существенные перемены. Главным направлением происшедших перемен было постепенное внедрение в купеческо-мещанскую среду современного среднеевропейского платья. Темпы этих изменений были далеко не одинаковы в разных городах. Более того, в конце рассматриваемого периода имела место и обратная тенденция: в гардеробе чиновников и дворян появляются вещи, которые являются модернизированной народной одеждой. Разумеется, такие вещи они носили и прежде – в качестве повседневной домашней одежды. Но тогда они свидетельствовали, как правило, о бедности их обладателя или о его неблагородном происхождении. В середине же XIX в. их назначение меняется – они превращаются в одежду для улицы, цель которой – публично заявлять о своей этничности и приверженности «национальному духу» или, по крайней мере, эпатировать благородную публику.

В одном и том же регионе, в различных городах, существовало одновременно несколько «моделей» распространения моды. В зависимости от особенностей исторического развития, географического положения, этнического и социального состава горожан, их благосостояния и уровня «просвещенности» в разных городах преобладала одна из «моделей». Но ситуация далеко не всегда оставалась неизменной. Так, к середине XIX в. в ряде городов произошел переход от «старообрядческой» («иерархической») модели к «буржуазной». Одним из таких городов, перешедших от «старообрядческой» к «буржуазной» модели был Торжок. В большей степени это проявилось в женском костюме горожанок. У мужчин-новоторжцев во многом сохранился модернизированный городской костюм. Об этом свидетельствует, например, «Положение» о мужском собрании при Новоторжском танцевальном собрании 1852 г., в котором четко зафиксированы принятые тогда в городе выходные мужские костюмы: «Военные должны быть в мундирах, штатские во фраках, а купечество в сертуках».[1]

Само словосочетание «немецкая мода» в первой половине XIX в. употреблялось купцами и мещанами неоднозначно: 1) «германская» мода, то есть мода и одежда из Германии; 2) общеевропейская, противостоящая русской. Для большинства русских купцов и мещан современная мода оставалась «чужой»: дворянской или/и «немецкой». Одежда служила важнейшим фактором подтверждения социальной (городской) и национальной идентичности. Впрочем, медленные перемены в одежде провинциальных купцов в условиях, когда современная мода воспринималась еще как «чужая» (дворянская), явление закономерное. Аналогичные процессы происходили и в других странах, включая даже Францию до революции 1789 г. Не случайно один из разделов своего исследования «Культура одежды» Даниэль Рош назвал «Скромный прогресс буржуазии до 1789 г»[2].

И все же процесс проникновения общеевропейской моды в русский город зашел в середине XIX в. достаточно далеко.

1 ГАТвО. Ф. 56. Оп. 1. Д. 1905. Л. 18 об.

2 *Roche D.* The Culture of Clousing: Dress and fashion in the “ancient regime”. Cambridge, 1994. P. 113

Это стало возможным благодаря ряду факторов. Во-первых, произошла определенная «демократизация» моды, которая стала больше выражать интересы нарождающейся буржуазии и вообще средних городских слоев. В «демократизации» женской моды огромную роль сыграла одежда из ситца. Этот материал способствовал проникновению модного платья в широкие слои городского, а затем и сельского населения. Во-вторых, вырос образовательный уровень русских горожан, а с ним изменилось и отношение к моде. Мода начинает восприниматься не как «дворянская», но как внесословная. В-третьих, несомненно, определенную роль здесь играл и пример немецкой буржуазии.

Появившийся феномен моды в провинциальном городе должен был вызвать быструю смену туалетов, особенно дамских, и привести к возрастанию расходов на одежду. В литературе встречается утверждение, что в середине XIX в. на одежду тратилась почти половина средств среднего горожанина, как писал в 1850 г. корреспондент Географического общества из Мценска.[1] Это утверждение вызывает сильное сомнение. Во-первых, такие расходы на одежду мог позволить себе лишь какой-нибудь молодой щеголь или отъявленная модница, но никак не средний горожанин, у которого были и другие насущные потребности. Во-вторых, это оценочное суждение не подтверждается мнением других экспертов. В частности, авторы топографического описания города Тобольска того же времени рисуют иную картину. Их данные представляются более точными, т.к. они провели обследование бюджета жителей города. Мои подсчеты, выполненные на основе рассчитанных ими бюджетов городских домохозяйств, показывают, что горожане двух наиболее бедных разрядов тратили на одежду 15,4 % и 17 % своего бюджета. А представители двух наиболее состоятельных групп – 19,1 % и 18,3 % (самые богатые).[2] Таким образом, ни в одной из четырех страт населения на одежду и обувь из семейного бюджета не тратилось более 20%. Вместе с тем, несомненно, вопрос о влиянии моды

1 *Рабинович М.Г.* Очерки материальной культуры русского феодального города. С. 197.

2 АРГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 5. Л. 47 об. – 51.

на разные социальные слои горожан требует дальнейшего изучения. Чтобы понять это влияние, необходимо выяснить долю расходов горожан на приобретение новой одежды в конце XVIII в. и сопоставить ее с расходами на эти цели в середине XIX в.

Д. Рош, определяя роль моды во Франции при «старом режиме», пришел к выводу, что «мода, возможно, была эффективным инструментом стандартизации, подобно языку». По его мнению, речь идет не столько об «адаптации парижской экстравагантности в сельской глубинке», сколько о том, что «телесные» и «портняжные» практики не могли не ориентироваться на импульсы, исходящие из центра. Но положение о распространении моды, как важном инструменте стандартизации, справедливо и для городской культуры провинциальной России. Определенно можно утверждать, что в 1840-х – 1860-х гг. (в Петербурге еще раньше) происходит размывание сословного характера одежды. Горожане (особенно женщины) из непривилегированных слоев общества постепенно перестают рассматривать модное платье как дворянское и «немецкое» и охотно, если позволяют средства, переходят на европейский костюм. Это наблюдается как в городах Центральной России, так и в Сибири. Модное платье позволяло его обладателю претендовать на иную – общегородскую культурную идентичность. Скорость перемены в одежде была выше в городах, где была значительная доля мигрантов, где проживало больше иностранцев и, соответственно, меньше старообрядцев, а также в тех молодых городах, население которых не имело давних локальных традиций.

Глава IV.

ЧУВСТВА И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУССКИХ ГОРОЖАН

Цель данной главы – выявить не «тонкости» различий в «картинах мира» горожан Центра и Сибири, а попытаться найти более существенные отличия мировидения и мировосприятия столичных жителей от провинциалов, представителей образованного общества от простых горожан. Привлечение материалов по другим губерниям Центральной России, Москве и Петербургу в известной степени позволяет также выйти за жесткую схему межрегионального подхода и соотнести полученные результаты исследования с данными по другим регионам проживания русского населения.

«Гражданин Минин»: социальный статус и проблемы самоидентификации

Наши представления о российском обществе дореформенной эпохи сложились преимущественно благодаря трудам историков, изучавших сословный строй России, классовую борьбу и общественно-политическую мысль. Историки, занимавшиеся указанными проблемами, опирались прежде всего на законодательные акты. В советское время они были вынуждены придерживаться официальной точки зрения на существование в России классов-сословий (дворянство, духовенство, купечество, мещанство и крестьянство). Пределом возможной дискуссии о социальной стратификации дореформенного российского общества был вопрос о том, яв-

лялись ли купечество и мещанство единым сословием или же они были разными сословиями.

Однако главная проблема исторического познания России состояла не в идеологических препонах, связанных с догматическим марксизмом, а в самом видении истории. В этом видении не было места для восприятия общества и социальной иерархии человеком XIX века. Представления рядовых современников об обществе и своем месте в нем совершенно не учитывались исследователями. В результате мы получили весьма одностороннюю картину. Ныне крайне актуально дополнить взгляд на общество «извне» взглядом «изнутри», то есть представлениями самих современников об этом обществе. Как отметил А.Я. Гуревич, именно «взаимное соотнесение» этих весьма различных, в принципе не совпадающих точек зрения сделает картину истории «убедительной и отвечающей специфике предмета исторического познания».[1]

В феврале 1818 г. в Москве, на Красной площади, был установлен памятник в честь освобождения Москвы от поляков в 1612 г. Творению скульптора Ивана Мартоса суждено было стать, наряду с памятником Петру I в Петербурге, самым узнаваемым памятником страны, своеобразным символом России, таким же как Кремль, Красная площадь и собор Василия Блаженного. На постаменте монумента лаконичная надпись: «Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия. Лета 1818».

Надпись эта вызывала недовольство многих современников. Один из недовольных – А.С. Пушкин – писал: «Надпись Гражданину Минину, конечно, не удовлетворительна: он для нас или мещанин Косма Минин по прозванию Сухорукой, или думный дворянин Косма Минич Сухорукой, или, наконец, Кузьма Минин, выборный человек от всего Московского государства, как назван он в грамоте о избрании Михаила Фёдоровича Романова. Все это не худо было бы знать, так же как имя и отчество князя Пожарского».[2]

---

1 *Гуревич А.Я.* Исторический синтез и Школа «Анналов». М., 1993. С. 291 – 292.

2 *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч. в 10 тт. Т. 7. С. 296.

По мнению Пушкина, в этой надписи содержится откровенный анахронизм. В «Романе в письмах» он с пафосом писал: «Да какой гордости воспоминаний ожидать от народа, у которого пишут на памятнике: «Гражданину Минину и князю Пожарскому». Какой князь Пожарский? Что такое гражданин Минин? Был окольничий князь Дмитрий Михайлович Пожарский и мещанин Козьма Минич Сухорукий, выборный человек от всего государства. Но отечество забыло даже настоящие имена своих избавителей. Прошедшее для нас не существует. Жалкий народ!».[1]

А что же думали Иван Мартос и император Александр I по поводу «гражданина» Минина? Попробуем реконструировать их представления, основываясь на данных филологии. А.А. Алексеев, исследовавший употребление слова «гражданин», писал, что в начале XVII века слово «гражданин» употреблялось как дословная калька с греческого и означало «горожанин». Ни в делопроизводственной документации, ни в публицистике того времени оно не использовалось. Со второй половины XVIII в. «в связи с представлениями о долге гражданина перед обществом в понятие о гражданине вкладывается некоторая этическая содержательность», и к концу 18 в. «за словом гражданин прочно закрепляется значение «член гражданского общества». В законодательстве того времени это слово имело значение «житель города, горожанин».[2] «Этическая содержательность» «гражданина», появившаяся в эпоху классицизма и коннотирующаяся с событиями Великой французской революции, вызвала недовольство императора Павла, запретившего опасное слово. Однако после его смерти слово «гражданин» обрело право на гражданство и быстро вошло в повседневный лексикон в начале XIX в.

Был ли для скульптора Мартоса и императора Александра I «гражданин» всего лишь «городской житель, обитатель», как трактует это слово «Словарь Академии Российской» 1806 г.?[3] В таком случае в самом названии памятника содер-

1 Там же. Т. 5., С. 50.

2 *Алексеев А.А.* История слова гражданин в XVIII в. //Известия АН СССР. Серия литературы и языка. Т. 31. В. 1. М., 1972. С. 69 – 71.

3 Словарь Академии Российской. Ч. 1. СПб., 1806. Ст. 1234.

жался анахронизм, который они не могли не увидеть, будучи высокообразованными людьми. Очевидно, что надпись на памятнике, выполненном в лучших традициях классицизма, удачно объединила разные значения слова «гражданин».

Несомненно, князь Пожарский также был и горожанином, и образцом гражданских добродетелей. Но памятник Минину и Пожарскому был не просто данью признательности этим историческим личностям, но имел и символическое значение: фигуры Минина и Пожарского олицетворяли две социальные силы, объединение которых и привело к восстановлению российской государственности. Для скульптора Мартоса и императора Александра I решающую роль в освобождении России и в 1612 г., и в 1812 г. сыграл народ, отсюда и композиция памятника, и, несомненно, само название памятника. Такая трактовка не устраивала многих дворян, вероятно, большинство. Среди них оказался и Пушкин, который в своей заметке, оставшейся неопубликованной, глубоко символично переименовал памятник: «Примечание о памятнике князю Пожарскому и гражданину Минину». Пушкинская инверсия надписи вполне соответствовала представлениям русского дворянства о роли сословий в истории России.

Эти представления оказались весьма живучи. Народническая трактовка российской истории, как и советская историография, также отказывали средним городским слоям в позитивной роли, упрекая русскую буржуазию в «отсталости», «трусости» и «боязни» революции. Сама постановка вопроса о формировании гражданского общества в России на рубеже XIX – XX вв.[1] вызывает неприятие значительной части исторического сообщества. Русским купцам и мещанам отказывают в «гражданственности», которую В.И. Даль понимал как «состояние гражданской общины; понятия и степень образования, необходимые для составления гражданского общества».

Однако такое ли содержание, которое мы придаем ему сегодня, вкладывали в это слово те современники Мартоса и Даля, которые не принадлежали к образованной части общества?

---

1 *Hildermeier Manfred.* Liberales Milieu in russischer Provinz. Kommunales Engagement, bürgerliche Vereine und Zivilgeselschaft 1900 – 1917 // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 51(2003). H.4. P. 498 – 548.

П.Г. Рындзюнский в предисловии к своей книге «Городское гражданство дореформенной России» обратил внимание, что русские купцы, мещане и цеховые предпочитали называть себя не городскими обывателями (как именовало их и Городовое положение 1785 г.), а гражданами. По его мнению, словосочетание «городское гражданство» хорошо оттеняет «раскрепощающее значение перехода в городское состояние».[1] Применительно к крепостным крестьянам с такой трактовкой следует согласиться, но, как известно, в России никогда не существовало поголовной крепостной зависимости крестьян. Для казенных «поселян», если они не становились купцами, переход в городское состояние не приносил никакого раскрепощения. Зависимость от государства для вчерашнего крестьянина, получившего статус полноправного горожанина, сохранялась: он платил подушный оклад, выполнял различные натуральные повинности, тяжелейшая из которых – рекрутчина – висела дамокловым мечом почти над каждым семейством непривилегированных горожан. Поэтому, как образно писал Б.Н. Миронов, «...воздух русских городов – увы! – не делал человека свободным ни в средние века, ни в новое время».[2]

Интересное наблюдение П.Г. Рындзюнского о стремлении купцов и мещан именовать себя «гражданами» не дает ответа на вопрос: а какое содержание вкладывали сами купцы и мещане в словосочетание «городское гражданство»?

Имеется интересный опыт выявления на локальном материале содержания основных терминов («купечество», «мещанство», «гражданство», «посад»), которыми в законодательстве были обозначены горожане, принадлежавшие к непривилегированным слоям населения. Н.В. Середа, анализируя употребление этих терминов в делопроизводственной документации магистратов городов Тверской губернии в конце XVIII века, приходит к выводу, что словосочетание

---

1 *Рындзюнский П.Г.* Городское гражданство дореформенной России. М., 1958. С. 3.

2 *Миронов Б.Н.* Русский город в 1740-е – 1860-е годы: демографическое, социальное и экономическое развитие. Л-д: 1990. С.236.

«городское гражданство» синонимично сочетанию «купеческое и мещанское общество».[1]

Отзывы городских дум и городских обществ на предложение правительства об объединении магистратов и ратуш с уездными судами, анализировавшиеся в главе «Культура политического», позволяют утверждать, что в середине 1830-х гг. в восприятии непривилегированных городских слоев купцы, мещане и цеховые противостоят дворянам и чиновникам. У исследователя, ознакомившегося с этими источниками, создается впечатление, что горожане из непривилегированных слоев оценивали свое место в обществе, исходя из существующей де-юре сословной структуры социума. В этих документах прослеживается также внутригородская консолидация, они фиксируют городскую идентичность в форме «городского гражданства». Однако возникают вопросы: в какой мере эта социальная идентичность ощущалась в разных социальных стратах в повседневной жизни города? Не были ли эти формулировки навязаны большинству горожан лицами из торгово-промышленной верхушки, которые, как правило, и возглавляли самоуправление, а возможно, своей словесной оболочкой данные источники обязаны прежде всего постоянным чиновникам (секретарям), служившим в думах и магистратах?

В источниках можно найти многочисленные подтверждения и подавляющего влияния авторитарных деятелей городского самоуправления, и самоуправства секретарей и других постоянных канцелярских чиновников выборных органов власти.[2] Нередко купцы и мещане в дореформенную эпоху в официальных бумагах жаловались на свое незнание законов и произвол канцелярских чиновников городских учреждений. Время от времени правительственные чиновники обвиняли последних в навязывании своих решений необра-

---

1 *Середа Н.В.* К изучению терминов «гражданство», «мещанство», «купечество» (по документам городовых магистратов Тверской губернии) // Мир источниковедения. М.; Пенза, 1994. С. 100.

2 На сибирских материалах мне доводилось писать об этом. См.: *Куприянов А.И.* Правовая культура горожан Сибири первой половины XIX в. // Общественно-политическая мысль и культура сибиряков в XVII – первой половине XIX века. Новосибирск, 1990. С. 81 – 101.

зованным гражданам, не знающим ни законов, ни порядка делопроизводства.

Между тем, следует учитывать контекст заявлений горожан о своем правовом невежестве. Такие признания имели место в официальных документах, когда нужно было оправдаться перед властями о нарушении закона или убрать неугодного «градского» чиновника, действительно пользовавшегося большим влиянием на принятие решений, чем можно было бы ожидать от служащего, нанятого для делопроизводства. Столичные же ревизоры зачастую попадали в одну и ту же элементарную ловушку, расставленную смышлеными провинциальными купцами. Хитрые «мужики» охотно и не без успеха эксплуатировали стереотипы питерских бюрократов о необразованности и «серости» русских купцов. Действительно, уровень образованности в среде граждан был таким, что большую часть купцов можно причислить к «необразованным слоям» тогдашнего городского социума (впрочем, как и немалую долю провинциальных дворян). Но главное различие между купеческим (простонародным) и дворянским видением содержания образования состояло в представлении о самом характере образования. Для дворянина образование в идеале носило универсальный характер, поэтому детям стремились дать разнообразные знания, среди которых заметное место отводилось иностранным языкам и изящным искусствам. У горожан оно имело ярко выраженную прагматическую направленность. Для купца оно было подчинено «делу»: необходимо было уметь читать, писать, знать четыре действия арифметики, а также знать законодательство, регулирующее сферу их жизнедеятельности. Поэтому граждане, для которых имя Шиллера или Штрауса могло ассоциироваться лишь с портным, кондитером или часовщиком, живущими по соседству, весьма неплохо разбирались в законодательстве, регулирующем их непосредственные жизненные интересы. «Многие из них читать и писать не умеют, вместо рукоприкладства печать прилагают, – писал в 1848 г. о жителях г. Медыни Калужской губернии учитель приходского училища А.Е. Данилевский, – но ни одну бумагу не скрепят не прослушавши, заставит себе прочесть и скажет:

не так; а как же, скажет ему секретарь; а вот садись, пиши, я тебе проскажу, и начинает диктовать и действительно из-под диктовки его выйдет бумага тонкого юриста».[1] Другое дело, что купцы и мещане, заявляя о своей необразованности, просто умело подстраивались под стереотип дворянского восприятия «неблагородных» горожан.

И все же, чтобы понять, в какой мере риторика коллективных заявлений граждан соответствовала ощущению индивидом своей идентичности, имеет смысл обратиться к источникам личного происхождения. В первую очередь к тем источникам, которые фиксировали бы идентичность не задним числом (как в мемуарах), а сиюминутно, что имеет место в дневниках и письмах. Увы, эти свидетельства очень немногочисленны. И все же их можно отыскать в архивах. В этой связи сопоставим дневники двух горожан: Ивана Андреевича Нечкина и Петра Васильевича Медведева. Первый – мещанин города Осташкова, служивший приказчиком у самых богатых в городе купцов – братьев Савиных. Второй – владелец небольшой фабрики, перешедший из мещан в купцы 3-ей гильдии. Они близки по социальному происхождению, положению и образованию. Хронологически их дневники также близки между собой: сохранились «Вседневные записки на 1850 год» Нечкина и «Памятная книга» Медведева, которая охватывает период с 1854-го по 1863 год. Главное отличие между ними в том, что один дневник создан провинциалом, а другой – столичным жителем. Выбор этих двух дневников для сопоставления определяется прежде всего уникальностью этих источников. Купеческие дневники дореформенной поры сохранились буквально в единичном числе. Выбор же из этого малого числа дневников Медведева и Нечкина продиктован плотностью записей (Нечкин заносил свои наблюдения на страницы дневника едва ли не ежедневно, а Медведев делал удивительно подробные, с множеством конкретных деталей записи), что позволяет перейти к микроанализу проблемы социальной идентичности. Разумеется, сопоставление этих двух дневников не дает оснований для экстраполяции полученных

---

[1] АРГО. Р. 15. Д. 29. Л. 31.

результатов на всю совокупность городского гражданства, но является весьма интересным для понимания индивидом своего положения в обществе – в столице и в провинции.

Дневник Ивана Андреевича Нечкина дает возможность получить представление о самоидентификации русских провинциальных горожан. Для него статус горожанина имеет несомненное преимущество перед статусом крестьянина, и не только крепостного, но и казенного. Поэтому, сообщая о том, что один из служащих Савина (Глеб) выдал свою сестру замуж за «мужика», он воспринимает этот брак как откровенный мезальянс: «она была уже осташковская мещанка».[1] О восприятии Нечкиным крестьян можно судить по целому ряду его мелких замечаний, сопровождавших описание некоторых событий или лиц: о крестьянине, вывозившем 15 возов навоза со двора и не сказавшем «спасиба» – «вот так мужик», о крестьянине, отказавшемся от договоренности о доставке груза в Петербург и не уведомившем об этом. В этом же ряду и запись: «Мужик возом сеном сломал петли у двери крыльца».[2] Суммируя эти записи, можно утверждать, что сельские жители ассоциируются у мещанина с невежеством, неотесанностью, неловкостью, неучтивостью. По мнению Нечкина, крестьяне, особенно крепостные, включая и вольноотпущенных, отличаются низким уровнем нравственного развития. Вот, например, его отзыв о жене соборного сторожа, приглашенной для ухода за его супругой, родившей мертвого ребенка: «... как уже прежде бывше холопкой, то и бессовестна». О другой несимпатичной ему особе он писал: «Приехала обратно из гостей из Москвы дурацкая экономка дома Савина Марфа Захаровна, Московской губернии, Коломенского уезда, села Деднова, вольноотпущенная».[3] Упоминание о социальном статусе и в том, и в другом случае имеет целью усилить негативную характеристику человека. Такое восприятие крестьян обнаруживает, что потомственный житель небольшого уездного города, получившего городской статус лишь в 1772 году, ощущал свою особость, свое принципиаль-

1 ГАТвО. Ф. 103. Оп. 1. Д. 2628. Л. 5.

2 Там же. Л. 10 об., 9 об., 59 об.

3 Там же. Л. 10, 14 об.

ное социальное, нравственное и культурное превосходство над крестьянами.

В дневнике мещанина почти нет примет той сословной структуры, которая юридически существовала в России и неизменно присутствует в работах историков. О приниженности средних слоев горожан в Осташкове в середине XIX в. в «записках» Нечкина нет прямых свидетельств. Прямое противопоставление дворян «гражданам» (купцам и мещанам) можно обнаружить в записях, отражающих культурные различия горожан, которые привлекли внимание автора своей необычностью, например, свадьба, на которой невеста «венчалась, равно и впоследствии ходила по-дворянски [в] салопе и шляпке».[1] Однако латентная враждебность (по крайней мере, недоброжелательность) граждан к дворянам иногда просматривается на страницах дневника. Например, в описании эпизода, когда один из служащих Савиных потребовал, чтобы помещик Лобанов-Ростовский заплатил за проезд на судне вдвое дороже, чем пассажиры-горожане. При этом служащий вел себя подчеркнуто некорректно по отношению к помещику. Характер записи в дневнике был нейтральным, скорее в нем можно усмотреть солидарность с дворянином, чем с самоуправным приказчиком. Однажды в поле зрения Нечкина попал конфликт дворянина с семьей осташковского гражданина, случившийся на бытовой почве: «В доме Петра Егорова Суворова на время квартировал ржевский помещик Давыдов и пьяный бушевал, избил мать, ломал двери, рвался к жене Суворова и так далее. Суворов просил в городническое правление, и пошла мировая и Суворов получил с помещика сто руб. серебр. и все решено».[2] Эту запись он не снабдил какими-либо комментариями, которыми он сопровождал, например, рассказ о столкновениях с работодателем, о «сухом» приеме хозяевами своих приказчиков по праздникам или о выборах городского головы в соседнем городе, завершившихся избранием его знакомого. Видимо, в социальном пространстве города осташковский мещанин имел

1 Там же. Л. 7 об.

2 Там же. Л. 4.

значительно меньше конфликтогенных зон с дворянами, чем с «гражданами». Наконец, и самих дворян в Осташкове было совсем немного (25 потомственных и 55 личных дворян из 5408 жителей мужского пола – к 1 января 1863 г.)[1], поэтому они редко попадали в поле зрения автора дневника.

В дневнике осташковского мещанина отсутствует понятие «сословие», которое в работах историков является основой для построения моделей общественного устройства дореформенной России. Иное наблюдается в «Памятной книге» москвича Петра Васильевича Медведева. Для него сословность является важнейшей категорией при описании социальной иерархии и общественного быта. Сообщая о похоронах князя С.М. Голицына, он фиксирует, что по желанию покойного они проходили скромно, «без выражения почести, без шуму и грому, без знаков отличия», за гробом шли «лишь представители сословий и масса народа».[2] Из этой записи, как и из некоторых других отрывочных свидетельств, просматривается та роль, которую отводил сословиям в обществе московский купец. Эта роль состояла в том, чтобы служить организующим, структурирующим фактором гражданского бытия общества. Для него сословие – это не только юридическое понятие, но и общность духовного и материального бытия. Так, 29 апреля 1856 г. он записал свои размышления на эту тему: «... слава Богу, живем. Одеты, сыты, а высших потребностей, или, как говорят, эстетических, право, не нашему сословию они принадлежат...»[3] Поэтому уклонение от верности образу жизни своей социальной среды чревато многими напастями для человека. «Будь он верен своему сословию, не случилось бы этого, – писал Медведев 20 февраля 1859 г. о знакомом студенте П.Н. Рыбникове, взятом в крепость «за свои воззрения и либеральные идеи». – Рожденный в сословии купцов, известных в свое время суконных фабрикантов, и, проходя бы свое природное занятие, быть может, наверное, был бы теперь солидной купец».[4]

1 *Н. Р-в.* Очерк Осташкова // Памятная книжка Тверской губернии на 1863 год. Тверь, 1863. Отд. III. С. 130.

2 ЦИАМ. Ф. 2330. Оп. 1. Д. 986. Л. 20

3 Там же. Д. 984. Л. 35.

4 Там же. Д. 986. Л. 22 об.

Казалось бы, исходя из понимания московским купцом значения сословного строя в жизни социума, мы вправе сделать умозаключение о том, что Петр Васильевич Медведев усвоил навязываемую правительством идею незыблемости существующего социального строя. Ее неотъемлемой составной частью был тезис о консервации сословий и сохранении социальных и культурных барьеров между ними. Однако такое умозаключение справедливо лишь отчасти. Медведев, постоянно ощущая в повседневной столичной жизни грани, разделяющие сословия, скорее констатирует роль сословности, чем оправдывает ее. При этом он неизбежно должен был пользоваться языковыми клише, с помощью которых он и мог пытаться выразить свое отношение к социальной иерархии российского общества середины XIX в. Важно понять, в какой мере представления о сословиях у Медведева совпадали с их официальным статусом в России? Считал ли он необходимым для настоящего и будущего страны сохранение сегрегации сословий? И если нет, какие явления современного ему социального быта он одобрял?

Следует напомнить, что Медведев не принадлежал к образованной публике и писал интимный дневник, а не научный трактат. Поэтому его суждения об обществе, как правило, отрывочны. Но все же в отдельных случаях он оставил относительно развернутые высказывания по этой теме. В частности из записи об отставке военного генерал-губернатора Москвы графа А.А. Закревского видно, что автор дневника насчитывает всего три «сословия»: низшее, среднее и высшее.[1] Себя он относит к среднему сословию. Свою идентичность он определял в дневниках вариативно, отождествляя себя с купечеством или мещанством. Последнее наблюдалось значительно реже (с полной уверенностью мещанская идентичность может быть установлена лишь в одном случае). Вероятно, ощущение своей принадлежности к мещанскому сословию связано было с тем, что Медведев только в 1854 году обрел статус купца 3-ей гильдии. Примечательно, что на обороте титульного листа своей «Памятной

1 Там же. Д. 986. Л. 44.

книги» среди важнейших событий общероссийской и своей частной жизни, озаглавленных «Эпохи», нет упоминания об этом событии. Возможно, это было связано с тем, что в 1864 году, когда была внесена запись о последней «эпохе» – смерти жены, Медведев уже вновь числился мещанином. Неудачливый предприниматель, скорее всего, никогда не вступил бы в купеческую гильдию, если бы не Крымская война и связанный с ней рекрутский набор, страшивший автора дневника. Однако и в этом случае, несомненно, он отнес бы себя к среднему «сословию». Для Медведева принадлежность к «сословию» определялась не формальным статусом индивида, а, выражаясь современным языком, его местом в общественном производстве и принадлежностью к определенной культуре. Поэтому в его среднем «сословии» нет места для чиновников. Чиновники для московского купца – «белая кость». Наиболее явственно противопоставление «белого» и «чорного» люда вырисовывается при описании обнародования 5 марта 1861 г. высочайшего манифеста об отмене крепостного права. В этом описании нет никакого упоминания о купцах, мещанах, крестьянах, дворянах и чиновниках. Все присутствовавшие в двух московских церквях, где в тот день побывал мемуарист, делятся на два класса – «чорный» и «белой» народ.[1] Разумеется, московский купец, «рожденный в крестьянском быту», ощущает свою идентичность с «чорным народом».

Московский купец значительно острее, чем осташковский мещанин, ощущал противоречия между дворянством и непривилегированными сословиями и даже идентифицировал себя с «чорным» людом. В то время как Нечкин постоянно отгораживался от «нисшего» сословия. Причина расхождений не в том, что осташковский мещанин – это потомственный горожанин, а московский купец – выходец из крестьянства. Медведев стал настоящим москвичом, он не только полюбил этот город, но и был столичным жителем по своим ощущениям. Так, проживая в Семеновском, на тогдашней окраине Москвы, он отметил в один из праздничных дней, что после многолюдного центра ему в своем районе скучно, как в дерев-

[1] Там же. Д. 986. Л. 1 об. – 2.

не. Крестьянские корни, несомненно, влияли на восприятие социальной иерархии, но главная причина отождествления себя с «черным народом» состояла в разности самоощущений горожан одного и того же сословного статуса в столичном и в уездном городе. В провинции в середине XIX в. «гражданин» чувствовал себя гражданином несравненно в большей степени, чем в Москве, Петербурге или некоторых крупных губернских городах, в которых проживали многочисленные слои неслужащего дворянства, чиновничества и офицерства. В нашем же случае даже сословное превосходство москвича по сравнению с провинциалом не дает ему возможности избавиться от чувства социальной приниженности. Таким образом, формально-юридический статус в локальных социальных условиях конкретного города мог и не совпадать с восприятием индивидом своего места в социальной иерархии.

Медведев не чувствовал и внутрисословного единства московского купечества. Временами в его дневнике появлялись строки, пронизанные глубоким недовольством иерархическим устройством публичного бытия московского купечества и своим низким местом на внутрисословной лестнице. В связи с посещением вечеринки в доме известного московского фабриканта А.З. Морозова в дневнике Медведева появляется запись: «не нужно бы ехать, но ведь зовет Богач, как не быть...». Размышляя над причинами своей неудачной предпринимательской деятельности, он с горечью писал: «но что же делать нам, мелочам, когда наш голос теряется, как в пустыне...».[1] Образ «маленького человека», открытый миру русской классической литературой, в восприятии московского купца 3-ей гильдии трансформируется в образ «мелкого» человека («мелочи»).

Что же вызывало у Медведева чувство недовольства своим положением в купеческой среде? Если учесть, что имеются свидетельства других современников, которые зафиксировали на провинциальных материалах неудовлетворенность купцов внутрисословными отношениями, то представляется, что недовольство Медведева было созвучно массовым настроени-

[1] Там же. Д. 984. Л. 28 об., Д. 986. Л. 22.

ям торгово-предпринимательской части населения русского города. Такие настроения препятствовали сословной консолидации русского купечества. Какие же факторы мешали внутреннему сплочению купеческого сословия? Помимо экономических (конкуренция) и юридических (привилегии для купцов первых двух гильдий) факторов важнейшую роль играл фактор культурный, отражающий особенности картины мира русского купечества. В иерархии жизненных ценностей этого сословия исключительное место занимало богатство. Лишь П.А. Бурышкин, много лет проживший в эмиграции, писал в своих мемуарах, рассчитанных на западного читателя, что «даже в купеческих группировках и на бирже богатство не играло решающей роли».[1] На деле же в старой России и особенно в дореформенную эпоху существовал культ богатства, с одной стороны, и зависть, переходящая в ненависть к обладателям материального богатства, – с другой.[2]

Социальную идентичность можно «считывать» не только по источникам личного происхождения или коллективным петициям. В неменьшей степени проявляется она и в поступках людей.

Приведу лишь один эпизод из городской повседневности. В 1831 году тверской гражданский губернатор всеподданнейше докладывал о беспорядках в городе Осташкове. Карантины и другие противохолерные меры 1830 – 1831 гг. вызвали в Осташкове (как и в ряде других городов) острое недовольство купцов и мещан. В 1831 г. граждане объявили о роспуске противохолерного комитета, состоящего из дворян и возглавляемого уездным предводителем дворянства. Недовольство горожан было столь сильным, что предводитель дворянства был вынужден бежать из города, опасаясь расправы. Последний в своем отношении к тверскому губернатору от 23 июля 1831 г. писал, что в городе распространился слух, будто бы «яды и отравы сыплются в колодцы и мешаются во все, в пищу употребляемое, даже и в самый нюхательный та-

---

1 Бурышкин П.А. Москва купеческая: Мемуары. М., 1991. С. 113 – 114.

2 *Куприянов А.И.* Представления о труде и богатстве русского купечества дореформенной эпохи // Менталитет и культура предпринимателей России XVII – XIX вв. М., 1996. С. 83 – 107.

бак. Градский глава... получа... письмо из С.Петербурга, что работники его, один понюхав табаку, другой, напившись квасу, мгновенно умерли, говорил об оном... С сего времени уже все из сострадания просящие считались жителями города за людей отравляющих...». Эти представления разделял и городской голова – купец Мосягин, который рассказывал, что в Новгороде неизвестные мужчины в «дворянском платье» подмешивают яд в воду и пищу.

Предводитель дворянства сообщал, что его крепостному горожане прямо заявляли, что «от барина вашего посланы люди для отравления». Сам же городской голова, ссылаясь на волю императора, повелевшего в Санкт-Петербурге сосредоточить всю борьбу с холерой в руках городского головы, требовал замены дворян-попечителей гражданами. Необходимость такой замены, по его мнению, аргументировалась тем, что в прошлом году один из членов попечительного комитета «заставлял бывших у него для рассылки мещан чистить сапоги, из коих каждый мещанин лучше попечителя». Достоверность обвинения, выдвигаемого против одного из членов комитета, учитывая присущее осташковцам чувство собственного достоинства, представляется довольно сомнительной. Однако дворянский предводитель спорить не стал, а тут же предложил заменить неугодного попечителя. Но городской голова на компромисс не пошел, ибо преследовал иную цель – добиться передачи полномочий холерного комитета в руки городского самоуправления.

Будучи повторно приглашен для обсуждения этого вопроса, он вновь отказался признать существование дворянского комитета, созданного в соответствии с циркуляром МВД. «Ответ [градского] главы был в самых дерзких выражениях на счет сословия дворян, кои и изобразить трудно для благородно себя чувствующего, и, наконец, что граждане лучше многих дворян», – почему-то с обидой писал уездный предводитель дворянства.[1]

Как интерпретировались подобные источники в советской историографии? «Движение в городах в 1830 – 1831 гг.

[1] ГАРФ. Ф. 109, 4 экспед., 1831 г., Д. 115. Л. 7 – 7 об.

свидетельствовало о полном отсутствии доверия к правящим властям у рядовой массы горожан. Направленность городских восстаний преимущественно против дворян и чиновников свидетельствует, что движение в городах органически входило в общий фронт антикрепостнической борьбы», – писал автор классического в советской историографии труда о русском городе П.Г. Рындзюнский.[1]

Сегодня такая интерпретация представляется не вполне корректной. При такой очевидной классовой детерминации исторических событий историк неизбежно игнорировал информацию, которая не укладывалась в прокрустово ложе официального марксизма-ленинизма. Поэтому поведение людей модернизировалось и за бортом оказывались все другие факторы, влиявшие на события, – прежде всего социокультурный контекст поведения людей, их ментальность и присущая им картина мира. В результате подобного умолчания непонятно, почему жертвами народного гнева оказывались в первую очередь врачи, фельдшеры, санитары? Почему в нищих видели отравителей? Почему не только рядовые горожане, но и купцы, возглавлявшие самоуправление, распространяли эти нелепые (с точки зрения образованного человека того времени) слухи?

Социальные интересы граждан тесно переплеталась в картине мира купцов и мещан с присущими им фобиями. Иррациональные страхи, связанные с «чужими», всегда были присущи горожанам (равно как и крестьянам) в традиционном обществе. Поэтому эпидемия холеры, уносившая в одночасье сотни жизней, лишь актуализировала эту фобию. «Чужими» в провинциальном русском городе, как и в столицах для простонародья, почти весь XIX век были люди, принадлежавшие к дворянской культуре: дворяне, чиновники, студенты. Всякий человек в форменном мундире рассматривался в народе как принадлежащий к чужому миру, к иной культуре. Соответственно, и встречали его «по одежке».

В городах подозрительными лицами были также иностранцы и иноверцы (преимущественно «злокозненные поля-

---

1 *Рындзюнский П.Г.* Указ. Соч. С. 410.

ки»), а также нищие. Их отличительными признаками была, прежде всего, одежда. По мнению видных этнографов, изучавших русский город той поры, сословный характер одежды усиливался вплоть до середины XIX века.[1] Думается, точнее было бы говорить не об «усилении», а о сохранении в одежде провинциалов идентифицирующих сословных признаков. Об этом подробнее говорилось в главе «Мода, власть и идентичность», а сейчас констатируем, что осташковский городской голова, не обвиняя прямо дворян, говорит об «отравителях», одетых в дворянское платье. Таким образом, даже городской голова – богатый купец – разделял представления необразованных слоев общества, будто бы холера была выдумана «чужими» (чиновниками, врачами, иностранцами), чтобы травить русский народ.

Возвращаясь к дневнику Нечкина, отмечу, что в нем при упоминании горожан крайне редки указания на их социальный статус. Осташков в публицистике и в источниках канцелярского происхождения слыл городом, в котором всегда было много горожан, записавшихся в купечество с целью уклониться от рекрутской повинности. Может быть, именно поэтому Нечкин, как правило, не говорит о сословном статусе лиц, принадлежащих к городскому гражданству. Впрочем, не все современники объясняли слишком высокую долю купцов среди горожан лишь стремлением избежать рекрутчины. Так, тверской чиновник и краевед Н. Рубцов писал, что столь значительное число купцов (21,3 % всего мужского населения города в 1862 г.) «вернее объяснить» «самолюбием, которое заметно проглядывает в осташковских горожанах».[2] Упоминания о сословной принадлежности появляются у Нечкина, когда он пишет о малознакомых людях или же когда профес-

---

[1] *Анохина Л.Н., Шмелева М.Н.* Быт городского населения средней полосы РСФСР в прошлом и настоящем. На примере городов Калуга, Елец, Ефремов. М., 1977. С. 168 – 171; *Рабинович М.Г.* Очерки материальной культуры русского феодального города. М., 1988. С. 195 – 198; *Лебедев С.К., Миронов Б.Н.* Новая концепция русского доиндустриального города. Манфред Хильдермайер о русском дореформенном городе // Государственные институты и общественные отношения в России XVIII – XX вв. в зарубежной историографии. СПб., 1994. С. 45.

[2] *Н. Р-в.* Очерк Осташкова // Памятная книжка Тверской губернии на 1863 год. Тверь, 1863. С. 130 – 132.

сиональные занятия не вполне, по его представлениям, соответствовали сословному статусу человека. Например, дневниковая запись за 11 мая: «Наложил извощ(ика) в Питер на 8 нед(ель) селижского Степана Иванова, что ныне по ревизии записавшись купцом».[1]

Описывая приход делегации осташковских граждан к Федору Кондратьевичу Савину с просьбой принять должность городского головы, он говорит не о купцах и мещанах, но о «бедных» и «богатых» гражданах. Имущественное положение человека для Нечкина и определяет его место в обществе. Отсюда деление всех на «бедных» и «богатых». В его дневнике «богатым» противопоставляются все остальные горожане. С нескрываемой радостью мемуарист писал об избрании в Торжке городским головой знакомого ему И.М. Вешнякова вопреки противодействию тамошних «миллионеров»: «Вот так, славно, всем надели очки богачам».[2]

Нечкин, судя по дневнику, в рамках городского гражданства выделял и собственный социальный круг. Этот круг был весьма узок – кожевенные приказчики Савина. Социальными маркерами малой социальной группы, к которой принадлежал мемуарист, являются упоминания о групповом проведении праздничного досуга, во время которого социальные связи, существующие в обществе, проявляются наиболее отчетливо и ярко. Важнейшие календарные праздники (Новый год, Пасха, Рождество) в качестве неотъемлемого компонента включали совместное участие в торжествах всех приказчиков Савиных. Они собирались после обедни в церкви и все вместе шли поздравлять хозяев. Как правило, это поздравление сопровождалось угощением служащих. Затем непременно следовала совместная трапеза приказчиков. На устойчивый характер такого праздничного времяпрепровождения указывают некоторые описания: «и по заведению», «и по заведению прежнему», «как и всегда», «и все, как и прежде».[3] Приказчики вместе поздравляли хозяев с важными семейными или общественными событиями в жизни братьев

1 ГАТвО. Ф. 103. Оп. 1. Д. 2628. Л. 23.

2 Там же. Л. 57.

3 Там же. Л. 2, 18 об.

Савиных. Вместе они проводили часть праздничного досуга, устраивая трапезы в помещении того самого буфета, в котором обедали и в будни. Но при этом автор дневника постоянно стремится обособить себя от «фабричных» – приказчиков, служащих на фабрике Савина. Наиболее отчетливо противопоставление «кожевых» и «фабричных» приказчиков проявилось при поздравлении ими хозяев по случаю награждения медалью Ивана Кондратьевича за юфтевые изделия. «А когда поздравляли Стефана Кондр(атьевича)... и нам кожевым прикащ(икам) сделал приветствие, а фабричным фигу», – писал об этом событии Нечкин.[1]

Он также записал, что, поддавшись на уговоры товарищей, впервые (уже показательный факт!) побывал на фабричном «собрании». О впечатлении, которое он вынес от посещения этой вечеринки, говорит ироничная запись: «Видел собрание вавилонское». Вавилон для каждого русского простолюдина ассоциировался с многолюдством, беспорядком, гамом и шумом. Учитывая, что Нечкин был человеком малопьющим, вероятно, атмосфера, царившая на вечеринке, показалась ему непристойной.

Что стояло за настойчивым стремлением кожевенного приказчика отмежеваться от «фабричных»? Формально и те и другие – люди одного социального статуса. Можно ли свести упорное нежелание Нечкина ощутить свою социальную тождественность с фабричными приказчиками к проблеме профессиональной идентичности? Действительно, этот осташковский мещанин испытывал если не чувство гордости за свою профессию, то, по крайней мере, сознание значимости и полезности своего труда. Но едва ли можно приписать настойчивое стремление избегать общения с «фабричными» в повседневной жизни и постоянное противопоставление собственной референтной группы и «фабричных» лишь восприятию Нечкиным своего труда как более престижного, чем труд приказчиков с фабрики. Вероятно, причины такого отношения коренились в маргинальности рабочих, а отчасти и служащих частных заводов и фабрик в русской провинции в первой половине XIX в.

---

[1] Там же. Л. 50 об.

В провинциальных городах рабочими на фабриках были преимущественно крестьяне. Нет основания считать, что Осташков был исключением в отношении сословного положения фабричных рабочих. В частности, в прошении Ф.К. Савина на имя управляющего Министерством финансов П.Ф. Брока сообщалось, что на 4 июля 1851 г. из 744 вольнонаемных рабочих лишь 122 были осташковскими мещанами, а остальные – иногородними мещанами, отставными солдатами и крестьянами.[1] Вполне вероятно, что среди приказчиков фабрики Савиных было немало выходцев из крестьянской среды. В этом контексте, учитывая чувство культурного превосходства осташковского мещанина над крестьянами, становится понятной сегрегация фабричных приказчиков Савиных.

Сопоставляя дневники москвича и провинциала, мы можем констатировать, что внутрисословные противоречия для их авторов оказываются столь же важны, как и межсословные. Особенно это характерно для восприятия Нечкиным своей повседневной социальной среды. Житель столичного города Медведев, недовольный отношениями в купеческой среде, все же острее ощущал социальные барьеры в межсословных отношениях.

Какие же новые возможности для понимания исторических явлений открывает изучение проблем социальной идентичности средних слоев русских горожан? Как мне кажется, такое изучение не только возвращает обычного человека в историю, но и позволяет высветить новые грани некоторых старых проблем. В их числе и вопрос: почему в России не произошла консолидация средних слоев горожан на буржуазной основе? Традиционно историки, отвечая на него, подчеркивали экономическую и политическую слабость русской буржуазии, ее малочисленность, бедность городов, в которых лишь к середине XIX века в основном завершился процесс изживания аграрных черт. В последние годы под влиянием школы «Анналов» к этим причинам также добавляют и тот факт, что образ жизни и ментальность населения малых и средних городов еще в значительной мере сохраняли деревенские черты.

---

1 РГИА. Ф. 1286. Оп. 13. Д. 250. Л. 8.

Изучение городской идентичности в первой половине XIX века выдвигает и некоторые другие (культурные) факторы, оказывавшие серьезное влияние на процессы консолидации буржуазии. Преобладание у граждан традиционалистских картин мира мешало сближению с интеллигенцией, которая и могла принять на себя функцию идеологического обоснования необходимости консолидации городского гражданства на буржуазной основе. Рост образовательного уровня купечества и процесс оскудения дворянства привели к интерференции (по выражению М. Оссовской)[1] буржуазного и дворянского этосов. Историк Н.С. Козлова на материалах XVIII в. пришла к выводу, что образ «совершенного купца» в России «причудливо сочетал в себе черты буржуазного, мещанского личностного образца, для которого богатство и польза являлись главными показателями достоинства человека с чертами, воспринятыми у дворянского, аристократического образца. Носителем последнего мог быть только человек благородного происхождения». «Можно говорить лишь о частичном отделении присущего личностному образцу понятия благородства от благородного происхождения».[2] Эти представления слишком медленно изживались русским купечеством и в первой половине XIX в., чтобы оно смогло успешно сыграть роль консолидирующей силы для городского гражданства.

Усвоение верхушкой купечества личностных норм поведения, свойственных «благородным», отторгало от нее основную массу горожан. Наконец, в первой половине – середине XIX в. большинство мещан и даже купцов в провинции ежедневно субъективно ощущали, что противостоят они не столько дворянам и чиновникам, сколько «богатым». Таким образом, в картине мира дореформенного гражданства социальный водораздел представал в форме дуальной оппозиции «бедные – богатые». Все эти противоречивые и разнородные социокультурные факторы оказали свое тормозящее влия-

---

1 *Оссовская М.* Рыцарь и буржуа. М., 1987. С. 427 – 459.

2 *Козлова Н.В.* Некоторые черты личностного образца купца XVIII века (К вопросу о менталитете российского купечества) // Менталитет и культура предпринимателей России XVII – XIX вв. М., 1996. С. 54.

ние на процесс консолидации городского гражданства.

Само понимание гражданства купцами и мещанами не оставалось неизменным. Есть основания считать, что начиная с 1840-х «граждане» – это уже не только обозначение совокупности купцов и мещан, но и принадлежности к более широкой городской общности. В частности, у сибирских купцов и мещан со словом «гражданин» возникают коннотации с гарантированными законом гражданскими правами и активной жизненной позицией. Примечательный конфликт произошел в июле 1846 г. на тобольском рынке, когда в ходе спора о качестве мяса полицмейстер Тецкий заявил городовому судье П. Широкову и его кандидату Л. Некрасову, что это не их дело. И мещанин Петр Широков, «выходя из себя и ударяя в грудь, сказал: «я – гражданин!»[1] В результате по жалобе полицмейстера велось судебное дело «По делу о дерзких выражениях мещан Широкова и Некрасова против тобольского полицмейстера Тецкого». В вину тобольским деятелям самоуправления, в частности, вменялась эта дискуссия на рынке, а в качестве «дерзких выражений» фигурировало лишь одно – заявление Широкова, «что он гражданин».[2] Эти слова были подчеркнуты в журнале Совета Главного управления Западной Сибири от 26 января 1852 г. Таким образом, и полицмейстеру, и чиновникам, готовившим документы для заседания Совета, было ясно, что Широков, произнося эту фразу, заявил совсем не о том, что он мещанин, и поэтому ему есть дело до распоряжений полицмейстера. Чиновникам заявление Широкова не нравилось по той же причине, что императору Павлу I, запрещавшему слово «гражданин». Однако Совет не усмотрел в этом заявлении повода для привлечения мещан к ответственности, напомнив лишь о том, чтобы они впредь не вмешивались в распоряжения полицейской власти.[3]

Социальная идентичность этого «нового гражданства» выстраивалась первоначально на обособлении горожан от дворян и чиновников. В дальнейшем – на представлениях о необходимости отмены сословных привилегий и уничтожении чиновни-

1 ГАОО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 2921.Л. 2 об.

2 Там же. Л.14 об.

3 Там же. Л.17.

чества как касты. Так, служащий в красноярском самоуправлении И.Ф. Парфентьев в 1862 г. на предложение перейти в штат губернатора Восточной Сибири Муравьева заявил: «Я родился служилым и умру таковым же... Да и пресса убеждает, что мы все скоро будем гражданами, чиновничества не будет».[1] Для Парфентьева, отец которого, мещанин, постоянно занимал выборные должности в самоуправлении, в том числе городового судьи, «служилый» – это не человек, состоящий на коронной службе, а человек, служащий обществу.

«Труд» и «богатство» в картине мира русских купцов

Категории «труд» и «богатство» непосредственно отражают представления о мотивах трудовой деятельности, распространенные в обществе в целом и в отдельных сословиях и социальных группах. Первоочередное внимание к представлениям купечества о мотивах своего труда и человеческой деятельности в целом вполне оправданно, так как именно купечество было тем социальным слоем, в котором в первую очередь проходило усвоение буржуазных ценностей и формирование буржуазного уклада жизни.

Воззрения русских горожан, в том числе купечества, на цели и смысл своей трудовой деятельности, значение труда в жизни общества – все эти вопросы применительно к дореформенному городу до последнего времени не привлекали должного внимания исследователей. Можно назвать лишь статью Б.Ф. Егорова, в которой предпринята попытка культурологического осмысления темы «труд и отдых» в русском быту и литературе XIX в.[2] Отдельные стороны отношения к труду рассматривались в работе Н.А. Вердеревской.[3] Моти-

---

1 Город у Красного яра: Документы и материалы по истории Красноярска первой половины XIX в. Красноярск, 1986. С. 132.

2 *Егоров Б.Ф.* Труд и отдых в русском быту и литературе XIX в. // Культурное наследие Древней Руси. М., 1976. С. 322 – 326.

3 *Вердеревский Н.А.* Становление типа разночинца в русской реалистической литературе 40 – 60-х годов XIX в. Казань, 1975.

вация трудовой деятельности старообрядцев была обстоятельно исследована в монографии В.В. Керова.[1]

Отмечу, что в российской литературе обычно (едва ли не единственное исключение А.Я. Гуревич)[2] категории «труд» – «отдых» («праздность»), «богатство» – «бедность» рассматриваются изолированно. Например, при изучении отражения социальных процессов в общественной мысли или литературе такой подход обоснован и закономерен.[3] Но при обращении к массовому сознанию купечества важно рассмотреть категории «труд» и «богатство», так как именно обогащение выступает главной целью трудовой деятельности данного социального класса. Впрочем, как свидетельствуют исследования историков, посвященные особенностям ментальности людей, принадлежащих к разным слоям общества, отношение к труду и богатству является неотъемлемой частью картины мира не только купцов и мещан, но и лиц из других сословий и социальных групп общества.[4]

Каковы же были господствующие представления купечества о труде: умственном (интеллектуальном и управленческом) и физическом, о своей собственной профессиональной деятельности, ее мотивах, о купеческой этике?

При изучении представлений и ментальности купечества конца XVIII – первой половины XIX в. следует учитывать особенности социальной структуры населения и сословного строя Российской империи. В частности, купечество, будучи податным сословием, было освобождено от несения тяжелейшей рекрутской повинности. «Рекрутская повинность в настоящем ее виде – бедствие для мещанина и поэтому неудивительно, что он старается ускользнуть от нее».[5] Отсюда массовая запись посадского населения, не занятого ни коммерцией, ни предпринимательством, в купеческое сословие.

---

1 *Керов В.В.* «Се человек и дело его...»: Конфессионально-этические факторы старообрядческого предпринимательства в России. М., 2004.

2 *Гуревич А.Я.* Категории средневековой культуры. М., 1972. С. 192 – 261.

3 *Робинсон А.Н.* Борьба идей в русской литературе XVII в. М., 1974.

4 *Гуревич А.* Европейское средневековье и современность // Европейский альманах. История. Традиция. Культура. М., 1990. С. 136 – 137.

5 *Серебряников И.* 16 июня 1861 г. Углич. // Русский вестник. 1861. № 32. С. 31.

О широком распространении этого явления свидетельствуют и официальные документы как государственных учреждений, так и выборных органов власти, материалы периодики, записки и дневники путешественников и самих горожан. Поэтому, исходя из задачи исследования, следует фильтровать информацию на относящуюся к купечеству как профессиональной группе, занимающейся торговлей и предпринимательством, или же к купечеству как части городского населения, объединенной общим сословным статусом. Наконец, объектом внимания является лишь русское купечество, находившееся в лоне официальной церкви.

В образованных кругах современников, как правило, полагали, что для купечества в целом характерно уважительное отношение к труду, в том числе и тяжелому физическому труду. Не случайно, купцы, выводимые в художественной литературе того времени, любят повторять, что нажили свое богатство «трудом и потом».[1] Тонкий знаток психологии, гоголевский Чичиков, зная об отношении купечества к труду, просит о заступничестве откупщика-миллионера: «Разве я сделал кого несчастным? Трудом и потом, кровавым потом добывал копейку». Чичиков даже в экстремальной ситуации не забывает о различном отношении к труду купца и дворянина. Для дворянина труд – это служба отечеству и государю, прежде всего военная стезя. Поэтому, умоляя генерал-губернатора о пощаде, он выдвигает, иные, кстати мнимые, аспекты своей деятельности: «Кровью, ваше сиятельство, кровью нужно было добывать насущное существование».[2] Таким образом, выдуманный «кровавый пот» превращается в «кровь», якобы пролитую просителем. Расчет на то, чтобы вызвать у генерала ассоциации со службой престолу и отечеству.

Сами купцы нередко утверждали, что их благосостояние достигнуто путем упорного, кропотливого, нелегкого труда – «трудом и потом». И дело здесь не столько в «книжности» мемуаристов или героев литературных произведений, которые перефразируют известное библейское изречение. Для многих

1 *Калашников И.* Дочь купца Жолобова. СПб., 1831. Ч. 2. С. 157; Ч. 3. С. 60.

2 *Гоголь Н.В.* Избранные произведения. М., 1959. С. 419 – 420.

из них это точное указание на то, что, сколачивая капитал, они не гнушались даже тяжелого физического труда. В целом для купцов было характерно уважительное отношение к труду земледельца. Да иначе и быть не могло: купечество постоянно пополнялось за счет выходцев из деревни,[1] которые не могли не помнить о своих прямых корнях. Вместе с тем, низкий социальный статус крестьянина, особенно крепостного, не мог не сказываться на отношении купцов к крестьянскому труду: так социальная действительность и влияние дворянства деформировали представления о значимости в глазах горожан труда земледельца. Впрочем, уместнее говорить не о социальном, а о социокультурном воздействии, ибо купец предстает не только как обладатель более высокого социального статуса, чем крестьянин, но и как носитель более высокой городской культуры. Поэтому назвать купца «мужиком» означало оскорбить его, так как «мужик» воспринимался в городском обществе как человек необразованный, невежда.

В торговой среде получило широкое распространение пренебрежительное отношение к занятиям ручным, малоквалифицированным («черным») трудом. Так, Н.П. Вишняков писал, что не помнит со стороны своих родственников «никакого следа о каких-нибудь выходках или замечаниях» по адресу мещан или государственных крестьян. Иное отношение было к «мастеровым»: «Что же касается до ремесленников, то у нас их недолюбливали, считая их народом наиболее беспорядочным и преданным пьянству».[2] Малоквалифицированный ремесленник, который занимает нижнюю ступеньку в иерархии городского гражданства, за которым располагаются лишь социальные маргиналы, чаще всего в сознании общества ассоциируется с образом сапожника. Ассоциация оказалась на редкость живучей: еще в 1980-х гг. в провинциальных кинотеатрах в адрес киномеханика, в случае каких-либо помех при демонстрации киноленты, часть публики кричала: «Сапожник!» Мелкий торговец П.С. Лоб-

1 *Миронов Б.Н.* Русский город в 1740 – 1860-е годы. Л., 1990. С. 169 – 173; *Рындзюнский П.Г.* Городское гражданство дореформенной России. М., 1958.

2 *Вишняков Н.П.* Сведения о купеческом роде Вишняковых. М., 1913. Ч. 3. С. 96 – 97.

ков, передавая накал споров на одном из собраний «градского общества» г. Опочки Псковской губернии, в 1840 г. писал: «Самый бедный сапожник говорил против Порозова (купца 2-ой гильдии, почетного гражданина – *А.К.*), и Порозов остался в стыде».[1] В том же году, тобольский полицмейстер Нога укорял в присутствии квартирной комиссии мещанина, одетого в тулуп, подпоясанный кушаком, что так «прилично ходить одним мужикам и какому-нибудь сапожнику...»[2]

Амбивалентное отношение к физическому труду, характерное для торгово-промышленной части купечества, перерастает в отрицательное восприятие его в мещанской среде. «Труд земледельца, ремесленника, действительно тяжелый, но не неодолимый же, стал казаться чем-то неприличным для горожанина, даже беднейшего мещанина, полунищего. Всеми одолела страсть к приобретениям легким, не разбирая никаких средств», – писал, обобщая отношение к труду жителей уездных городов, в 1858 г. священник И.С. Беллюстин.[3]

В стремлении горожан избежать земледельческих занятий несправедливо видеть одни ментальные и культурные причины. Здесь имели место и социально-экономические факторы: сокращение ресурсов городов, необходимых для ведения сельского хозяйства, и развитие товарно-денежных отношений.[4] «Естественный ход вещей» заставлял мещан, занятых прежде сельским хозяйством, переносить свои интересы из аграрной сферы в промышленность, на транспорт, в торговлю, в сферу услуг. По подсчетам Б.Н. Миронова, доля городского населения Европейской России, занятого в сельском хозяйстве, уменьшилась с 45 % в 1790-х гг. до 12 % в 1850-х гг., а доля населения, занятого в промышленности и ремесле, выросла с 14 % до 44 %, а в торговле и на транспорте – с 19 % до 21 %.[5]

---

1 Из рукописи *И.С. Лобкова* // Труды Псковского археологического общества. Псков, 1915. Вып. 11. С. 84.

2 ГАТ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 2. Л. 6 – 7 об.

3 От чего беднеют уездные города? // Московские ведомости. 1858. № 116. С. 469.

4 *Миронов Б.Н.* Русский город... С. 221.

5 Там же. С. 206.

Однако для горожанина, чьи торговые дела потерпели крах, путь в ряды ремесленников или фабричных рабочих был сопряжен с огромным стрессом. На его пути в ремесленники или в рабочие стоял мощный социально-психологический барьер. Стать ремесленником или рабочим означало не только заняться непривычным и непрестижным трудом, но и потерять свой социальный статус, уважение в обществе. Поэтому многие разорившиеся купцы и мещане предпочитали выбрать нерациональный способ поведения, перебиваясь мелочной торговлей, нередко стоявшей на грани мошенничества, или всякого рода посреднической деятельностью, которая не приносила почти никакого дохода.

Каким было отношение купечества к интеллектуальной и управленческой деятельности? Отношение купцов к занятиям или к людям, посвятившим себя им, в целом было достаточно негативно. Разумеется, здесь речь не идет об отдельных представителях верхних слоев купечества, которые стремились, используя государственную службу, подняться вверх по социальной лестнице – в ряды дворянства. Чиновник для купца – человек внутренне презираемый, если и не «крапивное семя» или «чернильная душа», как для дворянина, то уж точно – «крючок», взяточник, пройдоха, плут. Негативная оценка труда чиновников, занятых в государственных органах управления, определялась социально-политическими особенностями функционирования бюрократии в России. На отрицательное отношение к интеллектуальному труду повлияли другие причины. Ю.М. Лотман и Б.А. Успенский отмечали, что в XVIII в. «всякий интеллектуальный труд престижно оценивался по самой низкой категории».[1] Невысокая оценка интеллигентного, в том числе и интеллектуального труда, сохранилась во многом до реформ 1860-х гг. Дворянство оценивало его невысоко – как труд наемный, труд ради заработка. «Занятия даже «знатнейшими художествами» ради денег считалось унизительным, писание стихов и поэм – благородным

[1] *Лотман Ю.М., Успенский Б.А.* «Изгой» и «изгойничество» как социально-психологическая позиция в русской культуре преимущественно допетровского периода («свое» и «чужое» в истории русской культуры) // Ученые записки Тартусского государственного университета. Тарту, 1982. Вып. 576. С. 121.

досугом, изящным безделием просвещенных людей», – справедливо писал о представлениях родовитого дворянства историк В.В. Познанский.[1] Аналогичным было и отношение в дворянской среде к учителям и врачам.[2] Другое обстоятельство, связанное с наемным характером всякого профессионального интеллигентного и управленческого труда, которое определяло отношение к нему дворян-землевладельцев, это его несамостоятельность. Сибаритствующий герой романа И.А. Гончарова «Обломов» говорит бывшему товарищу по службе: «... у меня имение на руках. Я соображаю новый план; разные улучшения ввожу. Мучаюсь, мучаюсь... А ты ведь чужое делаешь, не свое». И преуспевающий чиновник соглашается с ним: «Что же делать! Надо работать, коли деньги берешь».[3]

Купечество тоже невысоко оценивало эти виды труда из-за их несамостоятельности. Для купца было важно иметь свое «дело», быть «хозяином». Так, Н.П. Вишняков, сообщая о замужестве второй дочери отца от первого брака, писал о ее муже, служившем главным приказчиком у богатого купца: «Он, по-видимому, не мог считаться особенно выгодною партией: в противоположность Протопопову (мужу другой дочери – *А.К.*), самостоятельному купцу, он был человек подначальный».[4] О моральном состоянии даже не купца, а разорившегося торговца-мещанина, вынужденного искать место приказчика у более удачливых коллег, изумительно писал в поэме «Кулак» воронежский мещанин И.С. Никитин:

Спустил, как воду, капитал
И запил: горе одолело!
Искать местечка – стыд большой.[5]

Не меньшую роль, чем несамостоятельность интеллектуального труда, имела отчужденность, «изгойничество» ряда

---

1 *Познанский В.В.* Очерк формирования русской национальной культуры. Первая половина XIX века. М., 1975. С. 25.

2 *Греч Н.И.* Записки о моей жизни. М., 1990. С. 143, 165; *Жукова М.С.* Вечера на Карповке. СПб., 1838. С. 308.

3 *Гончаров И.А.* Обломов. М., 1975. С. 14.

4 *Вишняков Н.П.* Указ. Соч. Ч. 2. С. 132.

5 *Никитин И.С.* Сочинения. М., 1984. С. 263.

профессий. Показательно, что общим местом многих исторических записок о губернских гимназиях и других учебных заведениях является упоминание о том, что первоначально они не встретили поддержки со стороны горожан, которые, особенно купцы и мещане, даже чуждались учителей. Оценка интеллектуального труда в основном зависела не от профессиональных достоинств и добросовестности конкретных лиц, не от критического отношения к общественной полезности тех или иных интеллектуальных занятий, а от априорных представлений, связанных с профессиями педагога, врача или инженера как принадлежащими к чужой, дворянской культуре.

Престижность интеллектуального труда всякий раз определялась ситуационно и зависела, прежде всего, от официального статуса лиц, занятых им. Часто достаточно было оказаться в числе особ, приближенных или отмеченных государем императором, чтобы престиж интеллектуала поднялся на недосягаемую высоту. С.С. Уваров писал в записке «О состоянии чинов в России» (1848 г.): «Известно, что у нас независимо от рода, богатства и даже от дарований, гражданское значение всех и каждого зависит от степени, которая определяется по усмотрению высшей власти, и что без этой степени никто не пользуется вполне выгодами, предоставляемыми им знатностью рода, или огромным состоянием, или даже дарами ума и талантами».[1]

Богатейший материал для понимания взглядов купечества и провинциального дворянства на интеллектуальный труд дает «Автобиография» курского астронома-любителя Ф.Л. Семенова. Он родился в 1794 г. в купеческой семье и, несмотря на отсутствие систематического образования, всерьез увлекся естественными науками. Его репутация сразу же сложилась крайне неблагоприятно из-за пристрастия к книгам и отсутствия интереса к коммерции: «Приказчики и работники, видя мою невнимательность к этому предмету, везде разглашали, что я совершенный дурак». Плохое реномe едва не превратило молодого человека в изгоя. Когда родители решили его женить, «открылся общий говор в народе курском, что

1 ОР РГБ. Ф. 17. Оп. 1. Д. 39. Л. 256 об.

я со всеми своими достоинствами дурак, люди коммерческие говорили, что я у отца моего никакими торговыми делами не занимаюсь, а только одни читаю книги...» В результате дурной славы в двух домах «посредственного состояния», куда он сватался, ему отказали, а невесту пришлось искать в ямской слободе. После публичной демонстрации химических опытов его репоме не улучшилось, но акценты сместились: «переименовали в волшебника и чародея... Из числа благородной черни некоторые дали мне название звездочет в насмешку». Отношение земляков к любителю науки резко изменилось после того, как во время новогодних поздравлений генерал-губернатора М.Н. Муравьева последний рекомендовал его «многим дворянам и курским купцам». Знакомство с генерал-губернатором «открыло мне новый свет и уважение вообще от курских жителей», – писал в своих мемуарах Ф.А. Семенов.[1]

Представления о труде для «среднего» купца, жившего в дореформенном городе, исходили из незыблемости существующего социального строя и сословной структуры русского общества. Всякое вторжение человека в сферу деятельности, несвойственной традиционным занятиям, характерным для того сословия и даже того круга, к которому он принадлежал по рождению, вызывали если не осуждение, то недоумение. Причины такого отношения были связаны с особенностями «картины мира» русского купечества. Казалось бы, какое дело дмитровскому купцу И.А. Толченову до того, что какие-то обедневшие дворяне занимаются перевозкой почты, они-то в сферу его сословно-профессиональных интересов никоим образом не вторгаются? Но нет, образ жизни этих дворян вызывает у него ощущение нарушения социального порядка, и он с явным осуждением пишет в своем дневнике, что некоторые мелкопоместные дворяне «не точию не имеют приличного своего звания воспитания, но и от службы удаляются. В числе таковых три брата по фамилии Розбитня, имеющие за собою 7 душ, содержат почту и сами на козлах ездят в русском сером кафтане и совершенно крестьянском одеянии...»[2]

1 *Семенов Ф.А.* Автобиография. Пг., 1920. С. 11 – 12, 37 – 39.

2 *Толченов И.А.* Журнал или записка жизни и приключений. М., 1974. С. 374 – 375.

Однако если принцип иерархичности, уходящий корнями в недра средневековья и влиявший на оценку личных достоинств человека, разделялся во многом всем русским обществом первой половины XIX в., то для менталитета купечества был характерен утилитаризм. Польза – вот главный критерий всех деяний и поступков.

В купеческом торгово-промышленном быту большинство достижений науки, особенно фундаментальной, не могло найти себе применения. Поэтому занятия наукой продолжали считаться купцами делом странным, непрестижным и крайне далеким от потребностей жизни. Разумеется, по мере роста образовательного уровня купечества отношение к людям науки менялось.

В рассматриваемое время в жизни русского купечества важную роль играла религия. Какую же цель труда санкционировала православная церковь в России в конце XVIII – первой половине XIX в.? Для средневекового отношения к целям труда было характерно осуждение обогащения и накопления богатств, допустимыми признавались другие цели: «одна практическая: поддержание земного существования человека, другая нравственная: труд как средство воспитания и самообуздания».[1] Однако в Новое время протестантство, а затем отчасти и католичество пересмотрели традиционное отношение церкви к целям труда и создали концепции трудовой этики. В православии же такой переоценки не произошло. Лишь в конце XIX – начале XX в., как отмечают В.А. Писемский и Ю.Н. Калашнов, были предприняты первые попытки выявить отношение православия к собственности, труду и другим социально-экономическим явлениям, «однако сколько-нибудь целостную концепцию религиозного влияния на экономику выработать так и не удалось».[2]

Из православных мыслителей первой половины XIX в. проблемы труда и трудовой этики раскрываются, по-види-

---

1 *Гуревич А.Я.* Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М., 1990. С. 39.

2 *Писемский В.А., Калашнов Ю.Н.* Православие и духовный тип российского предпринимателя // Из истории экономической мысли и народного хозяйства России. М., 1993. Вып. 1. Ч. 2. С. 343.

мому, наиболее полно в проповедях и поучениях митрополита Киевского и Галицкого Евгения (Болховитинова). В «Слове на рождение ее и.в. государыни императрицы Александры Федоровны» он говорил: «Человек сотворен быть не в покое и праздности, но трудиться. <...> труд, по предопределению Божию, назначен быть долгом нашим не только для сохранения нашего бытия, но и для услаждений, получаемых нами благ». Опираясь на Евангелие и святоотеческую литературу, Евгений утверждал: достоинство человека определяется его трудом. Это гуманистическое отношение соседствовало в его рассуждениях с положением о незыблемости общественного устройства. Поэтому он призывает всякого верноподданного «к трудолюбивому исправлению каждым своей должности».[1] Для Евгения богатство не есть результат труда, оно посылается Богом и «дается нам не для скопления и хранения, но для богоугодного и ближним полезного употребления». Видимо, уступкой процессам буржуазного развития следует считать тот факт, что Евгений обходит в своих проповедях проблему стяжания богатств, которая так волновала пастырей и паству в средневековье. Он ограничивается на эту тему лишь ремарками типа: «цену и употребление богатств знают только те, которые умеют праведно приобретать и употреблять». Именно на праведном употреблении богатства он и концентрирует внимание своей паствы, утверждая, что в соответствии с тем, как богатые относятся к своему состоянию, «одни подлежат осуждению, другие заслуживают благоволение Божие».[2]

В какой мере эти и подобные им традиционалистские установки православной церкви влияли на отношение купечества к целям своего труда? Для купечества труд был средством накопления и обогащения. Поэтому умудренный жизнью купец, провожая в дорогу своего крестника и его брата, неоднократно наставляет молодых людей: «трудитесь и будете богаты».[3] Оглядывая пережитое, купец В.Д. Барков

---

1 *Евгений (Болховитинов).* Собрание поучительных слов в разные времена... Киев, 1834. Ч. 4.С. 63 – 64, 68.

2 Там же. Ч. 2. С. 11, 15, 21, 22.

3 *Крестовников Н.К.* Семейная хроника Крестовниковых. М., 1903. Кн. 1. С. 80.

с удовлетворением писал: «Счастье на торговом горизонте вело нас к стяжанию богатства, приобретаемого честностию и трудами».[1] Однако у предпринимателей были и иные мотивы труда. «Отец любил труд, как все истинно деловые люди, не только ради необходимости и материальной выгоды, но и ради привычки к делу», – писал Н.П. Вишняков.[2] Мотивация трудовой деятельности многих русских купцов середины XIX в. уже была проникнута тем самым «духом капитализма», о котором писал Макс Вебер. Само дело стало для предпринимателей «необходимым условием существования».[3]

Суждения современников о профессиональной этике русского купечества крайне противоречивы: одни отмечали его исключительную честность, верность слову, добросовестность, стремление сохранить доброе имя и честь предприятия; другие, напротив, подчеркивали его склонность к обману, стремление к наживе любой ценой, нарушение взятых на себя обязательств и т.д. Кто же был прав, какой же была купеческая этика? Умный и наблюдательный А.Т. Болотов, отметив, что за 30 лет (1760 – 1790-е гг.) нравы купцов не переменились, пришел к корректному умозаключению: есть многочисленные факты, которые характеризуют торговцев «как с хорошей, так и с худой стороны».[4] Не изменилась принципиально ситуация и в середине XIX в. – вновь наблюдается полярность оценок деловой этики купечества. Попытаемся разобраться в хаосе оценок, мнений и суждений современников, исходя из реалий российской действительности конца XVIII – первой половины XIX в. и особенностей ментальности русских купцов того времени.

Как уже отмечалось, на ментальность русского купечества и его повседневный быт сильное влияние оказывало православие. Некоторые исследователи говорят об исключительно благотворном влиянии православия на этику русских

---

1. *Барков В.Д.* История Василия Дмитриевича Баркова, потомственного почетного гражданина. СПб., 1902. С. 90.
2. *Вишняков Н.П.* Указ. Соч. Ч. 2. С. 71.
3. *Вебер М.* Протестантская этика. М., 1972. Ч. 1. С. 85.
4. *Болотов А.Т.* Современник или записки для потомства // Литературное наследство. Т. 9 – 10. М., 1933. С. 176.

предпринимателей. По мнению В.А. Писемского и Ю.Н. Калашнова, большинство русских купцов свято следовали заповеди «Домостроя»: «Краше быть в праведном убожестве, чем в неправедном богатстве», а во внутрифирменных отношениях «со всей силой проявился православный дух соборности». Они же утверждают, что «складывающийся под влиянием Православия тип экономического развития можно назвать щадящим, гуманистическим типом, при котором интересы конкретных людей не приносятся в жертву абстрактной идее экономической эффективности... Россия шла к своему «социальному рыночному хозяйству», причем значительно раньше Западной Европы».[1]

Остается лишь порадоваться этой благостной картине, вышедшей из-под «пера» пионеров исследования проблемы «православие и предпринимательство». При подобном умилении славным прошлым российского предпринимательства исследователи «закономерно» не заметили ни крайне высокую продолжительность рабочего дня, ни высокую степень эксплуатации работников, ни даже все три русские революции. Влияние православия на деловую этику купечества было, несомненно, в целом благотворным, но все же не столь односторонним. Кроме того, не вполне ясно, насколько глубоко нормы христианской религии были усвоены купечеством дореформенной эпохи. Так, мемуарист Н.В. Давыдов писал о Москве 50-х – 60-х гг. XIX в.: «Религиозность достигала высокого развития, но преобладала внешняя сторона, безотчетное, по доверию, исполнение обрядов и правил».[2] И подобных оценок современников сохранилось немало.

Думается, что воздействие православной церкви имело, прежде всего, общий позитивный морально-этический характер. Конкретные проявления этого влияния были разноплановы. Православию, как известно, обязаны мы и широкой благотворительностью русского купечества, и замедленным развитием банковского дела из-за последовательного осуждения церковью всякого ростовщичества, что тормозило про-

[1] *Писемский В.А., Калашнов Ю.Н.* Указ. Соч. С. 347, 348, 350.

[2] *Давыдов Н.В.* Москва. Пятидесятые и шестидесятые годы XIX столетия // Московская старина. М., 1989. С. 27.

цессы социально-экономического развития страны. Купцы, специализировавшиеся на кредитно-ссудных операциях, вынуждены были пускаться на всевозможные уловки, чтобы обойти церковные и бюрократические запреты в своей профессиональной сфере, что определенным образом сказывалось не только на восприятии своего труда, но и влияло на ментальность.

Способно ли было общее позитивное морально-этическое влияние церкви сказаться на профессиональной этике купечества, которое было вынуждено действовать в условиях переходной эпохи, когда государство охраняло сословно-классовое деление общества? В России в конце XVIII – первой половине XIX в. купечество постоянно ощущало свою социальную ущемленность и неполноправность по сравнению с дворянством. Эти социальные реалии, преломленные в сознании людей, вели к тому, что у купечества (по крайней мере, его значительной части) сформировался двойной стандарт деловой этики, своеобразная «корпоративная мораль». На это обстоятельство обратил внимание, например, учитель медынского приходского училища А.Е. Данилевский, который в 1848 г. писал, что тамошние купцы и мещане в сделках между собой «без актов верны и честны. Но благородные люди, к которым они питают враждебную ненависть, и вообще пришлецы, без актов не должны полагаться на их честность и верность, – их непременно обманут; они даже хвалятся между собою, что умели проморгать простачка».[1] Эту же «враждебную ненависть» наблюдатели иногда фиксировали и десятилетие спустя,[2] когда уже можно было говорить о процессах трансформации сословного быта в сословно-классовый в русском провинциальном городе. В других городах (по-видимому, в середине XIX в. их было большинство) наблюдатели отмечали более мягкие формы выражения недоброжелательного отношения купцов и мещан к дворянам, в

---

1 АРГО. Р. 15. Д. 25. Л. 1. См. также: *Глаголева О.Е.* Предпринимательство и культура в провинции в конце XVIII – первой половине XIX века. (По материалам Тульской губернии) // Российское купечество от средних веков к Новому времени. М., 1993. С. 146.

2 АРГО. Р.29. Д.103. Л.27 об.

частности, осуждение тех сограждан, которые поддерживали дружеские контакты с «благородными».[1]

Стремление не общаться с «благородными» было отнюдь не повсеместным явлением. Как отмечали современники, на окраинах России, например в Сибири, где отсутствовало помещичье землевладение, «общество» состояло из чиновников и купцов. Поэтому чиновник и краевед В. Паршин в 1849 г. с удивлением писал о Верхнеудинске: «Жители г. Верхнеудинска ведут жизнь уединенную и не любят сближаться с чиновниками, и этою особенностию один только Верхнеудинск отличается от всех прочих городов Иркутской губернии».[2]

Двойной стандарт морали был характерен не только для купцов, но и для других сословий русского общества, например, дворян и крестьян.[3] В этом отношении весьма примечательно проговорился наблюдательный сановник П. Сумароков, который, побывав на Макарьевской ярмарке, писал: «*Честность* в купеческом сословии сохраняется свято, *по необходимости*; неустойка, опоздание, изменение в обещанном посрамляют имя, прекращают доверие и расстраивают обороты дела. Желательно, чтоб и *между нами, дворянами*, воцарилась такая же *невольная обязанность*» (курсив мой – *А.К.*).[4] Итак, по П. Сумарокову, честность не как следствие религиозной установки, но как результат рационального отношения к делу. Одновременно он призывает не к верности взятым на себя дворянином обязательствам вообще, а «между нами, дворянами». Сама мораль, в понимании немалой части дворян, имела ярко выраженный сословный, а порой даже антисоциальный характер. Как писал известный об-

---

1 *Вишняков Н.П.* Указ. Соч. Ч. 3. С. 91 – 92; АРГО. Р. 9. Д. 19. Л. 3 об.

2 АРГО. Р. 59. Д. 15. Ч. 1. Л. 323. Еще два сибирских города имели ярко выраженный сословный характер общественного быта – Омск и Барнаул. О причинах этого явления в Омске верно писал местный жандармский начальник: небогатое купечество «не сливается» с чиновничеством «по недостаточному образованию своему и средствам...» (ГАРФ. Ф. 109. 1 экспедиция, 1844 г. Д. 247. Ч. 48. Л. 7 – 7 об.). Такая же ситуация была и в Барнауле, где «тон» задавали горные инженеры.

3 *Миненко Н.А.* Живая старина. Будни и праздники сибирской деревни. Новосибирск, 1989. С. 95 – 96; *Пайпс Р.* Россия при старом режиме. М., 1993. С. 206.

4 *Сумароков П.* Прогулки по 12-ти губерниям с историческими и статистическими описаниями. СПб., 1839. С. 239.

щественный деятель А.И. Кошелев, рязанский губернский предводитель дворянства Н.Н. Реткин публично порицал его за стремление ограничить произвол помещиков по отношению к крепостным: «Не таким, – говорил он, – должен быть предводитель дворянства: если я увижу, что мой брат-дворянин зарезал человека, то и тут пойду под присягу, что ничего о том не знаю».[1]

Деление всех деловых партнеров на «своих» и «чужих» шло не только по линии сословной принадлежности, но и по линии культуры. Все носители новой светской культуры вне зависимости от их социального положения и происхождения рассматривались купцами как «чужие». Такой подход был унаследован еще от предшествующего периода, когда носители этой культуры почти все принадлежали к дворянству.

По мере распространения просвещения, обычаев и норм городской жизни, связанных с новой светской культурой, а также благодаря процессам трансформации сословной структуры общества в классовую, под влиянием развития буржуазных отношений и распространения буржуазных ценностей такая двойственность предпринимательской этики исчезала. В середине XIX в. темпы этого процесса были высокими. Показателен в этом отношении сдвиг в мировосприятии купечества Павловска (Воронежская губ.). Так, в 1849 г. штатный смотритель Павловского уездного училища В. Кашин отметил замкнутый стиль жизни граждан и отрицательное отношение к дворянской культуре в этой среде: «учи сына или брата по-французски, а прийдет в возраст не будет уметь занять денег по-русски». Общественным мнением граждан даже осуждалось дружеское общение с «благородными».[2] Иную ситуацию фиксирует в том же городе в 1855 г. священник И. Скрябин: «Купечество, ведущее свой торг в городе, за честь считает быть знакомым с образованным дворянством; от чего дома их бывают открыты для каждого благородного служащего и военного офицера».[3]

Временной промежуток, который разделяет эти две руко-

1 *Кошелев А.И.* Записки. Берлин, 1884. С. 62.

2 АРГО. Р. 9. Д. 19. Л. 3 – 3 об.

3 Там же. Д. 36. Л. 4 – 4 об.

писи, присланные в Русское географическое общество, столь ничтожно мал, что неясно, как за эти годы могли произойти такие разительные перемены. В направлении происшедших изменений сомневаться не приходится, так как аналогичные процессы протекали и в других уездных городах. Сама же необычайная скорость перехода в Павловске от нежелания общаться с «благородными» до стремления к частым контактам с ними во многом кажущаяся, ибо Скрябин писал о купцах, ведущих торг, а Кашин говорил о «гражданах», то есть о купцах и мещанах. Более того, в некоторых городах, например в Осташкове, термин «граждане» употреблялся в это время, как правило, в отношении одних мещан. Это обстоятельство объясняет несовпадение социальных групп, описанных Скрябиным и Кашиным. Как известно, дворянские образцы поведения, стиль, манеры, моды – все это быстрее усваивалось в купеческой среде, чем в мещанской. Впрочем, в середине XIX в. уместнее говорить об интерференции дворянского и буржуазного личностных образцов поведения,[1] нежели о простом заимствовании купцами дворянского повседневного обихода.

Декабрист Г.С. Батеньков в своих воспоминаниях писал: «Старая жизнь! Я помню ее еще во всей ее целости. Простота, безденежье, дешевизна, труд... Тысяча рублей составляла тогда (конец XVIII – начало XIX в. – *А.К.*) капитал и ставила обладателя на высокий пьедестал».[2] Очевидно, названной суммы даже в сибирском городе в то время было недостаточно, чтобы ее обладатель поднялся на «высокий пьедестал», но в этих словах Батенькова справедливо другое – высокая оценка богатства горожанами. «В нашем купецком быту то и человек, у ково капитал есть; тому мы и кланяемся», – выражает жизненное кредо купечества персонаж комедии П.А. Плавильщикова «Сиделец», популярной в то время, о котором писал Батеньков. А другой персонаж этой комедии идет еще дальше, заявляя невесте: «Как с деньгами не говорить? Кому же и говорить, как не нам, богачам... Молчать есть

1 *Оссовская М.* Рыцарь и буржуа. М., 1987. С. 427 – 459.

2 *Батеньков Г.С.* Данные. Повесть о собственной жизни // Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов. М., 1933. С. 91.

дело бедняков: всякая речь красна, как деньги с ней побрякивают вместе: оно с деньгами гораздо ко всему досуж будешь; деньги рождают и разум и любовь».[1] Хотя это отношение купечества к богатству и оценка личного достоинства человека в зависимости от его благосостояния выражена устами комедийных персонажей, они представляют не плод фантазии драматурга, а являются зарисовками с натуры, в которых автор, происходивший из купечества, отразил доминировавшие в купеческой среде представления. Бытование в купеческой среде стереотипов восприятия богатства, осмеянных Плавильщиковым, подтверждают многие другие источники.

Такую же констатацию влияния богатства на оценку общественным мнением купечества личных достоинств человека мы находим и в «Автобиографии» Н.А. Полевого: «Нигде так, как в купеческих отношениях, не чувствуется неравенства состояний. Там все уравнивается капиталом, а без него ум и знание дел оставляют в людских отношениях бездну неизмеримую».[2] «Это такое общество, что разве издали смотреть на него пригодно, а близко подходить рискованно, как раз спросят, много ли у Вас денег, а у кого их мало, тому такое общество чума», – писал о московском купечестве в частном письме в 1859 г. Константин Крестовников.[3]

Все эти высказывания об отношении купечества к богатству принадлежат людям, которые хорошо знали эту среду, были с ней связаны происхождением или сами являлись купцами. Разумеется, число подобных свидетельств можно легко умножить, но целесообразнее привести противостоящую им оценку из мемуаров П.А. Бурышкина, который писал: «Про богатство говорили, что Бог его дал в пользование и потребует по нему отчета». Он также утверждал, что в России «не было того «культа» богатых людей, которые наблюдаются в западных странах», а в среде интеллигенции к богатым было малодоброжелательное отношение, и «даже в купеческих группировках и на бирже богатство не играло ре-

---

1 *Плавильщиков П.А.* Соч. Ч. 2. СПб., 1816. С. 275, 312.

2 Автобиография Н.А. Полевого // *Полевой Н.А.* Мечты и жизнь. М., 1988. С. 296.

3 *Крестовников Н.К.* Указ. Соч. Кн. 1. С. 80 – 81.

шающей роли», кроме того, интересовались происхождением богатства и «не любили» ростовщиков и откупщиков.[1]

П.А. Бурышкин писал о конце XIX – начале XX в. В связи с тем, что его мемуары без какой-либо критики любят использовать для доказательства особого российского (русского) отношения к капиталу и собственности, необходимо на них хотя бы кратко остановиться. Бурышкин писал свою книгу спустя много лет после того, как ему пришлось покинуть родину. Поэтому нельзя не учитывать его психологическое состояние, как и то обстоятельство, что его труд был предназначен для западного читателя. Представления русского купечества рубежа XIX – XX вв. о мотивах своего труда, о собственности и богатстве в интерпретации П.А. Бурышкина выглядят архаично даже для середины XIX в. Возможно, что у какой-то небольшой части московской буржуазии эти представления сохранились и до 1917 г., но в таком случае его обобщения не оправданы. Сама система аргументации у Бурышкина неубедительна. Так, говоря о негативном отношении в среде интеллигенции к богатым людям, он приводит пример из своего студенческого быта, который скорее опровергает его тезис, чем подтверждает. Из рассказанного им эпизода, когда часть студентов выступила против его избрания в органы студенческого самоуправления, логически следуют всего два умозаключения. Первое: среди части студентов было недоброжелательное отношение к богатым. Это умозаключение вызывает у меня, как у исследователя, разные вопросы, например: студенты – это и есть интеллигенция? а в какой стране студенчество поголовно благоговеет перед богачами? Второе: большинство участников того спора предпочло оценивать своего товарища, исходя не из его социального происхождения и имущественного положения, а на основе его личных достоинств. Однако вопреки логике Бурышкин привел этот эпизод для подтверждения своего тезиса о враждебности интеллигенции по отношению к буржуазии. Более неубедительный аргумент, кажется, и придумать трудно.

---

1 *Бурышкин П.А.* Москва купеческая: Мемуары. М., 1991. С. 113 – 114.

Вместе с тем, нельзя не согласиться с мнением Бурышкина, что русскому купечеству не повезло с его отображением в литературе. Но заявление мемуариста, что ему известно всего одно место в русской литературе, где предприниматель рисуется в выгодном свете, крайне несправедливо и свидетельствует о тенденциозности или плохом знании литературы. Замечание Бурышкина, что даже в «купеческих группировках и на бирже богатство не играло решающей роли», едва ли следует считать аргументом в пользу особого облика русской буржуазии. Совершенно непонятно, почему, по его логике, во главе разного рода капиталистических объединений должны были находиться не самые способные, профессионально подготовленные, энергичные предприниматели, а самые богатые? Вероятно, у русской буржуазии, включая ее верхушку, со здравым смыслом все было в порядке, поэтому и менеджерские функции возлагались не на самых богатых, а на наиболее компетентных и подготовленных к этой деятельности людей.

Что же касается утверждений о нелюбви к откупщикам и ростовщикам, то приходится напомнить, что любовь – чувство тонкое, нежное, эмоционально окрашенное, часто трудноуловимое, поэтому, на мой взгляд, плохо подходящее для анализа ментальности. Уместнее прибегнуть, например, к более простому понятию «репутация» для уяснения представлений купечества о богатстве и его влиянии на оценку личного достоинства человека.

Для середины XIX в. имеется достаточно надежный источник, позволяющий установить репутации верхушки губернской администрации и всех наиболее богатых предпринимателей – «О лицах, обращающих на себя почему-либо внимание правительства». Эти записки ежегодно составлялись жандармами в губерниях и поступали в III Отделение. К сожалению, купцы Тверской губернии и уездных городов Московской губернии такого внимания правительства, по мнению жандармов, за редчайшим исключением не заслуживали. На сибирских же материалах мне удалось сопоставить характеристики многих представителей формирующейся буржуазии, упомянутых в жандармских записках за 1845 –

1861 гг., с их репутациями, отраженными в других источниках (письмах, мемуарах, дневниках, путевых заметках, материалах периодики). Проведенное сопоставление выявило большое совпадение характеристик предпринимателей у жандармов и у частных лиц. Разумеется, приведенные в записках характеристики горожан отражают лишь мнение «общества», то есть чиновников и купцов, а не городского простонародья.

Сопоставление репутаций крупных сибирских купцов и предпринимателей середины XIX в., вышедших из разных сословий, позволяет утверждать, что общественное мнение в целом положительно оценивало любого обладателя крупного капитала. Например, благоприятная репутация была и у эгоистичного и жившего совершенно уединенно томского золотопромышленника из чиновников И.Д. Асташева, который «по богатству пользуется некоторым авторитетом и даже наружными знаками уважения».[1] С годами он не изменил свой стиль жизни, но его авторитет резко вырос после краха ряда золотопромышленных компаний, разорившего рядовых пайщиков, но не затронувшего его фирму. И это понятно, ибо горожане больше ценили все же не открытость стиля жизни, а верность взятым на себя деловым обязательствам.

В купеческой среде был особенно высок престиж тех капиталистов, которые смогли своим трудом, благодаря энергии и предприимчивости нажить богатство. Так, о потомственном почетном гражданине, красноярском купце 1-ой гильдии С.Г. Щеголеве жандармский подполковник Борин в 1857 г. писал: «Владелец весьма значительного капитала нажитого им самим из ничего, что дает ему большой вес и значение между сословием купцов».[2] Такая высокая оценка человека, обязанного своему преуспеванию не наследству или высоким связям, а только собственной хватке и деловитости, определялась как социально-экономическими факторами существования купечества и всех самостоятельных предпринимателей (для которых стремление к получению прибылей, к достижению богатства было непременным усло-

---

1 ГАРФ. Ф. 109. 1 экспедиция. 1844 г. Д. 247. Ч. 48. Л. 18 – 18 об.

2 Там же. Ч. 14. Л. 7.

вием сохранения экономической самостоятельности), так и морально-этическими – престижностью у купцов трудолюбия, предприимчивости и расчетливости.

С конца XVIII в. отношение купечества к богатству испытывало давление дворянских представлений. В наибольшей степени это влияние затронуло Петербург. Вместе с тем, для наблюдательного современника было очевидно, что и здесь существовало различие в отношении к богатству дворян и купцов. «Роскошь в купеческом сословии, несомненно, показывает, что оно богатеет. Купцы начинают заботиться о воспитании детей, приглашают иностранных гувернанток для дочерей, – одним словом, ведут себя, как дворяне, и часто сохраняют наклонность к порядку и бережливости – качества, которых не достает дворянам. Все это показывает, что образуется третье сословие, которое со временем поставит Россию на одну и ту же ногу с Францией и Англией»,[1] – писал швейцарец Э. Дюмон, сравнивая свои впечатления середины 1780-х гг. и 1803 г.

Распространение в купеческой среде дворянских взглядов на богатство, подразумевающее, что его обладатели должны вести роскошный образ жизни, затрагивало в основном столицы, и в большей степени Петербург, нежели Москву, но не было характерно для большинства русских провинциальных городов в первой трети XIX в., а во многих уездных городах и позже. Доминирование в городском социуме дворянских взглядов на связь богатства со стилем жизни отразилось и в художественной литературе. Весьма характерно, что в «Мертвых душах» Гоголя всеобщее удивление вызывает поведение миллионера-откупщика, следовавшего традиционному образу жизни купцов. Помещик Вишнепокромов, как и многие государственные мужи Российской империи, даже считал противозаконной и безнравственной концентрацию капиталов в руках немногих предпринимателей. «Имеешь деньги, – ну, сообщай другим: угощай, давай балы, производи благодетельную роскошь, которая дает хлеб мастеровым, ремесленникам», – говорит он с осуждением об откупщике. «Десять миллионов – живет как простой мужик», – недоуме-

[1] Дневник Этьена Дюмона о пребывании его в России в 1803 г. // Голос минувшего. 1913. № 3. С. 96.

васт и Чичиков. С ним солидарен и обслуживающий его торговец: «Если купец почтенный, так уж он не купец, он некоторым образом есть уже негоциант. Я уж тогда должен себе и ложу взять в театре, и дочь уж я замуж за простого полковника – нет-с, не выдам: я за генерала, иначе я ее не выдам... Обед мне уж должен кондитер поставлять, а не то, что кухарка...».[1] Итак, все участники этого эпизода (помещик, отставной чиновник-аферист, мелкий торговец) единодушно полагают, что богатый купец должен так же относиться к богатству, как и дворянин: не быть бережливым, не стремиться к дальнейшему накоплению, а быть расточительным, жить в роскоши. Такое отношение литературных персонажей возникло не на пустом месте, оно отразило реальные процессы, происходившие в ментальности купечества, испытывавшего влияние дворянского мировосприятия, включая и «благородное» отношение к богатству, но все же сохранявшего при этом известную осмотрительность в расходах. Вместе с тем, часть молодой русской буржуазии решительно отвергала дворянские ценности и дворянский стиль жизни.

Процесс проникновения в купечество дворянских ценностей и образцов поведения не был однонаправленным, а порой имел и возвратный характер. Так, о Костроме П. Сумароков писал: «Прежде купцы были богаты, некоторые имели миллионы, и подражали в образе жизни дворянам... Но от подрыва англичанами их полотняных фабрик многие пришли в убожество и переписались в мещане».[2] Это замечание показывает, что распространение в купечестве образцов поведения определялось не только рецепцией дворянских ценностей, но в большей мере возможностью жить по-барски, «на широкую ногу».

Постепенно взгляды дворянства на богатство распространялись не только в купеческой верхушке, но и среди небогатого купечества и даже мещанства, что нашло отражение и в литературе того времени. Так, мещанин Черномазов из ныне забытой повести «Богатая невеста и московские сваты, или

---

1 *Гоголь Н.В.* Указ. Соч. С. 414.

2 *Сумароков П.* Указ. Соч. С. 270.

Ах, денежки, денежки», предлагая своему знакомому найти жениха, замечает, «что невеста богатая, важная, с ее приданным можно будет жить рукава спустя».[1] В рамках традиционных буржуазных представлений получение за женой богатого приданого означало вложение денег в дело, увеличение капитала. Примечательно, что в учебном пособии для гимназистов «Наука торговли», изданном в 1811 г., один из параграфов так и назывался: «До какой степени кредит купца основывается на богатой женитьбе». В нем говорилось, что женатому на богатой легко получить кредит на «знатные суммы, ибо почти все предполагают, что взятые в приданое деньги положил в торг и производит ими знатные и выгодные дела».[2]

Вместе с тем, влияние на купечество дворянского отношения к богатству было и благотворным. Под влиянием дворянского отношения, новых веяний, исходивших от европейской буржуазии, в иерархии ценностей русского купечества богатство становится не самоценностью, а средством жить независимо и вести свое дело, позволяющее реализовать свои амбиции и воплотить в жизнь собственные идеи.[3]

Необходимо отметить, что представления о труде у разных сословий и социальных слоев различались сильнее, чем представления о богатстве. Высокая оценка богатства была характерна для всех сословий русского общества. Даже в крестьянском мировосприятии счастье часто ассоциировалось с богатством.[4] Высокий престиж богатства был характерен, разумеется, не только для России, но для всех стран, где развивались буржуазные отношения, ибо в буржуазном обществе мерилом ценности человека являются деньги. «Я плохой, нечестный, бессовестный, скудоумный человек, но деньги в почете, а значит, в почете и их владелец», – писал об этом феномене Карл Маркс.[5] Не являлась исключением из

---

1 Богатая невеста и московские сваты, или Ах, денежки, денежки. М., 1852. Ч. 1. С. 17.

2 Наука о торговле. СПб., 1811. С. 256.

3 *Крестовников Н.К.* Указ. Соч. С. 78.

4 *Каргаполов Н.А.* О народной этике // Сибирский фольклор. Томск, 1965. Вып. 1. С. 57.

5 *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 42. С. 131.

этого правила и Россия. Лишь по мере завершения в основном процесса первоначального накопления капитала, роста просвещенности купечества стала возможной широкая благотворительность лучшей его части. Рассмотренные представления купечества о труде и богатстве дают основание полагать, что наряду с экономическими, социальными и политическими факторами, ментальность значительной части русского купечества не способствовала в должной мере процессам буржуазного развития страны.

Репрезентации «счастья»

Представления о счастье я рассматриваю на материалах четырех дневников русских горожан, живших в первой половине XIX в. Эти дневники были созданы лицами, принадлежавшими к основным и наиболее многочисленным слоям городского населения: чиновничеству и «городскому гражданству». Первых представляют А.И. Дружинин (около 1797 – умер между 1845 – 1849 гг.) и Ф.В. Чижов (1811 – 1877), вторых – И.И. Лапин (1799 – 1859) и П.В. Медведев (около 1820 – после 1864). Эти люди – современники, принадлежавшие к двум «соседним» поколениям. А.И. Дружинин и И.И. Лапин – провинциалы, П.В. Медведев и Ф.В. Чижов – столичные жители. Таким образом, избранные для исследования авторы дневников интересны с различных точек зрения, а их представления сопоставимы в социальном, ролевом и возрастном аспектах.

И все же у читателя может возникнуть вопрос: почему я остановился именно на исследовании представлений о счастье на материалах четырех дневников, а не избрал для анализа более многочисленную группу источников «личного» происхождения? Во втором случае, используя, например, методы контент-анализа, можно было бы выявить некие более общие, массовые, типичные представления о счастье. Однако при таком подходе индивидуальное осмысление и переживание человеком счастья останется вне поля зрения исследования. Казус же (понимаемый в данном случае как явление несоответствия жизненной практики индивида его ценностной ори-

ентации) позволяет сконцентрировать внимание именно на внутреннем мире человека, на его интимных переживаниях. Основное внимание в этих парах фокусируется на Ф.В. Чижове и П.В. Медведеве именно потому, что в их жизненной судьбе «казусность» проявилась вполне отчетливо. Два других персонажа – люди более благополучные в своей личной жизни.

Выбор дневника Федора Васильевича Чижова среди сохранившихся и относительно многочисленных дневников чиновников связан с целым рядом причин. В его биографии много интересных социальных сплетений: принадлежа по происхождению и социальному статусу к средним чиновным слоям горожан, он стал крупным предпринимателем; родившись в провинции, окончил Петербургский университет и много путешествовал за границей; математик по образованию, он стал автором искусствоведческих трудов. Уже эти особенности его жизненного пути указывают на него как на человека, чье мировосприятие и мироощущение заслуживает внимания исследователей, изучающих историю неочевидного. Мой интерес к Чижову определяется тем, что на материалах его дневника можно проследить, как господствовавшие в средних городских слоях социокультурные идеалы и стереотипные представления традиционного общества о счастье были осмыслены и интерпретированы незаурядной личностью. Знакомство с содержанием дневников Федора Васильевича также подтвердило обоснованность сделанного выбора.

Дневник другого героя данного исследования – Петра Васильевича Медведева – неоднократно привлекался мной для исследования представлений средних необразованных городских слоев, а также проблем городской идентичности и самоидентификации низших буржуазных страт русского общества середины XIX в.[1] В 2000 г. часть дневников П.В. Мед-

---

[1] *Куприянов А.И.* «Пагубная страсть» московского купца // Казус: Индивидуальное и уникальное в истории. 1996. М.,1997. С. 87 – 106; *Куприянов А.И.* Русский горожанин в поисках социальной идентичности (первая половина XIX в.) // Одиссей. Человек в истории. 1998. М., 1999. С. 56 – 72; *Куприянов А.И.* Русский горожанин конца XVIII – первой половины XIX века (по материалам дневников) // Человек в мире чувств. Очерки по истории частной жизни в Европе и некоторых странах Азии до начала нового времени / Под редакцией Ю.Л. Бессмертного. М., 2000. С. 120 – 146.

ведева с купюрами была опубликована.[1] Однако, подходя к данной теме, я вынужден был вновь прибегнуть к этому источнику. Причина в том, что другого столь плотного по описанию, насыщенного рефлексией дневника русского купца того времени я не знаю. «Памятная книга» московского купца – это голос того самого большинства, которое, как правило, не оставляло после себя непосредственных развернутых свидетельств своих чувств и настроений.

Сопоставление представлений о счастье Чижова и Медведева может быть плодотворным и в связи с их семейным статусом: первый остался холостяком, второй – был несчастливо женат.

Интеллектуал и счастье

Для молодого Федора Васильевича Чижова счастье – категория, применимая лишь к сфере частной жизни, к интимным переживаниям, связанным исключительно с восприятием семейных отношений, любви и секса. Само понимание счастья в его дневнике предстает как бы на двух уровнях: эмпирическом и абстрактном (философском). В первом случае он рассматривает знакомых девушек и дам на предмет того, могла ли оказаться счастливой его семейная жизнь с кем-нибудь из них. При этом он анализирует не только какие-то потенциально возможные варианты, но примеряет свои требования ко всем приглянувшимся женщинам подряд. Следует отметить, что Чижов пытался посмотреть на гипотетическое супружество и исходя из интересов своих «избранниц». Так, он писал, что одна знакомая замужняя дама была бы счастливее, если бы стала его женой.

Особенно любопытны для понимания условий семейного счастья его рассуждения, относящиеся к жене близкого приятеля Гебгардта. «Какая миленькая у него Юлинька, какая прекрасная у нее грудь. Гебгардт щастлив: он имеет Елену, а я бедный – Марья Ивановна давно меня любит, а я не могу

---

1 Из дневника купца Н.В. Медведева за 1854 – 1861 гг. / Публикация *О.Н. Костюковой, М.К. Кустовой, В.А. Мемеловой* // Московский архив. Историко-краеведческий альманах. Вып. 2. М., 2000. С. 12 – 46.

ее видеть».[1] Однако если его друг счастлив с женой, и молодая женщина кажется ему привлекательной и в общении, и живостью характера, и эротически, то это еще не означает, что молодой Чижов был бы так же счастлив с нею, как и его друг: «Что, если я бы женился на Юлиньке Гебгардт – темное рождение – с моими аристократическими понятиями, стыдно признаться даже самому себе. Нет, и без того она никогда не могла бы быть моею женою, одно уже то, что у них в семействе никакой семейной привязанности, а как мила эта Юлинька. В ней недостает образования, она не глупа, но очень мало читает; нет, я не мог бы быть с нею щастлив».[2]

Итак, попробуем разобраться в этой аргументации: девушка не подошла молодому человеку из-за «темного рождения». Каким же оно было? Едва ли мы ошибемся, предполагая, что она – законнорожденный ребенок, так как далее упоминается ее семейство. Точных данных о ее родителях нет. Можно предполагать, что Юлия из разночинной среды, скорее всего дочь мелкого чиновника, вероятно, выслужившегося лишь до личного дворянства. О том, что она не из мещанства, свидетельствует прилагательное «темное», а не «подлое» происхождение. Впрочем, высокий уровень рефлексии способствовал тому, что автор тут же раскритиковал себя за «глупости аристократизма». Правда, неясно, о каком аристократизме может идти речь, если его отец (учитель гимназии) выслужил потомственное дворянство, когда Федор уже учился в гимназии? Шестью годами ранее, в 1828 г., Чижов записал в своем дневнике: «Я был тогда уже в 3-м классе, когда мой папинька сделан был коллежским асессором с старшинством от 1810 г., и тогда мысль, что я уже дворянин, поселила во мне гордость, которую, впрочем, я никогда не выказывал, и никогда не позволял ей выходить за границу».[3] Вот уж, поистине, «стыдно признаться даже самому себе». Поэтому неприятие «темного рождения» уместнее интерпретировать не как «глупости аристократизма», а как комплексы, связанные с происхождением из «крапивного семени», а

1 РО РГБ. Ф. 322. К. 1. № 3. Л. 114 об.

2 Там же. Л. 118 об.

3 Там же. Л. 4 об.

отсюда и стремление составить брачную партию с девушкой хороших дворянских кровей.

Второе препятствие, которое не позволяет автору полагать, что с этой девушкой он мог бы быть счастлив, – это отсутствие в ее семействе «семейной привязанности». В 24-летнем возрасте, задумываясь об одном из своих сердечных увлечений, Чижов писал: «Constance сама мне не столько нравится, но ее семейство, я буду братом Казимиры, братом Маргариты..., если я когда-нибудь женюсь, это *самое главное*, чего бы я желал, *найти прекрасное семейство*» (курсив мой – *А.К.*).[1] Тут, по-видимому, ощущается не только тяга провинциала к патриархальности домашнего уклада и стремление обрести комфортную социальную среду посредством родственных связей, но и более общие стереотипные представления того времени о семейно-родственных отношениях. В данном случае принятые в обществе стереотипы совпали с личной потребностью автора. Что же касается третьего «условия» семейного счастья, по Чижову, – интеллектуальной близости супругов, то оно, несомненно, свидетельство его собственной – как человека науки – интерпретации распространенных в обществе представлений о том, что только равный брак может быть удачным.

У А.И. Дружинина (выпускника Павловского кадетского корпуса) близкое к Чижову понимание равного брака. Рассуждая о новом «круге родства», он писал: «...со стороны матери довольно знатен, со стороны отца довольно низок, нет середины, нет круга по моему характеру, по моему образованию и понятиям. Любя и уважая П., раскаиваюсь даже, что решался составить партию, хотя уверен, что она мне ровная лично, но побочные обстоятельства много меня тревожат...»[2]

Дружинин много и мучительно размышлял о семье своей избранницы. Общий его вывод из сделанных наблюдений был благоприятен: «Вообще все семейство доброе, но с чудными, разнообразными слабостями и более для себя вредными,

1 Там же. Л. 116.

2 Дневник и записки *А.И. Дружинина* // Вологда. Краеведческий альманах. Вып. 3. Вологда, 2000. С. 625.

нежели для других».[1] Однако его постоянно терзали разного рода сомнения по поводу отца и особенно сестер избранницы: «кокетство, гордость, самонадеянность», «ветреность», пренебрежение «мнением людей». Эти сомнения в правильности выбора семейства невесты постоянно присутствуют в дневнике: «отец упрямого характера, родственные связи в Устюге самые неприятные, самое приданое может навлечь и уже отчасти навлекло неприятность, сестры испорченной нравственности и доброй души, брат, по слухам, также и к тому мот, родственники с матерней стороны по худой жизни с М.М. не могут быть расположены, как бы следовало».[2]

Малейшее отступление от правил «благопристойности» одной из сестер вызывает у Дружинина бурю переживаний: «Воображал, что ежели Н., столь мною много любимая, подобна К. хотя в малой степени и ежели совершится преднамеренный брак, то в будущности одни неприятности, одно несчастье предстоят мне, может, и погибель моя неизбежно. Зная свой характер, могу ли равнодушно перенести пренебрежение к святой, скромной благопристойности целомудрия. По некоторым темным догадкам замечаю оттенку ветренности, но многие другие поступки показывают невинность характеров и затмевают первые невыгодные мысли».[3]

Для Чижова целомудрие невесты – также непременное условие счастливого брака. Казалось бы, это весьма традиционное и банальное представление, но рассуждения Чижова на эту тему достаточно информативны для понимания проблем секса и семьи русским интеллектуалом середины XIX в. В наиболее развернутом виде они предстают в итальянском дневнике за 1845 г. Федор Васильевич, начав с описания своего знакомства у художника Иванова с «девочкой» Розальбой, за которой он тут же начал бесцеремонно ухаживать, в морализаторском духе («это сильно мерзко») осудил себя за намерение «в случае возможности попробовать ее, когда она выйдет замуж».[4] И далее он рассуждает о внутренней

1 Там же. С. 619.

2 Там же. С. 622.

3 Там же. С. 621.

4 РО РГБ. Ф. 322. К. 2. № 2. Л. 25 об.

коллизии между сексуальным желанием и нравственными переживаниями по поводу своего желания «воспользоваться случаем» по отношению к невинной девушке. «К тому же, говоря совершенно чистосердечно сам с собою, я никак не вижу безнравственного поступка иметь ее, если это не повлечет последствий. Вся тут безнравственность в том, что можно уничтожить щастие бедного ее мужа. Как все это мерзко и подло...», – продолжает рассуждать русский путешественник, переходя уже на абстрактный уровень. Чижов, пытаясь разобраться в своих чувствах, замечает, «что общественные понятия, а не нравственность против этого».[1]

Следует заметить, что разрешить возникшую коллизию, по его собственному мнению, он не в состоянии: «либо мы развратились донельзя, либо эти формы до того устарели, что их пора со двора». Однако, испытывая определенное влияние либеральных идей, довольно распространенных в богемных кругах Европы, он, сравнивая консервативные и модернистские представления о браке и сексе, все же остается на традиционных позициях, утверждая, что «без супружества всякая жизнь безнравственна, кроме той, когда сама природа отказывается от обязанностей супружеских». Чижов отдает браку явное предпочтение перед постоянным сожительством любовников, прежде всего из-за проблем, которые связаны с осуждением в обществе не санкционированного церковью союза мужчины и женщины. Совсем неприемлемы для него подобные отношения в связи с тем, что ребенок, рожденный вне брака, общественным мнением ставится «ступенью ниже законнорожденного». Полагая, что со временем нравы изменятся, он и в этом случае не может принять идею свободы расторжения брачных отношений, ибо тогда «страдает ребенок».[2]

По дневникам Чижова можно реконструировать еще одно условие семейного счастья: полное равенство между супругами, уважение личности другого. В 1845 г. он писал, «что главное нещастие в супружестве происходит от того что

---

1 Там же. Л. 25 об. – 26.

2 Там же. Л. 26 об.

всегда муж сильно деспотствует, никак не хочет допустить полного нравственного равенства между собою и женою; жена в свою очередь, не будучи вполне уважаема, старается другими путями наполнить те промежутки, какие остаются в ее неудовлетворенном и неполном существовании».[1]

Сама счастливая жизнь ему видится в том, чтобы «сделать щастливым мое семейство – эта идея обладает мною, потом – жить вдали от политического шума, жить с Ньютоном, Лагранжем, Эйлером, Декартом, Платоном, Сократом, Христом, Байроном, Шекспиром и другими». Он завидует Руссо за его способность к жизни вдали от света.[2]

Земский исправник Дружинин понимает пути достижения счастья несколько иначе: «Не великолепные чертоги, не богатство, не громкая слава делают человека счастливым, но добрая наша совесть, желание быть полезным ближнему и Отечеству. Ограниченность в суетных желаниях ведет к сему благу. <...> Всевышний, сотворивший все, доводит смертного разными путями к оному». Эта проблема постоянно волнует Дружинина, он даже облекает свои взгляды на счастье в стихотворную форму:

Не знатность нас счастливыми творит,
Не пышность, слава и богатство –
Так истина всечасно говорит –
Союз любви и дружбы братство.[3]

Впрочем, эта стихотворная форма скорее затемняет проблему, чем проясняет. По дневнику видно, что тема дружбы занимает его несравненно меньше, чем любовь, семья, служебные занятия. Можно констатировать, что у него вообще не было друзей в современном понимании этого слова. Если они и были, то лишь в годы военной службы, во время которой он дневник не писал. Но, вероятно, и тогда у него не было близких друзей, так как никаких ностальгических воспоминаний о том времени в его дневнике нет, равно как и упоминаний о переписке с товарищами по полку. Нет в дневнике и

1 Там же. Л. 39 об.

2 Там же. К. 1. № 3. Л. 170.

3 Дневник и записки *А.И. Дружинина*. С. 641, 649.

слов «друг», «дружба». «Братство» в этом четверостишии не более чем рифма к «богатству» и одновременно – дань поэтической традиции русской литературы.

В этих индивидуальных интерпретациях путей достижения счастья и самого смыслового содержания счастья у Чижова нет места ни промыслу Божьему, ни общественной компоненте счастливой жизни. Как можно объяснить эти различия? Жизненный путь Чижова и Дружинина, пройденный ими к моменту фиксации на бумаге своих размышлений о счастье, был далеко не одинаков. Первый – ученый, отсюда и представления о счастливой жизни как жизни, наполненной радостью интеллектуального труда и заботой о жене и детях. Второй – бывший офицер, участник Отечественной войны 1812 г., чиновник. Не отсюда ли размышления о желании быть полезным Отечеству? Весьма вероятно, что именно прошлая и отчасти настоящая государственная служба вологодского дворянина продиктовали эти строки. Как же повлияли эти возвышенные и благородные представления о счастье и счастливой жизни на его же жизненную практику чиновника? Оказывается, земский исправник, вопреки своим благим намерениям, брал взятки, пользовался и небезгрешными доходами от казны. Совестливого Дружинина эта сторона его служения, безусловно, тяготила, чему в дневнике имеются несомненные свидетельства. Но свою порочную практику он из-за отсутствия других источников доходов, удовлетворяющих его потребности, не прекращал. Интеллектуал Чижов, который о высоких материях службы Отечеству не рассуждал, оказался человеком, действенно послужившим делу процветания родины. Он всегда жил трудами рук своих, точнее – своего интеллекта. Успешно реализовав свой первый новаторский предпринимательский проект, Федор Васильевич совершенно бескорыстно стремился помочь окрестным крестьянам пойти по его стопам.[1]

---

[1] О предпринимательской деятельности и общественно-политических взглядах Ф.В. Чижова см.: *Симонова И.* В.С. Печерин и Ф.В. Чижов // Общественное движение в России XIX века. М., 1986. С. 56 – 82; *Симонова И.* «Муж сильного духа и деятельного сердца» // Предпринимательство. 1992. № 1. С. 102 – 119.

На абстрактном уровне счастье для молодого Чижова – это физическая любовь. «Неужели в раю будет выше этого счастья! Неужели лицезрение Бога заменит эти мгновения, нет, рай магометан – вот истинное блаженство. Гурии – вечно юные гурии – вот чем можно наградить добродетель. Но мне не надобно целомудренных гурий..., мне дайте женщину, ... женщину роскошную – пышущую негою, дышащую сладострастием».[1] Повзрослев, Чижов стал отдавать приоритет не сексу и чувственным наслаждениям, но тихим радостям семейной жизни. Семейная гармония и для Дружинина высшая ценность земной жизни. Став отцом семейства, он писал: «Покорствуя безмолвно Всевышнему во всех переворотах бренной жизни нашей, человек наконец-то достигнет счастья, которым только предоставлено наслаждаться в юдоли горестей. <...> Он достигнет истинно счастливой умеренности во всем и тогда останется покоен духом, доволен собою, уважаем и любим близкими и, ежели судьбою наградится нежным другом, верною и кроткою супругой, тогда верх счастья его увенчается истинным благополучием. Вот единственная награда в жизни сей добродетели и терпению».[2]

Дневник Алексея Ивановича Дружинина в целом и в аспекте понимания им счастья более обработан, более «литературен», наполнен штампами, расхожими клише и, следовательно, менее информативен для проникновения во внутренний мир человека, чем дневник Федора Васильевича Чижова. Однако и у Дружинина самые эмоциональные страницы дневника посвящены переживаниям за близких людей (родителей, жену и ребенка), мучительным раздумьям накануне свадьбы, которая рассматривается как поворотный пункт всей его жизни. Действительно, отказаться от семьи,

---

1 РО РГБ. Ф. 322. К. 1. № 3. Л. 126 – 126 об. В 1836 г. Чижов занес в дневник близкие по смыслу мысли о наслаждении: «Люди, люди! ... Пейте наслаждение, живите наслаждением. Вы любите вино – пейте его, пейте полною чашей, но я вам не товарищ, – мне дайте женщину, еще женщину, 100 женщин, дайте 1000 и этого мне мало, дайте всех красавиц в мире, чтоб в одно мгновение я мог обнять всех их, мог впиться во всех в одну минуту, Боже-Боже – еще 10 лет наслаждения! ... На что наука! На что политическая жизнь – мне ничего не нужно, мне нужны женщины». – Там же. № 4. Л. 29.

2 Дневник и записки А.И. Дружинина. С. 633 – 634.

как Чижов, перешагнуть через социокультурный стереотип счастья, имевший всеобщее распространение (разделявшийся и самим Чижовым), могли в XIX в. лишь избранные, неординарные личности. Не случайно он вошел в историю как «муж сильного духа и деятельного сердца».

Мещанское счастье

Как понимали и переживали счастье русские купцы и мещане? В какой мере счастье и чувство моральной удовлетворенности были у них связаны с публичной и приватной сферами жизни общества?

Петр Васильевич Медведев в своем дневнике неоднократно обращался к проблеме счастья. 14 мая 1854 г. он, отметив прекрасную погоду и красоту расцветающей весенней природы, с горечью констатировал, что нет счастья – «недостает мира семейного и любви сердечной; чудное дело, мое, кажется, сердце готово изливаться во всех оттенках любви родственной, и мое семейство... не умеет или не хочет жить согласно: капризы, требования излишнего, ни расположения, ни любви согласия, все иногда доводит до сильной раздражительности, от чего жизнь делается адом». «Немного бы мне надобно для *земного* моего *счастия*. Не было бы крайней нужды, простой стол, комната, книги, приятель или друг. Но о женщине любимой и женщине любящей я и мечтать не смею» (курсив мой – *А.К.*), – писал Медведев спустя семь лет.[1] Итак, счастье для него связано с благополучием его большой семьи, с миром и согласием в доме, с возможностью общения с другом и книгой. Но есть и другая сторона счастья, связанная с внутренним миром человека, с чувствами и переживаниями, которые не ограничиваются лишь материальным достатком и семейным благополучием: «Тридцать с лишком лет прожил на белом свете, а еще полной, спокойной, продолжительной радости не ощущал. Что же меня далее ожидает? В мои лета [33 или 34 – *А.К.*] не те стали чувства, мысли, желания, грубеет сердце, грубеет мысли выражение, пошлее жизнь, черствее лицо и способности».[2]

1 ЦИАМ. Ф. 2330. Оп. 1. Д. 984. Л. 10.

2 Там же. Л. 24.

В дневнике старшего современника Медведева – купеческого сына Лапина из г. Опочки Псковской губернии – нет отвлеченных рассуждений на тему «Что такое счастье?». Формула «имел счастье» употребляется им как для описания христианских чувств («Имел счастие приобщиться Св. Тайн в день Ангела»), так и для передачи переживаний, связанных с мирскими событиями, например радости от встречи с поэтом («Имел счастие видеть Александра Сергеевича г. Пушкина»).[1] Однако внимательное чтение дневника молодого и холостого Лапина позволяет утверждать, что его эмоции концентрируются вокруг интимных чувств, связанных с объектом (объектами) его любви. Поэтому для него счастье переживается как часы, проведенные наедине с любимой девушкой: «День прекрасный и пресчастливый»; «мы... столь были счастливы, столь довольны и восхищены, что больше уж не надо»; «новое счастье, приятнейшее благополучие».[2] Полноте его ощущения счастья препятствовали лишь некоторые нравственные нормы, переступить через которые он не мог, отсюда его стихийный руссоизм, навеянный беззаботным поведением птиц во время его свидания с подругой: «И мы здесь предположили, что оные стократно нас счастливее..., законом никаким не ограничиваются и, не стыдясь... (многоточие в тексте – очевидная работа редактора – *А.К.*), словом пресчастливы».[3]

Какое место в системе жизненных ценностей русских горожан занимала семья? О том, что среди всех благ земных семья занимала исключительное место в системе жизненных ценностей русских горожан в первой половине XIX в., свидетельствует, например, сама организация записей в семейном синодике тверских купцов Блиновых. В нем содержатся лишь сведения о дате смерти и продолжительности пребывания в браке. Причем время семейной жизни указано с точностью до одного дня! [4]

Автор «Вседневных записок» не оставил развернутых суждений о значении семьи или ценности семейной жизни.

---

1 Дневник Ивана Игнатьевича Лапина // Труды Псковского археологического общества. Вып. 11. Псков, 1915. С. 23, 35.

2 Там же. С. 38, 40, 53.

3 Там же. С. 39.

4 ГАТвО. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 1137.

Однако, упоминая о появлении новых лиц в городе, Нечкин непременно фиксировал их семейное положение. «Прибыл г. городничий в Осташков из Калязина молодой и холостой Александр Васильев Аничков», – вот показательная характеристика человека из его дневника. О предшественнике Аничкова писано в том же духе: «Помре г. городничий Александр Васильев Колокольцов, быв болен, преклонных лет, седой, имев семейство и сына дурака».[1] Характерно, что Нечкин не упоминает даже чина городничих, так как для него – человека никогда не служившего – чин не имеет никакого значения, поскольку тот никоим образом не влияет на место градоначальника в городской иерархии. Куда более сущностными характеристиками человека для Ивана Андреевича являются возраст, фиксируемый весьма приблизительно, и семейное положение. Холостая жизнь видится Нечкину социальной аномалией, которая до добра не доведет: «Осташ(ковский) меща(нин) Попков сошел с ума, холостой, и в последствии отправлен в Тверь в дом ума лишенных».[2]

Разлука мужа и жены воспринимается им как тяжелое испытание: «Приехал в Осташков Дмитрий Ефимов Свинкин, ибо здесь жила его жена, 1,5 года, не видав один другого».[3] Для этого скуповатого на выражение своих чувств человека, такая констатация факта из чужой жизни может быть распространена и на его собственное отношение к разлуке с женой. Тем более что в прошлом Нечкину по хозяйским делам, как явствует из обрывочных фраз, приходилось довольно надолго уезжать из Осташкова, в частности, он ездил в Петербург, Москву и, вероятно, в Киев. Такие путешествия для мужчины, неравнодушного к собственной супруге, представлялись сопряженными с серьезными лишениями. А купец И.А. Толченов в период, когда он активно занимался хлеботорговлей, подводил итоги года в своем журнале стереотипной фразой: «В разлуке с хозяйкой находился [указывается число – *А.К.*] дней».

В какой мере эти представления Нечкина и Толченова были характерны для средних слоев «городского граждане-

1 ГАТвО. Ф. 103. Оп. 1. Д. 2628. Л. 4, 13.

2 Там же. Л. 29.

3 Там же. Л. 8 об.

тва»? Учитывая, что они оба довольно «типичные» представители своих социальных страт и носители морали, присущей средним слоям горожан, их представления о семье можно считать характерными и типичными для русского провинциального города. Разумеется, здесь приходится принимать во внимание множество причин, связанных как с закрепленными в сознании с помощью церкви установками на святость брачных уз, так и принятыми стандартами поведения в той или иной малой социальной группе, как с особенностями психологического типа личности, способной либо быть как все, либо следовать собственным индивидуальным побуждениям, так и с конкретными обстоятельствами семейной жизни супругов.

Для понимания переживания супружеской разлуки мужем уместно рассмотреть случай крайний, когда в большой семье (между мужем и женой, между свекровью и невесткой, между братом и сестрой, дядей и племенниками) происходят постоянные, ожесточенные конфликты, завершающиеся порой физическим насилием. Все эти «радости семейной жизни» били через край в семье московского купца Петра Васильевича Медведева. Однако, вернувшись после непродолжительного вояжа из Петербурга, он был раздосадован отсутствием жены, которая из-за умирающего брата не ночевала в доме, «хотя плохонькая, но все своя, не купленная, а покупать не в характере и не в привычке. Что же, терпеть? Силы воли нет».[1] Разумеется, всю гамму переживаний супружеской разлуки нельзя свести лишь к сексуальной стороне, были и другие мотивы. При этом ни у Медведева, ни у Нечкина, ни у Толченова мы не можем отметить каких-либо особых страданий, связанных с невозможностью духовного или эмоционального общения с женой. Скорее для них характерно стремление вернуться под родной кров, насладиться теплом семейного очага в привычном кругу родных.

Более того, не вполне ясно, какие ожидания от брачной жизни были присущи Нечкину и Толченову. Их умолчание, впрочем, может быть истолковано как совпадение добрачных

---

1 ЦИАМ. Ф. 2330. Оп. 1. Д. 986. Л. 43 об.

ожиданий и семейной жизни, как удовлетворенность своими отношениями с женами. Женился Толченов в 18 лет «по соизволению и убеждению родителя», родственники и подобрали ему в Москве невесту, «кою судьбами божьими и определено иметь мне супругою». Невесту Толченов до смотрин никогда не видел, но между «рукобитьем» и «таинством брака» прошло всего десять дней.[1] Ни о каких чувствах, которые он испытывал к будущей жене, Толченов даже не упоминает, вероятно, их просто не было. Таким образом, его женитьба – типичный образец заурядного, «среднего» купеческого брака XVIII в., брака, который больше походил на торговую сделку и для вступления в который от молодых никаких сердечных чувств и не требовалось.

По мнению Медведева, чтобы супружеская жизнь была счастливой, необходимо взаимное влечение мужа и жены. Другим непременным условием счастливого брака являются здоровье и физическая привлекательность супругов. Медведев осуждающе писал о своем тесте, который устраивал браки своих детей, руководствуясь лишь собственными интересами: «Так погиб и Сергей, так гибла и дочь его Марья, за первым своим мужем, дело его эгоизма и ращета, которую он выдал замуж за больного физически мужа. Она, полная красоты и жизни, не видала супружеских полных наслаждений, вынуждена была искать, в чем легко успела, обожателей, и поклонников было без конца. Словом, отец семейства, какового я видел на сцене в пиэсе «Отец семейства»... почти точь в точь это мой любезный тестюшка».[2] Он эмоционально реагирует не только на матримониальную политику тестя, с которым у него были напряженные отношения, но и на другие подобные факты. Так, 20 мая 1854 г. по случаю помолвки свояченицы Медведев писал: «Молодой свежий цветок, шестнадцати лет, за сорокалетнего, какое неравенство брака, живая, резвая, и с надеждами на радости и удовольствие, должна соединить свою судьбу с положительным и отжившим человеком...» Две недели спустя, 6 июня, в связи с их венчанием

---

1 *Толченов И.А.* Журнал... С. 40.

2 ЦИАМ. Ф. 2330. Оп. 1. Д. 986. Л. 40.

та же тема вновь становится предметом обсуждения вначале на самой свадьбе с одним из знакомых, а затем и рефлексии в дневнике: «он тоже выразился моим мнением о неравенстве брака, следовательно, я не один чувствую подобную неуместность».[1]

Подобные браки в то время были нередки. В купеческой среде на них смотрели, судя по последней фразе, иначе, чем Медведев. И здесь заметен очевидный парадокс: в России к середине XIX в. большая часть девушек вступала в брак до 21 года, а мужчин – до 23 – 24 лет (при этом вступавшие в первый брак женихи были лишь на 3 года старше невест).[2] В то же время Медведев знает о существовании в своей среде стереотипа, который индифферентен к большой возрастной разнице в пользу мужа. Какова же была демографическая ситуация в центре России и что представлял собой связанный с нею вышеупомянутый стереотип? На 1850 г. в городах Ярославской губернии среди всех типов семей одинокие люди составили 39,6 % – так жили 12 % всех горожан. Это принципиально отличалось от демографического поведения крестьянства – в той же губернии в деревне одинокие составляли лишь 5 % всех семей.[3] Поэтому можно говорить если не о существовании в середине XIX в. особой городской демографической ментальности, заметно отличающейся от крестьянской, то, по крайней мере, о распространении среди мужчин-горожан «среднего класса» стереотипа, в котором доминировали не возрастные, психологические и эмоциональные факторы, но материальные (способность обеспечить семью), властные и сексуальные. Во главе угла ставилось не достижение гармонии между супругами, но создание устойчивой патриархальной семьи, где слово мужчины – закон. Подобные социокультурные стереотипы были распространены не только среди купцов и мещан, но и в чиновничьей среде. С предельным откровением, на грани цинизма, их выразил автор книги «Наука жизни, или Как молодому человеку жить на свете»

1 Там же. Д. 984. Л. 11, 12.

2 См.: *Миронов Б.Н.* Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.). Т. 1. СПб., 1999. С. 167 – 169.

3 Там же. С. 234.

Е. Дымман, который наставлял: «Женись никак не моложе тридцати пяти лет; это наилучший для женитьбы возраст», иначе жена, нарожав до полутора десятков детей, может состариться, утратить привлекательность, а муж останется еще «крепок», что приведет к кризису в семейных отношениях. Наряду с тем, что поздняя женитьба выгоднее в сексуальном плане, Дымман отмечал, что «невозможно ранее этих лет честным образом приобрести достаточно обеспечивающего для целого семейства состояния».[1]

Медведев же, вполне разделяя представления о главенстве мужа в семье (в первые годы своей супружеской жизни он даже практиковал рукоприкладство), не мог принять брака, в котором муж намного старше жены. В отличие от современных историков, малообразованный московский купец не мог оценить вероятности того, что женщина, вступая в брак с мужчиной, который старше ее на 10 лет, имеет вдвое больше шансов овдоветь к 40 – 50 годам – по сравнению со сверстницей, вышедшей замуж за своего ровесника. Ему эти демографические тонкости были недоступны. Личный же опыт подсказывал другое: человеческая жизнь в руках Бога. И кто овдовеет раньше – юная жена или ее немолодой муж – предвидеть невозможно. Но Медведев, будучи наблюдательным человеком, не мог не заметить особенностей мировосприятия и психологии юной девушки и зрелого мужчины. При этом он, осознавая «несходство» взглядов, пристрастий, темперамента супругов в подобных браках, преодолел мужской шовинизм и пытался смотреть на проблемы межличностных отношений в браке и с позиций женщины.

Для Лапина равенство вступающих в брак супругов как условие семейного счастья также связано не столько с социальным, сколько с возрастным аспектом. Весьма возможно, что в своем окружении Лапин просто не сталкивался с примерами явных социальных мезальянсов, поэтому никаких суждений на эту тему и нет в его дневнике. Но проблема влияния семьи на выбор жениха и невесты была для маленького уездного города весьма актуальной. Так, в 1818 г. девятнад-

[1] *Дымман Е.* Наука жизни, или Как молодому человеку жить на свете. СПб., 1859. С. 306.

цатилетний Иван Лапин неодобрительно писал о женитьбах без взаимной склонности, осуждая родителей, принуждающих детей вступать в такой брак. Мезальянсом для него является каждый брак, в котором между супругами большая разница в возрасте: невесте – 17, а жениху – 40; жениху – 18, а невесте – 30. В последнем случае не только Лапин, но и «все» сожалели, «что брал не по себе, т.е. разноглазую и 30-ти, сказывают, лет, а он 18-ти».[1] Таким образом, физическая привлекательность невесты в глазах провинциалов также предстает несомненным условием благополучия брака.

Родственные связи, которые в купеческом мире играли немаловажную роль, рассматривались Медведевым в контексте представлений о счастливой семейной жизни. Московский купец начал вести свой дневник спустя три года после женитьбы. Поэтому в дневнике мы обнаруживаем не терзания по тому поводу, хороши ли окажутся новые родственники, но недовольство уже сложившимися с ними отношениями: «ее отец кажется такой злодей до меня, хуже всякого злого татарина»; «одно только в нем дурно и семействе, что нет у них любви и расположительности».[2]

Записи, касающиеся домашнего быта, в дневнике И.А. Нечкина занимают значительное место. Но они редко содержат описания каких-либо интимных переживаний. Несомненно, семья находилась в центре жизненных интересов И.А. Нечкина. Сделать такой вывод позволяет все содержание его «записок». Даже кратковременная разлука с семьей для мемуариста весьма тягостна. Поэтому он с чувством радости и облегчения пишет о возвращении в 10 часов вечера с богомолья жены и детей, которые отбыли в эту поездку накануне в полдень.[3]

Но особенно проникновенные лирические ноты в рассказе главы семейства появляются... при описании событий, связанных с покупкой коровы и ее осеменением: «Купил себе коровушку, черную, белоголовую, у Гаврилы Петрова Гуляева или Рыжикова за 45 р. ассигн. <...> Сию ночь коровушка

---

1 Дневник *Ивана Игнатьевича Лапина.* С. 46 – 48, 63.

2 ЦИАМ. Ф. 2330. Оп. 1. Д. 984. Л. 22, 23.

3 ГАТвО. Ф. 103. Оп. 1. Д. 2628. Л. 35 – 35 об.

была у быка в гостях...».[1] Эта лексика, связанная с коровой, для прозаического мировосприятия осташковского мещанина может показаться неожиданной, но она не только уместна, но и знакова. Вследствие этого «гостевания» уже не надо будет покупать молоко для сына и горячо любимой дочери у соседей. И все же здесь в Нечкине говорит не столько рачительный хозяин, у которого будет свое молоко, сколько горожанин, еще сохранивший особое, интимное отношение к скотине. «Коровушка» в восприятии этого осташковского мещанина не просто «кормилица», но своеобразный член семьи. В XIX в. в русских уездных и даже губернских городах было принято держать коров. В городском быту еще в середине XIX в. нередки были крестные ходы в память о прекращении заступничеством христианских святых эпизоотий в данной метности в незапамятные времена. В Осташкове такого крестного хода не было, но ежегодно в день первого выгона скота в поле, как и в деревнях, служили молебен. 2 мая 1850 г. Нечкин пишет об этом местном обычае: «Сего к молебну выгоняли коров и пастуха».[2] Подобные молебны имели место и в других городах. Более того, этнографы, изучавшие русский город, отмечают, что в середине XIX в. в нем бытовало «множество обрядов и поверий», связанных со скотом и «домашней живностью».[3] В этом контексте сохранение у Нечкина традиционного крестьянского отношения к скотине, в частности к корове, явление закономерное.

Что же касается взаимоотношений осташковского мещанина с женой, то они были, судя по дневнику, лишены особой доверительности и интимности. Так, после пропажи денег муж подозревает в домашней краже не только 11-летнего сына, но и жену: «Сего [9 апреля – *А.К.*] я узнал о похищении из кармана из штанов моих денег до 4 р. сер. И долго мучил мою вспыльчивость, думал на жену и сына».[4] Не приходится говорить, во всяком случае, после 12 лет супружеской жизни,

1 Там же. Л. 9 об., 16 об.

2 Там же. Л. 20 об.

3 *Рабинович М.Г.* Очерки этнографии русского феодального города: горожане, их общественный и домашний быт. М., 1978. С. 152.

4 ГАТвО. Ф. 103. Оп. 1. Д. 2628. Л. 16 об.

и об особой страсти супругов друг к другу, равно как и о сторонних увлечениях. Можно говорить о ровных, спокойных отношениях между супругами, построенных на уважении человеческого достоинства друг друга, на общности семейных интересов. Все это не означает, что 1850 г. прошел у четы Нечкиных без каких-либо ссор и недоразумений.

Серьезный супружеский конфликт возник 9 июня, когда Нечкин «побранился» с братом. О причинах ссоры с братом он ничего не пишет, но инициатором инцидента считает свою жену, которая «зачала... из-за пустова, да и много ходов. Как есть баба так баба. А он хайло так хайло, скот. И после сего мы разладили с женой».[1]

Семейные несогласия приобрели затяжной характер. 29 июля, после крестного хода, во время семейного чаепития, последовала открытая ссора с женой: «я, рассердясь, не вынес, ударил чайную чашку об стол, разбил, и чтобы не произошло чего мудренова, я ушел в сад и не пошел обедать, и так до вечеру».[2]

Неделю спустя последовала новая ссора с женой, в результате которой муж даже провел ночь в сарае. Семейные нелады, хотя и не столь явно, продолжались и в дальнейшем. Поэтому 17 сентября Нечкин, вопреки несомненной скрытности своего характера, решился вынести «сор из избы» – пожаловался на жену Прасковье Яковлевне Казачкиной «за невоздержание, ибо она поссорилась с рабочим Алексах(ою)».[3] Но и ей он не поверяет всех деталей своих взаимоотношений с женой. Примечательно, что он жалуется свояченице на жену в связи с ее ссорой с работником, а не на собственные супружеские дрязги.

Вероятно, Прасковья Яковлевна способствовала установлению мира и согласия в семье сестры. Следующий семейный конфликт четы Нечкиных произошел спустя почти два месяца. Да и по своему накалу он не относился к числу острых конфликтов, грозящих разрушить семейное благополучие. О нем сохранилась лишь лаконичная запись: «Поссорился с женой».[4]

1 Там же. Л. 29 об.

2 Там же. Л. 38 об.

3 Там же. Л. 40 об., 46.

4 Там же. Л. 54 об.

Каким образом горожане проявляли гнев по отношению к своим близким? Принято считать, что насилие в семье было характерно для русских семей (во всяком случае для семей непривилегированного большинства населения России) на всем протяжении XIX в., не говоря уже о более раннем времени. Справедливо ли это утверждение по отношению к русской городской семье в рассматриваемое время? Дать однозначный ответ на этот вопрос не представляется возможным. Толченов в своем дневнике не только не упоминает о каких-либо семейных конфликтах, но и вообще о ситуациях, которые бы вызвали у него гнев. Что же касается дневника Нечкина, то можно с уверенностью отметить, что его автор не считал возможным оказывать физическое воздействие на жену. По отношению к 11-летнему сыну, напротив, считал такие меры справедливыми и оправданными.

В каких случаях осташковский мещанин прибегал к телесному наказанию ребенка? Причин для наказания было всего две: «шалости» в школе и незаконные ухищрения сына, направленные на добывание карманных денег. К последним относятся два типа проступков мальчика: кража у отца денег и приобретение безделушек и сладостей в кредит на имя отца. В представлениях о мерах воспитания в народной педагогике того времени за подобные «шалости» мальчика следовало сечь, что Иван Андреевич и делал. Вслед за неизбежным обнаружением этих проступков неотвратимо следовало отеческое наказание: «Ване была разделка»; «и пошла у нас потеха». Отец не испытывал после никакого раскаяния в содеянном, ибо такова была традиция заботы о нравственном здоровье ребенка. Сама кража в картине мира религиозного человека была не просто аморальным, но и греховным поступком. В частности, он делает одну примечательную запись об обнаружении у сына краденых денег: «И я говорю Ване, что ты уже успел поддеть, и *он божился* и встал, и серебренник *не терпит осмой заповеди*, упал у него на пол, за что и получил награждение ремня» (курсив мой – *А.К.*).[1]

[1] Там же. Л. 22 об.

Безответственное поведение мальчика вызывало у отца приступы ярости, которые останавливали не столько просьбы жены, сколько слезы нежно любимой четырехлетней дочери.

Петр Васильевич Медведев как человек бездетный мог и не оставить нам никаких свидетельств своего отношения к проблеме насилия в семье над детьми. Однако после смерти мужа сестры на его попечении оказалось двое племянников.

Медведев нередко бранился с матерью, сестрой, женой. Словесная перебранка с женой могла даже привести его к применению физического насилия. Он мог толкнуть или ударить жену, а если она пыталась ответить ему тем же, то и избить ее. Однако неумение сдерживать свои эмоции дорого обходилось самому Медведеву, который, избив жену, сам мог больше часа «рыдать навзрыд», а затем впадал в состояние глубокой тоски и апатии, длившейся еще многие дни. Подводя итоги десятилетней супружеской жизни, Медведев коснулся и своего восприятия насилия по отношению к жене: «Иногда, в часы раздражительности, и подерешься бывало в виде науки; теперь прошли годы и я уже не пальцем не трогаю этого болвана в человеческом виде. Нету исправления, нету согласия, самосознания для общей и лично своей пользы».[1] Иными словами, муж жену не бьет, а поучает как глава семьи, ответственный за своих близких. Поэтому, когда его 17-летнего племянника выгнали с фабрики, Медведев согласился принять юношу в дом при условии физического наказания. Иван был вынужден согласиться принять 25 ударов розгами, а затем получать по 15 ударов ежедневно в течение 10 дней. Такая мера наказания была выбрана не случайно. Племянник лишился своего места за то, что в ходе ссоры с директором фабрики (англичанином), защищая свое достоинство, ответил ударом на удар. Дядя оказался недоволен такой несдержанностью племянника и решил смирить его гордыню, заставив ежедневно переносить унижение, связанное с мучением плоти. Однако экзекуция продолжалась всего два дня, а потом по случаю поста наказание было оставлено.

[1] ЦИАМ. Ф. 2330. Оп. 1. Д. 986. Л. 5 об.

Эти экзекуции были выражением не эмоционального, но рационального начала. Дядя вразумляет юношу, который, потеряв работу, оказывается на его шее. Иная ситуация произошла некоторое время спустя. Другой племянник – Александр – ушел из монастыря, где жил послушником, и долгое время тайком от дяди жил на чердаке. Когда дядя узнал об этом, он палкой жестоко избил любимого племянника. Однако здесь он уже действовал в состоянии аффекта. «Гадка, омерзительна до отвращения была эта сцена», «отвратительная сцена», «варварское наказание»,[1] – так оценивает вспышку своего гнева сам мемуарист, испытывающий чувство стыда. Медведев переживал стыд не от того что свидетелями его гнева стали рабочие, при которых он огласил самые интимные подробности своей семейной жизни, но он испытывал стыд перед самим собой. Анализируя свои отношения с племянниками, Медведев размышляет об истоках своего насилия по отношению к ним. Эти истоки он видит в своем детстве, в примерах, которые повседневно видел в семье родителей, воспитанных в деревне «при образцах невежества и грубости нравов», а также во время служения в работниках. «Давно ли то доброе золотое время потасовок, подзатыльников и грубой брани, нечеловеческого обращения? Давно ли? А я так изменился во взгляде, понятиях, чувствах, что даже стыдно, совестно припомнить себе подобные свои и других поступки».[2]

Как переживалось горе, каковы были проявления этого чувства?

О переживании горя яснее всего говорит восприятие смерти вообще и смерти близкого человека в частности.

Все персонажи исследуемых дневников – люди искренне верующие, усердные прихожане храма Божьего. Как известно, в христианской трактовке земная жизнь является лишь подготовкой к жизни вечной. Однако такой была позиция христианской церкви. А как воспринимали переход из мира земного в мир иной рядовые горожане?

---

1 Там же. Л. 36 об. – 37.

2 Там же. Л. 35 об.

Для И.А. Толченова смерть была столь серьезной проблемой, что в своем журнале, начиная с 1778 года, он начинает выделять специальную рубрику «Сим годом скончались из родственников и знакомых». Первое глубокое эмоциональное переживание, зафиксированное Толченовым, связано со смертью отца. О смерти отца, умершего в дороге 17 августа 1779 г., он пишет: «Вечер сей чувствовал я превеликую тоску. 18-го *горестной день из всех, бывших в жизни моей*; ... дядя Дмитрей Ильич... объявил о кончине *любезного моего родителя*, сведавши чрез приехавшего нарочно из лавры с сим *несносным* и неожиданным известием. *О, час горестной! О, минута скорбная! Дражайшей мой родитель...»* (курсив мой – *А.К.*)[1].

Вслед за подробным описанием похорон и поминальных торжеств Толченов помещает в своем дневнике «список родных мне братьев и сестер, списанный с сочиненного покойным родителем».

Д. Рэнсел, посвятивший дневнику И. Толченова две содержательные статьи, предположил, что он – единственный выживший ребенок знатной семьи. В этом контексте исследователь рассматривает и появление в «журнале» дмитровского купца списка умерших братьев и сестер. Присутствие этого списка в «журнале» Толченова имело и прагматический смысл: отныне он должен заботиться о поминовении умерших родственников. Из этого источника выясняется, что все его 8 братьев и сестер умерли, не дожив даже до года. Ни одна из этих смертей не вызвала у Толченова эмоциональной реакции, исключая смерть последней сестры: «скончалась к великому прискорбию родителей того ж числа не крещеною и с сего дня родительница моя начала чувствовать болезнь, коя обратилась в чахотку и прекратила дни ее».[2] Думается, родители скорбели не только о том, что не успели окрестить дочь. Были на то и сугубо земные причины. Для матери мемуариста за 15 лет это были уже восьмые роды, которые не только подорвали ее физическое здоровье, но, возможно, и пагубным образом ска-

1 Толченов И.А. Журнал... С. 145 – 146.

2 Там же. С. 148.

зались на ее психологическом состоянии. Начиная с третьих родов, ни один из рожденных ею детей не прожил и месяца.

Как же сам И.А. Толченов воспринимал смерть собственных детей? 1 августа 1776 г. его семью впервые постигает утрата ребенка. «Сей день дочь Евдокия, живши 15 дней, преставилась», – пишет молодой отец.[1] Прошел год, в августе 1777 г. умер сын Сергей. И вновь следует сухая констатация факта: «17-го в 2 часа утра сын Сергий преставился в вечное блаженство, жив на свете 12 дней и 18 часов».[2] 13 января 1782 г. о смерти сына Василия, родившегося 1 января, Толченов, как по трафарету, пишет: «В начале 7-го часа пополудни сын Василий преставился в вечное блаженство».[3]

Из приведенных описаний видно, что дмитровский купец стереотипно пишет о смерти своих малолетних детей, не проявляя особой скорби по случаю их смерти. Более того, отец проявляет удивительную с точки зрения нашего времени черствость. В частности, узнав, что дети серьезно заболевают, он продолжает вести привычный образ жизни: не только посещает магистрат, занимается торговлей, но и не отказывается от посещений знакомых, устраивает пирушки у себя в доме в то самое время, когда, по его собственным словам, ребенок «в жизни оказался безнадежен».[4] Не наблюдается какой-либо скорби и после смерти малолетних детей. Вслед за похоронными обрядами тут же следуют светские развлечения. Отсюда как будто напрашивается вывод о том, что к смерти детей в купеческой среде относились как к чему-то обыденному, будничному и заурядному. Иначе говоря, поведение Толченова как будто вписывается в предложенную Ф. Арьесом парадигму отношения к смерти человека традиционной цивилизации: «Здесь нет отвержения смерти, но есть невозможность слишком много о ней думать, ибо смерть очень близка и в слишком большой мере составляет часть повседневной жизни».[5]

1 Там же. С. 79.

2 Там же. С. 99.

3 Там же. С. 168.

4 Там же. С. 99.

5 *Арьес Ф.* Человек перед лицом смерти. М., 1992. С. 53.

Однако в «журнале» Толченова есть и совершенно иное отношение к болезни и смерти ребенка. В 1787 г. он внес в свой журнал обширный, с мельчайшими подробностями рассказ о тяжелой болезни сына (Ленюшки) и дочери (Катиньки), завершившейся смертью девочки. Во время этой болезни родители проводят ночи у постели больной девочки, предаются «всей печали, о которой судить может одно родительское сердце, лишаясь столь милого дитяти». В смерти любимой дочери отец видел наказание за собственные грехи: «И так властию Бога и в наказание грехов своих лишился я чрезвычайно милого дитяти».[1]

В чем же здесь дело? Неужели за пять – семь лет у человека так изменилось отношение к болезни и смерти детей? Думается, дело здесь не в том, что у Толченова произошел какой-то значительный сдвиг в картине мира, в которой отношение к смерти претерпело существенные перемены и он обостреннее начал переживать проблему смерти, или в том, что с возрастом он стал больше внимания уделять семье и детям. Есть все основания считать подлинными причинами тяжелых переживаний по поводу смерти дочери то обстоятельство, что первые трое умерших детей прожили на свете слишком мало – отец, обрадовавшись благополучным родам, за неотложными делами и продолжительными пирушками, связанными с крестинами, не успевал даже привыкнуть к ребенку. Скорбь от их утраты и не могла быть острой. Окруженный многочисленной родней в Дмитрове и в Москве, он постоянно бывал на крестинах и похоронах детей своих родственников, приказчиков или дворовых. Эта непрерывная череда рождений и смертей притупляла чувство утраты, которое отец должен был испытывать по поводу смерти собственных детей. Иная ситуация в случае смерти Катиньки. Девочка умерла в очень раннем возрасте, но за свою недолгую жизнь успела стать любимой дочерью: «Лицом совершенно на меня похожа была и очень нежна и зубов имела два... Ходить сама не начала, а точию круг стульев без поддерживания ходила и ко мне чрезвычайно ласкова была».[2] Со свойственным родительскому

1 *Толченов И.А.* Журнал... С. 215.

2 Там же. С. 217.

восприятию малолетних детей идеализмом он усматривал в дочери и необычные умственные способности, и богатый эмоциональный мир. Иначе говоря, в этой умершей дочери отец уже видел не новорожденного младенца, который «волею Божиею умер», но близкого и родного человека, к которому он был привязан всем сердцем.

В какой мере эти представления И.А. Толченова были характерны для русских горожан последней трети XVIII в.? Сопоставим их с записями его современника, воронежского купца Я.Г. Елисеева о смерти четырех внуков в 1794-м, 1798-м и 1800 гг. Сами эти записи по сравнению с аналогичными, сделанными Толченовым (кроме смерти Катиньки), более экспрессивны и несут сильный эмоциональный заряд. В них видна огромная любовь к малолетним внукам, умершим в возрасте от 11 месяцев до 4 лет. За некоторой корявостью стиля проглядывает искреннее уважение к их человеческому достоинству. Воронежский купец называет внуков по имени и отчеству. Умерших детей он именует «любезным внуком» или «прелюбезным внуком», «утехою по старости», а четырехлетнего ребенка называет «другом любезным». Несколько неожиданная характеристика ребенка, которого пожилой человек считает другом. Горе несчастного деда безмерно и безутешно: «... и мне их так жаль, что и помянуть не могу».[1]

Следует отметить, что это уже иное отношение к смерти, чем в середине XVII в., когда царь Алексей Михайлович, утешая боярина М.И. Одоевского по случаю смерти его сына, наставляет: «через меру не скорбеть, а нельзя не скорбеть или не прослезитца, и прослезитца надобно, да в меру, чтобы Бога наипаче не прогневить...» Алексей Михайлович как опытный книжник призывает своего приближенного увидеть и проявление Промысла в смерти сына, которого «Бог изволил взять милуючи, не дал ему больших грехов дожить, видя его доброе житие, того ради и житие ему прекратил...» [2] У воронежского же купца нет примирительных слов, выражающих надежду на встречу с внуками в мире вечности, как и уверенности в

1 Летописный синодик г.Елисеевых. 1737 – 1800 г. Воронеж, 1886. С. 72 – 73, 79, 84.

2 Записки Отделения русской и славянской археологии Императорского российского археологического общества. Т. 2. С. 704 – 705.

том, что безгрешных детей ждет рай. Любимого внука воронежского купца не Бог «взял», но «оспа пожрала».

Что изменилось в переживании смерти детей в средних слоях русского городского населения за те 50 – 70 лет, которые отделяют записи Толченова и Елисеева от дневников Нечкина и Медведева? В 1850 г., когда Нечкину исполнилось уж 44 года, его жене 30 лет, а в семье росли двое детей, родился ребенок, который умер через несколько минут. Из дневника следует, что накануне родов глава семьи отправился на именины к приятелю, откуда около 9 часов вечера, «окончив чай, ушел домой, ибо было нужно». Далее он пишет буквально следующее: «Итак в 11 часов ночи родила Анна Яков[левна] сына. По словам акушерки, был жив, но не мог уже дать голосу и чрез несколько минут я вполне, видя мертвого с поврежденною главою, полагал, рожден мертв. *Все было хорошо, роды – как и должно быть»* (курсив мой – *А.К.*).[1] Таким образом, по мнению Ивана Андреевича, роды, завершившиеся смертью ребенка, прошли вполне благополучно, ибо роженица осталась жива. И в описании последующих событий автор не отметил у себя каких-либо переживаний в связи со смертью ребенка. Единственная проблема, которая причинила беспокойство, заключалась в том, что отец объявил священнику младенца мертворожденным, но, как выяснилось, тот прожил какое-то время и акушерка «ево крестила по своему и дала имя Петр». «И так, по согласию всех, пошел я к священнику Павлу сказать оное. Пришел к священнику, говорили много и я просил отпеть младенца, буде можно. И согласились так, что отпеть в доме».[2]

Обращает на себя внимание, что ошибка отца активно обсуждалась и женщины, присутствовавшие при родах (роженица, акушерка и некая «опытная бабка»), убедили его в необходимости просить священника изменить обряд отпевания. При этом сама ситуация была пограничной, священник, вероятно, мог и отказать, поэтому-то и «говорили много».

Если сравнить дневниковые описания смерти младенцев у Толченова и у Нечкина, то можно отметить как несом-

1 ГАТвО. Ф. 103. Оп. 1. Д. 2628. Л. 14.

2 Там же. Л. 14.

ненное сходство восприятия смерти новорожденных (некая отстраненность, отсутствие глубоких чувств), так и определенные отличия. Эти отличия обнаруживаются уже в самой лексике. Еще больше отличалась лексика при упоминании о рождении детей. Так, у Толченова для сыновей применяется клише: «Хозяйка (Анна Алексеевна) от бремени милостию Всевышнего разрешилась благополучно сыном, которому имя нарекли тезоименно преподобному (святому)». Лишь запись о рождении первенца отличается большей простотой и лаконичностью: «Родился мне первый сын, которому имя наречено тезоименно...» Для дочерей в этом клише могло быть небольшое отступление: «Обрадован был благополучным разрешением от бремени Анны Алексеевны и родилась дочь, которой имя нарекли...»[1]

В целом для толченовских описаний было характерно наличие церковнославянских выражений, придающих тексту пышность и подчеркивающих значимость момента. Иная лексика у Нечкина, у которого в сообщении о рождении и смерти младенца используются лишь разговорные слова. Можно предполагать, что за три четверти века, разделявшие эти описания, произошла секуляризация той части лексики, которую использовали при описании рождения и смерти детей. Эти перемены в дискурсе детской смерти не ограничивались лишь изменениями в лексике, но отражали перемены в картине мира. Для Нечкина рождение и смерть ребенка – естественный процесс, в котором не участвуют потусторонние силы. Во всяком случае, этот добросовестный прихожанин не упоминает о Боге, когда речь идет о рождении, болезни или смерти детей.

Мечты и жизнь

Сопоставление представлений о счастье в дневниках горожан позволяет констатировать, что у всех авторов дневников счастье расположилось почти исключительно в сфере частной жизни. Лишь у А.И. Дружинина в понимании счастья присутствовала и общественная составляющая, которая, ду-

1 *Толченов И.А.* Журнал... С. 53, 78, 96, 150, 166.

мается, была больше данью литературной традиции, нежели твердым убеждением. Семейное благополучие – общее место для всех персонажей исследования. Любовь, доверительные отношения между супругами, дети – вот несомненные ценности, разделяемые ими. Представления о счастье у разных горожан оказались значительно ближе друг к другу, чем можно было ожидать, исходя из их сословного происхождения, социального статуса, образования и жизненного опыта.

Представления людей и их жизненная практика – каким образом они связаны друг с другом? Известный ученый, добившийся позже больших успехов и на стезе предпринимательства, Ф.В. Чижов вопреки своим установкам, что счастливым человек может быть только в семье, так и остался холост. В чем же здесь дело? Совсем не просто ответить на этот вопрос. Определенно можно констатировать, что Чижов был человеком традиционной сексуальной ориентации (контакт с молодым красивым испанским юношей вызвал у него отвращение и остался, вероятно, его единственным гомосексуальным экспериментом). Он пережил сильные любовные увлечения, которые, однако же, не увенчались, да и не могли увенчаться браком. Причина состояла в том, что его любимые были замужними дамами. Один из его биографов даже утверждает, что женщина, к которой он испытал наиболее глубокое чувство, – Екатерина Васильевна Галаган – была старше его на 26 лет.[1] Однако было бы ошибочно вслед за В. Шпанченко, который явно преувеличил разницу в возрасте между Чижовым и его возлюбленной, зачислять Чижова на этом основании в разряд, пользуясь его терминологией, «старушечников». Из дневника видно, что он испытывал самые нежные чувства и к очень юным девушкам. Речь идет не только о предпочтении, которое он отдавал своим молоденьким итальянским подружкам перед любовницами бальзаковского возраста, но и о девушках из общества. Увлечения последними, разумеется, также отразились в дневнике. Однако все эти влюбленности завершились ничем. Очевидно, в молодости материальная неустроенность Чижова не поз-

1 *Шпанченко В.* Дедушка русской Норвегии // Костромская народная газета. 2000. 8 ноября.

волила ему обзавестись семьей. Жениться на овдовевшей Е.В. Галаган он не мог, вероятно, из-за большой разницы в возрасте. Возможно, это Екатерина Васильевна не решилась на союз, который в глазах общества выглядел бы откровенным мезальянсом: богатая, родовитая (племянница фельдмаршала И.В. Гудовича) вдова, мать семейства – и бедный молодой гувернер ее детей. Внешне этот союз выглядел бы довольно пошлой сделкой и со стороны молодого человека: «женился на богатой старухе». Учитывая, что Федор Васильевич по молодости придавал большое значение тому, что о нем подумают другие, едва ли он мог решиться на такой шаг.

Когда же Чижов разбогател, укоренившиеся привычки старого холостяка не способствовали устройству его семейной жизни. К этому времени и любовная страсть уже уступила свое место в сердце Федора Васильевича другим страстям, главной из которых стало предпринимательство.

Таким образом, социальные условия жизни русского интеллектуала в дореформенной России, традиционные представления чиновного мира о счастливом браке, который немыслим без создания прочной материальной базы для обеспечения независимости семьи, особенности психического облика молодого Чижова и роковая любовь к Е.В. Галаган привели к тому, что он даже не попытался обрести свое счастье в семье. Внушив себе, что он не рожден для этого мира, зрелый Федор Васильевич, не обсуждая в своем дневнике специально сущность счастья, смог обрести его через реализацию своих амбициозных предпринимательских проектов, хотя на этом пути его ждали не только розы, но и шипы. Иначе говоря, Чижов эволюционировал от идеалов доминирования семейных и приватных ценностей к идеалам служения обществу.

У Петра Васильевича Медведева, как и у Федора Васильевича Чижова, представления о счастье и линия жизни не совпали. Как же он пережил то, что его мечты, связанные с обретением семейного счастья, не были реализованы? «Ежели не суждено мне наслаждаться семейным счастием, благосостоянием, оседлою гражданскою жизнию, как мои товарищи, то, может быть, с посохом странника я найду покой сердечный

и утешительную страну для моей горькой жизни»,[1] – писал в июне 1855 г. Медведев, раздумывая над путями выхода из жизненного кризиса. Неудовлетворенность семейной жизнью, отсутствием детей, отношениями с родственниками, неудачным предпринимательством вела московского купца к сублимации в виде пьянства и сексуальных девиаций. Но наряду с девиантными способами преодоления кризиса Медведев сохранил и способность радоваться простым вещам: прогулкам по окрестностям Москвы или чтению книг. Главным же способом преодоления душевного кризиса, вызванного крахом надежд на счастье, стал уход во внутренний мир, интериоризация сознания. И на этом пути огромную роль сыграл его дневник, который и стал тем пристанищем, где разочарованная душа сентиментального русского купца находила себе утешение.

Женское переживание счастья[2]

В чем оно совпадало с мужским видением, и какие имело отличия?

Среди многочисленных прошений горожан об освобождении от службы по выборам, с которыми я ознакомился, работая над книгой, самое большое впечатление на меня произвело ходатайство серпуховской мещанки А.И. Масленниковой. В 1845 г. эта вдова (до 1842 г. купчиха) обратилась к московскому гражданскому губернатору И.В. Капнисту с просьбой об освобождении от службы ее второго сына. Мотивация прошения начинается с констатации, что общественные службы одновременно несут двое ее сыновей, но вот описание неизбежных последствий такой несправедливости оказалось более чем оргинальным. Серпуховская мещанка писала, что если не освободят от службы ее сына, то семья «неминуемо должна придти в крайнее разорение и убожество, а *дочери мои*, не получа, как от меня, так и от братьев своих, по приближении время к отдаче в замужество

1 ЦИАМ. Ф. 2330. Оп. 1. Д. 984. Л. 19.

2 О мире чувств и повседневной жизни женщины см.: *Пушкарева Н.Л.* Частная жизнь русской женщины: невеста, жена, любовница (X – XIX в.). М.: Ладомир, 1997.

надлежащего пособия неизбежно должны *остаться навсегда несчастными...*» (курсив мой – *А.К.*)[1]

По своему содержанию это суждение весьма и весьма тривиально, оно отражает расхожие, стереотипные представления о браке и безбрачии. Необычно другое: документ, в котором это суждение присутствует. Мещанка Масленникова как заботливая мать не только стремится обеспечить счастливое будущее своих дочерей, но и считает их право на счастье столь важным, что делает его краеугольным камнем построения своего прошения. Своей аргументацией она фактически утверждает примат частной жизни граждан над интересами городского сообщества и государства.

В какой мере социальный статус горожанок влиял на их представления о счастье? Сопоставим взгляды двух современниц: дворянки – богатой помещицы Анны Стрелковой (урожденной Наумовой) и чиновницы – жены директора тобольской гимназии и матери известного русского химика Менделеева – Марьи Дмитриевны, происходившей из семьи сибирских купцов Корнильевых. Учитывая ее происхождение и тот факт, что она 15 лет руководила стекольной фабрикой, Менделееву следует считать носительницей купеческих ценностей и установок.

Стрелкова оставила любопытные мемуары «История моей жизни», в которых она пыталась осмыслить все перипетии своей судьбы и судьбы своих близких. Менделеева, которой в этой жизни довелось перенести лишений с лихвой (многодетная мать 14-ти детей, жена, муж которой стал инвалидом, потеряв зрение, энергичная предпринимательница, которой все же пришлось испить горькую чашу банкротства), не имела досуга для писания дневников и мемуаров, но для обстоятельных писем детям и близким она всегда находила время.

О том, какое место в мемуарах Стрелковой занимает тема счастья, можно судить по ее собственному предисловию: «Не богатство щастием служит в жизни, и через золото слезы льют горести. Дары провидения не одинаковы для всех

---

[1] ЦИАМ. Ф. 1036. Оп. 1. Д. 884. Л. 138.

людей. Одному дало оно богатство, почести, знатность, но лишило душевного спокойствия; другому отказано иметь сию фортуну, за то сторицею вознаградило истинными наслаждениями жизни. Одна уверенность в Провидение...; и добродетель лишь одна может составить блаженство человека... Да будет эта справедливая повесть служить юному поколению залогом будущего щастья... »[1]

Ее мать, поддавшись на уговоры дяди (князя Мещерского), который, «желав составить ее щастие, полагал, что *богатство столь много всеми превозносимое*, есть истинное благо для девушки бедного состояния...» (курсив мой – *А.К.*), вышла замуж за богатого помещика. Мемуаристка принципиально выступает против этого распространенного мнения, для нее счастье – это благополучие и любовь в семье. В этой связи мотивы, которыми руководствовался ее отец, выбирая себе супругу, кажутся ей романтическими и лишенными какого-либо расчета: «Любовь и чистейшие наслаждения семейным щастием было целию его желаний...»[2] Вместе с тем, с высоты собственного жизненного опыта выбор детьми супругов по своему произволу, без благословения родителей ею отвергается. Воля родителей для нее священна.

Рассказанная ею история семейной жизни родителей вызывает у современного читателя чувство протеста против семейного произвола мужа и деспотизма старших членов семьи, стремившихся подавить любое проявление самостоятельности у младших домочадцев. Однако подобных мыслей в дневнике нет, и Анна Стрелкова обнаруживает конформизм и готовность следовать патриархальным заветам. Более того, она даже не позволяет себе ни единого слова осуждения бабки и отца за деспотическое попрание человеческого достоинства ее матери. О первой она пишет: «... и я не иначе могу об ней говорить как с достодолжным уважением». Оправдывает дочь и отца, исполнявшего «лишь приказания своей матери, которую он, как покорнейший сын, боялся прогневить ее и лишиться всех ее милостей».[3] В мотивации поведения отца

1 ОР ОГБ. Ф. 218. п. 67. № 1. Л. II – II об.

2 Там же. С. 4.

3 Там же. С. 8 – 9.

у мемуаристки сплелись в единый узел две причины: покорность воле родителей и боязнь лишиться их (в данном случае, ее) «милостей». Проговаривается здесь госпожа Стрелкова по полной программе: вопреки своему пониманию счастья, заявленному в «Предисловии», на практике же она одобряет поведение отца, боявшегося ради наследства в две тысячи душ «прогневить» бабку. На этом фоне меркнут все ее рассуждения о добродетели как «истинном блаженстве человека», а на первый план выходит прагматическая линия конформистского поведения в семье и в обществе.

Стрелкова живет в мире, где старики властвуют над молодыми, родители над детьми, мужья над женами. Она принимает все правила игры в этом мире традиции, где женщина, особенно молодая, существо второго сорта. У нее не вызывает ни малейшего осуждения тот факт, что у ее отца была добрачная дочь: «Надобно сказать, не в обвинение отца моего, но и кто в молодости своей не имел подобного проступка». Более того, активная сексуальная жизнь отца привела к тому, что он отправил жену с детьми в дальнюю деревню, однако эта ситуация описывается мемуаристкой как «несогласие», «расстройство» между супругами, которое вызывает ее огорчение, но не содержит никакого осуждения поведения отца. Имплицитно, впрочем, такое осуждение в ее рассказе присутствует, но никакого явного неодобрения или даже малейшего недовольства дочь не выказывает. Она последовательно демонстрирует свое приятие воли отца и принимает как должное подчиненное положение женщины в дворянской семье. Внебрачные связи ее отца с крепостными девками – явление для того времени обыденное, однако не все дворянки мирились с таким положением. Синод и позже III Отделение собственной его императорского величества канцелярии были завалены сотнями прошений о расторжении брака. Однако ни мемуаристке, ни ее матери такое решение не могло прийти и в голову. Могла ли ее мать решиться ходатайствовать о расторжении брака? Едва ли на такой решительный шаг она была способна. Судя по описанию дочери, ее мать, будучи человеком глубоко верующим, рассматривала все свои семейные проблемы как испытания, ниспосланные

Богом. Наконец, для понимания причин долготерпения матери чрезвычайно важно ее поведение при известии о покушении на жизнь мужа. Узнав о ранении, сосланная в дальнюю деревню жена немедленно возвращается домой: «долг обязывал ее, не смотря на расстройство с супругом своим, которого она не переставала любить, поспешить к нему для облегчения страдания».[1] Итак, в интерпретации дочери поступками матери руководили два чувства: любовь и чувство долга.

В этом с ней была солидарна Марья Дмитриевна Менделеева, писавшая замужней дочери Екатерине: «Счастье с нами всюду, где бы мы ни были. Семейное благо выше всех радостей». Основа достижения счастья – нравственное воспитание, которое «при вступлении в свет, поведет нас к счастию и радостям семейной жизни». Другое необходимое условие супружеского счастья – взаимная любовь.[2] Ценность семьи признавалась абсолютной и в купеческой, и в дворянской женской среде. Однако в осмыслении того, что такое счастье и каковы пути его достижения, такого единства не наблюдалось. Видимо, далеко не случайно, говоря об основе счастья, Марья Дмитриевна сослалась на мнение «княгини» – жены генерал-губернатора Западной Сибири Горчакова. Очевидно, существовал и другой стереотип представления о путях достижения счастья: брак по расчету, протекция по службе, искательство перед начальством. Как существовал и другой стереотип представления о счастье, связанный с богатством, высоким статусом в обществе, унаследованным или достигнутым собственными усилиями. Однако М.Д. Менделеева ни такого понимания счастья, ни безнравственных путей его достижения признать не могла. Нравственное начало в человеке – вот единственное непреходящее свойство личности. В своих письмах к родным она не раз рассуждает на эту тему по вполне конкретным поводам. Особенно ярко ее представления об иерархии жизненных ценностей раскрываются в связи с исключением старшего сына Ивана из благородного пансиона при Московском университете за плохое поведение. Ког-

1 Там же. С. 38.

2 Семейная хроника в письмах матери, отца, брата, сестер, дяди Д.И.Менделеева. СПб., 1908. С. 20 – 21, 14.

да встал вопрос, как быть с образованием сына дальше, мать решительно отвергла предложенные родственниками варианты скорого получения офицерского чина в другом учебном заведении. «Пусть здесь останется наш сын простым писарем в каком-нибудь суде, ... пусть разделит с нами всю горесть нашего положения, но я как мать обращу все мое внимание на его нравственность, как мать исторгну из сердца его с корнем порочные наклонности, и, посеяв, возрощу семена добродетели и чести». И далее она переходит от частного сюжета к обобщению: «До сего времени я почитала богатство и почести случайным достоинством человека... Истинное достоинство человека – честь, добродетель и любовь к ближнему. Вера и страх Божий лучшие путеводители в жизни».[1]

М.Д. Менделеева видела всего два варианта жизненного пути женщины – семья или монастырь. Паллиативные варианты благочестия, когда женщина живет в миру, но не стремится создать семью, в ее представлениях – гордыня.

Поскольку для Марьи Дмитриевны семья – это единственно возможный центр жизненного мира женщины, то все радости и печали связаны именно с семьей, а величайшее несчастье матери – видеть нравственное неблагополучие детей. Из такого понимания жизненных ценностей логически вытекает и представление М.Д. Менделеевой о переживаемом ею несчастии: «Бедность никогда не унижала и не унизит меня, но *краснеть за детей моих* есть такое *несчастие*, которое может убить меня и преждевременно приблизить меня к дверям гроба!» (курсив мой – *А.К.*).[2]

Эти вполне традиционные представления русской женщины о счастье и несчастье в осмыслении М.Д. Менделеевой представляют для историков, изучающих внутренний мир человека, особый интерес. Этот интерес определяется отнюдь не ее происхождением (из купеческой среды, представительницы которой оставили, увы, мало сентенций о счастье и несчастье) и уж тем более не тем обстоятельством, что она – мать выдающегося химика, хотя обе эти причины также

1 Там же. С. 18.

2 Там же. С. 15.

заслуживают внимания. Но подлинный интерес для истории частной жизни русской женщины они имеют в связи с тем, что Марья Дмитриевна, обремененная многочисленной семьей, пять лет своей жизни непосредственно управляла фабрикой брата в Аремзянке, а затем еще многие годы осуществляла руководство ею из Тобольска. Для 30-х – 40-х годов XIX в. ее «директорство» – явление уникальное не только для России, но и для наиболее развитых стран Европы и Северной Америки. И в этом контексте представляет большой интерес ее переживание наиболее серьезных проблем в семейной и производственной жизни, которые могут быть отнесены к категории несчастий: болезнь и смерть близких, исключение сына из благородного пансиона, пожар на фабрике, грозящее банкротство, надвигающаяся бедность.

Все серьезные предпринимательские проблемы хотя и переживались Менделеевой достаточно мучительно и остро, но степень эмоционального переживания этих событий все же была на порядок ниже, чем при известии о «порочном поведении» сына или заявлении одной из дочерей о желании принять монашество. Рассуждая о серьезных производственных или материальных проблемах, сибирская предпринимательница не употребляет по отношению к ним слово «несчастье». Ее радость от случавшихся деловых успехов была скромнее, чем от приятных известий о маленьких успехах ее детей. Она отдает явный приоритет интересам семьи, прежде всего воспитанию детей, над своими интересами управляющей фабрики: «...пока я не лишена любви детей моих, пока имею силы пещись о их благополучии, я не могу назвать себя несчастною и умею довольствоваться малым». «Теперь я счастливее, чем была на фабрике», – писала она дочери Екатерине в августе 1839 г.[1]

Проведенное исследование выявило отсутствие значительных межрегиональных отличий в мировосприятии и мироощущении жителей городов. Учитывая, что все городские жители проживали в едином правовом пространстве

[1] Там же. С. 39.

империи, обладали единым социальным статусом, по-видимому, такая близость «картин мира» – явление закономерное. Система ценностей средних городских слоев в принципе была едина в столицах и в провинции. В центре всех жизненных интересов горожан находилась собственная семья: муж (жена), дети, родители, материальное благополучие и благоприятный семейный климат. В предпринимательских кругах в системе ценностей важнейшее место занимал личный успех. Определенное влияние на осуждение достижения богатства аморальными средствами оказывало религиозное сознание. Однако не меньшую роль в осуждении аморальных средств наживы сыграло распространение просвещения среди русского купечества, молодые представители которого стремились к успеху уже «чистыми», благородными средствами.

Если жизненный успех во всех слоях городского социума преимущественно связывался с богатством, то представления о труде (его предназначении) и различных видах трудовой деятельности, их престиже отличались куда более значительно, что стало одним из факторов, препятствовавших консолидации городского гражданства.

Судя по дневникам горожан, заметные различия в восприятии общества и сословного строя существовали у жителей столиц и провинциалов. Последние значительно меньше внимания обращали на сословное деление общества, редко в повседневной жизни ощущая ущербность своего статуса по сравнению с дворянством.

В исследуемых дневниках 1840-х – 1850-х гг. по сравнению с дневниками конца XVIII – первой четверти XIX в. наметился сдвиг в сторону большей эмоциональной выразительности. При этом акцент в сфере чувств смещается с выражения своих эмоций в соответствии с принятыми стандартами в сторону индивидуального, интимного их переживания. Дискурс чувственного обретает все более светские черты, секуляризируется, однако наиболее тонко, обостренно переживали события своей жизни люди, находившиеся в состоянии нравственного и духовного кризиса, сохранившие при этом религиозную ментальность, свойственную традиционному обществу.

Во внутреннем мире горожан, живших в последней трети XVIII – первой половине XIX в., стремление к наслаждению полнотой жизни вступало в конфликт с религиозным миросозерцанием. Одновременно также имело место столкновение новых тенденций эмоционального развития (интериоризация сознания, осознание ценности собственной личности и своего внутреннего мира, стремление контролировать проявление своих чувств не под влиянием прямых предписаний общества, но руководствуясь уважением к правам и чувствам других людей) и традиционных социальных установок в сфере эмоционального выражения чувств.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Опыт проведенного межрегионального исследования культуры горожан русской провинции конца XVIII – начала XIX в. позволяет утверждать, что социокультурный раскол русского общества, хотя и не был преодолен в рассматриваемое время, однако не превратился еще в непреодолимую пропасть. Благодаря культурным преобразованиям, начавшимся при Екатерине II, появились условия для изменения неблагоприятной социокультурной ситуации. После Отечественной войны 1812 года в общественной мысли стал заметным рост национального самосознания, пробудивший в части дворянства интерес к народной культуре. Рост образовательного уровня средних городских слоев (купцов и мещан) способствовал изменению их культурных запросов, на формирование которых также оказывала серьезное влияние государственная школа.

Новая светская культура развивалась двупланово: в социальном аспекте – усваиваясь новыми слоями и группами, трансформируясь из дворянской в национальную; и в территориальном аспекте – превращаясь из столичной в общерусскую. Этот процесс довольно успешно, хотя и не слишком быстро, но достаточно синхронно протекал как в центре, так и в Западной Сибири.

Механизм коммуникации между культурами столиц и провинции в Российской империи действовал преимущественно однонаправленно. В формировании государственной культурной политики столичная элита (сановники, аристократы, интеллектуалы) играла несравненно более значимую роль, чем провинциальное дворянство и верхи торгово-промышленного населения. Реально монархи и правительства интересовались общественным («общим») мнением лишь

жителей двух столиц. Особенно хорошо это видно после образования в 1826 г. III Отделения. Новые институты, новые культурные запросы и стандарты – все это внедрялось из столиц в провинцию. Обратная связь волновала правящую элиту в очень незначительной степени. Тем не менее представления, вкусы и культурные пристрастия провинциалов через родственные и деловые связи влияли и на культуру столичных жителей, число которых постоянно пополнялось за счет мигрантов из провинции.

Провинция не была однородной и одномерной, а провинциальные города имели свою иерархию: губернские, уездные (окружные), заштатные. Опыт межрегионального исследования провинциальной культуры позволяет утверждать, что в губернских городах сеть социокультурной инфраструктуры была более разветвленной и плотной, чем в уездных. Но в отдельных уездных городах, таких, как, например, Осташков, граждане которых не испытывали давления со стороны могущественных ведомств и многочисленного чиновничества, городская культура была представлена уже в 1830 – 1840-х годах тем же набором элементов социокультурной инфраструктуры, что и в самых благополучных губернских городах. Осташков даже заметно превосходил по ряду показателей развития городской культуры (женская школа, публичная библиотека, любительский театр) Тверь и отчасти губернские центры Западной Сибири. И все же такое положение нельзя назвать типичным. Чаще наблюдалось заметное отставание социокультурного развития уездных городов от губернского центра. В целом большинство уездных городов – старых и новых (получивших городской статус в конце XVIII – начале XIX в.) – тяготели к формированию однотипной и несложной культурной инфраструктуры. Данное обстоятельство было продиктовано культурной политикой государства, заинтересованного не в комплексном динамичном развитии городской культуры, а в подготовке кадров для аппарата управления. Поэтому первым шагом в культурной сфере сразу после обретения населенным пунктом городского статуса было создание в городе приходского и уездного училищ (до школьной реформы – малого народного учили-

ща). В то же время правительственный план формирования сети общеобразовательных школ для мальчиков из-за амбициозной внешней политики правительства Александра I не был реализован в полном объеме.

В условиях, когда отдельные функции, выполняемые городом, приобретали гипертрофированный характер, общерусская модель социокультурной структуры, характерная для крупных и средних городов, могла быть существенно деформирована. Яркий пример – история Омска, крупнейшего военно-административного центра Западной Сибири. В Омске, где велика была роль казачьего училища (кадетского корпуса), даже уездное училище появилось лишь в середине 1850-х гг., общественная библиотека еще позже, а публичная жизнь имела строго сословный характер.

Сравнительное изучение структур городской культуры в избранных регионах выявило определенное отставание уездных городов Московской губернии от ряда западносибирских городов и отдельных городов Тверской губернии. Это отставание имело место в тех сферах (библиотеки, театр, женское образование), которые были связаны с инициативой самих горожан и которые отражали уровень освоения национальной культуры. Решающими факторами, тормозившими социокультурные процессы в городах Московской губернии, стали близость столицы, последствия Отечественной войны 1812 г. и, вероятно, в какой-то степени наличие разветвленной системы помещичьих усадеб, представлявших еще один вариант продвижения в провинцию урбанистической культуры.

Различия в повседневной городской культуре между древними и молодыми городами оказались менее существенными, чем можно было предположить. В большей мере на плотности и разветвленности социокультурной инфраструктуры сказывались статус города, численность населения, особенно «образованной публики» (чиновников и дворян), социокультурные традиции, унаследованные от предшествовавшего периода. Но культура горожан старых городов и новых, преобразованных из сел и слобод, имела серьезные отличия, что особенно отчетливо просматривается на отношении

купцов и мещан к городскому самоуправлению. Такая ситуация сохранялась примерно на протяжении жизни двух поколений после преобразования городского самоуправления Екатериной II. Постепенно жители молодых уездных городов меняли свое отношение к учреждениям самоуправления, осознав значимость и полезность этих институтов. Менялся и характер общекультурных запросов горожан малых городов. При благоприятной ситуации, сложившейся, например, в Кургане и Ялуторовске благодаря активности ссыльных декабристов, горожане учредили школы для девочек в 1846 – 1847 гг., то есть раньше, чем в таких старых сибирских городах, как Тобольск и Томск, обладавших и губернским статусом, и многочисленным чиновничеством.

В XVIII – первой четверти XIX в. Москва и Петербург доминировали в подготовке квалифицированных кадров для административного управления, казенных предприятий, здравоохранения и народного образования. С развитием системы высшего образования в провинции ситуация постепенно изменялась. Выпускники провинциальных университетов и институтов стали играть заметную роль во всех сферах жизни. Однако этот процесс шел медленнее и не поспевал за потребностями страны. Во многом усилия власти по подготовке квалифицированных специалистов натолкнулись на нежелание провинциалов отдавать своих детей в главные народные училища и сменившие их гимназии. По замыслу Екатерины II, эти учебные заведения должны были готовить чиновников для аппарата местного управления. Но и в Центре, и в Сибири полный курс гимназии до середины XIX в. заканчивали лишь единицы. Низкий образовательный уровень большинства провинциалов не позволял им подняться до понимания важности получения детьми среднего образования. Часто родители объясняли свое нежелание дать детям хорошее образование бедностью. Однако подобное объяснение свидетельствовало об их неготовности тратить деньги на «пустую затею». Когда в середине XIX в. произошел перелом во взглядах горожан на просвещение, которое было осмыслено как необходимое и для девочек, это стало не результатом роста благосостояния граждан и чиновников, а следс-

твием перемен в картине мира. Широкому вовлечению детей в школьное обучение препятствовал прагматизм купцов и мещан, а также значительной части дворян. В картине мира граждан все носители новой, европеизированной культуры были «чужими»: не случайно учитель во многих городах был фигурой, отчужденной от городского общества и в середине XIX в. Небогатые дворяне и чиновники считали, что для карьеры необходим красивый почерк, хорошая брачная партия и родственные связи. Граждане полагали, что для успешной торговли элементарной грамотности достаточно. И те, и другие жаловались на усложненность программ обучения и их оторванность от жизни. Правительство мало прислушивалось к мнению родителей, предпочитая действовать с позиций силы, введя образовательный ценз для чиновников. В правление Николая I уже сама власть тормозила распространение грамотности и образованности среди непривилегированных сословий, видя в этом и в совместном обучении детей разных сословий угрозу социальной стабильности общества. Поэтому в 1840-х гг. в результате бюрократического произвола Министерства внутренних дел и Министерства финансов все попытки городских обществ и органов самоуправления уездных городов Московской губернии организовать женские школы потерпели крах. Перемены в отношении власти к образованию произошли уже при новом монархе. В ряде провинциальных городов в конце 1850-х – начале 1860-х гг. местная общественность объединилась для создания школ для девочек. В уездных городах с малочисленным дворянством и чиновничеством женские училища, как правило, создавались для детей всех сословий. В губернских городах, если не было возможности устроить отдельное заведение для дворянок, девочек из «благородных» семей стремились отделить от мещанок и купчих. Это наблюдалось и в Центре, и в Западной Сибири.

Социальными агентами культурных новаций в русском провинциальном городе в XVIII – первой трети XIX в. были командиры полков и бригад, губернаторы и генерал-губернаторы, члены их семей, богатые помещики, в Сибири – образованные ссыльные, а также иностранцы (чиновники, купцы,

военнопленные). Во второй трети XIX в., особенно с конца 1840-х гг., культуртрегерские функции постепенно переходят в руки чиновников, получивших образование в университетах и других высших учебных заведениях, и другой, разночинной по происхождению интеллигенции, а также купцов и образованных мещан. Заметную роль в культурной жизни провинции начинают играть женщины.

Рост грамотности, переосмысление европеизированной культуры не как культуры дворянского сословия, но как национальной, возросший интерес молодого поколения купечества к искусству, местный городской патриотизм, усвоение относительно широкими городскими слоями норм бытовой культуры, присущих раньше лишь дворянству, – все эти социокультурные процессы, протекавшие в русской провинции, к середине XIX в. привели к качественным переменам в картине мира значительной части купцов, мещан, мелких чиновников и разночинцев. Таким образом, в провинции выросла социальная база потребителей современной литературы и нового (классического) искусства. Искусства, европейского по форме и преимущественно светского и национального по содержанию. В пользу национального содержания свидетельствует особая популярность русских пьес, а также переводных водевилей, адаптированных к реалиям городского быта российских столиц и провинции. Об этом же говорится и в декларации осташковских купцов-книголюбов о желании создать публичную библиотеку – с целью ознакомить сограждан с произведениями отечественной словесности. Рост культурных запросов, осознание своей роли в обществе – все это привело к тому, что начиная с 1830-х гг. купцы выступали с инициативами в сфере городской культуры: учреждали библиотеки, активно участвовали в драматических кружках, создавали музыкальные коллективы, строили театральные здания. Купцы и мещане все смелее выходили на сцену – и в прямом, и в переносном смысле слова.

Важным средством распространения в провинции современной национальной культуры наряду со школой, литературой, прессой, театром была мода. Мода, как и язык, стала важным инструментом стандартизации провинциальной куль-

туры, способствуя превращению разрозненных локальных сообществ в единую общность. Другая функция модной одежды состояла в сближении горожан разных сословий и социальных групп. Если традиционный городской костюм, который носили купцы и мещане, противопоставлял их дворянству и чиновничеству, то модное платье, напротив, способствовало сближению высших и средних слоев горожан. Распространение современной европейской одежды служило и важным индикатором проникновения в провинциальный город новой национальной культуры. К переменам в одежде было более восприимчиво население городов, где проживало много мигрантов, иностранцев (и, соответственно, мало старообрядцев), а также молодых городов без устойчивых локальных традиций.

Русский город, получивший при Екатерине II права юридического лица, был стеснен в развитии культуры опекой чиновников. И все же абсолютистское государство эволюционировало в сторону правовой (правомерной) монархии. Россия сделала заметный шаг в этом направлении в последней четверти XVIII в., в том числе благодаря введению европеизированных форм сословного и городского самоуправления. В дореформенной России города были одновременно центрами административно-полицейского управления и маленькими островами, на которых всходили первые побеги гражданского общества. На этом противоречивом и конфликтном архипелаге сложилась система самоуправления, и его жители пользовались многими институтами демократии. Это не была всесторонняя демократия, когда все горожане, мужчины и женщины, обладали равными правами. И мужское население делилось на «регулярное» и «нерегулярное», с разным объемом прав и прерогатив. Наконец, законодатель отвел купечеству главную роль в самоуправлении, оставляя за мещанами возможность избрания на второстепенные должности. Впрочем, в античных полисах далеко не все население обладало политическими правами, что не мешает нам считать их родиной демократии.

Попытка законодателя создать самоуправление, субъектом которого были бы верхние слои городского населения, провалилась, так как сами граждане предпочли, чтобы в его

деятельности участвовала не только верхушка, но и состоятельные мещане, обладавшие недвижимостью. Купцы и мещане объединялись против вовлечения дворян и чиновников в городские дела. Снижение имущественного статуса для участия в делах самоуправления определялось малочисленностью богатого купечества, а также несовпадением представлений о социальной природе общественного управления у государственных сановников и у горожан. Вместе с тем, в старых городах, где было достаточно многочисленное купечество, мещане не могли получить доступа к должностям, наделенным реальными властными полномочиями. Более того, в отдельных городах, в частности в Твери, сложилась система своеобразного местничества, когда выдвижение кандидатов на должности находилось в зависимости не только от сословного статуса, гильдейской принадлежности и личных достоинств человека, но и от места, занимаемого его семьей в неформальной городской иерархии.

Субъективное восприятие индивидом своего места в социальной иерархии общества не всегда совпадало с его формально-юридическим статусом. В дневниках провинциальных горожан межсословные противоречия для их авторов оказываются не столь важными, как внутрисословные. Жители столиц, напротив, острее ощущали социальные барьеры в межличностных отношениях. В провинции купцы и мещане чувствовали себя гражданами в большей степени, чем в Москве, Петербурге или в таких городах, как, например, Омск и Барнаул, в которых проживало многочисленное неслужащее дворянство, военное и гражданское чиновничество. Точнее, они не только субъективно ощущали себя полноправными гражданами, но и были таковыми, повседневно участвуя в делах городского самоуправления.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 3

Глава 1. **Культурная среда русского города** 17
Горожане и образование 17
Ведомственные и публичные библиотеки 83
Театр и зритель 118
Клубы и благородные собрания 153
Заключение 176

Глава 2. **Культура политического: представления о власти и практики самоуправления** 179
Царь и царская семья глазами народа 180
«Государь император изволили быть ... »: сакрализация и монументализация царской власти 191
«Императорский доноситель»: донос монарху как форма коммуникации с верховной властью 203
Конфигурация власти в провинциальном городе 209
Мундир как символ власти 223
Выборы и престиж общественных служб 225
Самоуправление: обуза, престиж, общественная польза? 242
Конфессиональный фактор городских выборов 253
Избирательные практики в старом русском городе 261
Демократические возможности и олигархические традиции. Общественная служба как повинность 272
Культура конфликтов, возникающих в связи с ходатайствами об отмене выборов 283

Глава 3. **Мода и власть: проблемы идентичности русских горожан** . . . 299
«Немецкая» мода и городская идентичность . . . 299
Власть и маркирующие социальные функции костюма . . . 310
Мода как средство обретения новой идентичности . . . 333
Борода и мода: социокультурная трансформация традиции в русском обществе XIX в. . . . 361

Глава 4. **Чувства и представления русских горожан** . . . 382
«Гражданин Минин»: социальный статус и проблемы самоидентификации . . . 382
«Труд» и «богатство» в картине мира русских купцов . . . 405
Репрезентации «счастья» . . . 429

Заключение . . . 469

Научное издание

Александр Иванович
Куприянов

Городская культура русской провинции.
Конец XVIII – первая половина XIX века

Издатель Л.С. Янович
Редактор С.И. Алексеева
Корректор Н.Г. Болотина
Художник А.В. Байдина
Верстка В.В. Брызгалова

Подписано к печати 06.11.07
Формат 60x90/16, усл. печ. л. 30,0
Бумага офсетная № 1. Печать офсетная
Тираж 1000 экз. Тип. зак. № 1547

Издательство «Новый хронограф»
109052, Москва, ул. Верхн. Хохловка, д. 39/45-132

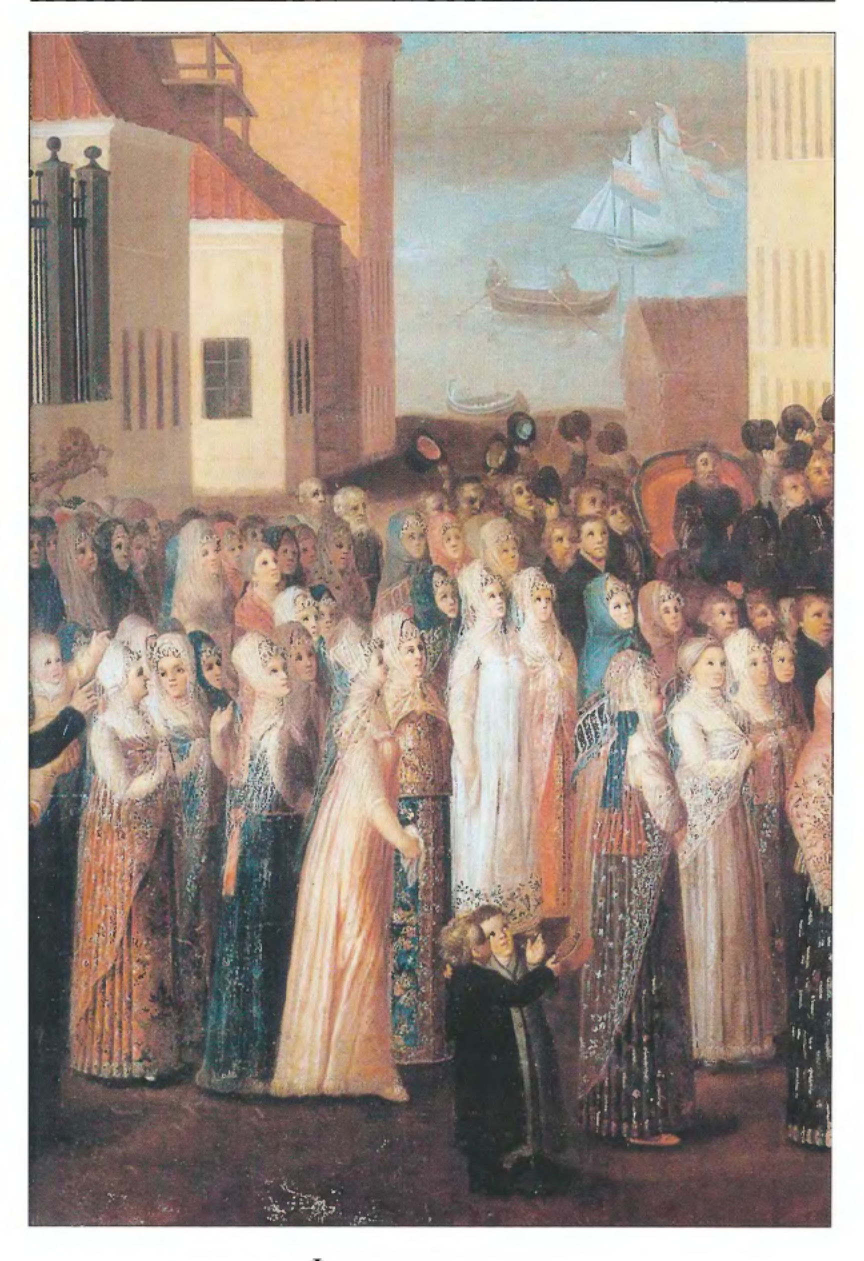
E-mail: nkhronograf@mail:ru

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ООО «Чебоксарская типография № 1»
428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 15

П.П. Свиньин.
Вид города Торжка. 1820-е гг.

С. Порывкин.
Клин

Я. Колокольников-Воронин.
Встреча жителями Осташкова Александра I
у дома Савиных. 1820-е гг.



Фрагмент картины

К.И. Росси.
Вид путевого дворца в Твери. 1800-е гг.

Неизвестный художник.
Тверь. Миллионная. 1830-е гг.

М.Ф. Дамам-Демартре.
Вид города Твери. Нач. XIX в.

Вид части города Тобольска .
Гравюра *С. Химли* по рисунку *Е. Корнеева.* 1802

Неизвестный художник.
Вид Березовского острова с р. Сосьвы

Е. Корнеев.
Ледяные горы при Иртыше близ Тобольска. 1812

Неизвестный художник.
Бал в Иркутске. Нач.XIX в.

М.С. Знаменский.
Маскированные

М.С. Знаменский.
Посиделки

Я. Колокольников-Воронин.
Семейный портрет Савиных. 1820-е – 1830-е гг.

Неизвестный художник.
Портрет тюменского купца К.К. Шешукова. Нач. 1860-х гг.

Н.Т. Дурнов.
Портрет ржевской купчихи С.В. Ивановой. 1834

Неизвестный художник.
Портрет тверской мещанки в желтой епанечке.
1830-е – 1840-е гг.

Неизвестный художник.
Портрет сибирской купчихи. 1810-е гг.

Девушка в праздничном костюме. г. Ржев. 1867

А. Шохин.
Гулянье жителей города Торопца в сосновой роще.
1840-е гг.

издательство
НОВЫЙ ХРОНОГРАФ

ISBN 978-5-94881-018-8

9 785948 810188